Соломон Волков

Диалоги с Евгением Евтушенко

при участии Анны Нельсон

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Диалоги с Евгением Евтушенко» – беседа писателя Соломона Волкова и поэта Евгения Евтушенко, состоявшаяся в 2012 году и затем, в 2013-м, в сокращенном виде вошедшая в одноименный фильм (режиссер Анна Нельсон), показанный на Первом канале. Книги-диалоги Соломона Волкова давно стали культовыми. Его собеседниками в разные годы были Иосиф Бродский, Д.Д. Шостакович, Джордж Баланчин, Владимир Спиваков и многие другие. В этой книге Евгений Евтушенко, тончайший лирик, живший по принципу «поэт в России – больше, чем поэт», рассказывает Волкову об эпохе, творчестве, знаменитых современниках, личной жизни.

- Соломон Волков, Анна Нельсон
  -
  - Анна Нельсон
    - 1. Вместо предисловия
    - 2. Как всё началось…
    - 3. Процесс съемок
    - 4. Как СВ интервьюировал ЕЕ
    - 5. Что такое город Талса: особенности университетской жизни
    - 6. Post Scriptum
  - Соломон Волков
    - Пролог. Встреча
    - Ранний Евтушенко
      - Так как же вас зовут?
      - Дедушки и их дружба
      - Няня Нюра
      - Ложный развод родителей
      - Отец и первые стихи
      - Довоенная Москва
      - Любимое кино
      - Пленные немцы
      - «А товарищ Жданов списал…»
      - Начало карьеры профессионального поэта
      - Сухое мокрое вино
      - Алкоголь
      - Несостоявшийся футболист
      - Сталин и первое выступление в Союзе писателей
      - Протекции

- Литинститут
- Белла
- Фестиваль молодежи и вербовка в КГБ
- Евреи и дело врачей
- Назым Хикмет
- Берия
- Похороны Сталина

- Иллюстрации
- Поэт в России – больше, чем поэт
  - Трансформация: сталинский – не сталинский – антисталинский
  - «Наследники Сталина»[27]
  - Строфы о товарище Сталине
  - «Хотят ли русские войны?»
  - Пастернак
  - Дело Пастернака и Борис Слуцкий
  - Как Евтушенко били
  - Мирильщик и защитник
  - Окуджава
  - Шестидесятничество: корни и эволюция
  - Танки в Праге
  - Литовская модель
  - Случайные связи
  - Галя Сокол
  - Бабий Яр
  - Шостакович
  - «Преждевременная автобиография»
  - «Братская ГЭС»
  - Хрущев
  - Шагал и Хрущев
  - Фидель и Куба
  - Че Гевара
  - Пиночет
  - Альенде и Латинская Америка
  - Дядя поэта и Стейнбек
  - Знакомство со Стейхеном и первая поездка в США
  - Художник и политика (мягкая сила)
  - Вьетнам
  - Патриотизм и антипатриотизм
  - Роберт Кеннеди
  - Встреча с Никсоном и шмон
  - Паранойя, или Кругом стукачи
  - Таганка

        - Джан Батлер
    - Прощание с красным флагом
        - Перестройка
        - Горбачев
        - Выездные комиссии и случай с Михаилом Светловым
        - Прощание с красным флагом
        - Ельцин
        - Несостоявшийся министр культуры
        - Россия в ретро- и перспективе
        - Маша
        - Талса
        - Преподавание: книги и фильмы
        - Опыт американской жизни и «свои» американцы
        - Национальный вопрос
        - Идеализм и идея конвергенции академика Сахарова
    - Подводя итоги: воспоминания, размышления, сожаления
        - Солоухин
        - Твардовский
        - Отношение к Набокову
        - Солженицын и Андропов
        - Ростропович и Вишневская
        - Высоцкий
        - Стравинский
        - Жак Брель, Марлен Дитрих и другие
        - Феллини, Антониони, Пазолини
        - Несыгранные роли: Сирано де Бержерак и д’Артаньян
        - Евтушенковская рифма
        - «Идут белые снеги…»
        - Ты спрашивала шепотом
        - Литературная перцепция
        - Бродский
        - Аксенов, Вознесенский и другие:
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93

- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129

Соломон Волков, Анна Нельсон
Диалоги с Евгением Евтушенко

© Волков С.М., 2018
© Нельсон А.А., 2018
© Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018

Анна Нельсон
Записки о Талсе

Но, как известно, именно в минуту отчаянья и начинает дуть попутный ветер.

И. Бродский

1. Вместо предисловия

Отсутствие дневников и любых записей о декабре 2012 года казалось мне единственной формой забвения, попыткой искусственно похоронить внутри своей жизни те дни. Но, как сказал Бродский, «время, столкнувшись с памятью, узнаёт о своем бесправии». Ничего не вышло. Я, как назло, легко могу всё воспроизвести. И даже то тупое отчаяние, наивысшую его степень. Когда воля парализована и уже все равно, что будет дальше. Когда физическое ощущение предопределенности выше возможности воспротивиться ходу событий.

Итак, собачий холод того серого декабря. Срединная Америка. Центр провинциального города Талса, штат Оклахома. Я стою с температурным (как всегда, это случается некстати) ознобом на высоченной крыше отеля. Подо мной на все четыре стороны распластан город летаргического сна: абсолютно пустынные улицы соединяют не подающие признаков жизни массивные небоскребы. Стерильную упорядоченность этой пустоте задают сменяющие цвета светофоры. Ни души – без литературного преувеличения – до линии горизонта. Нитевидный пульс города. О наличии внизу, в этой глубине, жизни свидетельствуют редкие точки проползающих автомобилей. Ледяной ветер порывами взбалтывает эту пустоту и перемалывает выхваченные из нее звуки механических колоколов – здесь много церквей. Как потом заметит Соломон Волков, наблюдавший ту же широкую панораму на центр города из окна своего номера в отеле «Мама и нейтронная бомба» (название одной из поэм Евтушенко). Этому городу Евтушенко отдал с четверть века.

На продуваемой крыше нет перил, один шаг в сторону – бездна. Я заглядываю в нее, чтоб с кинематографической точки зрения оценить окрестности. Но вижу лишь высоту (точнее, глубину) своего внутреннего падения. Никакого кино у меня не получается… Зачем я ввязалась во всё это? – риторический вопль, который я буду многократно душить в себе в минуты беспощадно подавляемой слабости.

Поясню: в Талсе мы снимаем фильм, построенный на диалогах Соломона Волкова с Евгением Евтушенко. Эти диалоги мы будем снимать семь дней (за которыми последует год работы над фильмом и еще несколько лет – над книгой), все семь – в ощущении катастрофы, в атмосфере патологического недоверия и нелюбви. С Соломоном Волковым меня связывает глубинная близкая дружба, но на момент съемки – разъединяет тяжелая ссора, казавшаяся уже непреодолимой (к счастью, только

казавшаяся). Мы цедим ядовитые слова сквозь зубы и умудряемся работать. С Евгением Евтушенко – несколько лет знакомства, он не воспринимает меня всерьез, ему не так важно, что со всем этим диалогом станется, ему важен сам акт разговора с Соломоном Волковым. Он, не скрывая скепсиса, то и дело называет мой еще никому неведомый «грандиозный» замысел «передачкой» и по-честному перед началом съемок оглашает свою концепцию взаимодействия: никакой помощи, никакого доступа к личному фото- и видеоархиву, никаких дополнительных кадров, только техническая фиксация самого разговора с его *vis-à-vis*. Я знаю, что Евтушенко уже очень болен, но насколько сильно – пойму много позже.

Тем не менее владеет ситуацией, как известно, тот, в чьих руках находится монтаж, – на мне серьезная ответственность за двух героев фильма (теперь во многом и книги). Двух сложных и великих стариков (хотя по отношению к ним последнее слово кажется избыточным, и уместным лишь по факту давности их рождения). Во время съемок в Талсе ни один, ни другой со мной особо не сотрудничают.

О Евтушенко к моменту начала нашей работы снято множество фильмов, он ро́здал за свою долгую жизнь астрономическое количество интервью… Но интервью и фильмы о нем уже давно не становятся частью общественного дискурса, его слова оседают в белом шуме, он знаменитый персонаж прошлого, архаика, и поколение Миллениума иногда путает его и Вознесенского.

Мне нужно придумать такое кино, которое вышло бы за рамки нормы, не погубив при этом участников. Воображаю себя эскулапом, руководствующимся древним принципом «не навреди», и трезво, безо всякого пафоса, оцениваю ситуацию: перед большой историей у меня нет права на холостой выстрел или небрежность. Хотя бы по двум причинам. Для Соломона Волкова, человека чрезвычайно закрытого, на кону – жизненная репутация: это его первое (!) появление в большом проекте на большом экране. Для Евгения Евтушенко – возможно, последнее.

2. Как всё началось…

Чтоб расставить точки над «i» – немного предыстории. Я журналист, в 2010 году перебралась из Москвы в Нью-Йорк. Как, видимо, не случайно всё случайное, так моя встреча и впоследствии дружба с Соломоном Волковым здесь, на другом берегу, в некотором смысле Провидение. Мне выпала неожиданная радость обнаружить в нём родственного человека с редким совпадением душевных разъемов.

На момент, имеющий отношение к делу, Соломон попадает в весьма драматические жизненные обстоятельства. Очень личного свойства, поэтому оставлю их за скобками. Он в добровольном заточении, почти не покидает своих четырех стен, заставленных от пола до потолка книгами. Своих – не пишет уже три года. Необустроенный быт, сужающиеся объятия бедности, депрессия в отсутствии тому свидетелей. Он мизантроп, едва ли не единственный из моих знакомых, не пользующийся мобильным телефоном. Он еще не обзавелся Фейсбуком и, по большому счету, не имеет связи «с материком» – оттого пребывает в искреннем, без позы, неведении относительно культовости своей фигуры. Он не знает, что, например, его «Диалоги с Бродским» – настольная книга поколения интеллектуалов. Изменивший посмертную судьбу композитора Шостаковича (я видела, как, столкнувшись с ним в служебном лифте Карнеги-холла, музыканты узнают его и с почтением провожают глазами), собеседник балетмейстера Баланчина (их диалоги – Библия для балетоманов всего мира), скрипача Мильштейна, пианиста Горовица, балерины Плисецкой и еще, может быть, десятка гениев XX века… На моих глазах очень близкий мне человек, один из самых светлых умов времени погружается в большую темноту и интересуется «мягкими формами» самоубийства. Сбой, какая-то ошибка мироздания…

И вот однажды Соломон звонит мне и рассказывает, что Евгений Евтушенко написал ему письмо, в котором сообщил о готовности к большому итоговому разговору. Разговору только с ним, с Соломоном. В свою очередь Соломон делает мне предложение фиксировать их общение – снимать диалог на камеру. А как распорядиться материалом – будет видно по ходу дела…

В 2012-м я, призна́юсь, довольно равнодушна к Евтушенко (через некоторое время я посмеюсь над своей категоричностью). Но мне не хочется пассивно наблюдать, как стремительно обнуляется жизнь дорогого мне Соломона. Его предложение

кажется исключительной возможностью привести план в действие. А именно – «подправить что-то в консерватории» и хоть немного приблизить торжество справедливости.

Будучи журналистом нью-йоркского бюро Первого российского канала, подхватываю идею, лечу в Москву, к руководству. Раскладываю ситуацию, клянусь снять большое кино и через час выхожу, заручившись поддержкой Кирилла Клейменова (заместителя генерального директора Первого канала) и Константина Эрнста (гендиректора Первого канала). Я не могу не ценить это принятое ими решение, доверие и протянутую руку…

Я встраиваюсь в отношения Волкова и Евтушенко, становлюсь частью треугольника и организатором встречи: вступаю в переписку с Евгением Александровичем, его прекрасной женой Машей (женщиной редкой красоты и терпения). И довольно скоро обнаруживаю себя, Соломона и большую съемочную группу – четыре замечательных оператора – с тонной аппаратуры в самолете, летящем из Нью-Йорка в Талсу, штат Оклахома. Ночь, турбулентность (внешняя и внутренняя), тусклый свет. Оглядываюсь на СВ – в его руках, как и в моих, том стихов ЕЕ… СВ и ЕЕ – так наши герои будут фигурировать в рукописи.

Морозным утром мы уже будем снимать без дублей и подготовки первую сцену: два немолодых человека идут навстречу друг другу. Приблизившись, они неловко обнимаются, как это часто бывает с давно не видевшимися людьми. Мотор! Начали.

3. Процесс съемок

Съемки велись в библиотеке университета города Талса, где ЕЕ преподавал последние двадцать пять лет жизни.

После того как в проеме библиотечной двери появилась очередная голова любопытствующего студента, я вооружилась скотчем и наспех прилепила у входа лист А4 с угрожающей надписью типа «не влезай – убьет». Правда, очень скоро вежливые американцы из руководства библиотеки перефразировали угрозу: на месте моего импульсивного – повис их А4, аккуратный – «будьте любезны, если вас не затруднит, пожалуйста, не входите, большое спасибо». Так библиотечный зал стал нашей неприкосновенной вотчиной на следующие семь дней.

Каждое утро начиналось с ритуала – я отправляла СВ в сопровождении съемочной группы в библиотеку, а сама выезжала на машине за ЕЕ в его небольшой уютный профессорский дом. Там мне буквально из рук в руки передавала его жена Маша:

– Вот его сумочка с лекарствами, вот книжки, вот теплая кофта, вот… Женя-надень-шарф!

Она обязательно обнимала его на прощание и очень как-то по-особому, по-матерински, прикладывала руку к его худой щеке. А потом оставалась стоять в одном платье на пороге дома, чтоб проводить глазами отъезжающий автомобиль.

Дорога занимала минут пятнадцать и всегда была мучительным мероприятием – обычно разговор не клеился. Но иногда ЕЕ вдруг начинал говорить. Например, о том, что «Америка – тоталитарная страна». В том смысле, что жизнь здесь жестко расчерчена на клетки законов, правил и общественных условностей. «Но Америка дает иллюзию, а иллюзия – это и есть счастье». Или вдруг начинал вспоминать о том, что когда снимал свой первый фильм как режиссер, то понял: главные люди на площадке – это осветители. Без них – никуда. «Если они сказали, что день закончен – всё, процесс встал – работе хана». Я понимающе, но скрывая иронию, кивала – специальных осветителей у меня не было.

За те семь дней я освоила роли и швеца, и жнеца. Каждому съемочному дню предшествовала пространная молчаливая мистерия. Мои герои в глубокой задумчивости послушно усаживались в кресла, я причесывала поочередно их седые головы, а потом заносила кисточку с пудрой над их лицами. (До тех пор экспериментальным холстом служило мне лишь

собственное лицо.) Я прекрасно понимала, кто передо мной – эти двое существовали на другой эволюционной ступени развития: я – здесь, они – в истории. В этом смысле дыхание вечности через плечо ощущалось все время.

В некоторые дни ЕЕ был особенно бледен. Я добавляла румян… По косвенным признакам я чувствовала, что тему здоровья ЕЕ отодвинул в разряд табуированных (теперь я понимаю, что это, видимо, был короткий период, когда врачам удавалось сдерживать прогрессирование рака). Ощущение аварийности ситуации появлялось по нарастающей, с кульминацией к концу съемок. Эти подробности не праздная констатация или попытка обрисовать атмосферу, они имеют отношение к тому удивительному евтушенковскому стоицизму и витальности, свидетелями которых оказались все участники съемочного процесса.

В предварительной переписке с ЕЕ мы условились, что будем снимать по четыре часа в день. Но после первого дня работы все планы и графики покатились в тартарары: у Евтушенко хватало сил говорить часов по семь. Больше я такого – если хотите, чуда (потому что с физиологической точки зрения это плохо объяснимо) – не видела никогда: как только загорался свет юпитеров, он мгновенно оживал, источал энергию. И в этом не было игры или фальши (упреки в «профессиональной искренности» и манерности ЕЕ перед камерой мне потом приходилось слышать не раз)… Да, в исповеди перед камерой есть какая-то заведомая неправда и неловкость. Но в правилах, как знаем, бывают исключения… Надо понимать, что публичность в его случае – естественное топливо, и любая аудитория – источник не только вдохновения, но жизни.

Он единственный мог работать без перерыва вообще. Он и был в этом смысле сверхчеловеком. Вместо обеда, испытывающий приступы боли в ноге, он глотал горстями обезболивающее… Я видела, как операторы, по многу часов державшие фокус, отрывались от своих видоискателей и по очереди ложились на пол в попытках снять мышечные спазмы в спине, а он продолжал. Я видела, как теряли нить слушатели (мы все, присутствовавшие на площадке), тупея от усталости и бездвижности, но не он – он продолжал!.. В конце дня, как только камеры выключались, его лицо сползало в маску без какого бы то ни было выражения, и он уже с трудом мог встать. А на утро история повторялась.

Рассказ иногда приходилось рубить «по живому» и объявлять перерыв: текла кровь из ушей, из носа… По просьбе жены Маши во время пауз мне вменялось согревать дыханием в руках тюбик,

а потом выдавливать из него в его левое ухо по четыре капли. Он ложился на диванчик в углу огромного зала библиотеки, поджимал худые длинные ноги как-то калачиком… становился маленьким… и я капала, шепча – раз-два-три-четыре…

Таблетки ЕЕ запивал грассхоппером – приторным кофе с ментоловым сиропом и густой пеной – это был особый предмет его любви и гордости за университетский буфет. Он настаивал на ежедневной дегустации и в конце концов подсадил на этот грассхоппер всех нас, не желающих его расстраивать. Его готовили в буфете этажом ниже, и в съемочных паузах я сломя голову бежала по лестнице через ступеньку, чтоб успеть купить всем по бутерброду и обязательно по стаканчику грассхоппера.

Пару раз в перерывах за ЕЕ заезжала Маша, чтоб отвезти его «на перевязки к врачам» и вернуть обратно… Ближе к середине пути уверенности, что на следующий день съемка продолжится, не было никакой. ЕЕ не мог сидеть в прежней позе в кресле, ноющие боли в правой ноге сводили его с ума. Тогда мы с операторами соорудили под декоративным столиком у его кресла некую конструкцию – пуф с подушками, замаскировали его, чтоб не было видно в кадре. Так ЕЕ мог держать ногу в горизонтальном положении и продолжать разговор.

С первого же дня стало понятно, что мое место… в углу – в самом дальнем углу зала (сравнимого по размерам с большим танцклассом)… Дело в том, что ЕЕ, привычный к большим аудиториям, забывал о работающих камерах. Он то и дело начинал апеллировать ко мне, иногда обращаясь по имени. Тогда я, чтоб не останавливать запись, театрально отводила глаза в сторону и делала вид что «хулиганы разговаривают не со мной». Как только я переехала на галерку и операторы с камерами оказались на расстоянии от двух героев, наконец возникла необходимая интимная среда.

ЕЕ открыто пренебрежительно относился к идее любой съемки за пределами библиотечного кресла. Не столько даже потому, что сильно неважно себя чувствовал (хотя это было бесспорной причиной, но вторичной), сколько, как мне казалось, потому, что не вполне понимал «величие замысла» и не очень-то доверял. Любые попытки дополнительной съемки казалось ему излишними, второстепенными. Любой дополнительный кадр сопровождался невероятными уговорами. ЕЕ почти не шел на уступки, но несколько раз с большой неохотой все же согласился.

Однажды ранним утром, изучая местную «натуру», я набрела на затянутую густым туманом набережную реки Арканзас. Два ее берега соединял старый – некогда железнодорожный, а ныне

пешеходный – пустынный мост. Я поднялась на него, подо мной бушевали потоки воды, из-за тумана можно было только догадываться, что где-то там у этого моста есть выход на другой берег. Деревянный с перекрестьями мост в никуда казался бесконечным. Мост через священный Стикс! – осенило меня. Я должна была всеми правдами и неправдами снять здесь ЕЕ… «Вы же были режиссером, вы же снимали кино! Ну вы же должны меня понять как режиссер…» – настырно уговаривала я его несколько дней.

Это был тот редкий случай, когда я победила. Все выглядело как спонтанное сумасшествие – ЕЕ внезапно сказал: «Ладно, только быстро!» И мы поехали, не успев с операторами толком обсудить детали. На месте, где не слышно из-за воды клокотания собственного сердца, обсуждать уже было поздно, да ЕЕ и не ждал. Он просто пошел по мосту… Операторы не сговариваясь рванули в три разные стороны, чтоб снимать с трех точек его проход.

Условия экстремальные, никаких дублей – все понимали – не будет. Он шел, припадая на одну ногу, игнорируя мой крик и отчаянные жесты регулировщика; ветер трепал его шарф… И потом, просматривая крупный план этого прохода сотни раз, я видела, чего ему стоила уступка… стеклянный взгляд.

Когда закончили, я подхватила его под руку и усадила на первый попавшийся камень у моста. Он кривился от острой боли, а я причитала и гладила его ногу: «Родненький, потерпите». Потом помню его затяжной глоток воды из трехлитровой бутыли, обнаруженной в багажнике, – к нёбу прилипли анальгетики. Не помогало. Потом поехали домой за виски – в попытках заглушить боль (виски обычно справлялся с задачей). А потом снова ехали на нашу импровизированную студию в библиотеку писать разговор.

В перерыве – что я выясню только постфактум – ему снимут швы с раны на ноге. По возвращении с процедуры он снова выдаст четырехчасовое откровение на камеры. Перед этой съемкой осторожно помогаю ему положить ногу на мягкие подушки не дыша. «Что, муки совести?» – смотрит на меня с ехидцей и впервые с большой нежностью. Муки… (Через несколько месяцев после отъезда из Талсы я узнаю, что он перенесет операцию по ампутации правой ноги.)

В постижении морфологии ЕЕ, я обнаруживала, что он может быть очень внимательным к малозначительным деталям и совершенно небрежным в отношениях. В первый же день в Талсе я встретила его в барбершопе, чтоб обсудить нюансы работы. Но

разговора не вышло. То есть совсем. Он замешкался – не оказалось десятки наличными, чтоб дать на чай парикмахеру. Я пошарила в кармане и сунула ему в руку свою. А потом он аккуратно повернулся ко мне спиной и самозабвенно завел долгую, весьма оживленную беседу с нашим водителем. Сказать, что я была обескуражена такой встречей – ничего не сказать… Следующим утром Маша открыла дверь и, прежде чем отдать вещи ЕЕ для съемок, любезно протянула десятку: «Просьба от Евгения Александровича вернуть вам».

На утро пятого дня, когда отснятый материал уже измерялся десятками часов, операторы вдруг сообщили мне, что наши флешки пусты… что они не видят на них ни одного кадра… Тревога оказалась ложной – издержки изучения на ходу новой аппаратуры. Но часа три ЕЕ терпеливо сидел в ожидании и источал спокойствие, будто понимая, что технические драмы – норма. Он мог быть разным, но ни разу не позволял себе «звездных» капризов…

По вечерам мы утрамбовывались в крошечный лифт, спускались со второго этажа на первый, выходили из университета затемно, впервые за день глотая холодный воздух, и рассаживались по машинам.

А там, на втором этаже, в углу, оставались ночевать установленные на пустые кресла камеры, выглаженные рубашки героев, кисточки с пудрой и экстравагантный гобеленовый пиджак ЕЕ.

4. Как СВ интервьюировал ЕЕ

То, что в фильме и теперь в книге кажется логически выстроенным разговором двух людей, на самом деле – изначально – представляло собой некоторый хаос, стихию. Диалог в настоящем виде был постфактум собран из множественных осколков в единое целое.

То есть, как теперь понимаю, ЕЕ было настолько плохо физически и настолько много ему было чего рассказать, что он всякий раз срывался с темы на тему, не следуя никакой логике и не придерживаясь хронологии, – то возвращался обратно к теме, то вовсе бросал начатое предложение, теряя его на полуслове. СВ в свою очередь пребывал в состоянии наивысшего сосредоточения – ему нужно было успевать за этими «американскими горками», молниеносно переключаться, вырабатывая космическую скорость реакции… ЕЕ периодически включал свои заезженные «пластиночки», ретранслируя самого себя слово в слово, но, чем дальше, тем чаще вдруг соскакивал с заученных текстов и, пожалуй, впервые начинал говорить совсем о новом, или по-новому о старом. Это была какая-то всё время меняющаяся мерцающая игра – роли в этом интервью разыгрывались нелинейно…

«Честно говорю, что я бы сейчас не дал бы такого интервью ни одному человеку в мире, кроме тебя» – следовало из предварительной переписки, в которую я, с ведома двух сторон, была посвящена. И, быть может, именно это обстоятельство – горячей готовности одного человека почтенного возраста высказаться другому – придавало разговору элемент исповеди.

Почему именно на СВ пал выбор – догадаться несложно. Собеседников такого уровня, закономерно превращающих разговор в факт культурной истории, можно пересчитать по пальцам. Да и можно ли. Конечно, репутация и бэкграунд СВ работали на него, но определяющими среди волковских бесед с гениями были диалоги с Иосифом Бродским (чего ЕЕ в переписке не скрывал).

В подобного рода встречах необходима соразмерность интеллектов и гарантированное стопроцентное понимание предмета разговора. Один из постулатов жанра: чтобы получить хороший ответ, нужно задать хороший вопрос. И безусловно, СВ предполагал некие контуры беседы. Но ЕЕ не столько нужны были вопросы, сколько чувствующий его до мельчайших нюансов слушатель. СВ следил всю жизнь за ЕЕ и знал о нем едва ли не всё. Иногда собеседники переходили на абсолютно птичий язык с

упоминанием имен и событий, ве́домых за давностью лет, быть может, уже лишь им двоим. СВ в таких ситуациях виртуозно в режиме нон-стоп расшифровывал, переводил в доступные сферы, пояснял только что сказанное собеседником.

СВ обладает удивительным свойством, доходящим до гениальности, – он умеет СЛУШАТЬ и фиксировать сказанное слово каким-то особенным образом. Он как бы всем своим существом погружается в собеседника и, кажется, не оставляет ему шансов не раскрыться.

СВ не раз приводил в пример мне, замечавшей высокомерно поднятую бровь коллег по цеху во время интервью, один из образцов такого слушания – звезду американской журналистики Барбару Уолтерс, которую называют «инквизитором знаменитостей». Ее секретное оружие, казалось бы, не бином Ньютона: объект напротив нее настолько ей всегда интересен (даже если он далеко не святой), что она отрекается во время разговора от собственного «я» и какой-либо предвзятости. Но именно таким образом формальная беседа превращается во вскрытие сущностей. Так работает и СВ.

То, как это выглядело технически, для меня как вполне зрелого журналиста и моего эго было весьма поучительным зрелищем, щелчком по носу. Много раз я закипала в своем углу от волнения и ярости, ну… почему же СВ отпустил ЕЕ, не дожал, не припер к стенке?! СВ слушал. Слушал, полагая, что Евтушенко сам расскажет о том, о чем захочет. Он лишь направлял беседу, но не пытался дирижировать и вести ее в рамках заготовленного сценария. У ЕЕ был свой сценарий, который СВ позволял ему осуществить, оставляя поэтупространство. При полном отсутствии давления – почти никаких сдерживающих правил: хочется, например, спросить о вещах сугубо интимных (по мнению СВ, неотъемлемых от творчества) – спрашивал. Искусственные ханжеские запреты оставались за бортом.

С третьего дня диалогов ЕЕ начал говорить о Бродском. Нет, это совсем не было повествованием… Он несколько раз бросал куда-то в сторону обрывки фраз, как скомканные черновики, будто хотел начать большой разговор. Но не решался и резко сворачивал с этого минного поля. А потом он начал возвращаться к теме каждый день, как бы ввинчивая ее в диалог в самых неожиданных местах.

ЕЕ, блестяще владеющего собой, вдруг прорывало откуда-то изнутри. Часто невпопад. Было понятно, что он беспрестанно параллельно об этом думал, что это боль. Единственный раз за все дни включенных камер я почувствовала, как силы на выдохе покинули ЕЕ, сточился какой-то внутренний стержень – это был

момент, когда он поставил точку в своем многодневном рваном рассказе про взаимоотношения с Бродским. На лице проступила опустошенность.

Только говоря о Бродском, ЕЕ вдруг соскакивал в обращении к СВ на доверительное «ты» – хотя вообще-то никакого «ты» между ними не существовало. Я это чувствовала всей кожей во время съемок, это было моей догадкой, интуицией, которая, впрочем, отдавала себе отчет я, инструмент не абсолютный… Но однажды, кажется, всё встало на свои места.

ЕЕ, будучи человеком очень гостеприимным, настаивал, чтобы всей съемочной группой мы отправились в его любимый ирландский паб (*Kilkenny's Irish Pub*), где он – завсегдатай. И одним из поздних вечеров после съемок мы пришли туда. ЕЕ знал меню наизусть, советовал, что заказать. Его слегка знобило (хотя было совсем нехолодно), ему очень хотелось в уютной компании выпить и самому. Официант поставил напротив него бокал виски. Когда суета сошла на нет, все с аппетитом занялись заказанным, я как в рапиде увидела со всей очевидностью неловкость сцены: ресторан – битком, вибрации от звона вилок, бокалов и гула разгоряченной публики; передо мной сидят двое, погружены в себя, молчат… Чтоб избежать затянувшейся паузы, ЕЕ отворачивается от СВ и до конца вечера заводит дежурный разговор с соседом по столу.

Эти специфические повисшие паузы я уже наблюдала во время проездов в машине, как только ЕЕ и СВ оказывались закрытыми общим пространством вне телевизионных камер. За рамками съемочной площадки они выглядели чужими и чуждыми, неуместными друг другу. ЕЕ иногда казался мне интеллигентофобом, настороженно недолюбливающим «очкариков». При всей своей архисложной внутренней конструкции, он скучал по шоферюгам и выбирал в собеседники простейшего. К своему виски он тогда не притронулся, да и в его повороте спины, в общем, не было обидного, лишь какой-то конфуз.

Теперь, по прошествии лет, если природа этого глобального отсутствия «ты» между ними мне и не кажется яснее, то мне понятно, почему (помимо прочего) поэт ЕЕ выбрал в конфиденты именно достаточно далекого себе СВ. Дистанция! К слову, эту дистанцию, равноудаленность от всех своих великих *vis-à-vis*, СВ соблюдал всегда, не принадлежа и не приближаясь ни к одному из существующих сообществ; он – волк-одиночка, ни с кем никогда не стоявший на короткой ноге. Быть может, именно она, дистанция, и позволяла ЕЕ и СВ разговаривать на иных уровнях.

5. Что такое город Талса: особенности университетской жизни

Так получилось, что в Талсу я прилетала несколько раз задолго до съемок фильма (о котором тогда никто из участников и не помышлял), разговаривала с ЕЕ на камеру – снимала о нем репортажи. Он всегда радушно распахивал двери своего дома, угощал вином (в котором понимал), охотно отвечал на все вопросы. И мне всегда хотелось заглянуть в ту американскую часть его жизни, о которой почти никто ничего не знает. Но всякий раз на мою просьбу навестить его рабочий университетский кабинет профессор Евтушенко недовольно шипел что-то невнятное и уклончивое, отвечал отказом. Для меня это была абсолютная загадка. «Тайное» открылось мне только после смерти ЕЕ.

Университетский коридор, деревянная дверь с обыкновенной казенной табличкой на ней *«Yevgeny Yevtushenko»*. Кабинет – это крошечная комната. За двадцать пять лет преподавания совершенно необжитая и почти ничего не говорящая о своем хозяине. Вопреки ожиданиям – никакого классического беспорядка. Пустой стол. Два кресла. Окно, закрытое ветвями деревьев. На полупустых длинных полках – несколько десятков книг и подборка журнала «Новый мир». На стене – маленькая доска. К ней канцелярскими кнопками пришпилена трогательная записка – детскими печатными прыгающими буквами: «Дорогой папа, я тебя люблю. Женя. Мне нравится в школе». Рядом – детский же рисунок с солнцем и фото ЕЕ в обнимку с ближайшим американским другом Альбертом Тоддом. Безжизненная пустота кабинета, граничащая – после ухода ЕЕ – с сиротливостью.

Всё оказалось просто! И об этом, зная хоть немного ЕЕ, можно было бы догадаться: он просто был некабинетным человеком (*«He was not an office person!»* – «Он был неофисным человеком» – кивали головами его коллеги). Конечно… Он почти не бывал тут, предпочитая трем метрам профессорской каморки большую аудиторию.

Евтушенко пригласили в Талсу на излете перестройки, в 1991-м. Он приехал посмотреть. Думал, на один семестр… Остался на четверть века. Этот частный университет по американским меркам довольно старый (чуть больше ста лет). Внешне не вызывает восторженной задержки дыхания, как это бывает, когда гуляешь по Йелю или Принстону. Уютный и

непафосный. Он – город в городе; в отличие от кажущейся безжизненной Талсы, кампус напоминает муравейник: снующие толпы студентов, броуновское движение велосипедов…

У ЕЕ был карт-бланш – любой предмет, любая тема, любое расписание. Им дорожили и гордились. «У нас есть мировой поэт», – говорили мне в деканате. Гордились тем, что он был больше похож на рок-звезду, чем на какого-то тихого поэта-очкарика на кафедре. И несмотря на то, что коллеги называли его Женя (по имени, как обычно это принято в Америке), они отлично понимали, с кем имеют дело (вопреки растиражированным на родине поэта слухам, что там – на чужбине, в той глуши – никому он не был нужен).

Евтушенко был настолько знаменит в Америке в шестидесятые годы, что его портрет попал на обложку журнала *«Time»*. А много ли в университетах есть преподавателей, которые были номинированы на Нобелевскую премию (1963)? В общем, эта слава грела его до самого конца.

В университете ЕЕ пропадал всего раз в неделю, по понедельникам. С двух до пяти – лекция по истории европейского кино, с шести до девяти – курс русской литературы. Ему действительно отвели там самую большую аудиторию: послушать *Yevtushenko* выстраивались очереди, на его лекции стремилось попасть вдвое больше студентов, чем было мест в зале. На кафедре даже ввели «лист ожидания». Очень чистенькая «умытая» аудитория заполнялась под завязку – всегда около 60 студентов, абсолютно разношерстных. Они – выходцы со всего мира с разными культурами и языками в бэкграунде (помимо США – Южная Америка, Ближний Восток, Азия), будущие технари, менеджеры, киношники etc.

Свои «политехнические» концерты ЕЕ выдавал тут. Во время лекций он не просто читал стихи – это был перформанс каждый понедельник с выходом в мир (учитывая многонациональность аудитории). Один из студентов вспоминал его всегда «одетым в серебряные костюмы, декламирующим стихи на грохочущем русском языке и шагающим под этот ритм по лекционному залу». Тяжелый русский акцент в случае ЕЕ никому не был помехой.

Я могу хорошо представить, как выглядела эта «академическая программа», – я видела уникальные выразительные снимки Марианны Волковой, которые она однажды сделала во время выступления ЕЕ перед студентами нью-йоркского Куинс-колледжа. Балетная пластика, драматический размах – такого лектора не забудешь…

Если вдуматься: что такое преподавать двадцать пять лет? Это означает, что через класс ЕЕ прошли тысячи американских и

неамериканских студентов, в чью жизнь круто вошел русский профессор. Он выпустил в жизнь тысячи иностранных людей, на которых значительным образом повлияли русские писатели и поэты…

Двадцать пять лет по понедельникам он делал то, что потом многие из его выпускников назовут на персональном уровне *«life-altering»*[1]: «особенный профессор», «человек редкой породы, которого будешь помнить всегда». Они, похоже, действительно очень любили этого харизматика и эксцентрика. По-настоящему. А он сам ужасно (я свидетель) переживал, если ставил плохие отметки (что, видимо, было экстремально редко). Когда ЕЕ умер, университетскую страницу в Фейсбуке захлестнула лавина искренних слов сожаления.

Но слава ЕЕ в Талсе была особого рода. Эдакое кривое зеркало его жизни в России: если американские коллеги кланялись ему при встрече, то далекие от мировой поэзии простые смертные могли понятия о нем не иметь. (Это в России – поэт больше, чем поэт. В Америке, да и, похоже, почти во всех странах мира, поэтов на улице не узнают.)

Один из съемочных дней нашего фильма совпал с каким-то очень важным университетским футбольным матчем. Все въезды и подходы к альма-матер обещали быть перекрытыми. И когда ЕЕ обратился к вахтерше университета с просьбой заранее на завтра взять ключи от нашего библиотечного зала, та одарила его нетипичным для американцев сканирующим взглядом снизу-вверх и неробко спросила: «А вы кто и что вам тут, собственно, надо?» – «Я профессор Евтушенко…» Фамилия профессора не вызвала никакой радости узнавания, и она попросила покинуть помещение. Взъерошенному (но все еще вежливому) ЕЕ пришлось связываться с руководством университета.

Здесь у него была та степень свободы, которой не было бы во многих больших городах. Его коллеги говорят, что в Талсе ЕЕ не привлекал к себе внимания и мог быть самим собой – в магазине ли, в ресторане, да где угодно.

Он называл Талсу пуповиной американской культуры и верил, что это место, где можно разглядеть настоящую Америку. Думаю, он не лукавил, когда еще в девяностых в местной прессе не раз восхищался тем, что его студенты не высоколобые циники, а сыновья ранчо, ковбои или нефтяники. Он уверял, что они не менее талантливы, но главное – более чувствительны и близки к Матери Природе, чем дети больших городов. В этом, разумеется, много личного. Провинциальная Талса и ее люди напоминали Евтушенко о его с рождения родимом пятне – его Сибири.

ЕЕ говорил мне, что скучает по деревне, что всегда, приезжая

в Россию, стремится обязательно съездить куда-нибудь «вглубь». Уже потом, после всех наших встреч, снимая дополнительные сцены для нашего фильма, я побывала на станции Зима, откуда он родом… Я кое-что поняла. Он хоть и совсем не тяготился сложившейся судьбой (еще бы!), но, похоже, стремился к какой-то другой свободе всю свою жизнь. Стремился в свое детство.

Там, в Зиме, отголоски этого детства ЕЕ до сих пор живы. Я видела, как огромный старший прапорщик с романтическим надрывом пел под минусовку песню «Зима, зима» детям с бантами; там на второй день пребывания ты изнасилован гостеприимством – все зовут к себе ночевать и кормят до изнеможения (при зарплатах четыре тысячи рублей); там легко растрогать; там чиновник от культуры при первой встрече на протянутую руку отвечает объятием; там «на дорогу» принято совершать особые ритуалы – бабы отводят отъезжающего в сторону, страстно крестят и на ухо шепчут молитву; там любое окончание дела знаменуется выпивкой; там в домах топят так, что возникает кислородная недостаточность, а при -20 ˚С – безжалостные сортиры на улицах с дырой в полу…

Конечно, в Талсе признаки американской бытовой цивилизации никто не отменял, но люди – в смысле своей простоты, открытости и тепла – такие же провинциалы.

ЕЕ очень болезненно переживал, когда в России, часто не отвечавшей ему взаимностью, его обвиняли в отъезде за рубеж. «В России я живу, в Америке – работаю», – отвечал он всегда заготовленной формулой. Но в этом ответе, мне кажется, была неправда. Он действительно не покидал Россию и жил на две страны. При этом Талса – о чем он не очень любил говорить, чтобы, видимо, избежать недопонимания – тоже стала его домом…

Тут ЕЕ тоже пустил корни. Он любил Талсу за пусть и отдаленное, но родство с тем, что ему дорого, за схожую группу крови: «В ста верстах от столицы всех надежд… там всему на свете свой особый счет…»

6. Post Scriptum

В моих руках оказалось сокровище трудной судьбы. Пятьдесят часов разговоров СВ и ЕЕ обрастали съемками на двух континентах; в мегаполисах и глухих, забытых богом деревнях; в снегу по пояс и в сорокаградусную жару. Дополнением к этому триллеру служила охота по всему миру на документы, кинохронику и фотографии – уникальные находки случались и в огромных институциональных архивах, и в пыльных сервантах частных коллекционеров.

С СВ, который приложил немало усилий к созданию фильма, мы преодолели разрыв и теперь очень не любим вспоминать эту весьма болезненную для обоих историю. В общем, если не вдаваться в детали процесса – ведь важен лишь результат, – получилось трехсерийное кино под названием «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко». (В него вошла в лучшем случае треть диалога, тогда как настоящая книга представляет полное его содержание.)

Потом была премьера. Фильм не прошел незамеченным, ударив в какую-то болевую точку. Ожесточенные споры о нем неделями сотрясали Интернет. Предмета для статей (преимущественно разгромных) хватило на полгода. Девяносто девять процентов публикаций составляла нешуточная критика. Шквал критики… Волков? Ничего святого! Евтушенко? КГБ! Агент! Чушь! Враки! Никчемный сценарий! Девочка (то есть я) не справилась с материалом! Море ошибок! Не может быть, чтоб поэт ничего не сказал о Путине! Цензура! Заказ сверху! Как смели? Как осквернили! Неумное кино…

Развернулся немыслимый ад. Триумф с отрицательным знаком. Любое публичное обсуждение превращалось в балаган. Острота достигла такой силы, что в какой-то момент в приличной компании было неприлично затрагивать эту тему, как в хорошем обществе не принято говорить о политике. На фоне такого «задымления» лишь один журналист (Инна Ткаченко и «Искусство кино», спасибо!) связался со мной, чтобы «с ланцетом и пинцетом» узнать детали, понять соотношение сил и вдумчиво всё расставить на свои места.

От всего этого было нестерпимо душно. Внутри возникали сложные химические реакции. Поэтому попытка овладеть искусством молчания казалась мне единственной формой спасения. Много дней я не подходила к телефону, потом обнаружила в нем автоответчик с голосом ЕЕ, запись была оставлена сразу после премьеры.

Поэт звучал растерянно… Говорил спасибо, что, в общем, потрясен… говорил, что пока не понимает, как это все пережить… что получился неожиданный для него самого градус откровения, на который он даже не рассчитывал… не понимал, что это может быть большим кино огромной силы и оно застало его врасплох… что надо посмотреть, как будут теперь развиваться события… что ему позвонил Эрнст Неизвестный со словами восхищения, говорил, что плакал, хвалил его за смелость. У меня, помню, перехватило как-то в горле.

К тому моменту ЕЕ был мне уже не посторонний. Конечно, я прожила с фильмом тяжелый год и имею право на сентимент. Но дело не в том. За тот год я вдруг освободилась от плена стереотипов своего поколения – снобистского вируса скепсиса относительно Евтушенко… При такой точке обзора он был по-настоящему большим, чрезвычайно интересным в своей неоднозначности; его совершенно не обязательно было судить или крепко прижимать к сердцу, чтоб обнаружить у него множество прекрасных стихов, которые перестали знать etc…

На моих внутренних картах изменились масштабы. Стокгольмский синдром? Нет. Дзэн нового уровня с пониманием собственного «бедного невежества былого»…

Оказалось, что через два, три, четыре года про фильм не забыли, его продолжают цитировать. В воздухе что-то ощутимо менялось. И отношение к фильму со временем стало дрейфовать в диаметрально противоположную, позитивную сторону. ЕЕ – больше не нафталиновый персонаж из прошлого. Его смерть – как это часто случается в России – сотворила еще большую метаморфозу: он снова стал великим национальным поэтом.

Все эти годы за мной оставался долг. Еще в 2012-м я пообещала СВ, что из записанного материала мы с ним сделаем книгу. Но сначала за нее было больно браться, потом внутренний ресурс был исчерпан… Теперь, когда наконец дело сделано, вместо привкуса горечи есть понимание причастности к большому и нет ничего, кроме благодарности СВ и ЕЕ за мудрость и опыт.

«Что вас всегда утешает?» – «Понимание единственности жизни, Аня». Запомнила этот вздох ЕЕ. И еще запомнила, каким будничным был последний момент… После финальной съемки я помогла поэту зачехлить экзотический пиджак, упаковать реквизит – книжки, разложенные на столе, собрать его маленькую тряпичную сумочку, с содержимым которой я была хорошо знакома: пластмассовая тонкая расческа, капли в уши,

перевязочные материалы… Он всё это небрежно сгреб, перевесил сумку через плечо, как-то спешно попрощался – торопился на лекцию, был его понедельник – и вышел, опираясь на трость, за дверь. «Пока!»

И вот по мере удаления ЕЕ от меня во времени глубина резкости того кадра, оставшегося лишь в памяти, всё возрастает… убеждая в одном: жизнь – все-таки удивительное собрание заблуждений.

Соломон Волков
Диалоги с Евгением Евтушенко

Пролог. Встреча

Волков: Евгений Александрович, вы знаете, сколько у меня книг с вашими автографами? Больше двадцати. Вы когда-то за один присест их все надписали жене моей Марианне, когда она вас фотографировала. Она мне рассказывала, что вы ставили разные даты и приговаривали: мы запутаем КГБ.

Евтушенко: «Волковым от Ягнешёнка!»

Волков: От Ягнешенко.

Евтушенко: От Ягнешенко?! Как хорошо придумал, смотрите!

Волков: Это потому, что вы тут такой на фотографии… умильный.

Евтушенко: Ничего себе умильный! Хитрован просто. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать…» Замечательно, а?

Волков: Я к разговору нашему сегодняшнему готовился лет тридцать, не меньше. Потому что вы для меня с юных лет, как для очень-очень многих, были символом. Мы ловили каждое ваше слово, каждое новое стихотворение. Эти стихи и на мое поколение, и на людей старших, и на людей, которые за нами пришли, оказали невероятное влияние. Одно из моих любимых стихотворений – «Не надо». Я до сих пор не понимаю, как его не положили на музыку. Великий жестокий романс, правда? Я, когда читаю, всегда его под какую-то внутреннюю музыку проговариваю, в виде какой-то такой мелодекламации.

Евтушенко: Действительно странно. Может быть, потому, что оно написано очень длинной строкой…

Волков: А там есть синкопирующий джазовый ритм, который очень хорошо бы лег на квазиджазовую мелодию. И потом, конечно, стихи, которые вся страна повторяет, – «Бабий Яр», «Наследники Сталина». Наше мировоззрение воспитывалось на ваших стихах. Но для меня в первую очередь важно, что ваши стихи формировали поведенческую модель. То есть мы учились не только каким-то гражданским позициям, отнюдь. По вашим стихам мы учились, как любить, как разговаривать с любимыми, с женщинами. И поэтому мне – и, думаю, не только мне – было бы страшно интересно, вместе с вами пройти по эпохе, свидетелем которой вы были и которая так отразилась в ваших произведениях.

Евтушенко: Давайте попробуем, попробуем…

Вы знаете, что вспоминается сейчас сразу, раз вы заговорили об этом? История, которую, по-моему, я никому не рассказывал. Никогда, во всяком случае, не записал. У меня было стихотворение, не из самых ранних, не детских, конечно, потому

что были пре-самые ранние, я бы сказал. Вот это стихотворение:

«Видишь,
небо какое синее?
Слышишь,
птицы какие в лесу?
Ну так что же ты?
Ну?
Неси меня!»
А куда я тебя понесу?…[2]

Это было одно из моих первых любовных увлечений. Но тогда молодому человеку оказаться наедине с девушкой было очень трудно, мы же жили почти все в коммунальных квартирах. И вот прошло много лет уже, я выступал в Японии, в Киото, с молодыми поэтами. И они сказали мне: «Вы знаете, мы хотим вам почитать ваши стихи по-японски». Вы угадаете какие или нет?

Волков: Ничего себе шарада…

Евтушенко: Представьте себе, я угадал одно из стихотворений. Вот как раз это. Я понял, что по интонации может быть только оно: «„Ну так что же ты? / Ну? / Неси меня!“ / А куда я тебя понесу?…» Я говорю: «А почему?» – «А это стихотворение очень нравится молодым ребятам, особенно семнадцати-восемнадцатилетним. Потому что, вы знаете, – говорит, – у нас очень большая квартирная проблема». Поразительно, да?

Волков: Вот как всё аукается и через времена, и через континенты.

Ранний Евтушенко

Так как же вас зовут? Где и когда вы родились?

Волков: Мы открываем вашу официальную биографию, и там в первой строчке заявлены три вещи: поэт Евтушенко родился на станции Зима в 1933 году. Но мы-то с вами понимаем, что, во-первых, вы не родились с фамилией Евтушенко. Во-вторых, родились не на станции Зима, а в Нижнеудинске и настоящая дата вашего рождения на год раньше. До сих пор, между прочим, не все об этом знают.

Евтушенко: Ну, давайте разберемся. Первое – рождение.

Станция Зима – это то место, куда отправили на поселение когда-то моих предков в конце XIX века. Мой предок – Иосиф Байковский. Он был польским обедневшим шляхтичем, человеком весьма прогрессивных, демократических и даже революционных взглядов. Вроде бы крепостное право было уже отменено, но оно в каких-то формах сохранялось. Иосиф Байковский работал управляющим имения. Помещик в том имении был ужасный совершенно, он жестоко поступал с крестьянами, даже использовал право первой ночи. Байковский выкупил у него крестьянку украинскую, женился на ней. Потом помещик продолжал преследовать крестьянок, была история с сестрой жены Байковского и другими девушками. И мой предок возглавил восстание крестьян.

Волков: Необычная ситуация.

Евтушенко: Они пустили красного петуха подожгли помещичий дом. И после этого деревню эту просто стерли с лица земли.

Волков: Прислали карателей?

Евтушенко: Да. И не просто стерли с лица земли – даже из ведомостей деревня исчезла, чтоб памяти о ней не осталось. Я даже не знаю, как она называлась, знаю лишь, что это было на Житомирщине. И отправили всех в Сибирь. Примерно тысяч за восемь километров. Только стариков и детей сажали на телеги, а все остальные шли пешком и в кандалах. Моему, кстати, прапрапрадеду не собирались надевать кандалы – он все-таки был дворянином. Ну, так… решили сделать поблажку. А он потребовал, чтоб надели. Потому что хотел наравне с другими страдать.

Волков: Сцена из Достоевского, да?

Евтушенко: Да. На поселение Зимаони и были сосланы. Там много и поляков, и разных других сосланных. Между прочим, была у нас и синагога небольшая, и костел был, и кладбище. Даже, в общем, какие-то сословные были перегородки.

Вообще название Зима происходит от бурятского слова «зэмэ». Слово это означает, если перевести, «вина».

Волков: «Вина» как чувство вины?

Евтушенко: Да, вины как виноватости. Потому что жили там виноватые, осужденные. Если точно говорить, то это станция Вина. Они были виноватые без вины.

Волков: Поскольку сосланные, да…

Евтушенко: Так что название происходит не от слова «зима», это уже просто переделали, как понятнее…

Волков: Получилось красиво.

Евтушенко: Получилось очень красиво. И первый, кто написал стихи о станции Зима, говорят, был Дмитрий Кедрин – замечательный поэт, которого я знал наизусть.

Волков: Вы его не встречали, Кедрина?

Евтушенко: Ну как я его мог встретить, когда он был выброшен из электрички в сталинское время после того, как его вызвали на допрос[3].

Говорят, что где-то есть в Сибири
Маленькая станция Зима.
Там сугробы метра в три-четыре,
Там не затихает тишина…

Чудные строчки, не правда ли?

Еще Иван Шмелев написал очень интересную историю – там же в Гражданскую войну было страшное кровопролитие. Потому что через станцию Зима – через деповский такой центр – проходили все разные эшелоны: красные, белые…

Мой папа построил там дом, который сохранился, в общем-то. Когда пришла пора меня рожать, на станции Зима закрыли родильную. А в Нижнеудинске был хороший родильный дом, совсем рядом с железнодорожной станцией, прямо напротив. Там я и родился. Пока мама была в родильне, папа мой играл в карты с начальником станции – бывшим колчаковским офицером. Тот проигрывал деньги, и деньги эти были у него не свои. Папа мой сказал тогда: «Давайте так: скажите мне просто, сколько тут казенных денег, и я вам их верну». Тот говорит: «Я – офицер, это против офицерской чести». И в это время закричала, как мне папа рассказывал, прибежавшая сиделка: «Александр Рудович! Александр Рудович! У вас сын родился!» Ну, папа предложил

начальнику станции еще раз вернуть деньги, тот опять отказался. И папа тогда сгреб эти деньги в рюкзак и стал переходить улицу. И в этот момент – это было шесть часов утра – раздался деповский гудок и выстрел сзади.

Волков: Это начальник станции покончил с собой?

Евтушенко: Да. Так вот я и родился. Папа рассказал мне эту историю, когда узнал, что я играю в карты. Я потом описал ее в одном рассказе[4]. А папа тогда сказал: «Пожалуйста, никогда не играй на деньги». И очень правильный дал совет. Он сказал: «Понимаешь, мне зверски везло в карты, и, может быть, это тебе передастся». Мне действительно тоже везло в карты. У меня была невероятная интуиция, когда я играл в «очко». Я чувствовал карту, не знаю почему. Вот просто чувствовал карту, и всё! И папа мне сказал: «Если ты будешь играть с порядочными людьми, с друзьями, ты потеряешь этих друзей навсегда. А если будешь играть с подонками, то таким же станешь». Правильно?

Волков: Правильно. У меня тоже была такая ситуация. И близкий друг запретил мне играть.

Евтушенко: Я исполнил отцовский совет, никогда на деньги не играл. И даже когда бывал в казино, так, из любопытства, поставил один раз.

Волков: А вы могли бы стать профессиональным игроком с такими данными, с этой интуицией.

Евтушенко: Нет, это был запрет, для меня слова отца были законом. Как он мне точно всё сформулировал!

Вот, и потом… родился я там. Но меня зарегистрировали…

Волков: В Нижнеудинске?

Евтушенко: Нет, меня зарегистрировали на станции Зима! Ведь там был дом наш родовой! В Нижнеудинск меня просто взяли, чтоб мама родила. И всё.

Волков: Значит, родились на станции Зима?

Евтушенко: Ну, конечно! Это рядом совсем! И меня сразу отвезли на станцию Зима, там я и воспитывался. И когда маме не хватало молока, то даже бурятка была – кормилица со станции Зима, давала одно время молоко свое.

Волков: Теперь понятно. Нижнеудинск мы снимаем тогда из списка вопросов. Теперь насчет фамилии. Ваша фамилия, с которой вы родились, не Евтушенко, а Гангнус. Откуда эта фамилия?

Евтушенко: Сейчас и в этом разберемся. Ничего таинственного в этом нет. Такое происходило со многими людьми того времени.

Фамилия эта от моего дедушки Рудольфа Вильгельмовича Гангнуса, отца моего отца. Он был, как мне говорили, латышом. И

я думал долгое время, что он был латышом! Но фамилия-то у меня все-таки странная была! И что произошло во время войны? У нас была учительница физкультуры, как я ее описал в своей поэме «Мама и нейтронная бомба», похожая на переодетую женщину-хряка. Альбиноска, очень такая мускулистая вся. Она вызвала Колю Корякина, моего кореша самого большого на станции Зима, и сказала ему: «Вот сейчас твой отец воюет… Может быть, его убивают в этот момент такие же гансы гнусавые – то есть гангнусы, – она так мою фамилию переиначила. Это же фриц! Тайный фриц!» И Коля мне, конечно, рассказал об этом. Бабушка моя Мария Иосифовна взяла тогда скалку и пошла к учительнице. Та сидела под портретом не то Маркса, не то Энгельса. И бабушка сказала: «Вот Маркс или Энгельс – они что, узбеки, что ли, были? Как ты вообще можешь такие вещи говорить?» Ну, та и притихла.

Волков: Акогда же вы решили, что надо менять фамилию?

Евтушенко: Не я решил, бабушка решила[5]! Она сказала: «Тебя там могут затравить! Еще мало ли какие люди тебе попадутся в жизни!» И поменяла мне фамилию на Евтушенко. На материнскую.

Волков: А вы помните вообще эту ситуацию? Вы откликались ведь на Гангнуса? Как к вам обращались?

Евтушенко: Да не знаю, меня Женькой звали, да и всё!

Волков: А с вами это как-то обсуждалось? Советовались?

Евтушенко: Нет. Она же сказала мне, что недобрые люди будут попрекать… Она сказала: «Ты же латыш! Но не объяснишь всем…» Мне в голову не приходило, что у меня может быть немецкая кровь. Но самое поразительное, что эта училка как в воду глядела. Потому что потом я всё потихонечку узнал. Мне никто не говорил про немецкое происхождение нашей семьи.

Волков: Вот теперь ясно и с этим. А дата рождения? 1932 или 1933 год?

Евтушенко: А, тут просто получилось. В 1944 году мама уезжала на фронт и хотела оставить меня в Москве, уже Москва не была под угрозой бомбежек. Но туда пускали по пропускам, был какой-то статус возрастной. И я уже должен был запрашивать специальное разрешение, а его было не так легко получить. И бабушка просто поменяла мне год рождения. Подумаешь, ну чего это стоило?! Станция Зима – крошка, сколько там, пятнадцать-двадцать тысяч жителей было? Хотя, между прочим, станция Зима – что делает ей честь – приняла больше эвакуированных, чем населения. И подняли всех. И особенно ленинградцев, которые приезжали совершенно оголодавшие. У нас, слава богу, все-таки такого голода не было.

Волков: То есть бабушка из Гангнуса сделала Евтушенко и омолодила вас на год.

Евтушенко: И это было мудрое решение. Потому что быть русским поэтом с фамилией Гангнус было бы значительно труднее. Я это понимаю.

Волков: И со станцией Зима получилось тоже. Гораздо поэтичнее и возвышеннее название «станция Зима», чем «Нижнеудинск», который еще и на слух звучит – «Иудинск».

Евтушенко: Ну да, бабушка как-то всё подкрасивила. Беда наша, что у нас люди до сих пор, бывает, реагируют как-то… недостойно на не совсем русские фамилии. Это болезнь просто, я бы сказал…

Дедушки и их дружба

Волков: Евгений Саныч, меня очень интересует первый московский период вашей жизни до того времени, как вы эвакуировались на станцию Зима – туда, где вы родились. Потому что вы об этом времени как-то не очень охотно, как мне кажется, вспоминаете. Меня это удивляет – почему? Какие ваши самые первые вообще воспоминания? Когда вы стали осознавать мир, в каком возрасте?

Евтушенко: У меня память начинается с моих дедушек. Я помнил обоих дедушек, которых арестовали[6]. Они, кстати, дружили.

Итак, отец моего отца Рудольф Вильгельмович Гангнус был латышом. Это так я знал! Потому что он приехал из Латвии. Его арестовали в тридцать восьмом году. За шпионаж в пользу Латвии. Тетя моя Ира в конце концов мне первая потихоньку рассказала, что, оказывается, ветвь моя со стороны дедушки Рудольфа Вильгельмовича немецкая. Гангнус – редкая фамилия, между прочим. Очень редкая! Вот сейчас, насколько мне известно, одна ветвь Гангнусов все-таки осталась в Риге, и еще есть в Австрии. Так вот в Германии была эпидемия холеры, и умер мой прадед Гангнус. Его жена с восемью детьми решила переселиться в Латвию, это была часть Российской империи.

Волков: Из Австрии в Латвию?

Евтушенко: Из Австрии в Латвию. Они построили себе там деревню. Стали стеклодувами – у меня есть дома реликвия нашей фамилии, их произведение потрясающее.

Волков: Шар?

Евтушенко: Шар, да. Все любуются, сейчас он в музее стоит в моем, который открыт в Переделкине. Потом сыновья стали жениться на латышках в основном, на шведках… Вот таким

образом дедушка мой оказался в Латвии. У него был латышский паспорт, поэтому он и считался латышом.

Второй мой дедушка был Ермолай Наумович Евтушенко. Он, правда, был в разводе с бабушкой, маминой мамой, но он приезжал к нам – навещал дочку. Меня очень любил. И дружил с другим моим дедушкой – Рудольфом Вильгельмовичем. Ермолай Наумович был чапаевского склада человек: он был деревенский, из белорусского села – дед даже не помнил его названия. Мама не помнила тоже, а как она могла помнить – она не была там никогда. Это я потом нашел это село, и она вспомнила чудом название – Хомичи. Сейчас это Калинковичский район Гомельской области. И я туда полетел, это тоже было совершенное открытие.

Я въехал в деревню, где все двери были не на замке – и никого не было в домах! Какой-то старик подошел, я его спрашиваю: «А где все люди?» – «Так а уси на поле!» Все картошку копали. И я увидел – это тоже чудо какое-то, – как ползающие, еще не умеющие ходить младенцы уже ползали с пользой: они выкапывали картошку. Выкапывали! А старушки за ними наблюдали – там в основном жили уже только старики, молодежь вся оттягивалась в города. И меня как что-то толкнуло, я спросил: «Из рода Евтушенко кто есть?» А у деда Ермолая две сестры было. Старик говорит: «А вот Ганна и Йова такие есть». И я подошел к одной из старух. Почему я подошел именно к ней, можно это объяснить? Нет! Там было много старух. Я подошел к ней и спросил: «Скажите, а где здесь мне найти Ганну или Йову?» – «Ну я буду Ганна, – сказала она, вытирая руки. – А ты хто?» – «А я ваш внук Женя», – я сказал. И тогда она: «А ты ж с голоду не змер во время войны?» Я говорю: «Нет, вот я перед вами». И она закричала на все поле: «Хосподи! Кровиночка наша знайшлася!» И отовсюду поползли вот эти детишки, вот эти младенцы, старухи какие-то…

В деревне этой многие были Евтушенки. Ганна была партизанской связной. Про своего брата она знала только, что его увезли как врага народа. У него было два ромба – комбриг. Ермолай Наумыч был героем Первой мировой войны: дважды или трижды георгиевский кавалер, был в немецком плену, бежал. И потом присоединился к большевикам, которые обещали землю крестьянам, поэтому он поддерживал их.

И при этом два моих деда – дружили! Хотя что странного? Многие люди, не соответствующие друг другу по образованию, могут дружить.

И их арестовали одновременно. Одновременно! Вот вы меня спрашиваете о моем самом большом впечатлении детском – так

это разговоры моих дедушек. Но я, разумеется, тогда не понимал просто, о чем они говорили. Сейчас я бы дорого дал, чтобы это узнать. Потому что я помню их именно с тридцать шестого – тридцать седьмого года. Представляете, о чем они говорили?!

У нас была комната в коммуналке, они съезжались обычно в воскресенье – тогда нерабочий день был только воскресенье, – встречались у нас, на 4-й Мещанской[7], хотя у них были отдельные квартиры. Дедушка Ермолай привозил четвертинку водки, пил сам, потому что дедушка Рудольф Вильгельмович не пил водки никогда, потом плясал обязательно или пел какую-нибудь песню, а потом его укладывали баиньки и за ним приходила «эмка». Утром. И увозила. И вот однажды за ним пришла «эмка» но уже с сопровождением, и его арестовали.

Волков: Прямо от вас? От вас его арестовали?

Евтушенко: Да-да, прямо от меня. А другого дедушку тоже арестовали…

Волков: И тоже?

Евтушенко: Да, его тоже от нас арестовали. Он тоже у нас ночевал обычно.

Няня Нюра

Евтушенко: Есть прекрасное выражение – неявленные святые. Выражение народное. Это не блаженные, это действительно неявленные святые. Они не могут поступить плохо, не могут поступить жестоко, не могут предать. Они не делают себе сами запретов, это в них заложено уже просто.

Я никогда не забуду мою няню Нюру, которая меня воспитывала, которая меня так любила – и все-таки уехала. Уехала, зная, что я отправляюсь в эвакуацию, в безопасное место, а у нее сестра больна. Поехала в Тулу, к себе. И вы знаете, что она сделала? Когда я вернулся, я ездил к ней – она жила в Тепло-Огаревском районе, это недалеко от Ясной Поляны. У них церковь была превращена в овощехранилище, как во многих местах. Няня Нюра спасла все иконы из церкви и устроила у себя дома молельную, куда люди могли приходить молиться. И, насколько она знала, что-то даже вроде свадеб там проводила. Ее могли посадить за это! А потом эти иконы вернулись все в церковь. И все теперь говорят: «Это Нюрин храм» – про эту церковь, которая осталась навсегда. Вот это моя няня. Она была такой всегда. Она как бы в ранге святой осталась.

Вот вы спрашивали у меня про Москву предвоенную. В тридцать седьмом, тридцать шестом в городе появились толпы девочек. Это когда семьи раскулачивали, просто хороших хозяев,

то они, раскулаченные, своих младшеньких отправляли в Москву. Ну чтоб хоть кто-то бы спасся. Потому что девчонок с удовольствием брали в семьи. Вот так Нюра попала к нам. Прямо босая пришла.

Для меня она была одной из самых важных воспитательниц – у нее было абсолютное чутье на плохое. Она не читала никаких книг, но у нее было откуда-то невероятное чувство правды, совестливости. Не способна она была совершить какой-то плохой поступок. И такие люди правды попадались очень часто мне в жизни.

Волков: Повезло вам.

Ложный развод родителей

Евтушенко: Вокруг было очень много разводов. Это я помню, разводились все время. Я, правда, не чувствовал развода своих родителей как какую-то трагедию, потому что папа ко мне приходил, стихи мои смотрел, говорил и поправлял что-то. Но я написал, например, такой стишок про разводы:

Был бы я моей женой,
Не развелся бы со мной.

Это папе моему дико понравилось. Он всем читал на работе. «Мне никто не верит, что это ты написал», говорил.

В 1944 году мама моя выступала на фронте. Она же была актрисой театра Станиславского и Немировича-Данченко. Она не была знаменитой певицей, но голос у нее хороший был. Ну, и это мама моя была. У моей мамы не может быть плохого голоса!

Волков: Не может быть плохого голоса у мамы, это правильно.

Евтушенко: Я любил, как она поет. Она пела все военные песни. Выступала с концертными бригадами. Она уже в 1941 году – пока мы еще были в Москве, я же эвакуировался позже – выступала вместе с Симоновым, Маргаритой Алигер, с Фадеевым в одной концертной бригаде – иногда и под дождем. Уж если бы она совсем плохо пела, не взяли бы ее в такую бригаду. Мама молодая была, очень красивая. А то, что они развелись с папой, – это неправда. В некоторых моих биографиях появляется, что они развелись в связи с арестами родственников. Но никакого политического значения не было.

Волков: Кто кого бросил?

Евтушенко: Да никто никого не бросил! Папа и разводиться-

то не хотел. Самое поразительное, что, как я узнал много позже, он и не развелся с мамой. Это узнала Маша, моя жена, мама перед смертью ей рассказала. «Если б, – говорит, – я была бы плохой женщиной, я бы, конечно, Сашку упечь могла как многоженца. Но мне его жалко было, все-таки он был хороший мужик».

Знаете, ничего там серьезного у него не было, папа не хотел ее бросать, он очень любил меня. Однажды он ехал в командировку в Ленинград, купил одной женщине чулки – только появились чулки особые. Это было шиком – шелковые чулки. И тогда дарили чулки. И мама случайно, собирая папу, вовсе не шпионя, просто упаковывая вещи в дорогу, нашла у него эти чулки, явно ей не предназначавшиеся. И всё! Показала ему на дверь. Я-то был уверен, что они развелись. Так что он женился, не будучи разведенным.

Волков: Будучи многоженцем!

Евтушенко: Да нужно было забыть это просто! Устыдить его, и всё! Но мама… Папа говорил, что он делал всё, что мог, но ничего не помогло, она стояла на своем. Не могла простить. Вот такая была мама. Но она сделала великий шаг, самое лучшее, что могла сделать. Она сказала: «Дом наш будет всегда для тебя открыт. Женя стал писать стихи, ты ему привил любовь к поэзии. И я бы хотела, чтобы ты продолжал ему помогать, воспитывать его». Ведь папа писал очень неплохие стихи.

Волков: Да? Прочтите!

Евтушенко: Знаете, у него есть одно четверостишие просто поразительное. Ему семнадцать лет было.

Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то.
Но звезды слишком высоки,
И высока за звезды плата.
Замечательные стихи!

Волков: Прекрасные.

Отец и первые стихи

Евтушенко: Первые стихи… В этом огромную роль сыграл мой папа.

Это он меня научил любить стихи, он замечательно их читал.

Волков: Вот о папе я хотел задать вопрос. Для вас отец был авторитетом?

Евтушенко: Но и мама тоже. Я видел слабости отца.

Волков: Отец вас как бы подготовил к тому, чтобы быть поэтом, да? А ведь даже с этим проблематично в большинстве семей. Меня окружают в Нью-Йорке русские семьи, где родители гуманитарии, но дети не хотят ничего этого – ни стихов читать, ни прозы. Они успешно занимаются своими делами, хорошие компьютерщики, а в доме ни одной книги.

И никакие родительские увещевания на них не действуют, они этого просто не понимают. Они считают – ну как всегда в таких случаях, – что родители безнадежно устарели, ничего не понимают в современной жизни. Наверное, так оно и есть частично.

А вы, Евгений Саныч, когда вы начали писать стихи? Вы этот момент помните, когда решили, что можете сочинять в рифму?

Евтушенко: Помню, потому что папа мне читал стихи. Он читал мне свои стихи, он всего Гумилева на память знал. Гумилев, кстати, не был запрещен. Его можно было купить в букинистических магазинах, я потом покупал, и даже незадорого. Его не запрещали, как ни странно, его просто не переиздавали. Последнее издание его было в советское время – это антология Ежова и Шамурина 1925 года[8]. Она попала мне в руки через поэта Сергея Наровчатова. Я упросил его отдать. Он взял с меня деньги, правда, потому что был тогда не совсем уж богатый человек. Что заплатил за нее в букинистическом, то с меня и спросил. Там, в этой антологии, была и Цветаева, там был Георгий Адамович, там был Ходасевич, его потрясающее стихотворение «Обезьяна» – о сербе с обезьяной, которая, как магараджа, сидела у него на плече. Там были многие имена, которые я просто не слышал.

Волков: Да, это превосходная антология. Для своего времени лучшая – до того момента, как вышла ваша антология «Строфы века».

Евтушенко: Мы как раз об этом говорили с Георгием Викторовичем Адамовичем, когда встретились, он был необычайно удивлен, что я знаю некоторые имена. Он не знал, что была такая антология. Их было мало очень, этих антологий, но они все-таки ходили, хотя их трудно было достать… В общем, папа мне читал стихи, и мне это очень нравилось.

Волков: Ну и как вы переступили эту грань – и сами стали сочинять? С какого времени вы стали записывать стихи?

Евтушенко: Первый раз, когда я написал что-то, это было просто в рифму. Ну, не в рифму, рифмы не было, но нечто ритмическое я записал.

Волков: То есть вы научились читать и писать где-то в четыре

года?

Евтушенко: Да, в четыре. Да нет, тогда уже мне пять, получается, было. Между четырьмя и пятью. Это тридцать седьмой год.

Я проснулся рано-рано
И стал думать, кем мне быть.
Захотел я быть пиратом,
Грабить корабли.

А, нет, видите, еще и рифма там…

Волков: Что меня, кстати, и поразило. Ведь вы уже ассонансный, просто будущий Евтушенко весь!

Евтушенко: Ну нет, но какое-то подобие – да. Все-таки ритм уже был. И это было очень странное желание для мальчика из детсада, где он пел песни о товарище Сталине. Бабушка Анна Васильевна, мама папина, бывшая воспитательница детдома, сказала: «Боже мой! Какие наклонности у ребенка!» – ну так, с притворным ужасом. Она была женщиной с замечательным чувством юмора.

Волков: А как это стихотворение сохранилось, вот этот стишочек?

Евтушенко: Записано было где-то. Были какие-то тетрадочки, потом как-то начали теряться. Кто-то растаскивал, мы туда-сюда переезжали… Когда я нашел сохранившиеся, то часть отдал в Стэнфордский университет, и что-то еще осталось у меня дома. И когда мы издавали первый том моего собрания сочинений, я попросил сына Женю просто переписать эти детские стихи своей рукой. Это не была подделка, просто у меня очень плохой почерк был.

Волков: По-моему, он и остался таким.

Евтушенко: Да, у меня почерк так и остался трудночитаемый. Потом я стал писать стихи все время. Они просто из меня полились рекой.

Волков: А когда вы захотели стихи напечатать в первый раз? Когда вообще вас посетила мысль, что стихи можно печатать?

Евтушенко: Посетила рано, поэтому и писал. Уверен был, что всё это пригодится. Давайте я вам прочту что-нибудь из первых стихов, включенных в большую книгу, – тяжелая, между прочим, книжка – «Весь Евтушенко», хотя в ней всего тридцать процентов из того, что я напечатал. Видите, сколько у меня хлама, отсеянного мною самим! Вот эти, например, фрагментики.

Волков: Они так и записывались как фрагменты?

Евтушенко: Нет, были и длинные стихи. Я просто для книги

выбирал четверостишия.

Захворал воробушек,
воробушек-хворобушек.
Ранен был он гадкой,
знать бы чьей рогаткой.
Чистит перышки свои —
выпал камушек в крови…

Волков: Сколько вам было лет?

Евтушенко: Этотридцать девятый год, значит, мне было семь лет, и тут уже метафора есть.

Вот еще:

Бабушка, бабушка,
дай мне два оладушка.
Поскорее один съем,
чтоб исчез во мне совсем,
а другой я отнесу
белке рыженькой в лесу.

Тоже тридцать девятый. И вот то, что нравилось всем:

Почему такая стужа?
Почему дышу с трудом?
Потому что тетя Лужа
стала толстым дядей Льдом.

Я вообще любил очень слова просто придумывать.

Волков: Так это уже и политические стихи, «гражданские».

Евтушенко: Вы это насчет «захворал воробушек»? Видно, я что-то чувствовал. Все-таки тридцать девятый год, уже дедушек посадили. И кто знает, может, этим воробушком-хворобушком я сам себя чувствовал…

А это уже на станции Зима я писал:

Чеснок, чесночок,
дай свой беленький бочок.
У тебя, голубчика,
сто четыре зубчика.
И хотя мне рано в бой,
буду пахнуть я тобой.

Буду пахнуть за Урал,
чтоб ты Гитлера пробрал!

Волков: Двенадцатьлет?

Евтушенко: Да. Мы сидели на завалинках с бабками, пели с ними. Да какие бабки?! Там были молодки в основном. Мы с ними и танцевали, и пели. Они частушки сочиняли, я видел, как эти частушки рождаются. Они меня просили иногда помочь им, рифмочку подобрать…

А вот это я выбрал из большого стихотворения. Остальное в нем было не так интересно, а вот строфа хорошая попалась. Я не выдерживал иногда больших стихов… Это почти взрослые стихи:

На войне не надо плакать.
На войне во все века
так черства у хлеба мякоть,
а земля могил мягка.

Я просто поражаюсь, как я это написал.

Волков: Это уже настоящий Евтушенко, правда?

Евтушенко: Сорок пятый год это. А вот следующее, когда… точно – когда в Будапеште наш парламентер шел с белым флагом и его убили. И это было длинное стихотворение. Я оставил это, потому что папа мне сказал.

Огромный город помрачнел.
Там затаился враг.
Цветком нечаянным белел
парламентерский флаг.

«Вот, Женька, – говорит, – „нечаянным“ – это и есть поэзия».

У папы была знаменитая среди его друзей поэма «Принц Оранский». Она начиналась:

Ночь пахнет пытками, попами и вином.
Еще поют еретикам канон.
После пирушки холостой рыгая
Святой отец лежит на ризах ниц.
Еще угрюмо и замедленно моргая
Подъемными мостами тяжких век,
Шестнадцатый на мир взирает век.
Он начинался. Перья синей цапли

На серых шляпах мерили толпу.
Достаточно одной свинцовой капли,
Чтоб на нее ответил ветер пуль…

Мне безумно это нравилось. Я говорю: «А как же у тебя рифма тут в середине?» – «Это внутренняя рифма», – сказал он. «Ответил ветер пуль…» Здорово было, очень красиво было.

Кстати, он однажды пророчески предсказал одну вещь в своих стихах. У него было стихотворение «Баллада о городах». Там был эпиграф из Киплинга.

Волков: Киплинг был его любимым поэтом?

Евтушенко: Да. «После прерии бесконечной / Королевский кофе я пью» – такой эпиграф. «Папа, – я говорю, – а где у Киплинга эта цитата?» – «Ну, уж не помню!» – он сказал. Вот так же Шкловского однажды я спросил: «Скажите, пожалуйста, а где вы процитировали однажды замечательное из Карлейля якобы?» А Шкловский – он любил импровизировать – сказал: «Настоящий большой художник как Самсон: уносит на себе ворота, которыми его хотят запереть». Я спросил: «Откуда это?» Он сказал: «Ну, какая вам разница?» Вот так и папа говорил. Не знаю, может, он придумал этот самый эпиграф. Я Киплинга прочитал всего – ну ничего похожего нигде не нашел! А стихи папины были такие:

Там, где желтою зыбью текут пески,
Там, где бьет о берег вода,
На высоких и низких обрывах реки
Они стоят – города.
Мой конь не раз копытом стучал
По каменной их груди,
И каждый город меня встречал,
Каждый дом меня звал: «Войди…»

Я даже повторяю жест своего отца сейчас!

И в самый приветливый я входил
На закате синего дня,
Я женщин порой некрасивых любил,
И они любили меня.
И в каждом городе – везде
Помнят бег моего коня,
И есть дом, есть окно и весенний день,
Ожидающие меня.
Когда же стянется сизый дым

Моих костров к берегам,
Ты, наверно, пойдешь, мой старший сын,
По моим неостывшим следам.
И я знаю, что там, на склоне реки,
Где ты будешь поить коня,
По походке твоей, по движенью руки
Узнают и вспомнят меня.

И что же? Так и произошло.

Мы проезжали с друзьями по Байкалу. Был дикий проливной дождь, мы замерзли страшно. И выпить хотелось, а на борту у нас уже ничего не было. И вот мы увидели, как будто хрустальный дворец вырос на берегу. И какие-то звуки музыки оттуда… Кафе придорожное. Мы вошли – нас не пускают: «Уже все закрывается! Че вы вперлись!» – мы же в сапогах грязных, с пудовой грязью с такой. На бога Саваофа похожие. И вдруг мой товарищ Лёня Шинкарев говорит им: «Вот у вас сейчас играет песня „Не спеши“, а это и есть автор песни». – «Да ну! А „Бухенвальдский набат“ случа́ем не ты написал?» Я сказал: «Это – нет!»

Все-таки нас пропустили. Как я писал потом в поэме «Мама и нейтронная бомба», «мы вошли как домушники в зал». В носках – потому что оставить пришлось за порогом наши резиновые сапоги с грязью пудовой.

Мы вошли, но там уже все закрывалось. Нам сказали: «Вон с буфетчицей говорите!» Я подошел к стойке – меня делегировали, – там стояла такая грудастая, очень милая женщина. Я, вот не поверите, вдруг папу вспомнил. Ну, что-то передается – жестикуляция невольно… Папа, когда был в чем-то виноват, – а он всегда был немножко в чем-то виноват, хотя еще любил маму, – то он, когда оправдывался, как-то потирал рукой лицо, мучил лицо. И я тоже так как-то подставил руку к лицу, помню, и говорю буфетчице: «Видите ли, мы тут простыли, замерзли, все продрогли насквозь…» И вдруг она смотрит-смотрит на меня: «Слушай, а твой папа не Александр Рудольфыч?» Это сколько лет прошло! Это был уже восьмидесятый год, если не ошибаюсь, когда я оказался на Байкале. А она сразу: «Папа твой не Александр Рудольфыч?» Я говорю: «Ну, Александр Рудольфович. При чем тут мой папа?» – «А ты-то кто будешь? А маму твою как звать? Не Зина?» – «Да, Зина». – «А ты, значит, Женя?! Ой, да чё ж мы тут?» Повела нас всех к себе домой. Потом рассказала, что была поварихой в экспедиции, где мама с папой работали. И папа мой был влюблен, с мамой у них какие-то были сложные отношения, а эта женщина

им письма носила из палатки в палатку. И наверняка сама была влюблена в моего папу.

Волков: Ну конечно.

Евтушенко: Это же невероятно, это же бывают сказочные совершенно события! И вот я, когда читаю стихи сам, я слышу – как чревовещатель, что ли, слышит – какой-то внутренний голос. Я улавливаю, что это из меня папа читает стихи! Слава богу, у меня сохранились его магнитофонные записи.

Волков: Когда-нибудь надо выпустить их на диске. Или с вашим чтением.

Евтушенко: Вы правы, нужно обязательно. Он замечательно читал стихи. И не только свои стихи, конечно.

Волков: Ваш отец – поэт как бы гумилевско-тихоновской традиции.

Евтушенко: Совершенно верно, да. Тихонов, Гумилев и Киплинг. Это всё соединяется у него в одно. Вот так же он привез мне во время войны стихи Симонова, переписанные им.

Волков: А Симонов ранний к этой же группе относится.

Евтушенко: Безусловно – да.

Довоенная Москва

Волков: А какой вам запомнилась довоенная Москва?

Евтушенко: Видите ли, я написал лет в двенадцать:

Человек один – росинка,
а народ, он – как Байкал.
Не разбей меня, Россия,
у своих сибирских скал!

Это я уже в Москве был в тот момент, но впечатление от станции Зима у меня было огромное. Учтите, что меня перевезли в Москву совсем маленького и для меня Сибирь, хотя и была моей родиной, оказалась какой-то экзотикой, когда я очутился там опять. Это совсем другая жизнь была, совсем другие люди.

Волков: И все-таки почему вы довоенную Москву, в общем, избегаете? У вас воспоминаний о ней нет.

Евтушенко: Я не избегаю. Но как вам сказать… Ну вот, например, когда я вернулся из эвакуации в Москву, мне один парень сказал: «Слушай, чё ты дружишь с этим жидом?» Я говорю: «А что такое жид?» Я не слышал на станции Зима слова «жид». Не слышал никогда, ни от кого. Только в Москве я это услышал, увы. Впервые. В школе. Это был шок.

Но вообще-то я ходил в театры, например, уже.

Волков: Какие?

Евтушенко: Я видел спектакль с Валентиной Сперантовой в Театре юного зрителя, где она играла девочку Герду. Очень хороший спектакль. Потом – мама работала тогда в театре Станиславского и Немировича-Данченко, и я ходил на какие-то спектакли… Это было всё до войны.

Волков: А челюскинцев вы помните? Полярные эпопеи?

Евтушенко: Я видел их в кино только. Все эти листовки с неба, встреча героев – я этого не видел. Я единственное куда ходил, так это на демонстрации с мамой, она меня брала всегда, когда они с театром ходили. Люди пели, плясали, было весело. Что-то такое на Мавзолее стояло, что должно было означать товарища Сталина, как сейчас выясняется, его двойники.

Любимое кино

Волков: А первое кино, которое вы вообще увидели, помните? Какие-то довоенные фильмы на вас производили впечатление?

Евтушенко: Вы знаете, на меня производили очень сильное впечатление фильмы во время войны. Вот довоенного фильма, чтоб мне очень понравился, пожалуй, не было.

Волков: Даже «Чапаев»? Что-нибудь такое?

Евтушенко: Нет, «Чапаева» я видел уже во время войны. Но до войны я не помню ни одного фильма. Вот! Помню один фильм, который меня поразил, – «Если завтра война», документальный. А вы его видели?

Волков: Да, он подавался как «документальный». Это 1938 год…

Евтушенко: И вы знаете, что на меня произвело впечатление?

Волков: Победа?

Евтушенко: Да, победа за нами. Разумеется, малой кровью. Но что меня потрясло совершенно: степь, и вдруг земля поднимается – просто земля, – и оттуда высовывается человек с биноклем. Оказывается, в земле как крышка люка канализации, только наверху дерн. И этот человек смотрит в бинокль, военный, наш красноармейский товарищ, потом он спускается по винтовой лестнице, и мы оказываемся в ангаре, где стоят наши «ястребки» и какие-то небольшие самолеты. Дальше, я помню, пересекают какие-то танки нашу территорию, чужие танки, и вдруг из-под земли вылетают эти наши самолеты, и громят их, и бомбят…

Всё оказалось не так, как потом мы выяснили. Нашей авиации запрещено было взлетать, потому что Сталин считал нападение немцев провокацией. И их разбомбили почти всех, почти всю

авиацию на земле.

Волков: Югославский диссидент Милован Джилас был потрясен (он об этом написал в своих воспоминаниях о встречах со Сталиным) тем, как Сталин показывал фильм югославской делегации, вот именно этот – «Если завтра война». Был уже конец настоящей войны, и Сталин после просмотра хладнокровно сказал: «Всё так и получилось, как в этом фильме».

Евтушенко: В конечном счете.

Волков: Это называется «малой кровью»? Двадцать миллионов погибло как минимум. А может, и больше. Много больше!

Евтушенко: Вот эту, пожалуй, единственную предвоенную картину помню. Ну, может быть, «Трактористы»…

Волков: А вы сказали как-то, что были влюблены в актрису Марину Ладынину.

Евтушенко: Это правда, но это, по-моему, было немножко уже позднее. Когда ее фильмы выходили? Я помню фильм «Свинарка и пастух».

Волков: Пырьевский, это 1941 год. А «Трактористы», тоже с Ладыниной, – 1939-й.

Евтушенко: Но вообще я влюбился в кино во время войны. Мы смотрели фильмы на заштопанном-перештопанном экране на станции Зима. И моим любимым фильмом были «Два бойца» с Бернесом и Андреевым. Да и не только моим, всей нашей детворы.

Волков: И песня замечательная, «Темная ночь» Никиты Богословского.

Евтушенко: И знаете, я с трепетом показал этот фильм моим детям. Здесь, в Америке, раньше было легче достать фильмы того времени. Многие эмигранты живут этим, смотрят эти фильмы. И у меня они есть. И «Два бойца» очень понравился моим детям.

Волков: А чем, они не говорили?

Евтушенко: Ну, тронуло их просто. Это были с душой сделанные фильмы. Помню еще такой фильм – «Радуга», тоже о войне. Да много хороших, искренне сделанных фильмов, они меня поражали. Я был прогульщиком, надо сказать, и прогуливал не только потому, что играл в футбол – это тоже было причиной, – но еще и ходил в кино, я был киноман. А потом уже посыпались всякие фильмы, так называемые трофейные – «Индийская гробница»…

Волков: «Джунгли», серия о Тарзане…

Евтушенко: Это всё не так было серьезно. А вот настоящее потрясение от кино я испытал, когда увидел фильмы итальянского неореализма. Это всё наше поколение, мы все воспитанники итальянского кино. Все!

И потом, конечно, чаплинские фильмы. Их покупали, видимо, с пропагандистской точки зрения – показать судьбу маленького человека в странах капитализма. Но наши идеологи забыли об одной вещи: настоящее искусство замечательно тем, что люди начинают себя идентифицировать с персонажами. И когда наши люди, которых товарищ Сталин, думая, что делает им комплимент, назвал винтиками, видели Чарли Чаплина в фильме «Новые времена» – помните, там герой попал внутрь механизма и не мог выбраться, как из какого-то капкана, – я абсолютно убежден, что тогда появлялись какие-то неосознанные, подсознательные ассоциации с самими собой.

Когда я включил в свой фильм «Похороны Сталина» Чарли Чаплина, это не было выдумкой, я действительно видел там, в Москве, в советской толпе человека в гриме Чарли Чаплина. Потому что, когда объявили, что в Колонном зале Дома Союзов будет выставлено для прощания тело Сталина, работа в учреждениях почти прекратилась. И точно так же прекратили репетицию в цирке, и все бросились сначала на Трубную площадь. Там были и лилипуты из цирка, и тот человек в гриме Чарли Чаплина. Так что в моем фильме это был реалистический штрих. Но американцы этого не понимали, потому что для них Чарли Чаплин просто комический актер. А для нас – трагический! Мы его жалели, любили – видимо, у многих людей, повторяю, он вызывал неосознанные ассоциации с собственной жизнью. То же самое происходило во время таких фильмов, как «Рим – открытый город» Роберто Росселлини. В 1948 году уже показывали эти фильмы.

Волков: «Похитители велосипедов» Витторио де Сики…

Евтушенко: «Похитители велосипедов», конечно. Великий фильм! Самый великий фильм, который я видел. А «Чапаева» я смотрел уже после войны. Что меня поразило – это как замечательно Чирков дает реплику: «Белые приходят – грабят, красные – грабят…» Я даже у папы переспрашивал, правильно ли я запомнил. «Правильно, правильно. Ты смышленый мальчик».

Папа мне сказал однажды то, что я вообще не должен был никому говорить: «Ты понимаешь, Женька, у нас, говоря между нами, – это он мне сказал „между нами“, – социализма-то настоящего нет. У нас просто было много капиталистов разных, а теперь стал один – государство. Так что у нас на самом деле-то государственный капитализм. Ты подумай об этом сам». Это я запомнил. Навсегда. Но какой-то инстинкт самосохранения, который у нас у всех был, конечно, не позволял мне это говорить на каждом перекрестке и с кем угодно.

Пленные немцы

Евтушенко: Мы жили в Москве на 4-й Мещанской – папа, мама и я. В маленьком домике двухэтажном. Выходила эта улочка прямо к кинотеатру «Форум», откуда я видел, как вели немцев. Пленных немцев. Плененных под Сталинградом. Это одно из сильнейших воспоминаний моего уже послевоенного детства. Нет, военного, в 1944 году я это видел.

Русских женщин отделили барьером – очевидно, боялись, что они набросятся, разорвут в клочья всех этих фашистов.

Всё случилось по-другому. Сначала шли генералы, офицеры, – я в первый раз видел монокли, – гордо вышагивали так впереди. А потом шли солдатики. В очень неприглядном виде, в обмотках каких-то, в тряпье, хромали, опираясь друг на друга, на костылях некоторые ковыляли.

И вот тогда женщины прорвали оцепление, и показалось, что сейчас будет избиение. Ан нет. Сработала сердобольность. Они увидели, наверное, своих мужей, братьев, детей, которые где-то на фронте. Они вынимали какие-то свои пайки и совали немцам в руки.

Волков: Очень трогательно…

Евтушенко: Меня это потрясло, я навсегда это запомнил. И знаете что? Я считаю такую сердобольность самым ценным качеством народным. Это великое русское качество, его нельзя терять!

«А товарищ Жданов списал…»

Евтушенко: Приехал к нам в школу человек из райкома комсомола и стал проводить беседу. Об Анне Ахматовой, о Зощенко, о постановлениях… И я тогда поднял руку…

Волков: Вам четырнадцать лет.

Евтушенко: И сказал: «Я бы хотел товарищу Сталину письмо написать. Скажите, пожалуйста, как бы это лучше сделать, по какому адресу обратиться к товарищу Сталину?» Лектор говорит: «Зачем же? Товарищ Сталин очень занят». Я говорю: «Вы знаете, я прочел…» А я много читал тогда, очень много читал. На 4-й Мещанской я нашел огромное количество подписных комплектов журналов «Красная новь», «Октябрь», «Новый мир». Я читал там столько писателей, впоследствии арестованных! Я и сам просвещался таким образом, да и папа мне многое рассказывал. И я этому лектору – я был пытливый, в общем, – сказал: «Нас всегда в школе учили, что списывать нехорошо. А товарищ Жданов в своем докладе полностью списал целый абзац!» Вы знаете эту

историю?

Волков: Из Краткой литературной энциклопедии он позаимствовал…

Евтушенко: Из Литературной энциклопедии тридцатых годов. Просто весь кусок о «монахине и блуднице» списал. Я так лектору и сказал. У него глаза на лоб! Моментально он переглянулся с учительницей, и учительница бросилась ко мне: «Ребята! Никто ничего не слышал! У Жени явно температура. Ребята, отведите его домой, у него явно сейчас температура! Нужно немедленно в постелечку! В постелечку! Никто ничего не слышал!»

Волков: Она вас спасла.

Евтушенко: И себя тоже. И лектор не мог никуда доложить, потому что сам мог пасть жертвой: значит, они не проводят достаточно воспитательной работы. Это они больше свои шкуры спасали, чем мою.

Начало карьеры профессионального поэта

Волков: Мама ваша вроде бы не была в восторге от того, что вы идете в профессиональные поэты.

Евтушенко: Ну как вам сказать. Сначала нет. А потом, когда увидела, что это становится серьезным, она меня поддерживала. Когда меня особенно уж ругали и били, она меня поддерживала.

Волков: А отец как реагировал на ваши первые публикации?

Евтушенко: Нормально, поругивал иногда, но в целом верил в меня. И когда-то дал большой урок. Я писал поэму о Магеллане, мне нужно было рифму найти. И у меня получилось так: «одетый в тонкий нидетоль, вошел тогда к нему король». Папа спрашивает: «Что это такое – нидетоль?» А я говорю: «Это нидерландская ткань того времени». И он дико стал хохотать: «Ты же для рифмы это придумал!» И потом, когда я завирался, он говорил: «Женька, это нидетоль из тебя попер опять!» Все время он так говорил. Это было у него чудесное издевательское слово. Он мне его напоминал, желая предостеречь от какого-то преувеличения, привирания, от несерьезного чего-то в стихах… Этим он сразу ставил меня на место.

Волков: Евгений Саныч, расскажите, как началась ваша карьера профессионального поэта – вы ведь в этом отношении, как и во всех прочих, были вундеркинд?

Евтушенко: Первое упоминание моего имени было в «Комсомольской правде», в письме Елены Смирновой – она была литконсультант, очень хорошо ко мне относилась. Я ей носил всякие стихи – и безнадежно. Но она процитировала меня, две какие-то строчки.

Волков: Это для вас было колоссальным событием! В газете! По-настоящему!

Евтушенко: Конечно! Это было в 1948 году.

Волков: Вам тогда шестнадцать лет?

Евтушенко: Да. Но еще раньше, до «Комсомольской правды», я ходил в издательство «Молодая гвардия». Я отправил туда рукописную книгу стихов. И когда я пришел в редакцию, меня встретил человек с повязкой на глазу, похожий немножко на пирата, что меня уже расположило.

Волков: Вы же хотели быть пиратом!

Евтушенко: Это был поэт Андрей Досталь. Он спросил: «Мальчик, а почему ты пришел за рукописью своего папы? А папа твой где?» Я говорю: «Какой мой папа? При чем тут мой папа?» Досталь ко мне наклонился и так посмотрел на меня! «Вот это вот твои стихи?! Ну-ка, прочти-ка нам всем эти стихи!» Ну, я и прочел.

Текла моя дорога бесконечная.
Я мчал, отпугивая ночи тень.
Меня любили вы, подруги встречные,
чтоб позабыть на следующий день.

Я их не упрекал в такой забывчивости —
ведь я и сам их часто забывал.
Лишь только ночь уюта и отзывчивости —
я больше ничего от них не ждал.

Все стали улыбаться, конечно. Они на меня смотрели, прыская в кулаки: «Мальчик, в тебе что-то есть, если ты пишешь сейчас такие стихи!» Это, может быть, сорок седьмой или сорок шестой год…

Волков: То есть вам вообще лет пятнадцать? И вы писали стихи про неверных подруг…

Евтушенко: Ну фантазии, конечно!

Волков: Неужели в каких-то девчонок вы не влюблялись уже тогда? Не может этого быть! Пятнадцать лет – это же самый возраст!

Евтушенко: Я влюбился еще до войны. В первом классе у меня была любовь – Эля Румянцева. Она об этом даже не знала. Я просто ее тихо любил.

Волков: А ей вы стихи посвящали?

Евтушенко: Нет, нет. Но я что-то воображал. Мне Володя Соколов когда-то сказал: «Жень, ты, по-моему, прекрасно можешь обходиться без женщин с твоей фантазией!»

Волков: Возвращаясь к вашим отношениям с Досталем и как он вводил вас в литературную жизнь…

Евтушенко: Досталь мне открыл много поэтов, знакомил меня с ними. Он познакомил меня с Леонидом Мартыновым. Я был у него на 11-й Сокольнической, дом 11, квартира 11, всего один раз, но стихи его мне безумно нравились. Особенно книжка «Лукоморье», которая была раздолбана страшно Верой Инбер – от страха, наверное, за то, что она была племянницей Троцкого. Должно быть, спасалась этим, хотела выглядеть святее папы, бедная женщина.

Волков: Но ведь Досталь вас публиковать не мог, он был всего лишь консультантом. А вот Тарасов[9], который вас действительно в первый раз напечатал…

Евтушенко: Причем напечатал стихи, которые ему не очень нравились. Тогда ломаной строкой практически не писал никто. Ну, Кирсанов, над которым мы посмеивались, Асеев[10], и ещё появился такой крошечный-крошечный Георгий Горностаев. А я был под влиянием Кирсанова больше даже, чем Маяковского, может быть. И я как-то экспериментировал с формой. Наровчатов тоже был моим литконсультантом, он уловил это.

Волков: Он это приветствовал?

Евтушенко: Да он просто вздрогнул! «Посмотри, какие у тебя есть вещи, сейчас никто так не пишет!» Потому что я решил зарифмовать весь русский словарь новыми рифмами, которых не было. И работал все время над этим словарем, который, к счастью, потерялся. Да он мне и не нужен был потом.

Волков: Потерялся или кто-то увел?

Евтушенко: Увели, конечно. Я даже догадываюсь кто, но могу и ошибиться. Презумпция невиновности для меня превыше всего. Но Наровчатов сразу заметил:

> Хозяева, герои Киплинга,
> бутылкой виски день встречают.
> и кажется, что кровь средь кип легла
> печатью на пакеты чая.

Или вот такие у меня попадались рифмы уже:

> Шум снежных бурь в апреле стих <…>
> Тайга в дремучей прелести
> вся ластится ко мне.

Волков: То есть вы уже с пятнадцати лет сознательно

экспериментировали с русским стихом? Вы как бы взяли себе не то что для подражания – для примера – эту линию от Маяковского?

Евтушенко: Я наслаждался просто этим. Наслаждался! Как игрой. Мысли еще не было, никакой концепции мира не было, и поэтому стихи были такого плана. Вот сейчас я могу показать вам кусочки, которые я показывал в редакции «Советского спорта», и это удивляло всех.

Волков: То есть в поэзии советской была тогда такая засуха, что ваши поиски вызывали живой интерес?

Евтушенко: Да. Но это шло тоже и от фольклора, русский народ был просто замечательным «формалистом», мастером форм. «Народ-языкотворец», как говорил Маяковский.

Кашку слопал —
    чашку об пол,
помянул отца и мать,
Вышел в круг,
    в ладоши хлопнул
И пошел-пошел плясать.

Это завалиночная, так сказать, поэзия. 1947 год. Или:

Эту пляску в платках и монистах,
приподняв слегка от земли,
взяли под руки гармонисты
и как девушку повели.

А эта строфа была написана в 1948-м. Или я ловился на такие вещи:

Заря. Лимоны и лиманы.
Порт просыпается опять.

Меня, кстати, спросили: «Ну, как так… Откуда вы могли Гумилева тогда знать?» Я знал его прекрасно! Я любил Гумилева.

Когда-нибудь по-гумилевски
Сын поплывет в простор морской…

Или вот я что принес тогда Тарасову. Это уже 1949 год. Вот что ему понравилось:

Шел летний дождь, а струи пели.
Они плясали по панели
и, как стеклярусные нити,
свивались в розовом зените.

А гром гремел над головой,
как будто падали арбузы,
и капли звонкие, как бусы,
дождь рассыпал по мостовой.

Из перезвонов струй и гула,
дождь за веселье полюбив,
ты из дождя ко мне шагнула
вся – будто в звездах голубых!

Такой вошла ты в сердце прямо
с дождем в шумящих волосах,
с бровями, сшитыми упрямо,
и с небом августа в глазах.

Когда я прочел это Тарасову, он сказал: «Вы поэт! Вы будете поэтом». И сказал – у меня было «с бровями, слитыми упрямо» – сказал, что лучше «сшитыми». Я сразу: «Как хорошо! Можно?» – и тут же поставил, вот и осталась тарасовская строчка. У меня уже были какие-то вещи, которые…

волков:…выделялись очень на общем фоне. Ведь это были самые серые годы советской культуры.

Евтушенко: Тарасов напечатал меня 2 июня 1949 года в газете «Советский спорт».

Волков: На тему?

Евтушенко: «Два спорта», конечно, «Два спорта». Их и наш спорт. Я помню это стихотворение наизусть. Тут гордиться нечем, но все-таки первое напечатанное стихотворение…

Под грохот трещоток дробный,
В залах, где воздух спёрт,
Ломаются руки и ребра —
И это у них спорт!

Здоровье допингом вынувши,
Спортсменам приходится там
Тело свое до финиша
Тащить в угоду дельцам.

А рифмочки-то какие! «Вынувши – финиша» или «спёрт – спорт»!

И конечно, почему бы не разоблачить Америку, которая мне никогда и не снилась.

Волков: Тут вы следовали модели Маяковского.

Евтушенко: А дальше шло:

А наш спорт вошел в будни,
Любят его везде.
Спорт – это верный спутник,
Лучший помощник в труде.

С ветром спор,
Бой с холодом —
Это наш спорт,
наша молодость!

Крепки мышцы – мысли свежи,
Легко дышится,
Хорошо жить!

Волков: А это уже Кирсанов.

Евтушенко: Кирсанов чистый. Это и было мое первое опубликованное стихотворение.

Сухое мокрое вино

Волков: А какова была ваша реакция на это первое напечатанное стихотворение?

Евтушенко: Я в восторге был, что вы! Я купил штук пятьдесят экземпляров – сколько было в киоске – и раздавал всем на улице.

Я же первый раз видел напечатанными свои стихи! Причем я соревновался с Семеном Кирсановым, потому что прочел, что он как-то напечатал свои стихи в один день в четырех газетах. Это были «датские стихи» – к датам так называемым. А я к какой-то дате написал пять стихов. И напечатал их в один и тот же день! Я так был горд тогда, что я его переплюнул! Я просто играл с рифмами, я развивал…

волков:…поэтическую мускулатуру.

Евтушенко: А когда я пришел к Семен Исаакычу, он мне сказал: «Книжка твоя, – это были мои „Разведчики грядущего“, – плохая, но ты способный, у тебя есть что-то, и ты держись за это. Но, Женя, поэзия – это не просто мчащийся по замкнутому кругу мотоциклет или карусель. Поэзия, – он правильно мне сказал, – это скорая помощь».

Волков: Да, хорошие слова. Но, возвращаясь к вашей первой публикации, – как на нее отреагировали мама, знакомые пацаны? Ведь вы же были пацаном, которого вдруг напечатала такая популярная газета, как «Советский спорт»!

Евтушенко: Во-первых, у меня очень много денег стало. Я получил 350 рублей за первое стихотворение. 350 рублей! У меня мама получала 700 рублей в месяц и держала всю семью. А я что… Я слышал, что поэты должны обязательно праздновать публикации. И в это же время меня как вратаря футбольной команды молодежной – я играл в «Буревестнике», взял три пенальти – один из тренеров «Динамо» увидел. «Приходи, – говорит, – покажу тебя Якушину». Тот был тогда в «Динамо» старшим тренером.

В общем, это приглашение совпало с тем, что я получил первый гонорар. Я решил, что надо отпраздновать. Я пригласил двух девочек-белошвеек – они были постарше, чем мы, им было уже по восемнадцать лет – и своего друга ближайшего Дихана, сына дворника-татарина нашего.

Вот мы пошли в ресторан – тогда он назывался то ли «Пекин», то ли уже «Будапешт» – на Петровских линиях. Обычно мы пили ситро, были такие пакетики: бросишь их в воду, они зашипят, и получается ситро у тебя в стакане. И в ресторанном меню я увидел: сухое вино – и попросил его, думал, что оно будет в

пакетиках. Я же первый раз в ресторан попал. И вдруг мне приносят бутылку! Но официант попался замечательный, он стал потом моим другом на долгое время. Я ему говорю: «Я же вас просил сухое вино!» Он на меня так посмотрел и сказал: «Вы знаете, оно всё кончилось сегодня, только мокрое осталось».

У меня были три огромные сторублевки, большущие, как уши у слона, и я дал ему на чай… сто рублей! Вы представляете, какие это были деньжищи? Бутылка шампанского стоила в ресторане – это я хорошо запомнил – двенадцать рублей. А я шлепнул ему на чай сто!

Волков: Гульнули!

Евтушенко: А официант отозвал меня в сторону и сказал: «Молодой человек, я вижу, вы сегодня первый раз в ресторане. Можно, я дам совет? Даже если у вас будет хорошее, очень-очень хорошее обслуживание, все равно не давайте столько. Двадцать процентов – самое большее. Больше не нужно. Если просто хорошее, то пятнадцать процентов. Но если терпимое, то десять. Потому что никто вас уважать за это не будет, за вашей спиной только будут над вами смеяться». Он мне дал хороший совет тогда.

Волков: Практический совет на всю жизнь…

Алкоголь

Волков: А вы сами как относитесь к выпивке? По-моему, у вас с молодых лет к водке настороженное отношение.

Евтушенко: Потому что я видел, сколько людей спивались на моих глазах. Когда мы работали на фабрике на станции Зима, маленькая была фабричка. Мы там работали понемножку, делали гранаты или что-то подобное. Нам всем давали по сто грамм водки, потому что холодно было в цехах. И я видел, как люди просто спиваются и гибнут. На меня это производило всегда очень тяжелое впечатление.

Волков: Но ведь от русского поэта все – и иностранцы в первую очередь – ожидают, что он будет пить очень серьезно, да?

Евтушенко: Да. Но я и в карты бросил играть, и водку пить. Она мне не нравилась просто по вкусу. Вот я не представляю вас сильно выпившим. А вы бывали сильно выпивши?

Волков: О-о! Во-первых, я сильно пил в консерватории. Я начинал как скрипач и даже в консерватории еще учился как скрипач. Я учился, кстати, в одном классе с Владимиром Спиваковым и у одного профессора. Про нас так и говорили: «Спиваков и Волков». Причем я хорошо играл. Я даже концерты сольные давал.

Евтушенко: А я не знал, что вы были скрипачом… А сейчас вы можете играть?

Волков: Нет, я, как приехал в Америку, не открыл футляра…

Евтушенко: Но вы же можете сыграть?

Волков: Могу еще, наверно. Хоть прошло уже много лет… Относительно выпивки – помню очень хорошо, как напился, помню себя сидящим в общежитском туалете… Сижу и не могу подняться. Дверь открывается, чувак заглянул и закрыл опять дверь. Я думаю: что же он, гад, видит же, что человек в беде… Потом опять дверь открывается, уже двое – берут меня за руки за ноги и выносят. Тогда я подумал: э, нет, что-то я далеко зашел…

А потом второй раз, здесь уже, в Америке, очень сильно мы стали пить с женой Марианной. По бутылке коньяка на двоих каждый день. Но тоже завязали.

Евтушенко: Вообще с американцами, такими чистыми, невозможно пить.

Какая-то другая культура у них даже пьянства.

Волков: Меня смешат в американских фильмах сцены, когда они хотят показать разгул такой и говорят «*one drink*!» – пум-пум, «*two drinks*!» – пум-пум, «*three drinks*»… Хотя нет, такого безобразия они уже не могут показать, больше двух в американских фильмах никогда не выпивают. Это уж совсем разгул запредельный, супералкоголизм. Так маленькими порциями и пьют. А вот стакан водки – это им слабо.

Евтушенко: А мы ходили с Юрой Казаковым, и меня спасли тем, что предупредили: тебе дадут спирт чистый спиртом же и запить. И я хлопнул! Но я уже себя внутренне настроил. Зато потом я и спал…

«Мы сто белух уже забили…» я написал, когда мы тройной одеколон пили – и хорошо было. А потом, когда я жил в Абхазии – я долго там жил, – я сам делал вино.

Волков: О, вы даже виноделом побывали?

Евтушенко: Да, мы делали вино сами, я детей своих в чаны запускал, ножонками они там топтались… В общем, я просто полюбил вино.

Несостоявшийся футболист

Евтушенко: Ну вот, а на следующий день после похода в ресторан отмечали первую мою публикацию, я пришел пробоваться как вратарь. И тренер Якушин учуял, что от меня пахнет. И кроме того, меня мутило, честно говоря. Он сказал: «Что это такое? Ты что, с ума сошел, что ли? Сколько лет тебе?» Я говорю: «Я вчера выпивал, у меня стихи напечатали». – «Ах ты

поэт! Ну вот, мальчик, и иди, вот это твое. А футбол – не твое».

Волков: Так вы и не стали знаменитым футболистом…

Евтушенко: Потом я ему напомнил этот разговор, когда мы как-то встретились. А я был способный вратарь, я очень любил это дело. Когда я говорил, что учился прорыву разбойного русского слова не у профессоров, а у Севы Боброва, я говорил это потому, что хотел, чтобы поэзию так же любили, как футбол. Потому что русский футбол был тогда любовью народной. И, может быть, единственной отдушиной свободной народа.

У нас был потрясающий футбол! И все эти милые ребята такие хорошие были! Они безмашинные все были, они не испорчены были деньгами – и Сева Бобров, и Алексей Хомич… Боже мой, я был страшный болельщик. Мой любимый вратарь был Хомич – тигр, любимый форвард – Бобров. Я любил эту игру, я до сих пор ее обожаю. Я был совершенно убит поведением нашей современной сборной, когда ребята ну просто не играли в последний раз. Просто не играли! Когда видишь, что главное для них – деньги… Для многих из них, не для всех, может быть, я не хочу всех обидеть, – но раньше было совершенно другое…

Я подружился с Бобровым. Он тоже был моим учителем жизни. Он мне рассказывал однажды – уже потом, когда стал тренером, – как после турне по Великобритании его отвезли к деревенским родственникам. И собралось все начальство, приехали на всяких ЗИМах, ЗИЛах… «И вот, – говорит, – сидели мы, и родственники мои собрались все крестьянские – трудовые люди, которые выволокли Россию во время войны на своих плечах. А они на них даже внимания не обращали, обращались только ко мне. И мне стыдно стало, что наплевать им на моих земляков, которые меня вскормили, которые были такими хорошими людьми. И я, – говорит, – ушел. Мне стыдно стало за самого себя. Я ушел в чуланчик, и сидел там, и плакал, что никто и никогда не поймет, что эти люди – они-то и есть настоящие герои». Вы знаете, как меня это тронуло! И я навсегда, на всю жизнь рассказ Севы запомнил.

Волков: Совестливый был человек.

Евтушенко: Поэтому я всегда сам себе говорил, что должен быть благодарен таким людям, как моя Нюра, как Тарасов и Досталь, которые поверили в меня, которые вложили в меня свои надежды. И та же самая моя мама, и тот же самый отец… Чтобы им никогда не было за меня стыдно.

Сталин и первое выступление в Союзе писателей

Волков: Я бы хотел продолжить наш разговор о хороших

людях в сталинское время. Ведь вас исключили из школы? Вам не дали аттестата. У вас на руках была характеристика, в которой вас называли злостным хулиганом. Обвинялись вы в том, что сожгли классные журналы. Обвинение потом, как я понимаю, оказалось фальшивым. Классные журналы сжег совсем другой человек. Один из ваших соучеников, да? И, в принципе, вся ваша последующая биография могла пойти наперекосяк. С такой характеристикой открывалась прямая дорожка только в какое-нибудь ПТУ или ФЗУ. А может быть, даже и в колонию. Вы же сами говорили, что в юности связывались с разными компаниями не самого лучшего свойства, правда?

Евтушенко: Бывали такие случаи.

Волков: Вместо этого ваша судьба сложилась совершенно фантастическим образом. Вы были практически одновременно приняты в Литинститут – самое престижное учебное заведение Советского Союза после ВГИКа – и уж в совсем привилегированную организацию – Союз писателей. Потому что таким привилегированным клубом, как в сталинские времена, Союз писателей уже никогда потом не был. Как это произошло? Кто были ваши добрые феи?

Евтушенко: Наверное, потому, что я себя вел совершенно самостоятельно. Всем казалось, что у меня есть какие-то высокие покровители, раз человек себя ведет независимо, самоуверенно, хотя самоуверенность и независимость – разные вещи. Но все-таки какая-то независимость у меня была.

Вот, например, я пришел в Союз писателей в первый раз, у меня было первое выступление. Я пришел на секцию поэзии, где обсуждалась книжка Николая Грибачёва[11] «После грозы».

Волков: Да, тогда он был мощной фигурой.

Евтушенко: Его боялись даже Фадеев и Сурков[12]. Все его боялись. Он был дважды лауреат Сталинской премии за стихи, секретарь Союза писателей, он был секретарем парткома чего-то…

Волков: И сам себя называл автоматчиком партии.

Евтушенко: Так вот, обсуждали его книгу «После грозы». Зачем ему это надо было, я не знаю. Я, проанализировав его стихи, обнаружил, что он просто болен клептоманией! Не то что плагиат, а именно клептомания. Так я это и назвал. Я сказал про Грибачева, что он похож не на шофера, который ведет настоящую машину по настоящей дороге, а на кого-то сидящего перед нарисованными какими-то пейзажами.

Волков: Фальшак.

Евтушенко: Да. Может быть, я спутаю цитаты, потому что по памяти сейчас цитирую… Ну, предположим, у Пастернака были

такие строчки: «Кавказ был весь как на ладони / И весь как смятая постель, / И лед голов синел бездонней / Тепла нагретых пропастей». Это Пастернак. Грибачев: «Кавказ был весь передо мною / и весь как смятая кровать».

Дальше! Сейчас я могу ошибиться, где Багрицкий, где Грибачев, ну один вариант такой: «Апрель уже в намеке / чуть бледноватых звезд. / На тополь кривобокий / слетает первый клест», – не помню, кто из них кто. И другой: «Весна уже в намеке / холодноватых звезд. / На явор чернобокий / садится первый дрозд» – понятно, да?

Волков: Да-а.

Евтушенко: Я показал всё это, процитировав, и сказал, что перед нами – предмет поэтической клептомании. Этого человека нельзя обвинить в плагиате даже. Но дело в том, что именно этих авторов, у которых он заимствует их образы, он и разоблачает как поэтов. И поносит все время. И употребляет дубинку против них. И против того же Пастернака, и против того же Багрицкого. И надо все-таки иметь чувство благодарности, если ты кому-то подражаешь – волей или неволей – или что-то заимствуешь… Короче говоря, забавно разобрал, люди хохотали. Но, конечно, и потрясены были, что совсем ведь мальчик (я пришел, кстати, в собственноручно вышитой крестиком украинской рубашке) – и такое первое выступление в Союзе писателей! Ко мне подходили, оглядываясь, чтоб никто не видел, жали руки. «Мы его все, – говорят, – боимся, а ты молодец!» Вдобавок через несколько дней в «Правде» появляется статья с разгромом этой книжки Грибачева. Это в принципе немыслимо было представить!

Волков: А может быть, что кто-то из высокого начальства услышал ваше выступление?

Евтушенко: Конечно, так оно и было. Или это было следствием слухов о моем выступлении. Про меня тогда и пошел слух, мол, не может быть, чтобы за спиной этого человека никто не стоял. А кто мог стоять? Только Сталин. Потому что никакие фадеевы не могли бы себе по отношению к Грибачеву такого позволить. Но это безусловно понравилось Фадееву.

Волков: А может, и Сталину?

Евтушенко: Этого я не знаю. Насчет Сталина – не знаю. Но Сурков мне шепнул однажды на ходу: «Ух ты, – говорит, – какой! Смотри-ка!» Хотя позднее мне предстояло с ним схватиться тоже. И уже потом я приучил их к тому, что могу говорить такие вещи, которые никто не говорил. Как будто я на это имею право. Как будто мне кто-то покровительствует – может быть, и Сталин. То есть я вел себя как человек, который знает, что делает.

Волков: А это был блеф, значит?

Евтушенко: Ну какой блеф! Я не блефовал. Я не притворялся, я вел себя так по наивности.

Волков: Это же поступок камикадзе – в тот момент напасть на Грибачёва!

Евтушенко: Да не понимал я этого!

Волков: Неужели вы были такой наивный, Евгений Саныч?

Евтушенко: Ну, таким уж наивным не был, но я не был и таким уж опытным. Просто пришел с улицы мальчишка…

Волков: Поразительная ситуация, уникальная! С трудом верится.

Евтушенко: Но опыт жизненный у меня уже был. Когда я попал в геологоразведочную экспедицию, мне было пятнадцать лет[13]. И у меня оказались пятнадцать уголовников под начальством. Расконвоированных! По большим срокам сидевших! Там даже бывшие убийцы были.

А когда я возвращался из экспедиции, мы с мамой ехали в трамвае. Я привез ей из Петропавловска – это город в Казахстане – бидон топленого масла и мешок конской колбасы копченой и рассказывал ей всё, о чем наслышался там в Казахстане, в Джеламбете. И вдруг вижу – у нее слезы катятся! Я говорю: «Мама, что с тобой?» И люди в трамвае – мы на задней площадке стояли – в сторону стали смотреть… «Женечка, ты ж через каждое третье слово употребляешь нелитературные выражения!» Потому что я просто говорил так – и не замечал даже этого. То есть я в какой-то степени, как вам сказать…

Волков: …немножко приблатнились.

Евтушенко: Не то что приблатнился, но появилась какая-то лихость. Понимаете?

Волков: Да, это опыт определенной среды. И, интересно, он вам пригодился в Союзе писателей.

Евтушенко: Это как-то сразу вызывало элемент уважения. И главное, что пугало: кто-то за ним стоит!.. И ведь они ничего не могли со мной сделать, потому что у меня книжка была написана[14], потом я сразу написал другую, уже гораздо лучше. А в Литературном институте я другие стихи стал писать, потому что попал в другую литературную среду.

Волков: Где уже были требования более высокие…

Евтушенко: Да, конечно, совсем другие!

Протекции

Волков: Поступление в Литинститут без аттестата зрелости, затем в члены Союза писателей без высшего образования и выпуск поэтической книги в столь юном возрасте – должны были

быть какие-то люди, которые к вам благоволили, ценили вас, считали, что ради вас могут пойти на явное, как бы это выразиться, уклонение от существующих официальных норм. В сталинское-то время! Когда буква закона, не говоря уже о духе, исполнялась неукоснительно – и вдруг такое явное нарушение! Любой дурак мог сесть и написать донос: что ж это Евтушенко взяли без аттестата зрелости?! Значит, люди сознательно игнорировали эту опасность. Кто на это пошел? Вот, скажем, в Литинституте.

Евтушенко: Литинститут… Секретарем приемной комиссии – вроде ничего не означающая должность – работал выпускник Литературного института Володя Соколов. Прекрасный поэт, один из лучших наших поэтов. Первый человек, кстати, который описал войну глазами детей. У него были чудесные стихи[15]. «Четвертый класс мы кончили в предгрозье, / Из пятого мы перешли в войну…» Он чуть-чуть постарше был меня. Он меня очень любил, мы были близкими друзьями.

Волков: И он с кем-то пошел консультироваться?

Евтушенко: Нет, конечно. Но все-таки какая-нибудь бумажечка должна же быть. А был такой поэт Саша Коренев, бывший разведчик – я дружил с фронтовиками, у меня быстро находился с ними общий язык, – и Саша, зная, что у меня нет никаких документов, познакомил меня с одним человеком. По-моему, тот умер уже. А если жив, дай бог ему здоровья! Он ничего особенно преступного не сделал, но все-таки превысил свои полномочия. Он очень любил поэзию, был отставной майор или полковник и заведовал военной заочной школой. Там можно было экстерном получить десятиклассное образование, и этот человек дал мне справку о том, что я прослушал десять классов. Она не была аттестатом зрелости, просто удостоверяла, что я прослушал десять классов.

Потом мое имя упомянул Фадеев в статье в «Правде»…

Волков: О, это уже посерьезней! А как Фадеев узнал, что есть Евтушенко?

Евтушенко: Понятия не имею!

Волков: Он в обойме какой-то вас упомянул – «молодые таланты»?

Евтушенко: Да-да, что-то вроде: «…появляются молодые таланты. Вот сейчас издали книгу совсем молодого поэта Евтушенко, редкий случай…»

И действительно редкий случай, чтобы у автора вышла книга в девятнадцать лет. А книга… Кто мне помог с изданием книги? Решающую рецензию писал Сергей Наровчатов, тоже фронтовик. Мне фронтовики всегда помогали. Наровчатов мне сказал, что

книга моя плохая, но «из тебя получится толк, ты любишь стихи вообще больше, чем свои собственные». И еще он сказал: «Ты молодец, что знаешь очень много стихов. Сначала поэт должен стать настоящим читателем». Наровчатов был красавец. Правда, выпивал сильно. Он начал писать рецензию, а потом говорит: «Да пиши сам!» И я написал сам, пока он похрапывал. Потом ему показал, и он подписал.

Волков: А как же приняли к публикации книгу практически от никого?

Евтушенко: А потому что я печатался уже. У меня уже были стихи «Свободу Назыму Хикмету!», например, стихи о Манолисе Глезосе. Я мелькал во всех газетах, я, по примеру Кирсанова, заполонил их все…

Волков: Но все-таки возвращаясь к книге… Кем в итоге был решен вопрос? Никаких проблем не было, никто не возражал? Вспомните, как трудно было напечатать первую книжку молодым поэтам потом, в более поздние годы… Евгений Рейн сколько дожидался! По-моему, тридцать лет!

Евтушенко: Ну что вы сравниваете мою первую книжку и книжку Рейна! В моей – ну, только рифмы хорошие… Еще там было стихотворение о Сталине:

Только в скверах —
    шаганье влюбленных пар.
Им-то что
    до того,
        что поздно!
И последний трамвай
    направляется
        в парк,
высекая
    из сумрака
        звезды… <…>
Я знаю:
    грядущее видя вокруг,
склоняется
    этой ночью
        самый мой лучший на свете друг
в Кремле
    над столом рабочим. <…>
Подходит к окну.
Любуясь столицей,
    тепло улыбается он.
А я засыпаю,

и мне приснится
очень
хороший
сон.

Волков: Между прочим, не бездарные стихи.

Евтушенко: Да ничего хорошего там нет, только рифмы: «оботкав – ободках» разные… Этим книжка моя и выделялась. Какая-то кирсановская поэтика была, безусловно. Но ничего не было такого, за что можно было бы громить.

Волков: И после этой книжки вас приняли в Литинститут. А как с членством в Союзе писателей получилось?

Евтушенко: Ну, Фадеев, как я уже говорил, упомянул меня среди молодых талантов. Потом в «Литературной газете» статья вышла обо мне и Телешове[16] и фотография напечатана: старейший писатель союза Телешов и самый молодой – Евтушенко.

Волков: Что, вы вместе с Телешовым? Или Телешова была фотография отдельно, ваша – отдельно?

Евтушенко: Нет-нет! Это вместе нас сфотографировали специально!

Волков: А в Союз писателей когда вас принимали, кто написал рекомендацию?

Евтушенко: Кирсанов и Долматовский[17], хотя оба мне сказали, что книга моя плохая, но толк из меня будет.

Волков: А возражения были? Кто-нибудь против выступал?

Евтушенко: Да нет, не было. Просто тянулось немножко, но потом всё как-то устаканилось. Когда фотография появилась моя с Телешовым.

У меня ведь только положительные рецензии на книжку первую были. Борис Соловьев[18] даже в «Комсомолке» статью написал, между прочим.

Волков: Да уж, это были знаки высшего одобрения. А скажите, Евгений Саныч, почему вас не выдвинули на Сталинскую премию в те годы? Ведь вы тянули! Неужели не было разговоров? Юрий Трифонов, молодой еще, студентом Литинститута, получил же за своих «Студентов»…

Евтушенко: Со мнойникогда этого не было. Нет, этого не было никогда.

Литинститут

Евтушенко: 1952 год, Сталин еще жив. Я пришел в

Литинститут и познакомился с Робертом Рождественским. Он приехал из Петрозаводска, стоял большой такой, волейбольно-баскетбольный – он играл в волейбол, кстати, за сборную Петрозаводска. Меня уже знали, все читали газету «Советский спорт», где меня печатали без конца. Я печатал и интервью с футбольными тренерами, и статьи о футболе. И стихи все время… Да нет, я уже везде был! И в «Московском комсомольце» печатался, и в «Комсомолке» печатался, и в «Труде» – да где угодно! Я примелькался уже.

Лёня Жуховицкий, я помню, восторгался моими стихами, потому что они ему по форме очень нравились. Он стал мне сразу цитировать мои стихи. Ровесник! Сейчас вспомню… «У какой-то карты…» «Ночами не спал ты / над картою Спарты / вместе со мною / Грецией / грезил…» Я все время аллитерациями играл. Никто этим почти не занимался, кроме Кирсанова. А потом посмеиваться надо мной стали ребята и проверяли вот на чем. Интересная была игра: проверяли на вшивость по знанию запрещенных поэтов. Открыто! Вот стоял Роберт и читал мне «От Махачкалы до Баку / Луны плавают на боку…» – а я продолжал, я уже знал Бориса Корнилова. Мы учились по расстрелянным запрещенным поэтам. Или Павла Васильева: «Крутит свадьба серебряным подолом». А я продолжал спокойно: «И в ушах у нее / не серьги – подковы…» О! Всё!

Волков: Это был пароль.

Евтушенко: Пароль, да. Сразу: опа! Ух ты! Во даешь! А что ж ты пишешь такое дерьмо в своем «Спорте»? Я сразу ощутил эту профессиональную среду.

Волков: Которая уже поднимала планку…

Евтушенко: «Ну, рифмочки у тебя хороши, ничего не скажешь. Ну а что дальше-то?» И я тогда написал стихи в стенгазету. Три стихотворения. «Вагон»: «Стоял вагон, видавший виды <…> / Он домом стал. В нем люди жили. <…> / Хотели сделать всё, чтоб он… / не вспоминал, что он – вагон…» Понимаете, это уже другие были стихи. Или «Влюбленные встречались, как ведется…» – лирическое стихотворение.

Волков: А в эту стенгазету каждый приносил свои стихи? Или их как-то отбирали?

Евтушенко: Нет, меня попросили, я и написал. И подошел ко мне Владимир Солоухин и сказал: «Ты смотри, ты у нас, оказывается, поэт, а не просто рифмодел!»

Волков: То есть эволюция поэта Евтушенко происходила следующим образом: сначала ему просто хотелось рифмовать, а потом, когда ему стали говорить «ну да, брат, рифмы у тебя хороши, а содержание – дерьмо», – тогда он стал откликаться на

общественный запрос.

Евтушенко: Ну, просто я почувствовал, что надо что-то другое…

Волков: А у кого на семинаре вы были?

Евтушенко: Я был официально у Захарченко[19]. Он, знаете, какие стихи писал? Вот не догадаетесь, кому посвящено. «Я помню девочку. / Она лежала / Цветком подрубленным среди травы. / Свинцовое невидимое жало / Ее прижало – это были вы…» Это было письмо Мессершмитту! Вот такой был Захарченко поэт. Он был редактором журнала «Техника – молодежи». Вообще странно так жил. Почему-то за границу ездил на лыжах кататься…

Волков: Это уже о чем-то говорит.

Евтушенко: Да. Как и сын Блока, впрочем, – был такой журналист спортивный[20]. Но тогда представляете, что такое – ездить на лыжах кататься в Швей-ца-ри-ю!

Волков: Не представляю!

Евтушенко: В общем, для меня Литинститут сыграл огромную роль. У нас были хорошие курсы. Миша Рощин у нас был. А на следующий год Белла Ахмадулина появилась…

Белла

Евтушенко: Белла была необычайно обаятельной. На нее оборачивались на улице, даже когда не знали, кто она такая. В ней была поразительная притягательная сила. Ну, и талант, конечно, большой. Очень, очень большой!

Вот вы знаете Беллу… Она же была похожа на какую-то экзотическую птицу. Правда же? Совсем как будто не отсюда. Она же писала сама про себя: «И всюду замечая удивление прохожих, наблюдающих меня…»

Помните у нее такие строки? Это правда. В ней что-то было необыкновенное. Сочетание кровей: татарской, итальянской… Ее некоторые упрекали в манерности, но это была манерность совершенно естественная. Она была добрейшим человеком и, между прочим, смелейшим. Если ей и не по характеру ее художественного дарования было писать так называемые гражданские стихи, то ее хрупкая ручка подписала вообще все письма, которые только можно было подписать, чтоб заступиться за кого-то. Ведь она же была единственной, кто не побоялся приехать к Сахарову туда[21], в ссылку! Мало того! Как она это сделала! Она приехала в огромной парижской шляпе, которая даже не помещалась в такси, с огромным букетом хризантем – и раздвинула топтунов, которые сидели в прихожей. Они же никого

не пропускали к Сахарову. Мне Андрей Дмитриевич рассказывал, как это было. Она просто их вежливо раздвинула хризантемами, этих людей, и они ничего не могли сделать! Вот у нее это было. Она была совершенно удивительная.

Я сделал очень большую ошибку, просто огромную ошибку в своей жизни. Мы ждали ребенка – а сами еще были детьми. Знаете, я даже как-то не понял. И не то чтобы я заставлял ее, чтоб у нас не было ребенка, нет… А потом мне стало страшно, когда врач сказал, что у нее наверняка не будет больше детей. Это было Божье наказание мне. После я узнал, что она взяла приемную дочку. Но когда у нее получился свой кровный ребенок… Вы знаете, хоть я не ритуальный верующий, но я так благодарил, так благодарил Бога за то, что он снял с моей души такой грех! Потому что ничего нет лучше ребенка любви. Они совсем другие бывают, эти дети. А я эгоистичный был. Я уезжал от нее…

Волков: В ваших воспоминаниях о Белле вы всегда подчеркиваете, что, когда вы были мужем и женой, она практически не пила.

Евтушенко: Она любила две вообще не совмещающиеся, не совпадающие вещи. Она любила пиво и пирожные. Она в то время немножко была полненькая, и у нас проходили на эту тему споры. У нее были хоронушки всегда где-то за шкафчиком, и, когда мы ссорились с ней, она вытаскивала пирожные и бутылку пива, ела эти пирожные и так на меня смотрела… О, какая это прелесть была!

Волков: Кто ж ее научил пить по-серьезному?

Евтушенко: А потому что я уехал тогда. Она хотела со мной поехать в Сибирь, а я ее не взял. Это эгоизм был мальчишеский, но вообще-то трудная была поездка, Белла как-то не монтировалась с Сибирью. Я и на Камчатке тогда побывал, и на Дальнем Востоке… Долгая была поездка.

Волков: Это какой год был?

Евтушенко: Пятьдесят седьмой, по-моему. И, когда я приехал домой, она вдруг поставила коньяк на стол и закурила. Она никогда не курила! И я почувствовал, что она какая-то другая. Она попала во вгиковскую компанию, там были разные люди. Может быть, талантливые в своей профессии, но совсем-совсем другие.

Сейчас это трудно представить, но когда Белла появилась в Литературном институте, она стала моментально старостой курса.

Волков: Ну, у нее же семья высокоидейная была.

Евтушенко: Да дело не в семье! Ее мама была просто запуганный человек, она и в КГБ-то попала[22], потому что

боялась отказаться, боялась, что посадят, если не согласится. И никогда она ни о каких высоких идеях с нами не разговаривала. Просто боялась за дочку, всего боялась на свете просто! А в Белле этого не было. Белла была такая идейная…

Волков: …сама по себе.

Евтушенко: Беллажила прямо рядом с ЦК. Маленький переулочек от Старой площади, старый дом. Там старые большевики, наверное, когда-то жили, в том числе и кто-то из семьи Стопани, наверное, Беллины предки. И вот мы были у нее. Там был первый курс, следующий после меня – пятьдесят третий уже год, я поступил в 1952-м, она – в 1953-м. И я никогда не забуду, как она гордо так вскинула свою головку и говорит: «Революция тяжело больна! Революции нужно помочь!» А Юнна Мориц, которая ее ревновала по разным причинам…

Волков: …по внешним и по внутренним…

Евтушенко: Юнна Мориц сказала: «Революция сдохла! И труп ее смердит!» От чего все мы замерли. Вот такие были у нас разговоры, вот такие перепады были. А Белла была еще идеалистка, идеалистка-социалистка. Это всё по-детски было, но совершенно искренне. И совершенно искренне она поехала на целину потом. Ее никто не заставлял.

Волков: И долго она там пробыла?

Евтушенко: Лето.

Волков: Давайте вернемся к началу ваших отношений с Ахмадулиной. Расскажите, как вы ездили первый раз с ней на море.

Евтушенко: Это было волшебно, смешно и волшебно. Я был счастлив, когда мы поехали с Беллой в Сухуми. Абхазский поэт Леша Ласурия – он привозил нам хорошую абхазскую «Изабеллу» – дал нам ключи от пустой квартиры. И мы улеглись спать. И ночью что-то такое по нам стало ползать. Мы включили свет – и увидели, что прозрачные от голода клопы надвигаются на нас со стен! Я облеплен! И Беллочка, чу́дная совершенно, облеплена тоже! Но женщин в таких случаях спасает находчивость. И Белла – вот, понимаете, райская птица и всё такое – а сразу позвонила соседу Ласурии, достала какой-то керосин, тряпку, стала протирать всё. А я… я был в самом позорном виде. Сидел голый на столе и плакал. Просто плакал от унижения!

Волков: А она в это время единолично справлялась с клопами?

Евтушенко: Трудно представить такое?

Волков: Да вот пытаюсь! Она была в халатике? Или без?

Евтушенко: Ну я уж не помню. Не до этого было.

Потом мы поехали в Тбилиси. Это была, конечно, сказка. Мы переводили тогда вместе. Я перевел книжку Мухрана Мачавариани, часть стихов перевела Белла. Где, кто, что переводил, трудно сейчас разобраться.

Волков: Я как раз об этом хотел спросить. Ахмадулина как поэт в значительной степени сформировалась ведь под вашим влиянием?

Евтушенко: В какой-то степени да. Был такой период. Но мы любили друг друга… Ну, в общем, рифмы, конечно, ассонансные – никто их так не разрабатывал, я начал первый. Эту рифму до сих пор называют «евтушенковская», хотя она, конечно, мне не принадлежит, она уже была все-таки. Это всё от фольклора!

Волков: А скажите, Евгений Саныч, как вы начали разъединяться, как начали расходиться? Почему вообще это произошло?

Евтушенко: Я забыл закон один: с любимыми не расставайтесь! Особенно, когда они очень молоды. А я оставил ее тогда, когда нельзя было оставлять. И с ребенком… не выразил энтузиазма большого.

Волков: Но у вас ведь в это время уже были романы с другими женщинами?

Евтушенко: Ну и что? Но любви такой, как к Белле, у меня не было. Я был заворожен ею. Это была очень сильная любовь. Это правда.

Волков: А как она реагировала на то, что вы поздно возвращаетесь домой?

Евтушенко: Ну, как… Первый раз я точно помню, как это произошло. Она меня ждала, стол накрыла, тарелочки расставила… Потом я как-то пришел поздно, она спала, никакой тарелочки уже для меня не стояло. Потом мы столкнулись, вместе подъехали к дому – наши такси столкнулись. Вот так всё и случилось…

Я пытался однажды помириться. Я уже переселился, уехал – и не выдержал. Я приехал к ней ночью, и она мне не открыла дверь. Сказала: «Ты выпил, Женя. Не надо было приезжать». Она не оскорбила меня, ничем не обидела. Просто сказала: «Жень, не надо, ты сейчас выпивший…» Но я почувствовал, что у нее, наверное, кто-то был. А может быть, и не был. Да это не имеет значения. Поздно уже было. Вот и всё.

Конечно, это была очень большая любовь. Я обожал ее просто! Не просто любил – обожал! Это чувствуется по стихам. И я продолжал ее любить, понимаете? Я не умею разлюблять. Ну и что тут плохого? Я ни одной женщины не разлюбил, которых я любил по-настоящему.

Волков: А как вы прокомментируете саркастическую характеристику Ахмадулиной, которую дал один из ее мужей – Юрий Нагибин. Я вам прочту из дневников: «Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. <…> Белла холодна как лед, она никого не любит, кроме – не себя даже, а производимого ею впечатления». Что вы на это скажете?

Евтушенко: Вы знаете, у Юрия Марковича есть замечательный рассказ про лягушонка. Кажется, «Синеногий лягушонок». Вы никогда не читали, нет? Это очень хороший рассказ. Но Нагибин невероятно изломанный человек был. В дневниках он оболгал всех. Он самого себя даже оболгал. Он таким плохим никогда не был в жизни. Вот, например, он меня в одном месте называет проходимцем. Ладно, ну назвал и назвал. Потом через несколько страниц говорит: я не могу понять, как такой душевно щедрый человек, как Женя Евтушенко, может восхищаться таким пустым фанфароном, как Поженян… Вот поверьте мне, он очень дружил с Григорием Поженяном. Поженян был очень забавный, смешной иногда. И не бездарный человек.

Волков: «Есть такое дерево…»

Евтушенко: Он был талантливый человек. Сам по природе. И я видел, как Нагибин любовался им бесконечно! И то же самое я видел, когда понял, что он влюбился в Беллу. Он влюбился в нее как мальчишка – и это при определенной доле цинизма, которая у него существовала. Мы уже развелись с Беллой, но часто виделись с ней. Я у нее дома бывал, дружил с ее мужьями, на первых порах даже к ним с Борей Мессерером захаживал в гости. Это потом отдаление начало происходить. Ей просто не разрешали со мной видеться. Я не хочу во всё вдаваться, но когда я написал стихи и на ее панихиде хотел их прочесть, мне не дали этой возможности. Ну как это можно?

Волков: А скажите, вот есть стихотворение «Одной знакомой»: «А собственно, кто ты такая…» Оно к Ахмадулиной обращено?

Евтушенко: Нет, это стихи о России.

Волков: А некоторые воспринимают их как стихи, обращенные к Ахмадулиной.

Евтушенко: Да, может быть, был момент какой-то обиды, что-то переплелось. Может быть. Но все-таки это стихи о России. Даже больше, чем о России, – оно о личном.

Я никогда не забуду случай в Молдавии, в 1974 году, когда я приехал туда вместе со сборной командой ветеранов СССР по футболу, Хомич меня пригласил. Единственный раз мне дали поносить майку сборной СССР – так, немножко с Эдиком Стрельцовым на поле показаться. Это описано в моем романе «Не

умирай раньше смерти», по-моему, хорошие очень куски. Мы сидели в гостях у каких-то болельщиков молдавских, простых людей, а я только-только написал это стихотворение, прочитал и спросил: «О чем эти стихи?» И одна женщина: «Ну о России конечно». Да, это были о России стихи.

Волков: Прочтете?

Евтушенко: Конечно. Это стихи о России!

А собственно, кто ты такая,
с какою такою судьбой,
Что падаешь, водку лакая,
а всё же гордишься собой?

А собственно, кто ты такая,
когда, как последняя мразь,
пластмассою клипсов сверкая,
играть в самородок взялась?

А собственно, кто ты такая,
сомнительной славы раба,
по трусости рты затыкая
последним, кто верит в тебя?

А собственно, кто ты такая
и, собственно, кто я такой,
что вою, тебя попрекая,
к тебе прикандален тоской?

Разве я мог бы назвать Беллу мразью когда-нибудь?

Мне открывает дверь она,
    но что такое с нею
и что за странный взгляд?
    «Уж около пяти.
Не мог бы ты прийти еще позднее?» —

вот, это, конечно, Белла. А в том стихотворении, о России, там, может быть, что-то подсознательно перемешано.

Волков: Проскользнуло.

Евтушенко: Проскользнуло что-то, да… Вот один довольно мне близкий человек, с которым я часто вижусь по профессии, обвиняет меня до сих пор: «Зачем вы испортили ваше стихотворение?…» Это стихотворение «Ты спрашивала

шепотом…». Потому что я сам себя обвинил за это! Я понял, что там было что-то неправильное, какой-то нюанс. А дело было в слове «жалкая»!

И как себя поставишь ты,
и как считать заставишь ты,
что там другая женщина
лежала ЖАЛКО шепчуще
и спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»

Это неправда была! Потому что женщина, которая меня любит, не может быть жалкой. Это я был жалок, когда у нас с ней не случилось так, как мне хотелось. Это я был жалок! И я убрал это слово.

Волков: Я, кстати, хотел спросить, к кому обращено это стихотворение.

Евтушенко: Это Беллино. Это Белле. Хотя вдруг посвящения мне стали исчезать из ее собрания сочинений, но мы с ней не ссорились. Никогда не ссорились. Если даже кто-то и запрещал ей со мной видеться, она всегда через мою жену Машу передавала мне приветы. А на вторую мою свадьбу она вообще пришла с фартучком и помогала мне. И так всегда. Даже незадолго до смерти. Ее так хотели поссорить со мной, а она не позволила. Так что видите, я правильно почувствовал, когда убрал это слово. Да мне даже не важно, что это стало похуже поэтически. Я не мог просто это читать! Никогда она не была жалкой. Женщина, которая любит, никогда не бывает жалкой. Никогда!

Волков: У меня такое ощущение, что вы до сих пор влюблены в Ахмадулину.

Евтушенко: Я же говорил: я вообще не умею разлюблять.

Фестиваль молодежи и вербовка в КГБ

Волков: Я хотел спросить о Всемирном фестивале молодежи в Москве. Это было грандиозное событие. Я мечтал о том, чтобы из Риги каким-то образом добраться до Москвы. Но в Москву невозможно было въехать ниоткуда – всё было перекрыто. Никаких билетов ни на какой транспорт нельзя было купить. Продавались в киосках открытки с цветочком – эмблемой фестиваля, я купил тогда такую открытку, сохранил… А у вас приключилась, по-моему, любопытная история: вас попытались

именно в связи с фестивалем завербовать в осведомители КГБ. Правда?

Евтушенко: Да, это было частично связано с фестивалем.

Был мой день рождения, мы праздновали, и у меня остался ночевать Миша Луконин, с которым я дружил. Очень хороший поэт. Фронтовик.

Волков: И муж вашей будущей жены Гали Сокол.

Евтушенко: И вдруг утром ко мне пришел человек, улыбающийся, показал мне книжечку красненькую из КГБ и сказал: «Не можете ли вы, Женечка, проехать в КГБ, где вас очень ждут, много там ваших читателей». Вот так и сказал! А я говорю: «Вы знаете, у меня вчера был день рождения…» – «Да мы знаем, знаем!» Это очень интересно, что они в правильный момент подъехали – человек с похмелья как-то чувствует себя…

Волков:…более податливым…

Евтушенко: Да-да-да, это был точно выбранный момент. Я сразу стал думать, в чем я провинился. Тысяча причин приходила мне в голову.

Волков: Испугались?

Евтушенко: Что ж веселого? Туда когда-то забрали двух моих дедушек, они не вернулись потом. Я с Мишей Лукониным посоветовался. «Ну, – говорит он, – не бойся! Тебя вербовать будут наверняка».

Волков: Он был человек опытный, тертый.

Евтушенко: «И меня вербовали тоже», – говорит. Я говорю: «Как? Уже после того, как ты стал лауреатом Сталинской премии?!» – «Да, после этого. Предлагали, чтоб квартиру я им предоставлял, когда уезжаю, – для их дел. В общем, не бойся, – говорит, – ты, главное, – и это важно, что он у меня в советчиках был, все-таки страшноватенько было, – ты слушай побольше и головой побольше кивай. Пусть они тебе рассказывают. Ты когда-нибудь потом про это напишешь». И как в воду глядел!

Меня встретила сначала какая-то женщина: «Женя, вы наш любимый поэт, у вас столько здесь читателей, какие у вас хорошие стихи о борьбе за советскую власть! Какие прекрасные строчки вы нашли: „Спешишь умереть за Гренаду? / А ты за Гренаду живи!“ Как вы ввернули эту тему светловскую!»

Волков: Специалистка по Евтушенко и Светлову…

Евтушенко: Потом меня провели к другому начальнику. Это был большой начальник уже, Филипп Денисович Бобков.

Волков: Который потом стал еще большим начальником.

Евтушенко: И он со мной проводил беседу. Протекала она довольно вежливо, разговор был дружеским, мне никто не угрожал, ни в чем не обвинял. Бобков мне просто говорил: «Женя,

понимаете, нам нужно знать настроение молодой интеллигенции. Мы составляем сводки для нашего руководства. Это очень важно, ведь мы определяем в общем политику. Нам нужны честные люди, такие, как вы. Понимаете, старые кадры нам не годятся. Мы хотим, чтобы у нас были люди с чистыми руками, с чистым сердцем, которые любят свою Родину. Вот сейчас надвигается фестиваль молодежи. Вы включены в бригаду, которая будет выступать на фестивале, вы будете читать стихи, встречаться с творческими людьми… И нам нужно знать настроения и наших гостей-иностранцев. Мы не просим от вас ничего дурного, не просим доносить на кого-то – наоборот, просто рассказать, чем люди дышат, что надо сделать, чтобы помочь нашей стране обрести новое лицо, так сказать… Вот и всё. Ну а потом и мы вам поможем увидеть мир. У нас есть возможности и в поездки заграничные включать, скажем, на круизы там разные, или что-нибудь еще…» Потом сказал: «Мы знаем, вам, молодежи, сейчас трудно. Иногда, когда случается любовь, просто некуда деться. Ну, будем помогать вам и в этом…»

Волков: С квартирой? Или с местом, где можно встретиться с подругой?

Евтушенко: Да-да, с подругой. «Если что-то нужно, всегда обращайтесь». И такой ласковый был разговор… А я сказал: «Большое спасибо за доверие». И по совету Миши: «Во-первых, я горд, что вы мне поручаете такое ответственное дело. Но я должен сказать, что совершенно не умею хранить тайны. Ну не могу просто! Мне захочется всем рассказать, что мне оказывают такое доверие, я не удержусь и кому-нибудь обязательно расскажу… Ну как это можно? Я ж вас подведу тогда! И потом, вы знаете, если я встречу врага, да я сам к вам приду! Первый! Я это сделаю сам! Зачем же меня вознаграждать какими-то поездками? Я зарабатываю хорошо, печатаюсь, я и сам могу купить туристическую путевку – слава богу, у нас сейчас развиваться начал туризм. Хотя меня и не пустили пару раз уже…»

Волков: Напомнили-таки им…

Евтушенко: У него изменилось лицо. Он понял, что не на того напал.

Вот так я и ушел от них.

Волков: Как настоящий Маугли социалистических джунглей.

Евтушенко: Да просто не было тогда человека, которого б не вызывали. Беллу вызывали – несмотря даже на то, что мама ее там работала переводчиком, а папа был заместителем московской таможни.

Волков: И, по-моему, в чине заместителя министра даже. Во всяком случае, крупным чиновником – таможня ведь

принадлежит к сфере государственной безопасности? То есть у Беллы как бы вся семья была ведомственная. И вдруг ее саму… И что, как она отреагировала?

Евтушенко: Ну как… Сказала спасибо за доверие, и всё. Я ей рассказал, что говорить. Примерно так же, как и я, отвертелась. А потом двое влюбленных в Беллу молодых поэтов – Ваня Харабаров и Юра Панкратов – пришли к ней и хвастались, что им клички дали, даже гордились этим… Наивные были люди.

Волков: Они были способные поэты, правда ведь?

Евтушенко: Панкратов был. Но они предали Пастернака, и это было ужасно. Мне Борис Леонидович рассказывал, что они приходили к нему просить разрешения… Спрашивали, как он отнесется к тому, если они подпишут письмо, чтоб его лишили гражданства советского. Вы подумайте только! И он им разрешил предать.

Волков: И они ушли успокоенные.

Евтушенко: Припрыгивая еще! Борис Леонидович сказал: «Знаете, Женя, не идеализируйте наше поколение. Мы тоже иногда трусили и поступали, может быть, не самым смелым образом. Но мы потом не припрыгивали, а мучились».

«Но какую подлость я сделал по отношению к ним! – еще он мне сказал. – Я же им разрешил не меня – себя предать, они теперь никогда не станут поэтами». И точно так и случилось. Один из них спился и умер где-то зимой на скамейке. А другой проворовался, служа в издательстве… что-то в этом роде. Исчезли просто, нет таких людей. Так что Пастернак был прав.

Евреи и дело врачей

Волков: 13 января 1953 года в печати появилось сообщение о кремлевских «врачах-убийцах»…

Евтушенко: …Я был потрясен просто! И я же написал стихотворение о врачах-убийцах. Но там не было ничего антисемитского… Как же все-таки у меня еще жило понимание того, что товарищ Сталин – это командующий Красной армией! А врачи! Его отравить хотели!.. Я тоже поверил в это! Помню, я ехал в трамвае до Литинститута – туда ходила прямая линия от Самотёки, от моей, от 4-й Мещанской, так люди все сидели съежившись. В институте у нас было, по-моему, двое только евреев тогда: Алла Киреева и Лёня Жуховицкий. Они стояли, когда я вошел, в курилке – а вокруг них вакуум. Никто к ним не подходил, никто их не оскорблял – просто смотрели, что с ними будет. Я пересек тогда эту невидимую границу и пригласил их в столовку. Ну, не в столовку – была рядом чайхана

азербайджанская, там и выпить можно было. И Алла разрыдалась. С ней истерика была. А потом, через много лет…

Волков: Она не хотела вспоминать про тот день?

Евтушенко: Там посмешней еще было. Я ей говорю: «Ты помнишь, вас же только двое евреев тогда и было в Литинституте? Помнишь, как ты заплакала?» – «Я помню, как я заплакала, – говорит. – Конечно, было страшно тогда. Только с чего ты взял, что я еврейка?» Вы знаете, я чуть не умер со смеху. Потому что я и ее хорошо знал, и дядю ее, Арона Яковлевича Лихтентула, и ее маму, за которой я, между прочим, пытался безуспешно приударить в свое время… Ну бог с ней, подарим ей ее тайну.

Кстати, был еще эпизод со Светловым интересный. Я официально не занимался у Михал Аркадьича, но часто ходил к нему, хотя был на семинаре у Захарченко. И в тот день я вспомнил, что сейчас у него занятие, и пошел к нему. А после семинара мы с ребятами соединились – несколько ребят вокруг Светлова, – мы иногда уходили, куда хотели, проводили семинары в баре № 4 на Пушкинской… И мы пошли в Дом литераторов. Мы хотели быть со Светловым в тот день. Понятно, да?

Волков: Ну конечно.

Евтушенко: Вот и представьте себе: с одной стороны, у меня возникало понимание, в какое тяжелое положение попадают евреи, так? И в то же время меня это не остановило. Я написал это стихотворение!

Волков: О врачах-убийцах.

Евтушенко: Но там ничего не было антисемитского, там нигде слово «еврей» не употреблялось, ничего такого не было…

Волков: «Убили, кажется, эти же…»

Евтушенко: «Эти же», да. Видите, как всё перепутано! «Никто из убийц не будет забыт, / они не уйдут, не ответивши, / пусть Горький другими был убит, / убили, мне кажется, эти же…» Написал – и в этот же день пошел к Михал Аркадьичу. Мы понимали, что его нельзя оставлять одного. И я понял, что нельзя оставлять Аллу с Лёнькой.

Волков: А что было в семье Барласов? Вам посоветовали этих стихов не печатать, да?

Евтушенко: У меня был в Москве друг Володя Барлас. Бывший мой одноклассник. Его семья жила в Кривоколенном переулке, где на квартире у Веневитинова Пушкин читал «Бориса Годунова». Это был дом, где мне впервые прочли Пастернака. Барлас меня научил любить Пастернака, Пастернак для меня был сложен в свое время. Я часто бывал у Володи Барласа, он написал

первую большую статью обо мне после Михаила Дудина. Володя, кстати, очень любил Дудина как поэта. И Дудин заслуживал хорошего отношения. Он заслуживал хорошего отношения еще и потому, что это он заставил партию – единственный раз – извиниться за Анну Ахматову.

Волков: Евгений Саныч, расскажите всё же, как получилось, что вы в семье Барласа прочли стихотворение о врачах-убийцах.

Евтушенко: Да потому что это была одна из самых моих доверительных, так сказать, семей. Которой я просто верил, куда я всегда приходил, где читал новые стихи. Чудесная была семья! Кстати, мама Володи работала в феррейновской аптеке и была уволена оттуда, потому что многих евреев начали увольнять. А потом и его папу тоже, по-моему, уволили, он был бухгалтером на Центральном почтамте, что на Кировской. И когда я прочел им стихи о врачах-убийцах, мама Володи встала передо мной на колени и сказала – это я помню очень хорошо, я повторил ее слова в фильме «Похороны Сталина»: «Боже, что они делают с нашими детьми!» – имея в виду и меня, и вообще новое поколение. Я говорю: «А что такое? В чем дело?» – «Ну Женечка, это же всё неправда! Эти врачи ни в чем не виновны! Может быть, сейчас их пытают!» – и тут ее муж тоже сказал несколько реплик, которые я потом использовал в своем фильме. И удивительное самое, что когда я узнал, что в одном доме с ними жил Валерий Гинзбург, оператор замечательного фильма Александра Аскольдова «Комиссар», то я его пригласил на роль отца Барласа. И он прекрасно сыграл эту роль. Он гениальный оператор. Помните, как косят в фильме «Комиссар»? По песку косят… Поразительно!

А когда я снимал фильм «Похороны Сталина», меня стали уговаривать на «Мосфильме», вся группа уговаривала: «Евгений Саныч, у вас столько врагов! Про вас уже говорили, что Евтушенко двуличный. Когда-то был сталинистом, писал про Сталина…»

Волков: При жизни Сталина – одно, а после смерти – другое?

Евтушенко: «Зачем вам это всё надо?» Я сказал: «Для меня это неважно. Я должен исповедаться перед будущим поколением. Мало ли какие сведения могут быть напечатаны в газетах будущего! Молодое поколение может поверить в неправду. А я предупреждаю об этом, я должен это сделать!»

Понимаете, вот я сейчас думаю, что было бы, если бы я напечатал это стихотворение о врачах-убийцах. Хотя – еще раз повторяю – там не было никакого антисемитизма, иначе я не пришел бы в еврейскую семью и не читал бы им стихи первым. И тем не менее это было бы ужасно. Но это не только я

заблуждался, многие заблуждались. Очень тяжело было понять, где правда, где неправда. Всё было в людях перепутано! И во мне, и в моих товарищах.

Роберт Рождественский – еще до того, как появилось официальное сообщение об аресте врачей, пошли только нехорошие слухи и стали закрывать аптеки, – тоже написал поэму. И тоже о врачах-убийцах. И мы в Литинституте обсуждали на семинаре эту поэму. Ее даже набрали в «Комсомольской правде», она занимала большую полосу. А потом – вдруг замолчали, остановились.

Волков: Решили дать задний ход…

Евтушенко: А еще помню, как Симонов, один из лучших наших советских поэтов, но человек, сильно зависимый от Сталина и приближенный к нему…

Волков: Он, по-моему, автор лучшей книги о Сталине – «Глазами человека моего поколения». Это повременные записи высказываний Сталина о вопросах культуры. В этом смысле это уникальная книга.

Евтушенко: Уникальная книга, действительно. Потому что немногие были так близко допущены к телу вождя, что называется… Так вот он, Симонов, на дискуссии о Маяковском вдруг сказал такую вещь: если бы сейчас Маяковский был жив, то он бы, конечно, написал поэму о врачах-убийцах…

Так вот Роберта неожиданно вызвали в «Комсомольскую правду». Почему? Я никогда об этом с ним не разговаривал, он никогда не говорил об этом. Но все знали, что его поэма вот-вот выйдет. Даже стали уже говорить, что ему премию Сталинскую дадут. Он сразу взлетел у всех в цене. И вдруг – поэма не вышла! Хотя подряд уже выходили разоблачительные статьи в разных газетах, в том числе и в «Литературной газете» симоновской, которая, в общем, последняя подключилась. Она долго держалась.

Но после заявления Симонова мне стало просто страшно. Я уже знал то, что многие не понимали. Я слышал от людей, которым я не имел права морального не доверять, что все это – неправда, что этому нельзя верить. Я подумал: неужели Маяковский действительно мог бы… А ведь он действительно мог! Мог так запутаться, что в конце концов и написал бы, будь он жив. А потом я подумал: ну как же так можно! По сослагательному наклонению нельзя судить о человеке, который мог бы совершить такую страшную ошибку…

И вот Роберт вернулся из «Комсомолки» и почему-то вовсе не ходил гоголем, а наоборот – молчал, никому ничего не говорил. И, несмотря на наши близкие отношения, даже мне – ничего. Все его спрашивали: «Ну, когда поэма-то выйдет? Ну, Роба, все ждем

же!» На моих глазах его поздравляли, жали руки… Он не отвечал на поздравления, он мрачный ходил. Совсем другой человек стал, молчал, ушел в себя. Так никто и не знает, что у него за разговоры были в «Комсомольской правде», почему поэма не вышла. А впереди было, наверное, еще месяца два, пока продолжалась вся эта кампания…

Я никогда с Робертом об этом сам не заговаривал, а он не заговаривал со мной. И никогда нигде не было напечатано, что такая поэма вообще у Рождественского существовала. Ни одним из его биографов. Ни в одной из его книжек. Я понимал, что ему было бы неприятно, если бы я начал разговор об этом. Ну, раз человек сам не заговаривает, у него, очевидно, есть основания. А потом я понял, долго анализируя. Я понял, что его наверняка вызвали туда только с одной целью: чтобы проверить снова, нет ли там каких-то поправочек, может. А он сам по какой-то причине отказался. Возможно, на него подействовала его семья. Почему нет? Все-таки у него не было никого ближе жены. Но то, что он сам принял решение, – в этом я убежден.

Волков: Но ведь Роберт Рождественский, несмотря на его вполне с церковным оттенком фамилию Рождественский, кажется, не был русским?

Евтушенко: Да, у него отец был, видимо, или поляк, или польский еврей, скорее всего. Мать его развелась с отцом в тридцать седьмом году. Это была фамилия его отчима – Рождественский. Роберт никогда об этом не заговаривал. Отчима своего он любил. Непонятно, что случилось с его родным отцом – то ли погиб на войне, то ли сначала был в лагере… Кстати, его отец работал в органах.

Волков: Запутанная история.

Евтушенко: Наверное, когда-нибудь всё это выяснится. Во всяком случае, биография Роберта – одна из сложных биографий, типичных для нашего поколения.

Волков: И это еще раз нам должно напомнить о том, что сейчас не очень понимают. Сейчас на прошлое наше глядят из сегодняшнего мира, с сегодняшних позиций и видят его в упрощенном очень виде: как нечто черное и белое. Либо полный злодей, либо рыцарь на белом коне. А реальная ситуация была неизмеримо более сложной, и люди в разных ситуациях проявляли себя по-разному. Тот же Симонов тому замечательный пример. И люди забывают еще о том, насколько тогда трудно было принимать важные жизненные решения. Это сейчас, задним умом, кажется всё чрезвычайно простым и очевидным. А если попытаться перенестись в то время – то послевоенное время в Советском Союзе, каким оно мне припоминается, было одним из

самых страшных, самых тяжелых. Принято считать, что Большой террор был самым ужасным временем, да? Но там еще были какие-то отзвуки двадцатых годов, какие-то витали романтические идеалы. А вот в послевоенные годы, особенно где-то начиная с 1949 года, когда началась вся эта антикосмополитическая кампания, – все вокруг затянуло каким-то невероятно серым цветом. Это была такая серая пустыня…

Евтушенко: Пастернак называл это «культ безличности».

Волков: И при полной отрезанности Советского Союза от Запада, при полном отсутствии какой бы то ни было информации было невероятно трудно… В более поздние годы люди вокруг меня, скажем, выписывали газету французских коммунистов «*Les Lettres Françaises*»…

Евтушенко: Или журнал «Польша».

Волков: Источники довольно убогие, с минимумом альтернативной информации, и все-таки… Но в послевоенные годы – ничего!

Евтушенко: Да, но я хочу продолжить о Роберте. Я один из немногих людей, который помнил его поэму и был носителем, так сказать, некоторых ее цитат. Я даже помнил, как она кончалась: «Есть на Лубянке серый дом, / не спят большие люди в нем, / там люди знают хорошо, / где черное, где белое. / Бьет полночь. / В кабинет вошел Лаврентий Палыч Берия». Вы представляете, что было бы, как у него сложилась бы судьба, если б это было напечатано! И уж что ему подсказало – совесть ли, или какой-то хороший человек… Хорошие люди вокруг нас все-таки были.

Почему я решил об этом рассказать? Потому что подумал: кто знает, вдруг какая-нибудь копия этой поэмы из архива может попасться злобному человеку и тот может такую гнусную статью написать!.. А Роберт был хороший человек. Он успел написать несколько просто замечательных стихов, раскрывавших такие душевные муки! Он написал прекрасные стихи перед своей безвременной смертью. Он очень переживал, что написал эту поэму. Он не говорил о ней, и это уже показатель.

И я вспомнил еще одну вещь. Перед тем как Горбачев начал уже покачиваться на своем месте, уже не обладал такой силой, его со всех сторон начали подсиживать, – он должен был выступить на одном из последних, по-моему, собраний комсомола. Вдруг мне поздно ночью звонит Роберт – мы ведь оба были с ним депутатами Верховного Совета – и говорит: «Женя, у меня к тебе просьба. Ты знаешь, Михаил Сергеевич выступать будет перед комсомолом завтра. Слушай, сейчас такое творится! Националисты наседают, общество „Память“ бог знает что на своих митингах выкрикивает, опять слышатся антисемитские

лозунги, и антиинтернационализм просто дремучий опять в людях просыпается… Женя, давай обратимся к Михаилу Сергеевичу, чтобы он выступил и официально от имени государства осудил бы антисемитизм. Все-таки должно наше государство сказать, что антисемитизм – это явление антипатриотическое в нашей многонациональной стране». Я говорю: «Хорошо, Роберт, я сейчас приеду к тебе», – сел в машину, приехал к нему, и мы написали вместе письмо Горбачеву. Утром Роберт поехал на заседание съезда и передал его Михаилу Сергеевичу. Насколько я знаю, это выступление Горбачева нигде не прогремело в широкой печати. Но я слышал, что он говорил об этом, просто это был тот момент, когда его уже не очень слушали. И это не поднимали на первые полосы. Я позвонил не так давно Горбачеву и спрашиваю его, помнит ли он об этом. Он говорит: «Женя, ты что, забыл, что тогда происходило? Вот хоть убей меня сейчас, я не могу тебе точно сказать, но помню что-то похожее. По-моему, я что-то говорил на эту тему, отвечал на это письмо». – «А кто может об этом знать?» – «Ну а кто, – говорит, – может сейчас об этом всё помнить?»

Волков: Ну, где-нибудь в архиве, конечно, есть. Я где-то тоже об этом читал. В записках Черняева[23], по-моему.

Евтушенко: Да, вот что было сделано Робертом. Это подтверждает мою догадку о том, что он сам снял свою поэму. В момент, когда это казалось таким выгодным для карьеры и когда – к ужасу своему – он уже знал, что это неправда.

Волков: Я должен сказать, что одним из достижений современной России является отказ от государственного антисемитизма. По-моему, впервые за всю историю России. Это безусловное достижение.

Назым Хикмет

Евтушенко: Меня в первый раз на банкет пригласили, когда приехал Назым Хикмет, прославленный турецкий поэт-коммунист. Это было в 1951 году. Это тогда он сказал, что расскажет товарищу Сталину как коммунист коммунисту, сколько его безвкусных портретов выставлено. Отчего весь зал замер просто. Юрий Завадский вел этот прием.

Волков: Завадский побледнел и сполз со стула?

Евтушенко: Нет, он не побледнел, он выкрутился. Он сказал: «Я думаю, товарищ Сталин правильно бы оценил ваши слова. Потому что, – Завадский сказал, – он в трудном положении. Ведь люди хотят выразить ему свою благодарность, и он боится их обидеть».

Волков: Хикмет приехал в Советский Союз после того как его освободили из тюрьмы в Турции?

Евтушенко: Да, его подобрали где-то в море на болгарское судно или румынское, уж не помню. Потом его как-то передали нам, и он приехал в Москву. Он опоздал, кстати, на этот самый прием – он первые дни ходил всюду в театры. И совершенно невероятно, что он говорил! Он сказал: «Когда я сидел в тюрьме, я все время думал о театре Мейерхольда». Он упомянул имя Мейерхольда! Я еще спросил кого-то: кто это такой? И тот мне шепнул: «Что ты болтаешь, это рискованно, он же арестованный!»

Волков: Ведь тогда это было совершенно непроизносимое имя.

Евтушенко: Абсолютно! А Хикмет: «Я знал, какой расцвет искусства театрального был в СССР, я жил тем, что опять это увижу. И вот сейчас я ходил в театр… Ну что ж вы делаете, товарищи! Это же буржуазное искусство, которое не вдохновляет ни на что!» Он говорил такие вещи!.. Что пожалуется товарищу Сталину, скажет об этом как коммунист коммунисту… Потому что у него назначена была уже встреча. Правда, потом ее отменили.

Волков: Ах, вот так. Товарищ Сталин решил не разговаривать с таким неудобным турецким коммунистом.

Евтушенко: Я с Хикметом очень дружил. У меня были два человека, которые мне предлагали взаймы всегда. Сами звонили. Вот Назым был одним из них. Другим была жена Эдуарда Колмановского, композитора, она каждый раз звонила: «Женечка, Эдик опять получил такие большие авторские, просто не знаем, что делать с этими деньгами. Тебе не нужны сейчас?» И Назым мне звонил: «Дорогой брат, я тут получил гонорар. Тебе деньги нужны?» Я говорю: «Да нет, не нужны». – «А ты не знаешь каких-нибудь хороших людей, которым нужны деньги?» И Назым, кстати, купил самую первую картину у Олега Целкова, у него нюх был на живопись…

Так вот, возвращаюсь к рассказу. Уже Сталина не было, он умер. Назым пригласил меня и художника Юру Васильева в гости. Назым любил приглашать к себе в Переделкино на пару дней, у него были гостевые комнаты, он любил посидеть с людьми. У него была турецкая такая комната, Юра разрисовывал, кстати, ему стены.

Вдруг входит человек в шапке… и падает на колени! Назым его узнает. Это, говорит, мой Вася, шофер (Назыму дали машину, когда он приехал). А Вася плачет – он пьяный был – и говорит: «Я пришел к тебе покаяться». Потом спрашивает: «Кто эти люди?» Назым говорит: «Это мои друзья, ты можешь говорить все что

угодно. Ну, что с тобой?» И Вася рассказывает историю о том, как его вызвал к себе Берия и спросил: «Ты кого возишь? Знаешь кого?» – «Как кого? Революционера, поэта турецкого замечательного, очень хорошего человека. Он даже домой ко мне приходил, хотел познакомиться с моей семьей». – «Это человек, который приехал, чтобы убить товарища Сталина, понятно?» И Берия Васе сказал, что тот должен выполнить спецзадание: помочь им убрать Назыма. Я ввел Васин рассказ в свой фильм «Похороны Сталина», в сцену ареста моего отца – когда ввели уголовников и сказали: «Вот эти милые мальчики несколько лет не видели женского тела, сейчас они займутся твоей женой». Этим и Васе пригрозили, и Вася согласился. Его несколько раз предупреждали, что акция будет завтра или послезавтра, но всё отменялось. А потом Берию посадили, но Вася носил это в себе – что согласился убить. Меня это потрясло тогда. И еще потрясло, что ни один мускул не дрогнул на лице у Назыма. Абсолютно! «А я это знал», – сказал он. «Как знал?» – «А догадывался, чувствовал». Спокойно так сказал… «Ты ни в чем не виноват. Это хорошо, что ты пришел и рассказал, но я это знал. Я тебя люблю, спасибо тебе, ты хороший человек». И подарил какой-то даже платок, я помню.

Волков: Ужасно, когда подумаешь о том, что такое могло быть…

Евтушенко: Назым уехал, когда польский паспорт получил. А потом вернулся и получил советский паспорт. И сказал: «Вот теперь у меня есть советский паспорт, теперь меня никто не упрекнет в том, что я иностранец, который позволяет себе оскорблять всё советское. Советский Союз вызволил меня из тюрьмы – за это спасибо! Но теперь я буду бороться вместе с вами, молодежью вашей, против бюрократии». Вот что такое был Назым…

Берия

Волков: В эпизоде с Назымом Хикметом Берия выглядит абсолютным чудовищем.

Евтушенко: Он такой и был.

Волков: Но вспомните, с другой стороны, что, оказывается, планировал сделать Берия после смерти Сталина. Он собирался распустить колхозы, объединить Восточную и Западную Германию… То есть он собирался перехрущевить Хрущева, он собирался быть бóльшим демократом и бóльшим либералом, чем в итоге стал Хрущев. Вы в это верите?

Евтушенко: Нет. Он был бы тираном, играющим в технократа.

Волков: А почему вы не можете представить себе, что именно Берия – такой очевидный монстр – был бы способен осуществить гораздо более радикальные изменения в сторону либерализации?

Евтушенко: Потому что монстр есть монстр. Вот и всё. Просто он хотел американской поддержки, хотел понравиться американцам, быть при них – они же держали диктаторов. Сколько их там было в Латинской Америке? Вот и он хотел быть таким.

Волков: Таким латино-банановым диктатором? Это очень интересное соображение, я об этом никогда не думал.

Евтушенко: Алла Киреева училась вместе с девочкой, любовницей Берии, школьницей. Та жила напротив «Арагви». Берия ее подобрал на машине, как он обычно делал. Но это был особый случай, она была его постоянная девочка.

Я однажды мог увидеть Берию, потому что Алла пригласила меня и Роберта к этой девочке на день рождения. Ожидался Берия. И всюду на лестницах стояли топтуны, а мы сидели, и нам казалось…

Волков: Сейчас дверь отворится и войдет человек в шляпе и очках…

Евтушенко: Но это официанты в куртках принесли нам еду из «Арагви». Гребешки знаменитые арагвинские, фаршированные куриной печенкой, и разные всякие разносолы… Прямо из «Арагви» носили! Берия должен был войти с минуты на минуту…

Волков: Всех, наверное, била нервная дрожь? В ожидании?

Евтушенко: Ну, любопытно и страшновато было. Но Берия почему-то не явился.

Волков: Вообще соприкосновение с компетентными органами вселяет в писателей – я заметил просто по тому, что читал, – смесь такого любопытства и страха. Как будто тянет заглянуть в бездну! Так было с Бабелем, когда он дружил – больше, чем дружил, – с женой Ежова. Или с Маяковским, который тоже дружил с чекистами.

Евтушенко: Да, с ЯковомАграновым. Но неизвестно, была ли это дружба. Агранов был необразованный человек.

Волков: Лиля Брик говорила мне, что это былонастоящая дружба.

Причастность к каким-то секретам и к аппарату, одновременно засекреченному и мощному, – что-то есть в этом, наверное, гипнотическое. То, что притягивает писателей. Нет?

Евтушенко: Не знаю, меня это не притягивало никогда.

Волков: Значит, вас бог миловал в этом смысле, Евгений Саныч.

Похороны Сталина

Евтушенко: Это ужасно было – похороны Сталина. Когда люди вдруг начали чувствовать, что шагают по живым человеческим телам, они стали преображаться. И кто-то поджимал ноги, кто-то не поджимал…

Волков: Такой кровавый карнавал.

Евтушенко: Главное – спастись самому, не попасть под ноги другим. Так это я там почувствовал. Мы были вместе с поэтом Германом Плисецким, он, кстати, написал очень хорошую вещь – «Труба». Трубная площадь… Замечательная поэма. И тогда мы – и Гера, и я, и еще там некоторые люди, я не знаю даже, кто из нас был инициатором, – мы поняли, что нужно как-то соединяться, людей объединять, рассекать сегментами буйствующую толпу, иначе она сойдет с ума. И мы стали на цепочки разделять людей: сцепляли руки и рассекали ими бушующее, ничему не подчиняющееся, всклокоченное, взбудораженное море. Море, которое грозило растоптать всех и уничтожить, если ты попадал внутрь этой коловерти. Мы с Германом все время рядом держались, и получилось, что мы с ним были одними из организаторов цепочек, которые спасли очень много людей. А когда я пришел домой – я так и не попал в Колонный зал, где стоял гроб со Сталиным, – мама спросила: «Видел Сталина?» Я сказал: «Да, я его видел». Потому что то, что я видел, – это и был Сталин. И самое страшное было в том, что офицер кричал: «Инструкции нет!» Все ж ему говорили: «Отодвиньте грузовики!»

Волков: То естьтяжелые военные грузовики, которые загораживали проход.

Евтушенко: А он кричит: «Инструкции нет!» Вот это и был Сталин. Его тень зловещая. Когда люди отвыкли действовать как люди. Когда не спасаешь людей, а думаешь о каких-то инструкциях.

Волков: Сколько же народу погибло в этой толпе? До сих пор нет точной цифры.

Евтушенко: Ну, четыреста-пятьсот, это уж точно. А еще раненых было много и потоптанных. Когда я перед работой над фильмом «Похороны Сталина» просматривал уйму киноархивов, я нашел уникальные кадры. Кстати, часть из них – впервые показаны в моем фильме. Например, потрясающие кадры, когда на самолетах свозили цветы со всей страны к Сталину и Красная площадь была просто завалена цветами. Цветы, цветы, цветы… И это мне удалось вмонтировать. Я начинал сначала с цвета, потом переходил на черно-белое, потому что похороны Сталина снимались в черно-белом варианте. На Трубной же никто не

снимал. Но там действительно была иностранная корреспондентка какая-то, у которой отобрали фотоаппарат, – это мне позволило снять Ванессу Редгрейв в роли корреспондентки.

Ванесса приехала случайно, позвонила: «Ты, говорят, фильм снимаешь интересный о Сталине? А можно материалы посмотреть?» И когда посмотрела, ей так понравилось, что она сказала: «Ох, как жалко, что у тебя нет эпизода для меня!» И всё – пиши пропало! На следующий день у меня уже был переведен текст. Мой друг Альберт Тодд[24] был здесь, он снимался у меня в роли американца, и мы сделали эпизод для него и Ванессы. Я ему подарил Ванессу Редгрейв. Вечером мы ее сняли, она бесплатно снялась. Так что это было чудо. И всё было так, как и было исторически. Я видел, как отнимали у той журналистки фотоаппарат.

Хороший профессионал Андрей Кончаловский снял фильм «*Inner Circle*» – «Ближний круг», но сделал страшную ошибку. В его фильме люди, которые шли хоронить Сталина, несли его портреты. Никто не нес ни одного портрета на самом деле. Ни одного! Портрет Сталина был только у входа в Колонный зал, а больше нигде не было.

Волков: А эта давка страшная произошла ведь на Трубной?

Евтушенко: На Трубной, да. Из-за того, что там поставили грузовики.

Волков: Это была спонтанная реакция людей, которые действительно хотели увидеть в последний раз Сталина?

Евтушенко: Не только. Там были разные люди: там было просто любопытство, там было горе… Но на Трубной это превратилось уже в борьбу за жизнь. Когда тебя стискивала толпа, это страшные моменты были! Я помню, как поджимал ноги, потому что по живому уже ноги шли, как ныряли люди в канализацию там, на Трубной… И было одно метеорологическое чудо, которое в кино не получилось, к сожалению, но у меня в стихах описано, тогда родилось четверостишие:

> Весенний лед хрустел под каблуками.
> Прозрачный сквер лежал от них правей,
> на их дыханьи, ставшем облаками,
> качались тени мартовских ветвей.

Настолько плотным было это людское дыхание, что от него качались ветки! Это невозможно! Мы пробовали передать разными трюками, но не вышло! И горы сложенной обуви, которые напоминали картину Верещагина «Апофеоз войны»… Горы обуви… пуговицы… И люди лежали… просто мертвые люди.

Волков: Да, это одна из самых символических катастроф. Это не сотни тысяч или миллионы, которые погибли в террор, но это трагедия публичная, массовая, в центре Москвы, и очень символическая, очень. Кровавый конец кровавого режима.

Евтушенко: Я хочу сказать вам к собственной гордости одну вещь. Когда мой фильм смотрели люди, которые были в этой очереди, ни один не догадался, что съемки были сделанные, а не документальные. «А все-таки где вы нашли эти кадры?» – меня спрашивали. Но мне помогли тогда очень многие режиссеры. Вот для съемок этой сцены пришел Говорухин, пришел Алеша Симонов, Савва Кулиш пришел, потому что снять такую сцену в одиночку невозможно было. Мы снимали разными камерами, они свои камеры притащили. Помогали мне все эти шесть дней.

Волков: Евгений Саныч, вы говорили, что эта страшная сцена стала для вас началом крушения вашего личного мифа о Сталине…

Евтушенко: Оно случилось раньше, это крушение. Но вот раздвоенность какая-то в чувствах к Сталину была. Тетка-то моя, Ира Гангнус, мне раньше сказала, году в сорок пятом еще, – я никому ее не выдал, конечно, – что он убийца, Сталин. Она была первым человеком, который мне так его назвал.

Волков: Для вас что это было? Озарение? Или вы пропустили мимо ушей?

Евтушенко: Нет, я был потрясен… У меня был друг. Близкий самый. Друг, с которым мы разговаривали о политике. Я учился уже, по-моему, в четвертом классе, в 254-й школе. А друг – Дима Жданов. Жил он около моего любимого кинотеатра «Перекоп». Его отец был, между прочим, критиком известным. Он даже заведовал литературной энциклопедией – Владимир Викторович Жданов[25].

Волков: Он писал о Некрасове.

Евтушенко: Совершенно верно, о Некрасове. А мама Димы была еврейка, насколько я понимаю. Хотя я иногда ошибаюсь, потому что это для меня не имеет значения. Я, например, узнал, что моя жена Галя еврейка, только когда мы расписываться пошли.

Так вот о Диме. Все-таки мы были такие Маугли, но уже соображали, что можно говорить, что нельзя, и с кем можно говорить, и что таких людей не очень много. И с Димой мы нашли общий язык. И вот я ему говорю: мне сказал один человек, что Сталин – убийца на самом деле. А потом рассказал анекдот, который я привел в своем фильме, – это тоже теткин анекдот, тети Иры Гангнус.

Волков: Расскажите.

Евтушенко: Анекдот тогда лет на пять тянул.

Собирает дирекция сумасшедшего дома своих подчиненных и товарищей сумасшедших и объявляет им: «Дорогие товарищи сумасшедшие, к нам приезжает ревизор! Он будет спрашивать, чем вы недовольны. Зачем делиться нашими недостатками, которых у нас много еще в работе? Всем надо хором отвечать словами товарища Сталина: „Жить стало лучше, жить стало веселее“. Ну, приезжает ревизор и говорит: „Товарищи, говорите смело, я лично доложу товарищу Сталину ваше мнение, что происходит в вашем сумасшедшем доме! Не бойтесь ничего, никто не будет наказан за правду, как бы сурова она ни была“. И все хором кричат: „Жить стало лучше, жить стало веселее!“ Вдруг ревизор видит – один человек не кричит. „А вы почему, товарищ, не участвуете в общем хоре энтузиастов? Почему вы не кричите: „Жить стало лучше, жить стало веселее“?“ – „А я медик, я не сумасшедший“».

Потом Дима смеялся и говорил мне: «Папа как хлопнул дверью! „Чтоб я не слышал такого больше дома! Хватит этого всего! Ты добьешься в конце концов, что нас посадят!“». И потом мы с Димой, как время у нас выдавалось, ходили после школы по улицам, рассуждали об истории и политике: что происходит, что такое Сталин, какие-то сведения я от него узнавал… Это Дима мне сказал, что мои дедушки арестованы, ему мама его рассказала. А моя мама старалась поменьше про это говорить – мол, они в командировке. Не то что врала – но что перекладывать на ребенка? И не то чтобы воспитан я был в фальшивом духе, нет. Просто понятны материнские чувства. Ребенок ведь может кому-то рассказать по наивности…

Волков: Давка на Трубной – трагический эпизод и символический, но ведь о нем никто не знал, Евгений Саныч! Я, живя в Риге в то время, понятия не имел об этом. Ведь не сообщали нигде. Я даже не уверен, сообщали ли в зарубежной печати.

Евтушенко: А это было потрясающее событие моей жизни, понимаете? Одно из самых главных. Самых главных! Когда я писал автобиографию, это стало центральным местом.

Иллюстрации

Фото Михаила Озерского / РИА Новости.

С родителями Зинаидой Ермолаевной Евтушенко и Александром Рудольфовичем Гангнусом. 1932. Фото из архива М. В. Евтушенко.

С мамой и дедушкой Рудольфом Вильгельмовичем Гангнусом. Фото из архива Музея-галереи Е. А. Евтушенко.

Женя Гангнус. Фото из архива Музея-галереи Е. А. Евтушенко.

Женя Евтушенко с друзьями. 1948. Фото РИА Новости.

На станции Зима. Фото из архива Дома-музея поэзии (г. Зима).

Москва, конец 1950-х. Фото Vostock Photo Archive.

Роджер Миллис и Евгений Евтушенко. VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Хельсинки, 1962. Фото Валерия

Шустова / РИА Новости.

На концерте. 1961. Фото Михаила Озерского / РИА Новости.

Белла Ахмадулина на сцене. На заднем плане – Евгений Евтушенко. Начало 1960-х. Фото Vostock Photo Archive.

Михаил Светлов, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко. 1960-е. Фото из архива М. В. Евтушенко.

С Анатолием Кузнецовым после первого посещения Бабьего

Яра. 1961. Фото из архива М. В. Евтушенко.

Никита Хрущев на выставке в Манеже. На заднем плане – Евгений Евтушенко. 1 декабря 1962. Фото из архива Музея-галереи Е. А. Евтушенко.

Екатерина Фурцева, Евгений Евтушенко и Эрнст Неизвестный. 1962. Фото Александра Устинова / Архив Нинель Устиновой.

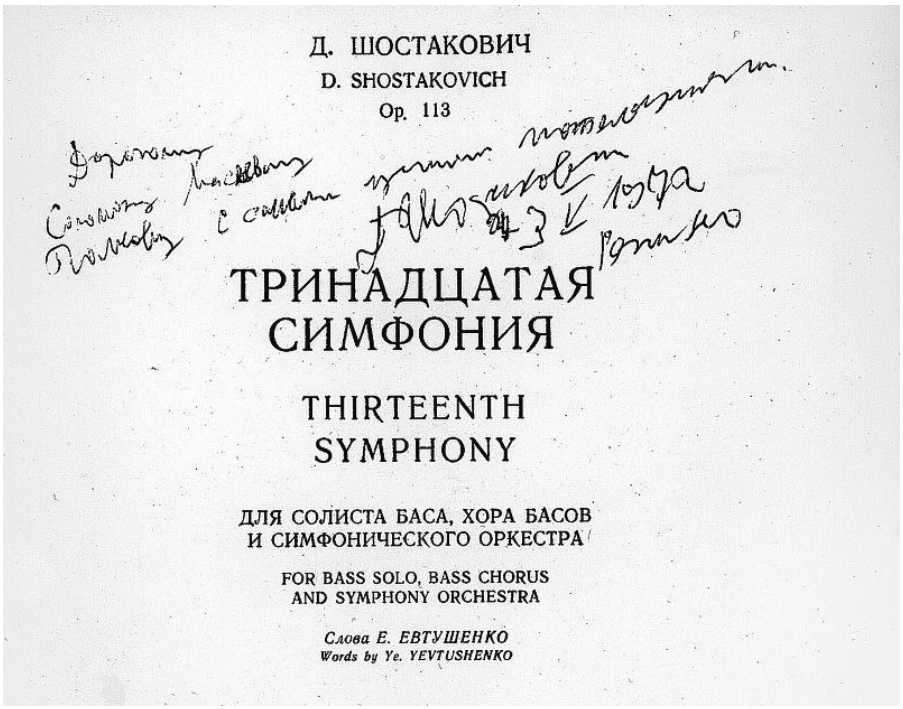
С Галиной Сокол. 1962. Фото из архива М. В. Евтушенко.

За работой. Москва, 1963. Фото Vostock Photo Archive.

С Джоном Апдайком и Артуром Миллером. 1962.

С Робертом Кеннеди. Фото из архива Музея-галереи Е. А. Евтушенко.

Дмитрий Шостакович и Соломон Волков. Москва, 1974. Фото Марианны Волковой.



Д. ШОСТАКОВИЧ
D. SHOSTAKOVICH
Op. 113

ТРИНАДЦАТАЯ
СИМФОНИЯ

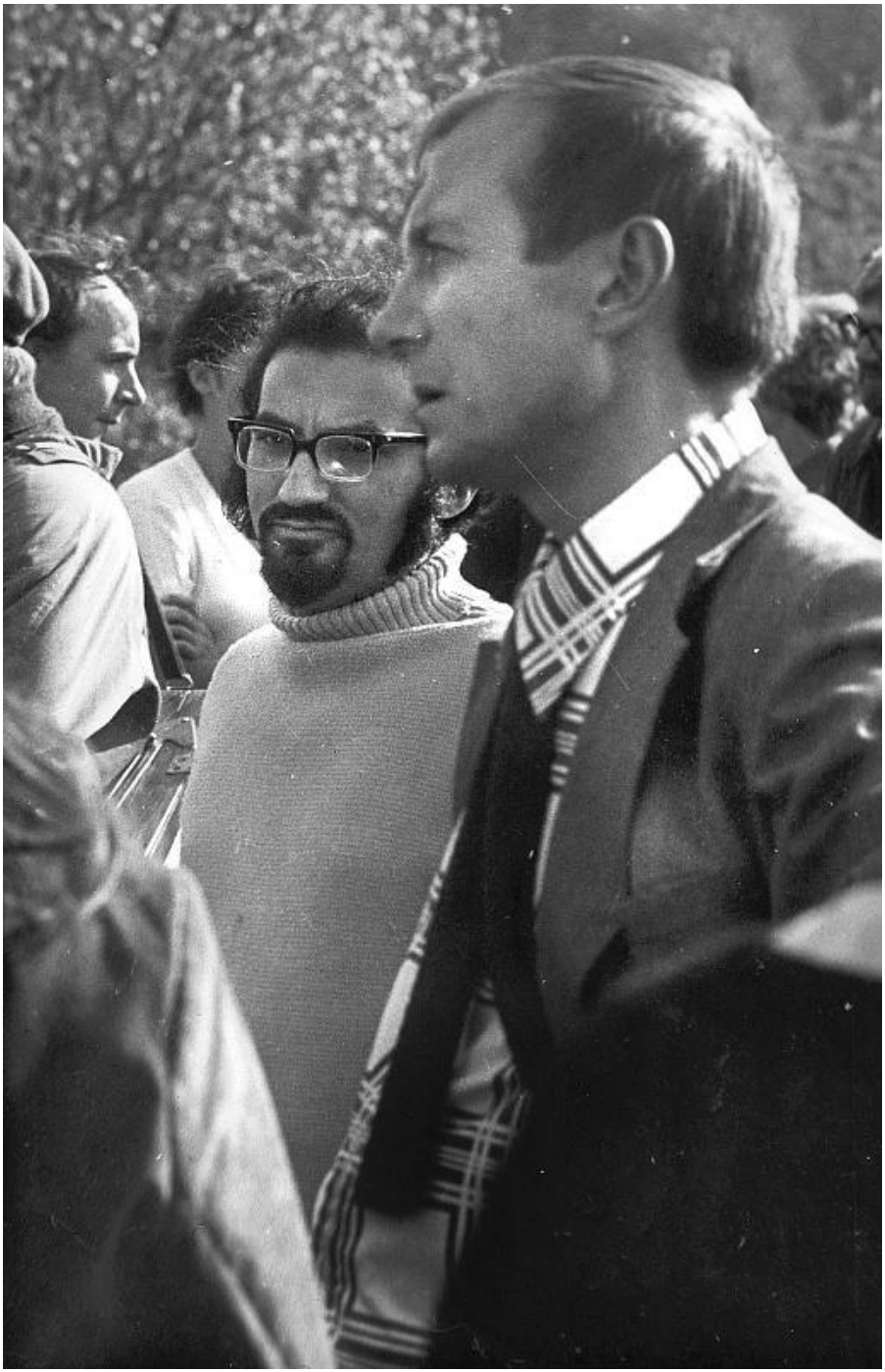
THIRTEENTH
SYMPHONY

ДЛЯ СОЛИСТА БАСА, ХОРА БАСОВ
И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

FOR BASS SOLO, BASS CHORUS
AND SYMPHONY ORCHESTRA

Слова Е. ЕВТУШЕНКО
Words by Ye. YEVTUSHENKO

Партитура Тринадцатой симфонии “Бабий Яр” с инскриптом Дмитрия Шостаковича Соломону Волкову.



Соломон Волков и Евгений Евтушенко на выставке

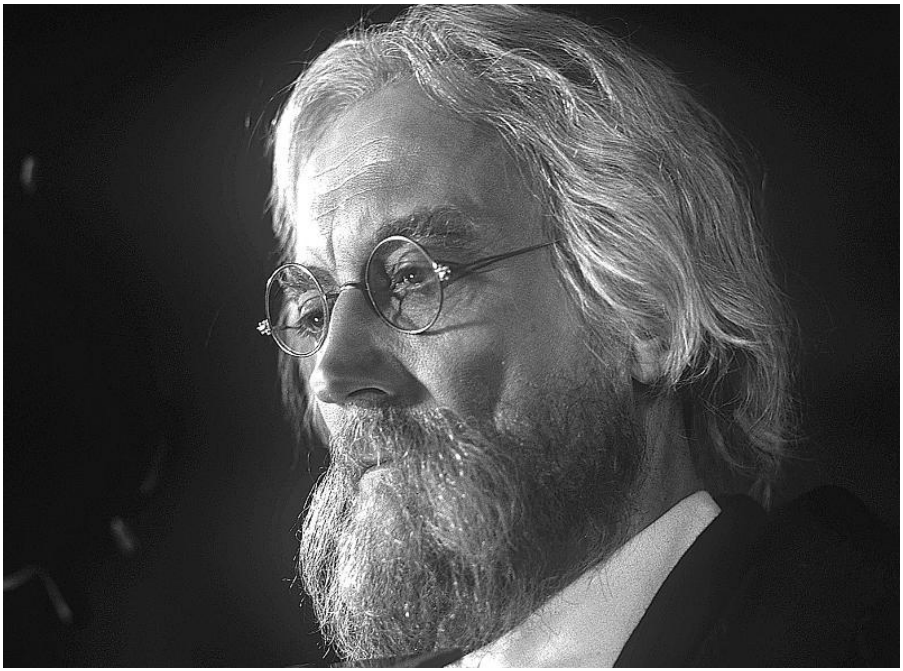
художников-нонконформистов в Измайловском парке. Москва, 1974. Фото Марианны Волковой.

Первое чтение поэмы “Братская ГЭС” в Иркутске. Фото

Владимира Калаянова / Vostock Photo Archive.

На Братской ГЭС. Фото из архива М. В. Евтушенко.

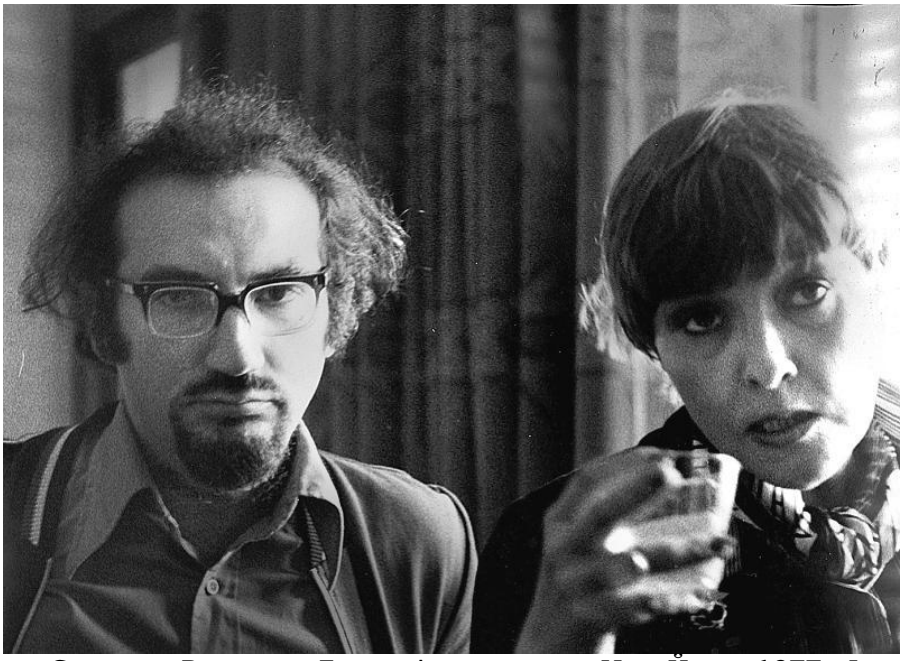
С Дорой Франко. 1968. Фото из архива Музея-галереи Е. А. Евтушенко.



В роли Константина Циолковского в фильме “Взлет”. 1979. Фото РИА Новости.

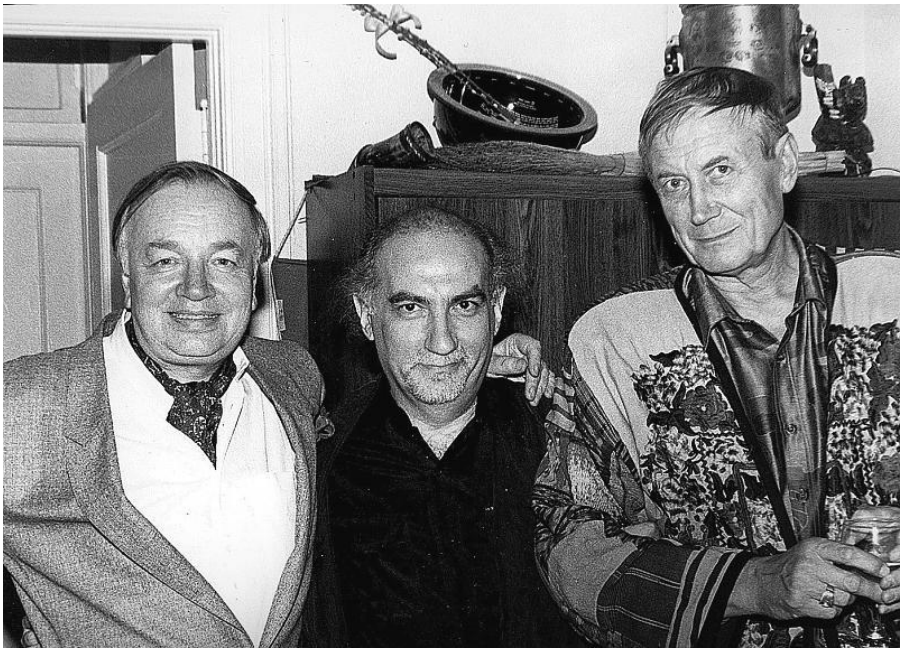
На съемках фильма “Детский сад”. 1983. Фото Петра Малиновского / РИА Новости.

С Джан Батлер. Конец 1970-х. Фото из архива М. В. Евтушенко.



Соломон Волков и Белла Ахмадулина. Нью-Йорк, 1977. Фото Марианны Волковой.

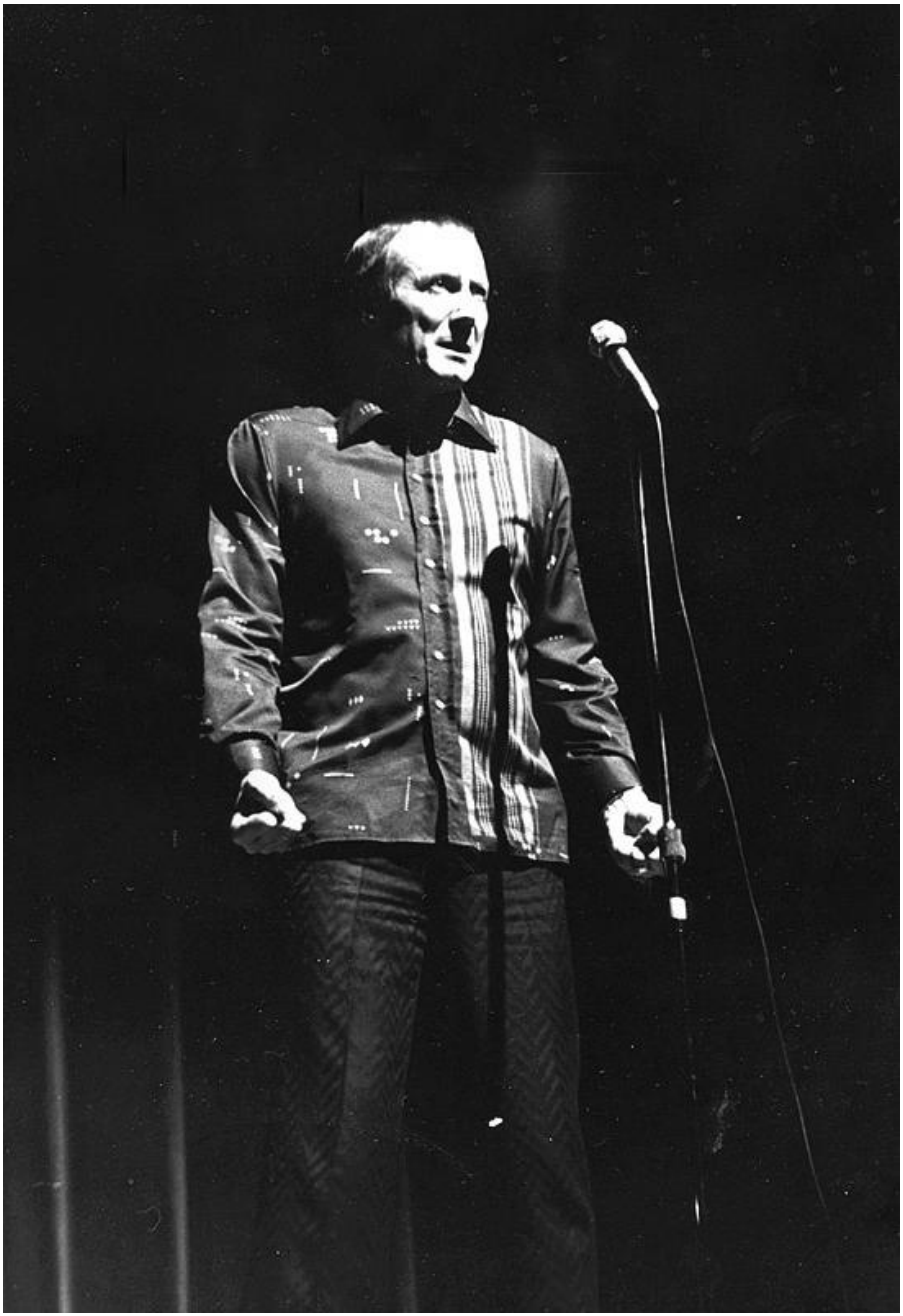
Шестидесятники: Евгений Евтушенко, Булат Окуджава. 1980-е. Фото из архива М. В. Евтушенко.

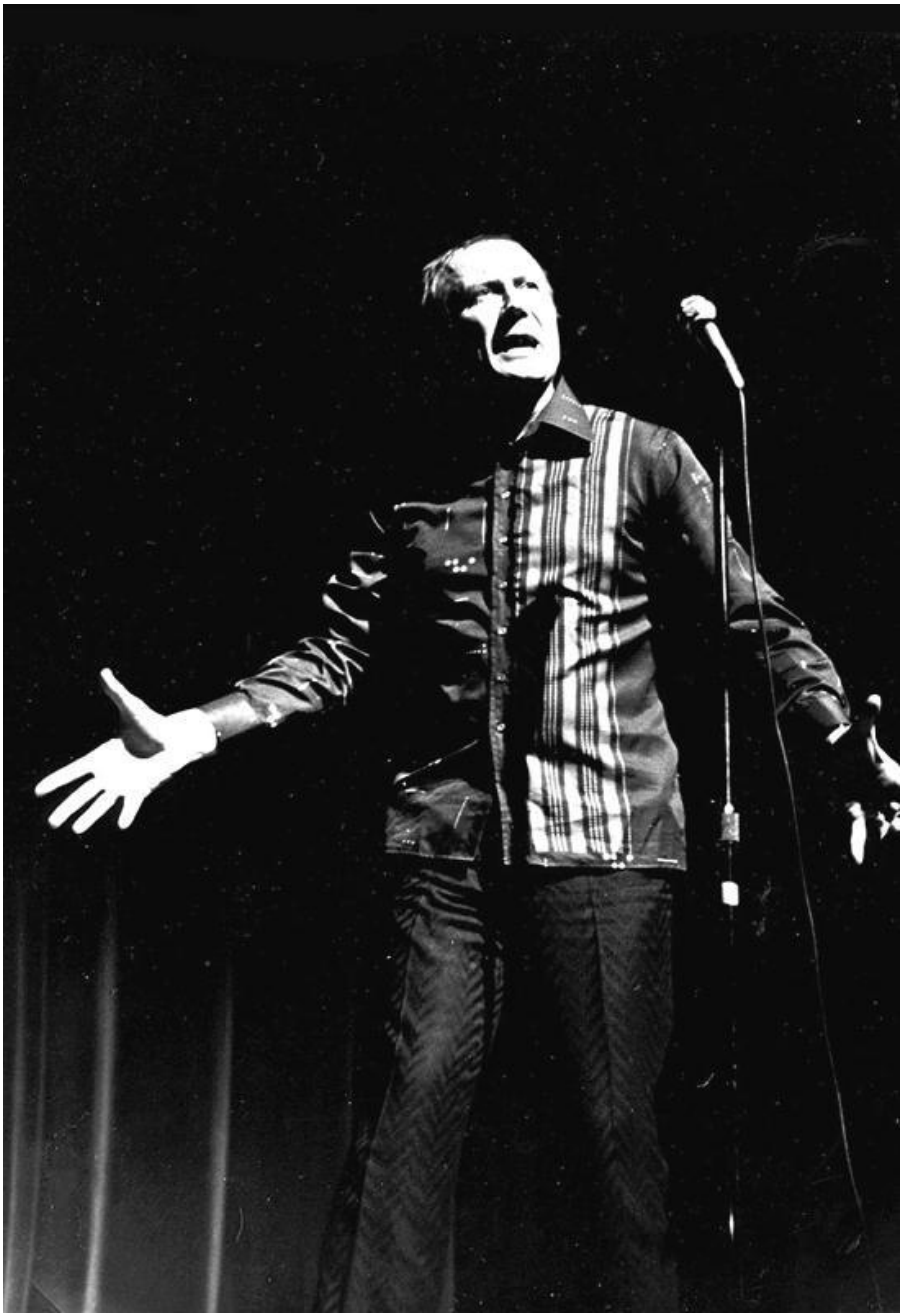


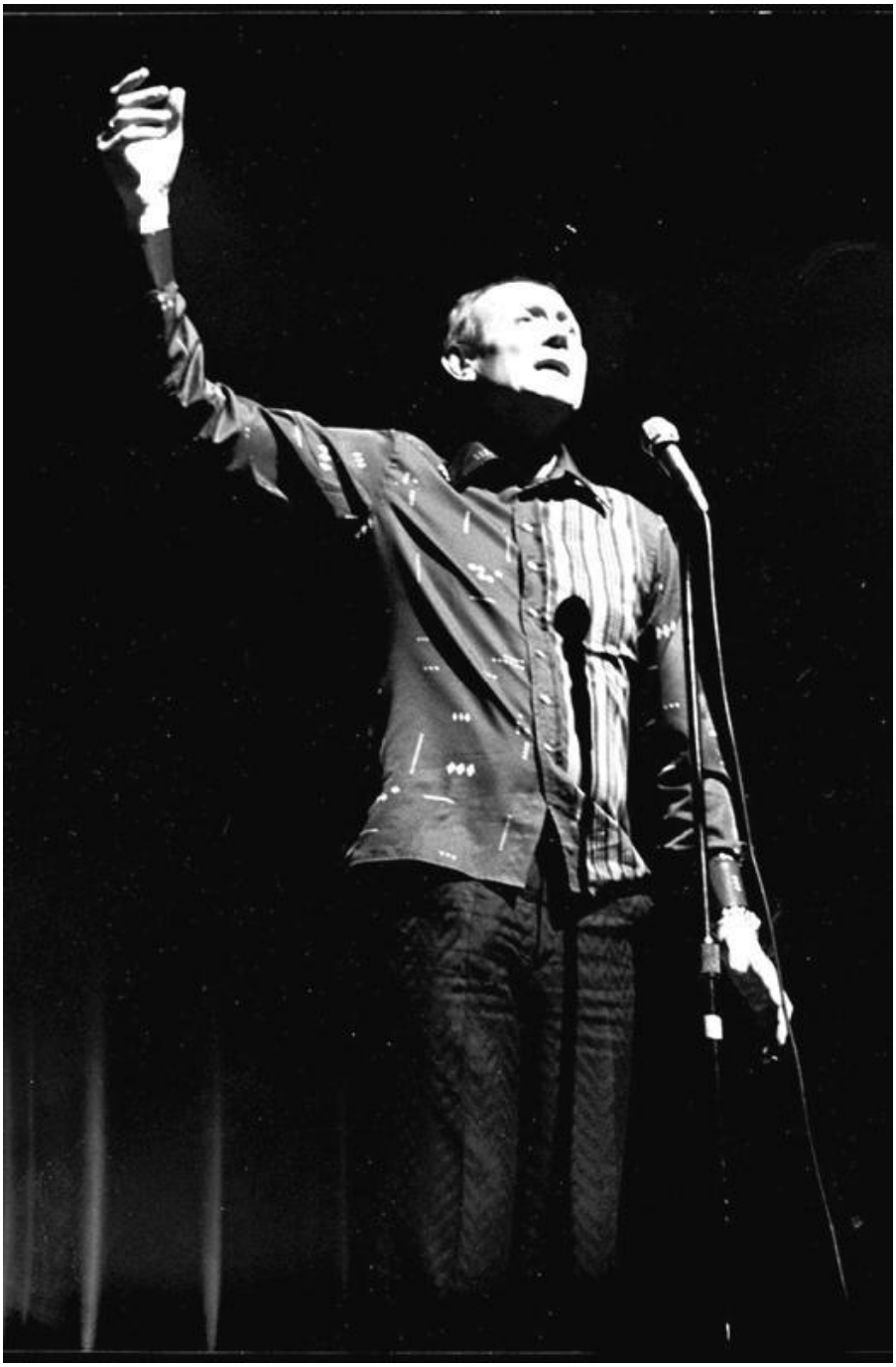
Андрей Вознесенский, Соломон Волков и Евгений Евтушенко. Нью-Йорк, 1985. Фото Марианны Волковой.

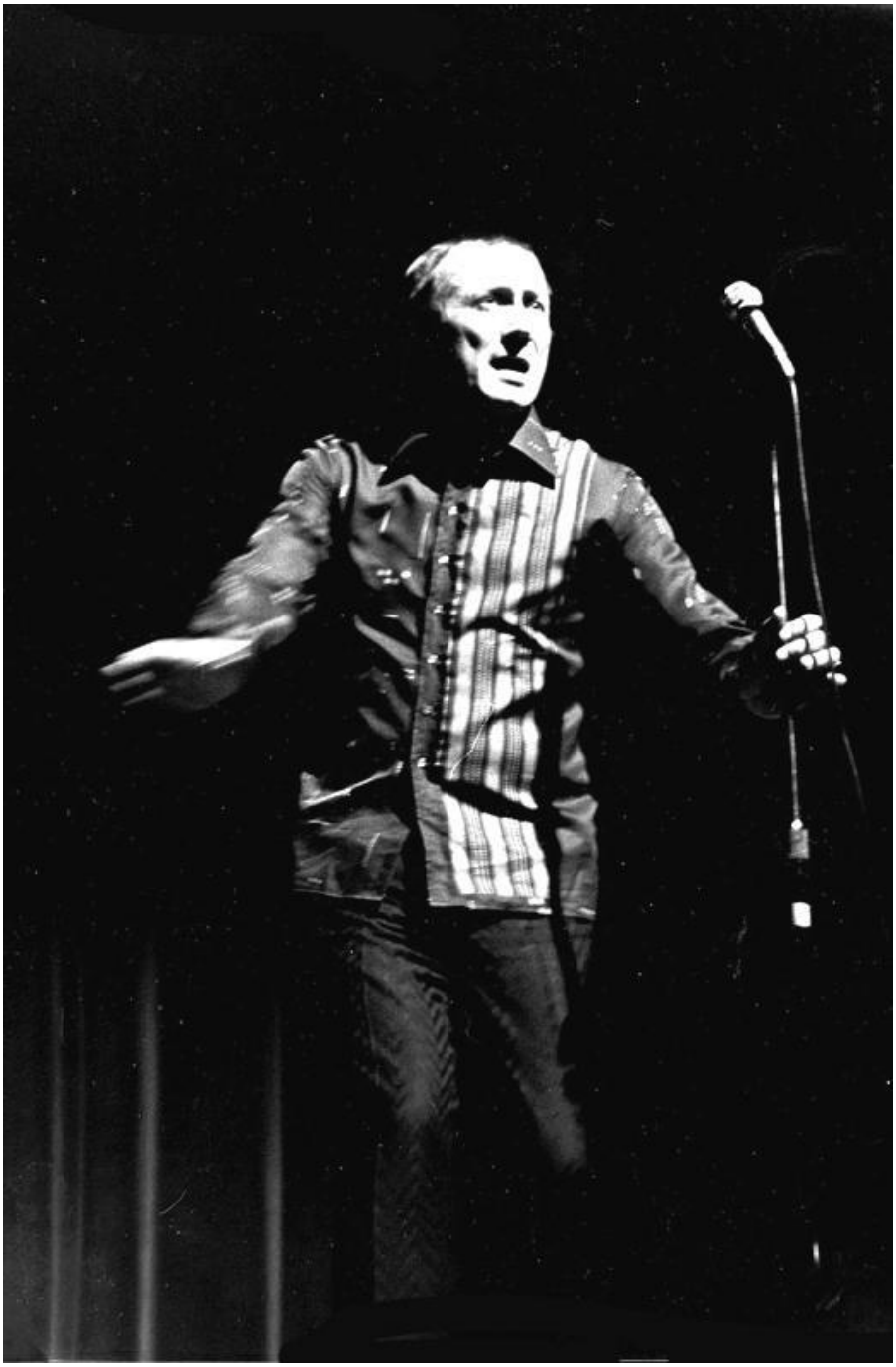
Шестидесятники: Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский. 1980-е. Фото из архива М. В. Евтушенко.

Евтушенко читает свое стихотворение “Карликовые березы” в Квинс-колледже. Нью-Йорк, 1978. Фото Марианны Волковой.









С Марией Евтушенко. Фото из архива М. В. Евтушенко.

С детьми: Женей и Димой. Фото из архива М. В. Евтушенко.

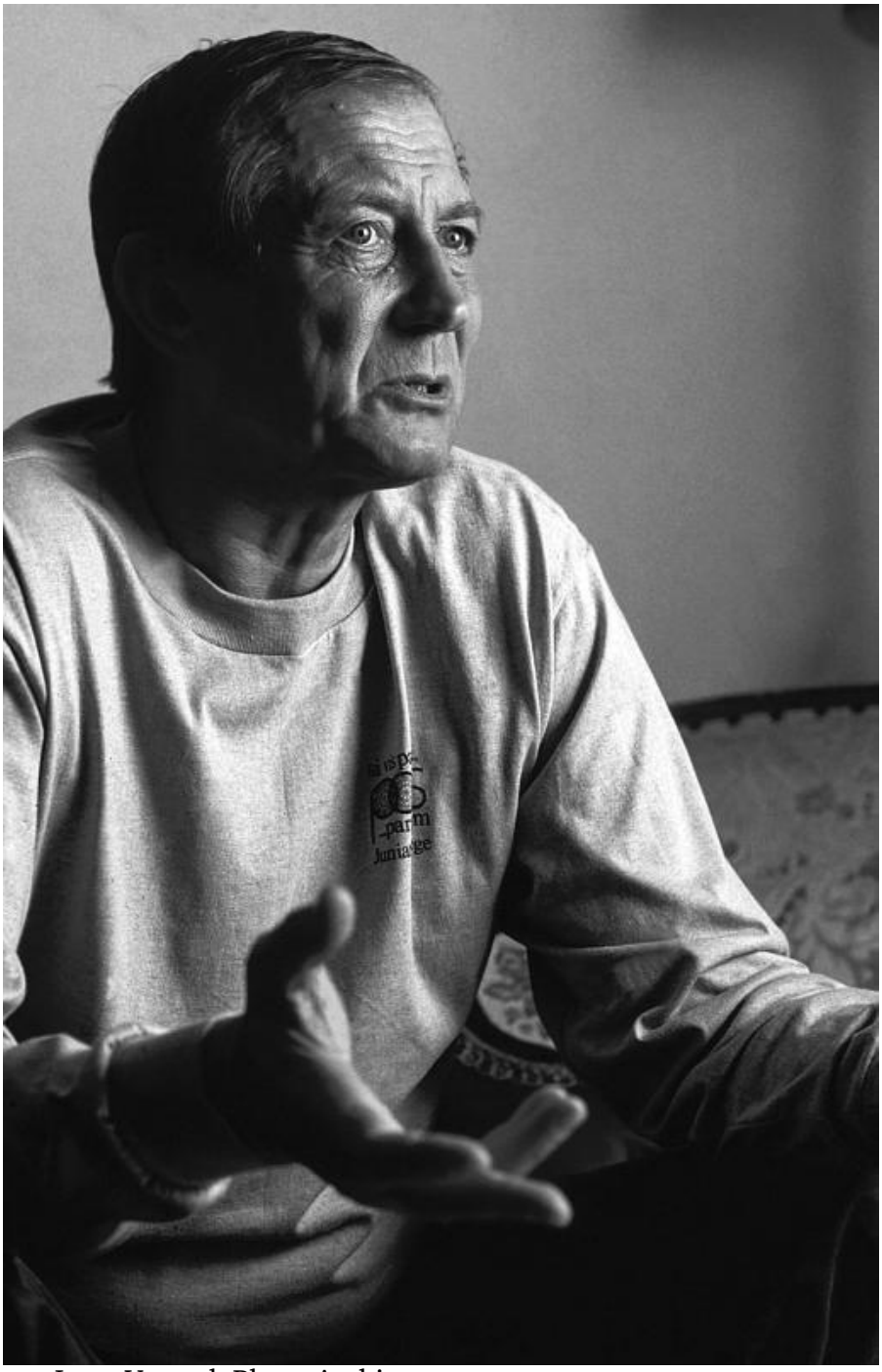


Фото Vostock Photo Archive.

Поэт в России – больше, чем поэт

Трансформация: сталинский – не сталинский – антисталинский

Волков: А дальше как? Как поэт Евтушенко из, условно говоря, поэта сталинского, каким он воспринимался окружающими, превращался сначала в не сталинского, а потом в антисталинского?

Евтушенко: Вы понимаете, какая штука… Смотрите, вот 1952 год:

Не надо говорить неправду детям,
не надо их в неправде убеждать,
не надо уверять их, что на свете
лишь тишь да гладь да божья благодать.

Не надо по желанью своему
морочить их несбыточными снами.
Учить не надо верить их тому,
чему уже давно не верим сами.

Волков: Ого!

Евтушенко: Во как!

Волков: Для 1952 года – это, считай, революционные стихи!

Евтушенко:

Солгавший детям детство обезлюдит,
подсунет им бесчестье, словно честь.
Пусть видят же не только то, что будет,
пусть видят, ясно видят то, что есть.

Сладинка лжи – отрава в манной каше.
Писк лживый не прощайте у кутят,
и нас потом воспитанники наши
за то, что мы прощали, – не простят.

Вот он, Литинститут!

Волков: А вот с этими стихами у вас уже были проблемы, когда вы их предлагали напечатать?

Евтушенко: Были, были! Но все-таки они как-то проходили.

Волков: Но, с другой стороны, когда Сталин умер, вы напечатали «Бессмертие» – стихотворение, посвященное Сталину.

Евтушенко: Да, правильно.

Волков: А когда именно и вы, и, по вашим ощущениям, вся страна начали понимать, что что-то меняется? Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но после смерти Сталина основная эмоция ведь была – страх! Не обязательно даже, что они обожествляли Сталина, что им казалось, что без него Советский Союз погибнет, хотя и такие люди были. Люди, по моим воспоминаниям, боялись одного: что будет хуже, будет что-то страшное. Боялись, что что-то такое наступит, чего никто не ожидает!

Евтушенко: Потому что привыкли, притерпелись. Да, конечно, привыкли. Отец нации, так сказать, отец народов…

Волков: А почему Сталин до сих пор, по-вашему, является такой поляризующей фигурой в современной России? Почему до сих пор страна делится приблизительно поровну – на тех людей, кто о Сталине отзывается положительно, и на тех, кто зачеркивает его деятельность?

Евтушенко: Как вам сказать… Хотя у нас «Архипелаг ГУЛАГ» давным-давно напечатан, я очень мало людей встречал, которые его прочли до конца. Прочли по-настоящему. Многие говорят: ну, это к нам не имеет отношения, это ваше поколение, другая жизнь, это прошлое всё… А если начинается разговор о национальной гордости, то сразу: вот был Сталин, была победа!.. Да, был Сталин, была победа. Но были и предвоенные годы, когда арестовывали людей, когда уничтожали лучших. Я помню это, а они не помнят. Многие просто не хотят знать. Не хотят читать. Ведь «Архипелаг ГУЛАГ», если я не ошибаюсь, по идее президента издан для школы, входит в обязательную программу. И все равно: «Это не наша жизнь! Это нам не интересно».

Волков: В том-то и дело. Помните, говорили, что о Сталине отзываются хорошо только старики – то поколение, которое участвовало в Великой Отечественной войне? Опросы показывают: за него по возрастающей начинает высказываться молодое поколение!

Евтушенко: У меня давным-давно были написаны стихи об этом, когда я ездил с Вадимом Тумановым, знаменитым нашим золотоискателем, и к ветеранам Колымы, и по местам лагерей, где столько людей лежат, как в хрустальных гробах, в вечной мерзлоте… Там всё усеяно трупами, которые, если достаешь, звенят, потому что превратились во что-то похожее на стекло. А у шофера болтался портрет Сталина!

Волков: А почему?

Евтушенко: А потому что Сталин был человек, который умел держать народ в руке!

Волков: Но почему? Откуда такое восхищение перед сильной рукой? Может быть, это действительно генетическая черта народа?

Евтушенко: Потому что холопство невытравленное живет в людях. Это какая-то болезнь национальная. Люди не понимают, до какой степени народ унижали, сколько было уничтожено… Вот говорят: Сталин победил в войне. Но если бы не были репрессированы лучшие кадры Красной армии, не произошло бы такого отступления катастрофического, которое превратилось просто в бегство. Сталин попался на провокацию Канариса – о заговоре Тухачевского, которого не было!

Волков: Это была «деза», как сейчас выражаются, – дезинформация.

Евтушенко: Я не знаю, это какая-то болезнь просто! Болезнь! Люди никак по капле не могут выдавить из себя раба. А надо ведрами выдавливать! Я не понимаю просто, не понимаю! Достаточно же и материалов исторических, всё сейчас открыто, и всё доступно, и музеи есть, и мемориалы, и столько книг напечатано, таких сильных книг! Но не хотят читать эти книги. Не хотят!

Волков: Но каким образом этот человек умудряется до сих пор гипнотизировать воображение нации? Или, во всяком случае, большой ее части?

Евтушенко: Это комплекс неполноценности. Он очень часто смешивается с амбициозностью. Но даже в разгуле некоторых наших олигархов и *overnight millionaires*[26] чувствуется их плебейство. Чувствуется! Я думал, что это пройдет скоро. Я идеализировал силу литературы, потому что ну столько книг написано об этом! Но что вы хотите? Ведь даже «Доктора Живаго» не прочли по-настоящему.

Волков: Да, «Доктор Живаго» по-настоящему народной классикой не стал. Он даже в этом смысле недотягивает до «Мастера и Маргариты».

Евтушенко: А это очень сильная книга, это духовная, это просветляющая книга! В ней нет ничего антикоммунистического. Да Пастернак вообще не был антисоветским поэтом. «Ты рядом, даль социализма…» – помните? Или параллельно в «Высокой болезни» писал даже такие стихи: «Столетий завистью завистлив, / Ревнив их ревностью одной, / Он управлял теченьем мысли, / И только потому – страной». Пастернак был склонен к идеализации, но это не было карьеризмом.

Волков: Это было искреннее восхищение личностью Сталина.

Об этом, кстати, сейчас тоже забывают. Срабатывал гипноз личности, гипноз фигуры. Несомненный гипноз!

Евтушенко: В Сталине была, конечно, сила какая-то. Он был хороший режиссер, но со страшнинкой.

Волков: Ну уж у него была не страшнинка, а страшнинище!

Евтушенко: Да, все-таки нельзя ему простить то, что он сделал с нашим народом!

«Наследники Сталина» [27]

Евтушенко: Вот видите, как всё запутано! Но это не означает, что я в тот момент ненавидел товарища Сталина. Это всё очень сложно было! Потому что все равно товарищ Сталин был неотделим от победы.

Мой дедушка Рудольф Вильгельмович – после войны его освободили – никогда ничего не рассказывал о том, что там на самом деле происходило. Подписку, наверное, взяли с него… Он был очень милый человек. Он репетировал со мной, неудачно довольно. Я был безнадежный совершенно по математике… А потом невероятная история произошла…

Сейчас, к сожалению, слух распустили, что якобы Хрущев заказал мне «Наследников Сталина» – всё это чушь собачья. Никто мне ничего не заказывал. Я в одно место ткнулся, в другое, третье – к Твардовскому пришел. Твардовский усмехнулся и говорит: «Молодой человек, вы что, не знаете, в каком положении наш журнал? И так опаздывает на несколько месяцев каждый номер, все время нас в морду тычет цензура проклятая. Вы что, хотите, чтоб нас вообще закрыли? Так что возьмите-ка вашу антисоветчинку», – сказал он с юмором.

Волков: С сарказмом.

Евтушенко: С сарказмом. «Спрячьте до лучших времен. И не показывайте никому. Никто это сейчас не напечатает. И не туда вы вовсе пришли».

Но все-таки у меня был человек, который мне помог когда-то напечатать «Бабий Яр». Валерий Алексеевич Косолапов[28]. И я пришел к нему посоветоваться, что мне делать с этим стихотворением, потому что мне уже запретили выступления! Я выступал в телевизионном театре, а по телевидению мое выступление так и не транслировалось. Я уже раза три читал «Наследников Сталина» публично, и каждый раз это заканчивалось скандалом. Ну как скандалом. Целый ряд людей – не по команде ни по какой, а просто от себя – вставали и хлопали стульями, демонстративно уходили или кричали: «Безобразие! Это стыдно слушать!» Больше того, кто-то кому-то стукнул, и

вдруг на одном из писательских собраний выступил Леонид Соболев и сказал: «Вот до чего доходят некоторые наши молодые поэты! Евгений Евтушенко, которого близорукие люди так поддерживают и протаскивают всячески, читает антисоветское стихотворение, в котором перечеркивает весь исторический путь Советского Союза!» – и требовал принять какие-то меры.

Волков: Ну и что вам сказал Косолапов?

Евтушенко: Косолапов сказал: «С этим стихотворением я тебе помочь не могу». Он тогда в Гослитиздате работал. Он сказал: «Единственный, кто может помочь напечатать стихотворение, – сам Хрущев. Я тебе дам – ты только никому не говори, что это я тебе дал, – телефон его помощника, Лебедева Владимира Семеновича».

Я звоню Лебедеву. И вдруг: «Женечка, дорогой, мой любимый поэт, я так давно хотел с вами поговорить, да вот знаете, столько дел! Я обожал вашего дедушку Рудольфа Вильгельмыча! Чем я вам могу помочь?» Я говорю: «Да есть у меня проблема». – «Приезжайте хоть сейчас!» И я приехал к нему. Со стихотворением, он просмотрел. А я сначала: «А как вы с дедушкой моим познакомились?» – «Ну как же, он у нас, в школе НКВД, преподавал математику». – Я говорю: «Он же был арестован как враг народа!» А Лебедев говорит: «Так нам его привозили на уроки. Мы его все обожали, он был нашим любимым учителем!» Он был под Муромом, недалеко, и его привозили.

Волков: Фантастическая история! А я и не знал, что Лебедев тоже из школы НКВД, оказывается. Потому что, конечно, о его роли помощника Хрущева по вопросам идеологии мы все слышали.

Евтушенко: Лебедев мне говорит, посмотрев стихотворение: «Ну что, стихи хорошие. Я разделяю всё, что вы написали».

Волков: Прямо так, на месте, без согласования?

Евтушенко: Без согласования. «Хорошие стихи, Женя, только одну нужно сделать поправку: без слова „партия“ не обойдешься. Вот где у вас „родина“ стоит – „велела не быть успокоенным родина мне“, нужно написать „партия“. Поймите, без этого невозможно просто. Ничего не сможет сделать даже Никита Сергеевич, и если стихотворение ему понравится. Да и то он человек импульсивный, надо выбрать момент. Оставьте мне это стихотворение». Я говорю: «Понимаете, – я пытался его уломать, – если само слово „партия“ у меня и не звучит, то оно подразумевается. – Я уже был опытный человек в разговорах с редакторами. – Оно как-то уже включается в слово „родина“…» Лебедев тогда сказал: «Ой, Женя, не надо только со мной хитрить.

Я к вашему дедушке со всей душой, и вы мне нравитесь. Давайте хитрить не будем. Вы должны на Кубу поехать? Вот и поезжайте, а стихотворение оставьте мне, я выберу момент и покажу Никите Сергеевичу. Только исправьте слово вашей рукой. Может, вас оставить наедине со стихотворением, поразмышлять чтобы? Да не размышляйте, я вам говорю, что никто этого стихотворения без слова „партия“ не на-пе-ча-та-ет! Пройдет время, восстановите „родину“. А стихотворение нужно печатать сейчас! У Никиты Сергеевича много врагов, упрекают его в том, что он расшатывает государственный корабль, что слишком много позволяет интеллигенции… Ему очень тяжело, трудно. Ему это необходимо будет».

Ну вот, после этого я уехал на Кубу, работать над фильмом «Я – Куба»[29].

Прошло несколько месяцев. Наступает Карибский кризис. В Гавану прилетает Микоян. Калатозов его хорошо знает. У Микояна не ладится с Фиделем Кастро. Фидель чувствует себя оскорбленным, потому что американцы договорились с нами через его голову.

Волков: Договорились о том, что ракеты, которые размещены на Кубе, будут убраны в обмен на то, что американцы из Турции убирают ракеты, направленные на Советский Союз.

Евтушенко: Мы были в гостях у Микояна, и он нам с Калатозовым рассказал о том, как ему трудно с Фиделем, тот почти молчит. Потом был прием в честь Микояна, и он познакомил меня с Фиделем, думая, что мы не знакомы, наверное. Ну, мы ему подыграли. А Микоян, вытащив из кармана газету, сказал: «Вот, товарища Евтушенко мы напечатали. Стихотворение „Наследники Сталина“…»

Волков: А вы только на Кубе об этом узнали? Вам никто не сообщил?

Евтушенко: Конечно! Никто! Микоян привез с собой газету «Правда». В кармане она у него была. Представляете, а приехал с миссией такой! И сказал: «Это важное стихотворение, товарищ Фидель. Но сейчас настолько изменилась политическая ситуация, что, я боюсь, лет двадцать это стихотворение не будут перепечатывать. Но мы все-таки его напечатали, это очень важно». Вот какие бывают ситуации.

Волков: А Микоян оказался, между прочим, прав. Двадцать с лишним лет «Наследников Сталина» не перепечатывали.

Евтушенко: Двадцать три года. Вот видите, как получилось.

Строфы о товарище Сталине

Евтушенко: Когда я работал на Алтае, я послал в газету «Труд» стихи свои, где-то в октябре. Лихо написанные.

Шалый ветер обшаривал Питер,
В окна стучался —
не спите, не спите!
Ветер взметался
в буйных порывах,
Взмывал,
свистя
в синеву,
И,
схватив за седой загривок,
Приподнимал
Неву…

Вполне приличные стихи. И вдруг напечатали меня в «Труде» в разделе «Письма трудящихся». И я вижу, конец у моего стихотворения новый: «Знаем, верим, будет сделано, / Здание коммуны будет поставлено, / То, что строилось нашим Лениным, / То, что строится нашим Сталиным…» Правда, рифмочки-то мои были, ассонансные: «сделано – Лениным»…

Волков: Под Евтушенко.

Евтушенко: Да, под Евтушенко. Потом приходит письмо от литконсультанта «Труда» поэта Льва Озерова. И Озеров пишет мне: «Женя, в силу того, что это выходило под праздник, нужно было добавить, как полагается в таких случаях, строки о товарище Сталине, и поскольку с тобой трудно было наладить связь, я позволил себе дописать это стихотворение, согласуясь с твоим собственным стилем».

Волков: То есть он уже считал, что у вас есть стиль.

Евтушенко: Да! А потом, гораздо позднее, лет, наверное, через десять, Лев Адольфович Озеров в статье обо мне написал, что у меня стилевая разнополосица. Это, кстати, верно. Я учился у всех поэтов, это правда. Не одновременно, а постепенно у всех учился. И Озеров писал, что я эклектик по натуре.

Волков: То есть он изменил свою точку зрения?

Евтушенко: Да. А я ему достал эту полосочку из «Труда», про которую он забыл, конечно, и преподнес. Потом то же самое происходило в «Советском спорте»: раза два или три Тарасов мне вписывал… Ну, главный редактор Котельников Борис Борисович хорошо ко мне относился. Меня вообще все любили: наш Женя…

Волков: Ну конечно, они вас нашли и воспитали. Вы были их сын полка.

Евтушенко: Я иногда забывал, что праздничные дни предстоят, и Тарасов, например, мне просто сам вписывал строфы о Сталине. «Ничего, – говорит. – Тебе не надо этим заниматься. Редактор сказал: а где же тут про Сталина? Сейчас праздник, что же он не написал? Я там за тебя и написал». Так что я привык, на это не обращал даже внимания. Я к этому с легкостью относился, как к игре. Я всё еще всерьез не относился к поэзии. Я набивал руку.

Волков: Зато вы всерьез относились к ремеслу.

Евтушенко: К форме. Но сам еще я не знал, чем эту форму заполнить.

Волков: Форма для вас была важнее содержания.

Евтушенко: Поэтому и приходилось на такие военные хитрости идти. Мне говорили: как это можно?! Это же совсем разные вещи! Поэзия – это высокое искусство, чистое искусство… А я говорю: и в поэзии бывает, что приходится отдавать деревню, чтобы взять потом город. И это действительно была война. Изнуряющая и, конечно, нервная. И все равно удалось что-то сделать и что-то напечатать, хоть это было немыслимо трудно!

«Хотят ли русские войны?»

Евтушенко: Я в армии не служил. Однажды, правда, меня направили на сборы – полагалось, что ты должен был быть офицером, если ты член Союза писателей. Но меня очень не любило Политуправление армии. Ведь они же хотели запретить мою песню! «Хотят ли русские войны?…»! У Лапина[30] лежало соответствующее письмо из ПУРа[31], и он мне сказал: «А что я могу сделать?» И если бы не Екатерина Алексеевна Фурцева, ее запретили б просто! И вот парадокс: потом песню по всему миру возил Краснознаменный хор Советской армии.

Волков: Это, кажется, была одна из любимых песен Хрущева?

Евтушенко: Да. Я слышал, как он пел ее со слезами на глазах.

Фурцева несколько раз выручала меня. А я несколько раз ее подводил. Однажды пришел к ней и рассказал, что моего друга лучшего Олега Целкова исключили из Союза художников – за то, что тот без разрешения союза устроил выставку в Доме архитектора. Пришли какие-то люди, показали красные книжечки, и через пять минут был побит рекорд скорости…

Волков: …сворачивания выставки.

Евтушенко: И Фурцева сказала: «Ах, Женя, вечно вы меня впутываете! Добрый вы, кабы у меня такие были друзья…» Эти слова ее я не раз потом вспоминал. «Ну ладно, я знаю, чего вы хотите: чтобы я поехала и посмотрела». Я говорю: «Екатерина

Алексеевна, ради бога – не надо! Вам не могут эти картины понравиться. Вам будет легче его защищать, если вы…

Волков: …не увидите их никогда»…

Евтушенко: Ну, «никогда» я не сказал.

А одну песню[32] мне все-таки не разрешили. Очень хорошую, тоже по идее Бернеса:

> Колокола в Америке взывают,
> и птицы замедляют свой полет,
> а статуя Свободы, вся седая,
> печально по Америке бредет.
>
> Она бредет средь сумрака сырого,
> покинув свой постылый постамент,
> и спрашивает горько и сурово:
> американцы, где ваш президент?

Вы знаете, эта песня была душераздирающей просто. Бернес ее спел потрясающе…

Волков: А музыку кто написал?

Евтушенко: Эдуард Колмановский. И вдруг звонок из ЦК – всё, останавливают песню! «Хотят ли русские войны» – этот рефрен Бернес придумал! И тут тоже придумал – «Американцы, где ваш президент?»

> Опять… опять… <на пикники> спешат машины <…>
> но вы ответьте просто, как мужчины:
> американцы, где ваш президент?
>
> Ты подними свой факел к небосводу,
> заговори, как женщина и мать,
> простреленная статуя Свободы,
> и прокляни свободу убивать!

Вы знаете, просто рвало душу! Я помню, как я однажды американскому послу поставил – у него слезы текли. И вдруг вызывает меня завотделом культуры ЦК КПСС Поликарпов и говорит: «Ты что, хочешь, чтобы у нас война с Америкой была?» Я говорю: «Да вы что, Дмитрий Алексеич?» – «Ты что написал-то?! Ты вдумайся: „Американцы, где ваш президент?“ Как где? Он в Белом доме, и зовут его Линдон Джонсон, ясно?» Ну, подобного ханжества я еще не видел…

А вы знаете, что у Саввы Кулиша в его фильме «Мертвый

сезон» был потрясающий эпизод, когда Банионис смотрит по телевизору, как убивают Кеннеди, и плачет? И этот эпизод вырезали.

Волков: Я помню двойственное отношение в Советском Союзе к убийству Кеннеди. В том смысле, что не знали, как реагировать – то ли соболезнования выражать, то ли радоваться, то ли говорить: «Вот до чего они докатились, сами виноваты!»

Евтушенко: Потому что многие из чиновников просто забыли, что такое прямое чувство. Они потеряли непосредственность чувствования. Это очень многим политикам свойственно. Они сами не знают, что думают по тому или иному вопросу.

Волков: Ну да, нужно провести опрос… Или посоветоваться с товарищами… Или с господами.

Евтушенко: Такая профессия. Поэтому-то я и говорю, что поэтам не надо быть профессиональными политиками. А писать – это уже другое дело. Это наше право.

Пастернак

Евтушенко: За стихотворение «Одиночество» Пастернак меня поцеловал и сказал: «Женя, вот это ваша дорога. Это ведь стихи и про меня, а не только про вас и про эту чу́дную девушку, о которой вы написали. Это стихи о тех, кто ходит по улицам сейчас. Здесь, в Переделкине, а может быть, в других странах. Вот это ваша дорога». Пастернак его из трех моих стихотворений выделил, а все три были неплохие очень. Я читал ему еще «Я разный – я натруженный и праздный…»[33] и «Свадьбы» – это лучшие были мои стихи того времени. Но когда я прочел «Одиночество», именно тогда он меня обнял.

В этом стихотворении возникает образ Маши Алигер, в которую у меня немножко влюбленность была.

Волков: Это после того, как вы разошлись с Беллой?

Евтушенко: Да, когда я поехал в Коктебель. Потом мне на меня же пришло письмо от уборщицы моего коттеджа. Она сочла, что я был сыном – избалованным сыном! – знаменитого поэта Евтушенко. Она писала, сколько бутылок она выгребла, какие разные девушки у меня появлялись… «Вы такой серьезный хороший поэт, я так люблю ваши стихи…»

Волков: А сын вас дискредитирует.

Евтушенко: Да, «сын вас дискредитирует. Конечно, он ничего особенно плохого не делал, мальчишка, но вы все-таки поговорили бы с ним всерьез…» Наверное, и стоило бы мне с самим собой поговорить тогда всерьез…

Нас было двое, влюбленных в Машу Алигер. Ну, сколько ей –

шестнадцать лет все-таки уже было, но восемнадцати еще не было. И ничего, кроме поцелуя во время заставшей нас грозы, не было. И Маша, негодница, меня даже обманула, когда мы договорились с ней встретиться в Москве, а она не пришла на свидание. Что меня очень обидело. Тем более что мне уже влетело за нее: Павел Григорьевич Антокольский тряс палкой и кричал на меня. Все были уверены, что я соблазнил ее там, в Коктебеле. Ничего этого не было, но влюбленность была. И я даже ее включил в стихотворение – как она на камушке сидит в Коктебеле… Она была очаровательной: некрасивая, но очень какая-то своеобразная. Это от Маргариты Иосифовны, ее матери, в Маргарите Иосифовне было много очарования, прекрасная, прекрасная. И мне нравятся, честно вам скажу, до сих пор куски из ее поэмы «Зоя». Это искреннее произведение.

Волков: Алигер, по-моему, Сталинскую премию тогда получила?

Евтушенко: Да. Я помню, как люди вставали, когда Антокольский читал «Сына», и когда Алигер читала «Зою» – тоже вставали. И Маргарита Иосифовна была смелым человеком – она первой выступила против Хрущева во время его встречи с интеллигенцией[34], когда я не присутствовал. Хрущев тогда сказал Симонову и ей: «Ну чего вы хотите?» – «Как же, Никита Сергеич, мы же были товарищами, мы боролись за одно и то же дело! Как же вы можете сейчас так разговаривать с нами, с писателями?» Хрущев сказал: «Ну что, мне войну, что ли, для этого нужно организовывать, чтоб мы снова поняли друг друга?» Потом извинился все-таки перед Алигер. Она совсем была беззащитна…

Волков: А «глаза твои раскосые и плечи твои белые роскошные» в вашем «Одиночестве» – это Ахмадулина?

Евтушенко: Это, конечно, о ней всё стихотворение.

…От Пастернака незабываемо как-то пахло. Свежими яблоками, черемухой какой-то очень свежей-свежей. Никогда не забуду его домработницу – она смотрела на Пастернака, он читал тогда «Вакханалию» сам! А он как ребенок поддразнивал чуть-чуть Зинаиду Николаевну, жену свою, и читал:

> В третий раз разведенец,
> Но, дожив до седин,
> Жизнь своих современниц —

И на окно покашивал глазом:

> Оправдал он один…

И жена его, как девочка, пунцовела и крутила кисть камчатной скатерти.

Там был Борис Ливанов и профессор Анджело Рипеллино, которого я привел, и только это мне позволило одолеть свою робость. Если б не Рипеллино, не знаю, набрался бы я храбрости прочитать Пастернаку свои стихи.

Волков: Рипеллино был итальянский славист, большой знаток русской литературы.

Евтушенко: Да-да! Замечательный переводчик! Дивный, талантливый, замечательный просто человек! И что с ним сделали, как его обидели![35] У него жена была чешка – и он защитил ее родину в 1968 году. Еще бы он не защитил! Что за мужчина он бы тогда был! А его называли «давно замаскировавшийся антисоветчик профессор Рипеллино» – человека, который столько сделал! Он перевел из Маяковского всё лучшее, он Мандельштама перевел! Он все наше поколение открыл итальянцам! Он, может быть, пожертвовал собой как поэт… Господи! Скольких людей оскорбили! Помимо собственных гениев, которыми гордиться должна, эта страна затравила! Как можно было такого чудесного, чистейшего человека, как Пастернак, втаптывать в грязь! Говорить о нем такие чудовищные вещи! Сравнивать его со свиньей! Ну, это уже особая статья…

Дело Пастернака и Борис Слуцкий

Евтушенко: Что случилось с талантливыми людьми?! Было страшно, когда проходило писательское собрание по поводу Пастернака. Это происходило на моих глазах. И потряс меня один из моих героев – Борис Слуцкий, человек совершенно бесстрашный, который при жизни Сталина писал стихи против Сталина, замечательный поэт.

На этом антипастернаковском собрании, где Пастернака поносили за «Доктора Живаго», объявили, что следующим выступает Слуцкий, а потом вдруг объявили перерыв. Я, конечно, был уверен, что Слуцкий будет защищать Пастернака. Я подошел к нему: «Борис Абрамыч, только ради бога будьте осторожны!» Просто я за него беспокоился. И он сказал: «Не беспокойся». Окаменело так сказал мне: «Не беспокойся, Женя, я выступлю правильно». А выступая, начал с того, что шведы отомстили нам за поражение под Полтавой тем, что дали Нобелевскую премию Пастернаку. Я настолько был потрясен, я так любил Пастернака… И после того выступления я был очень жесток со Слуцким, по-

мальчишески. Потом я очень жалел, что так неправильно поступил по отношению к нему.

…Я, между прочим, был тогда секретарем комсомольской организации Союза писателей. Это была смехотворная организация, потому что я ничем больше, как добыванием разрешения на аборт для официанток ресторана, и не занимался. Они были членами моей организации, а комсомольского возраста писателей почти не было. Так что ко мне пристали: вызвал секретарь парткома нашего Сытин – неизвестно откуда появившийся, с бородочкой такой, ложный гном из «Белоснежки и семи гномов», фальшивый насквозь человек – и стал от меня требовать, чтоб я выступил от молодежи против Пастернака. Я сказал, что ни в коем случае этого не буду делать. Я спросил: «А вы читали „Доктора Живаго“?» Он: «Я не читал, но…» Я говорю: «А я читал». – «А откуда вы его взяли?» – «А мне Борис Леонидович дал почитать». – «Ну и что?» Я говорю: «Ничего общего это не имеет с тем, что говорят о романе. Там ничего нет оскорбляющего родину. Абсолютно».

Волков: А вам, кстати, роман-то понравился?

Евтушенко: Нет. Мы тогда увлекались Ремарком, Хемингуэем – рубленой прозой. Сейчас я просто обожаю этот роман! А тогда… Я дал тогда Пастернаку обещание, что утром приеду вернуть ему рукопись.

Волков: Он дал ее только на ночь?

Евтушенко: Ну конечно. Я пролистал, и мне роман показался очень старомодным. Никакой контрреволюции я не увидел, да и не было там ее – просто было показано, что в Гражданской войне по обе стороны были хорошие люди. И жестокость по обе стороны была. Но мы тогда болели модернизмом, у нас были другие эстетические идеалы, и я Пастернаку сказал: «Борис Леонидович, мне ваши стихи больше нравятся».

Он расстроился жутко.

Волков: Ему в это время уже гораздо больше нравилась его проза.

Евтушенко: Ну конечно, последние вещи. Но я не мог ему врать! Но и не сказал ни одного плохого слова.

Волков: А Вознесенский как отреагировал на роман? Небось, ему Пастернак тоже давал читать?

Евтушенко: Этого я не знаю, я с ним не говорил о романе тогда. Мы не настолько были еще близки. Но знаю, что и я, и он написали стихи на смерть Пастернака. Только он дал подзаголовок «Памяти Толстого», а я договорился с вдовой поэта Владимира Луговского и перепосвятил ему стихотворение «Ограда», посвященное Пастернаку. Там совершенно явно были

эти две сосны[36] и так далее…

Волков: Переделкинские, да? Там, где Пастернака похоронили.

Евтушенко: И все это понимали, да. Я попросил разрешения у вдовы Луговского, и она сказала: «Володе очень бы это понравилось». Ну потом это было секретом полишинеля, все понимали, о чем стихи.

Волков: Тогда все читали между строк с большим умением…

Евтушенко: Короче говоря, начали меня таскать из одного кабинета в другой. Сытин потащил – это любопытный эпизод – к секретарю Московского комитета комсомола. Мосин его фамилия была. Он был секретарь по идеологии. И Сытин там напал на меня: «Вот что делается с нашей молодежью, посмотрите! Этот человек – секретарь комсомольской организации Союза писателей. И он отказывается выступать!» Я Мосина опять же спросил: «А вы читали роман?» – «Нет, я не читал. А вы читали?» Я говорю: «Да, читал, и у меня есть свое мнение. Я не нашел там ничего, что было бы против родины нашей. Пастернак – великий поэт. И всё это забудется». Так я ему и сказал сразу: «Это забудется, а Пастернак останется навсегда великим поэтом».

Волков: Хрущев ведь пожалел в конце жизни, что устроил такую свистопляску вокруг его дела.

Евтушенко: Ну, это потому, что Хрущеву «Доктора Живаго» подкинули на остров Бриони, когда он ездил к Тито[37]. Когда у него на тумбочке оказался полный текст. На самом деле все члены политбюро читали только…

Волков: …выдержки.

Евтушенко: Тридцать пять страничек. Я держал в руках эту брошюрку.

Волков: Ну а с другой стороны, сами посудите, кто из политических лидеров читает полные тексты? Они все читают отжимки.

Евтушенко: А этот Мосин – вот представьте себе – вдруг одернул Сытина: «Ну что же, Женя искренне поступил с нами. Он сказал, что прочитал „Живаго“. Мы с вами действительно оба его не читали. Он сказал нам свое мнение…»

Волков: Даже сейчас это трудно поставить в контекст того времени. А что он, по-вашему, имел в виду? Вроде бы не полагалось тогда иметь своего мнения ни под каким видом? А вот для Евтушенко оказалось все-таки место…

Евтушенко: Вы знаете, а он задумался. Потому что прошло много времени, и Мосин этот оказался снятым с поста. Может быть, это Сытин на него настучал, я уверен просто. Потом Мосин работал в сельскохозяйственном отделе ЦК. И однажды я ходил с

какой-то жалобой в ЦК на цензуру, зашел в буфет – и встретил его в буфете. Совершенно случайно. Я его узнал, он меня – и вдруг радостно так подошел ко мне: «Вот видите, вы оказались правы с Пастернаком! И знаете, я после этого вас начал читать».

А то, что было со мной и со Слуцким, почему я говорю, что неправильно себя вел… Когда человек первый раз совершает какую-то ошибку, даже такую… Я ему должен был деньги, Слуцкий все время мне одалживал. И я при людях – не то что было много свидетелей, но все-таки были – ему сказал: «Я должен вам деньги…» – а я набрал у разных людей понемножку. И отдал эти деньги, добавив: «А тридцать сребреников – за мной, это я вам должен». Это было грубо. Это максимализм, жестокий максимализм.

Волков: Да, жестковато.

Евтушенко: Когда я узнал, что у Бориса Абрамыча жена очень больна, я навестил их. И увидел, что он немного уже не в себе. Потом я навещал его в больнице неврологической. Он был полумертвый. Он говорил, но замедленно. Он написал про себя: «Ангельским, а не автомобильным / сшиблен я крылом». Он был ударенный тем, что произошло с ним. Ударенный…

Волков: Вы думаете, это произошло из-за этой истории с Пастернаком?

Евтушенко: Безусловно. Он понимал, что совершил непростительную ошибку.

А после Слуцкого на том собрании выступил Леонид Мартынов, тоже один из любимых моих поэтов. И тоже говорил какие-то детские вещи – он вернулся только что из Италии. И ведь самого Мартынова всегда ругали, страшно ругали, признавать стали как раз тогда. Вот, впервые поехал за границу…

Волков: Я думаю, на собрании были люди, которые искренне не любили Пастернака и просто воспользовались возможностью открыто его потоптать.

Евтушенко: Что значит «искренне»?! Существует же русский фольклор, черт побери, где сказано, что лежачего не бьют! Порядочный человек не должен был так выступать! Для меня было страшное дело, когда Мартынов выступил с осуждением Пастернака. Я ведь посвятил ему стихи не случайно. Я же следовал за ним! «Вы ночевали на цветочных клумбах? / Вы ночевали на цветочных клумбах? – / Я спрашиваю. / – Если ночевали, / Какие сны вам видеть удалось?» Это у Мартынова, а у меня: «Окно выходит в белые деревья. / Профессор долго смотрит на деревья. / Он очень долго смотрит на деревья…»[38] Это же Мартынов!

Волков: Мартыновская техника.

Евтушенко: Да, я по-честному делал всегда. Я посвящал стихи авторам, которым я подражал, у которых я учился. Это был образ профессора Металлова. Вот был такой профессор, говорили, у него там что-то было с женой… А я точно даже этого не знаю.

Волков: Это одно из первых ваших стихотворений, которые широко разошлись и приобрели популярность.

Евтушенко: Мартынов был отъявленным антикоммунистом, носил перстень с царем – и вот что сказал[39]!

Волков: Советская перекрученная жизнь наша, да? Никогда не разберешь, кто хорош, кто плох, кто прав, кто виноват…

Евтушенко: Сколько боли, сколько всего, как люди сами себя мучают! Я написал неплохой маленький афоризм, правда, это о Самойлове: «Не надо делать подлости, хотя б из эгоизма».

Волков: Это правильно. Это правильно…

Как Евтушенко били (станция Зима и Америка)

Евтушенко: У человека, как это ни странно и ни парадоксально, расвобождение его собственное должно бы в идеале быть связано с какими-то самозапретами. САМОзапретами! Не то что тебя общество вынуждает к чему-то, а ты сам решаешь, что ты не должен себе позволять. Никогда.

Волков: Не десять заповедей вообще, а твои личные, собственные заповеди?

Евтушенко: Да. Вот я видел, как били человека. На станции Зима. Чего-то украл, наверное. Голодное было время. На базаре. Страшно били. Я видел, как люди входили в раж уже и во вкус… У меня есть такое стихотворение «Картинка детства». Я когда написал его, сам для себя вывел формулу, чтобы помнить.

> Не помню, сколько их, галдевших, било.
> Быть может, сто, быть может, больше было,
> но я, мальчонка, плакал от стыда.
> И если сотня, воя оголтело,
> кого-то бьет – пусть даже и за дело! —
> сто первым я не буду никогда!

Вот на это я себе поставил запрет. Мне, бывало, не очень нравились некоторые поэты. Мне даже не очень нравились некоторые диссиденты, которых я защищал, тем не менее.

Волков: Как поэты не нравились, вы имеете в виду? Или как личности?

Евтушенко: Как поэты, а бывало, что и как личности. Но я никогда не позволял себе выступать против них, когда их начинали бить. Никогда в жизни! Нельзя бить лежачего! Надо сделать всё, чтобы хотя бы не участвовать в этом.

Меня самого, кстати, били. Били ни за что. Ни за что! Сломали два ребра за то, что я просто взял в руки горячую картошку и стал дышать на нее. У меня даже деньги были в кармане, я бы заплатил!.. Это было, когда я отправлялся из Москвы на станцию Зима в эвакуацию. Мы перевалили за Урал. И первый раз я увидел что-то горячее, кроме пустого кипятка, который мы доро́гой пили, – на каждой станции стояли баки с кипятком, слава богу. Ничего горячего мы не ели. А тут картошка! Она была завернута в капустные листья, рассыпчатая, посыпана укропчиком сухим, сбрызнута золотым подсолнечным маслом… Я просто взял ее и даже есть еще не начал, просто дышать стал. И в этот момент спекулянты, которые там торговали, закричали: «Воры!» И стали меня бить. Били ногами, ногами по ребрам! Меня, кстати, воры же и спасли от них…

Через много лет подобное повторилось со мной в Соединенных Штатах. Я выступал там в 1972 году. И было очень тяжело выступать в Соединенных Штатах советскому поэту, который представлял враждебную страну. Американцев же пугали все время: вот придут русские и устроят свои порядки. И в городе Сент-Пол, это штат Миннесота, я читал на пятитысячном зале. Баскетбольный стадион, посредине что-то вроде ринга – на этом стадионе тоже бокс показывают, – на ринге я стоял. Читал я лирическое стихотворение «Краденые яблоки». Упоенно читал, и почему-то это стихотворение послужило сигналом к нападению на меня. Люди побежали ко мне. Я подумал: ну, экспансивные какие, пожать руку хотят… В Штатах иногда на таких встречах дарят мишку какого-нибудь, конфеты или еще что-то. Цветы реже в Америке дарят, почти не принято.

И тут я услышал «а-а-ах!» – это зал ахнул, потому что зрители увидели, что случилось за моей спиной. А за спиной моей какие-то люди прыгнули на ринг и столкнули меня с довольно большой высоты, столкнули под ноги, стали бить ногами. Завязалась драка… Там был актер Барри Бойс, он случайно выбил зубы полисмену, ни в чем не виноватому, который тоже пытался меня защитить…

После выяснилось, что это были дети украинских полицаев, которые участвовали в расправах в Бабьем Яре. Такое тогда нередко происходило в Америке: и на актеров наших нападали, и на актрис. В Карнеги-холле как-то выпустили мешок белых мышей на сцену, кислотой кому-то плеснули… не Спивакову ли?

Волков: Спивакову кинули бомбу с красной краской, она разорвалась на нем, и краска растеклась по груди.

Евтушенко: Ну вот видите! А эти хулиганы даже не понимали, что делают. Нас не выпускали за границу, очень трудно было получить разрешение, чтобы поехать. А им казалось, что нас посылают специально, с заданием пропагандистским, чтобы показать человеческое лицо на самом деле бесчеловечной системы… Ну, их всех, конечно, скрутили – американские студенты очень хороши, когда они солидарны. Они всегда встанут на сторону тех, на кого нападают.

А после этого я был на партии, играл в пинг-понг. И вдруг почувствовал дикую боль в ребрах. Меня сразу в больницу, в военный госпиталь. Сделали рентген. И говорят: «Вы попадали в автокатастрофу?» Я сказал: «Нет, нет». – «А что это у вас?» А я, честно говоря, забыл уже почти про это детское избиение, но тут вспомнил и говорю: «Мне когда-то два ребра сломали». И описал, как это произошло. И вдруг увидел у доктора американского слезы в глазах, и он сказал: «Вы знаете, я это как в кино увидел». Вот это мне запало. Я понял, что должен сделать фильм. И сделал – «Детский сад». Так пришло ко мне это. Вот как всё сплелось и увязалось. Казалось бы, совершенно несовпадающие вещи.

А вообще, если уж говорить о зарубежных поездках в то время, это было так похоже иногда на старые монгольские казни, когда человека привязывали одной ногой к одному дереву, а другой к другому – и разрывали.

Волков: Я вам сочувствую, конечно, но ведь вы представляли Советский Союз – ядерную сверхдержаву. Других-то посланцев от СССР не было!

Евтушенко: Я этого не ощущал. Я читал стихи, в которых не было никакой пропаганды, никакого зла.

Волков: Ну, Евгений Саныч, тут вы немножко скромничаете. Неужели вы не ощущали себя послом Советского Союза? Не может этого быть! Сравните это с Олимпийскими играми: спортсмен выигрывает, всходит на пьедестал, звучит гимн… Он же ощущает себя представителем страны?

Евтушенко: Если у меня и было чувство, что я посол кого-то, – то, скорее, Пушкина, Арины Родионовны, Есенина… Вот это было главное. Поверьте мне!

Вот когда на нашу делегацию напали на молодежном фестивале…

Волков: В Финляндии? В 1962 году?

Евтушенко: Да, в Хельсинки. Местные неонацисты. Я написал стихотворение «Сопливый фашизм» ночью, а утром его уже перевели и роздали делегатам!

Волков: Я помню, как я его впервые прочел, оно запомнилось по многим причинам.

Евтушенко: И вы знаете, моя жена Галя Сокол, которая была ну уж такой диссиденткой, мне тогда прислала телеграмму: «Я горжусь тобой». Вот представьте себе! Потому что это было искренне. Потом ко мне ввалился Сергей Палыч Павлов…

Волков: Секретарь ЦК комсомола.

Евтушенко: Да. И сказал: «Женя, вот если бы ты писал всегда такие стихи, мы бы тебя сделали первым национальным поэтом!» А я ему сказал: «Первым национальным поэтом становятся, их не делают. – И добавил: – Поймите: если бы я не писал других стихов, я бы не имел права написать „Сопливый фашизм“».

Мирильщик и защитник

Евтушенко: Мне всегда не нравились драки, не нравились ссоры между людьми. Я всегда старался мирильщиком быть. А мирильщиков бьют очень часто, когда они суются не в свое дело. Так что мне доставалось. Вообще-то мне начало попадать как поэту даже не столько за свои стихи, сколько когда я защищал кого-то. У меня примирительство в душе. До сих пор считаю, что люди очень часто демонизируют друг друга, не стараются найти общего языка. А я пытаюсь какие-то невидимые нити между людьми протянуть.

Волков: Например?

Евтушенко: Вот когда я писал сценарий своего фильма «Похороны Сталина», я подружился с Валерием Гинзбургом, оператором фильма «Комиссар». Потрясающий совершенно фильм! И я добился, чтобы его показали. Я ходил тогда к Яковлеву[40] с этим фильмом, и даже Яковлев сказал: «Ты сам с Горбачевым разговаривай на эту тему».

Волков: Представляете, как все еще боялись?

Евтушенко: Номне давно один умный человек – мой папа – сказал, что самые прогрессивные вещи делаются с помощью реакционеров. А мое имя было уже настолько девальвировано разными там петициями и выступлениями – то за то, то за это, – что уже не действовало. Нужна была какая-то поддержка совсем другая. И я пригласил знаете кого? Ваню Стаднюка и Владимира Карпова[41], и им обоим очень понравился фильм, они написали два письма в его поддержку. Когда я принес эти письма Яковлеву, тот сказал: «Вот это ты правильно сделал, молодец!» Стаднюк как писатель – это же притча во языцех! А сам по себе он был приличный человек. Просто коллекционировал портреты Сталина.

Волков: Нет, Стаднюк был настоящий сталинист.

Евтушенко: Да, он был настоящий сталинист. Все знали его роман «Война». Ну сержантская с войны была у него психология, что поделаешь… Но одновременно он ведь написал книгу «Люди не ангелы» – против раскулачивания. А вообще он был простой и порядочный человек. Я его знал, бывал у него дома, у него всегда было самое хорошее сало. Он только продолжал оставаться в заблуждении, что Сталин там что-то не знал. Но сам по себе был невредный, хороший. Ну вот так запутанный в истории. Мало ли таких было…И Владим Васильевич тоже был такой.

Волков: Карпов-то? Я с ним познакомился в Нью-Йорке. Он же был Герой Советского Союза.

Евтушенко: Да, и сидел… И я помню, как он сражался за мою поэму «Мама и нейтронная бомба», которую цензура не пропускала.

Волков: Он тогда был первым секретарем Союза писателей.

Евтушенко: Да. Так что мир очень многосложен, и нельзя сразу людей делить на сволочей и ангелов.

Волков: Вот тут я с вами, пожалуй, полностью согласен.

Евтушенко: Я и с Виктором Васильичем Гришиным встречался, первым секретарем Московского горкома партии. Тоже не такой уж страшный человек. Он мне помог очень, когда Окуджаву исключили из партии. А исключал Сергей Сергеевич Смирнов[42]!

Волков: Это было уже после Пастернака, на собрании против которого Смирнов председательствовал?

Евтушенко: После Пастернака. Вот зачем-то тянуло Смирнова кого-то опять исключить! Окуджаву исключили за то, что у него вышла книга в Мюнхене, в издательстве «Посев», и в предисловии было написано, что хотя Окуджава и член партии, но всё его творчество антисоветское. И от Окуджавы требовали, чтобы он написал опровержение. Ну что он мог написать? «Нет, я всей душой предан партии»? Это унизительно, понимаете? И тогда я пришел к Гришину. А у него был помощник Изюмов, бывший замредактора «Литгазеты». И он мне сказал: «Евгений Саныч, не надо вам к Виктору Васильичу идти. Сколько на вас жалуются! Окуджава – уже отрезанный ломоть. Завтра-послезавтра он уже за границей будет».

Вот парадокс моего положения: не будучи членом партии, я очень многих оставил в партии. Например, Юру Карякина исключали. Я писал письмо Пельше[43], Карякина оставили. Целый список у меня людей, которых я спасал.

Волков: Да, это парадокс.

Евтушенко: Таквот, а я говорю Изюмову: «Нет, простите, это очень важно. Я хочу поговорить с Виктором Васильичем. Я написал письмо ему и прошу, чтоб он меня принял. Я считаю, мы можем потерять одного из самых талантливых наших поэтов». И Изюмов звонит мне: «Вас ждет Виктор Васильич». Я прихожу. Вот описываю вам, как Гришин меня принял: «Евгений Саныч, Евгений Саныч… Мне советовали даже с вами не встречаться. А меня задела ваша государственность, ваш государственный подход. Например, вы пишете: „До какой поры наша писательская организация и партийная организация Союза писателей будет руководиться из Мюнхена…“» Это я написал такую фразу! И, кстати, правильно! Мало ли, что они там напишут?!

Волков: Или напечатают…

Евтушенко: Да, или напечатают… Я говорю Гришину: «Это просто вот так в Мюнхене и делается! Потом отчитываются перед своими хозяевами, им повышают ставки, а наши люди уезжают на Запад и исчезают как писатели». – «Ну, насчет Окуджавы мы этот вопрос решим сейчас». И Гришин при мне позвонил секретарю Краснопресненского райкома Бугаеву, который уже готов был подписать решение обисключении Окуджавы из партии. Это следующий ход после решения первичной организации. А тут ему Гришин звонит: «Вот, – говорит, – у меня товарищ Евтушенко сейчас сидит. И знаете, он не член партии, а понимает все более партийно, чем вы!» Так что я удостоился. И потом Гришин мне говорит: «Ну, Евгений Саныч, хорошо, что вы пришли. А то столько мне про вас говорили… А я вижу, что человек вы трезвый, реально смотрите на вещи. Давайте я вам расскажу, что делается в Москве – чтоб вы не думали, что мы ничего не делаем. Вот, например, у нас большая проблема – переход молока на картонную тару…»

Волков: Это молоко в пакетиках?

Евтушенко: Да, в пакетиках! Нет, вы понимаете это? Это вот сейчас я вам рассказываю, но я вовсе не хочу над ним издеваться! Наоборот! В чем-то это даже трогательно…

Волков: Человек хотел обсудить с поэтом больную проблему молочной тары…

Евтушенко: Он мне рассказывал, что его волнует: «Мы купили завод уже, чтобы эту тару делать. А оказывается, у нас клею-то нет, мы не подкупили этого самого клею, тут особый клей нужен… Текёт пакет, Евгений Саныч, в углах текёт, представляете! Свои пробовали заменители. Но это уже большие деньги, надо снова заказывать… Вот бьемся и бьемся! Текёт и текёт!»

Волков: И, как мы знаем, в итоге действительно все потекло… совсем!

Евтушенко: Да. А говорил он по-человечески.

Окуджава

Евтушенко: Когда Окуджава выступал в 1962 году во время съемок фильма Марлена Хуциева «Мне двадцать лет», в ЦК комсомола сказали, что там собираются отщепенцы, которые хотят устроить антисоветское сборище. Они обратились к «Мосфильму» и сообщили, что хотят привезти комсомольскую рабочую аудиторию. И действительно, пришли автобусы с ребятами – лимитой, прямо в малярных комбинезонах, и набили весь зал. Тогда Высоцкий еще не был так популярен, а Окуджаву

уже пели вовсю, везде крутили. И когда он появился, они, эти ребята, устроили ему громовое приветствие. Всё сорвалось у ЦК комсомола! Ребята заполнили балкон – я думал, он обрушится просто, потому что они топали вовсю от восторга! Я обладал полной записью этого вечера, которую у меня попросил на один день и не вернул человек с телевидения, Йонас Мацкявичус такой, взяв под честное слово. Всё, что потом не вошло в фильм, было только у меня.

Волков: Весь исходник вечера?

Евтушенко: Да, исходник того поэтического вечера. Там сняты были не только наши выступления, но и разговоры и дискуссии о поэзии. Слушатели вставали, выходили на сцену… Какие-то комсомольцы! Разные вещи там происходили! Хуциев бы при всем желании не смог бы вставить это всё в фильм.

Волков: В смысле вместить? Да, это бы нарушило всю конструкцию фильма.

Евтушенко: Вы не представляете, какой это был потрясающий материал! «Так что делать с Евтушенко, товарищи!?» Выходили ребята и говорили, что со мной делать, понимаете? И там ведь разные поэты выступали, не только мы. Там выступал Михаил Аркадьевич Светлов, выступали Борис Слуцкий, Римма Казакова, которая была очень милой… То, что там был такой человек, как Слуцкий, например, тоже было очень важно. Поженян тот же самый выступал, и, когда он читал свое прелестное стихотворение:

А мне говорят:
– Помолчи.
А мне говорят:
– Замолчи!
А я уже намолчался
в разведке, —

что тут творилось!

Волков: Поженян в тельняшке…

Евтушенко: Это был материал примерно на час сорок пять минут. Чистый, уже смонтированный. Он гляделся как фильм документальный. И в ЦК комсомола ничего не могли сделать, никакого скандала раздуть, потому что те, кто должны были нас выгнать со сцены, поддержали нас! Это была просто невероятная аудитория!

А когда заговорили об Окуджаве… Я знал уже, что вышла статья огромная против Окуджавы в «Комсомолке», говорили, ее инициировал ленинградский композитор на Д… оперу «Тихий

Дон», что ли, написал…

Волков: Дзержинский?

Евтушенко: Да! Он организовал буквально изгнание Булата, когда тот выступал в ленинградском Доме искусств. Мы на том концерте вместе были – моя вторая жена Галя и жена Окуджавы Оля. Что там было!.. А что творилось в Московском доме кино, когда Булат на сцену вышел, вы знаете?

Волков: Выкрики: «Пошлость!»?

Евтушенко: Да. «Пошлость! Уберите!» И перед тем как Окуджава появился на съемках в Политехническом, я выступил и сказал: «Товарищи, я хочу вот что сказать. Булат Шалвович не знает, но я только что вернулся от космонавтов, которым читал свои стихи. И они все просили передать огромное спасибо Булату Шалвовичу за его песни, которые вместе с ними летают в космос!» Это была чистая липа. Я это сделал специально, просто чтоб Окуджаву прикрыть! В зале же всё было набито лазутчиками! И вдруг – обвал аплодисментов! Но я действительно был у космонавтов. И что-то они мне действительно говорили…

Волков: Значит, не совсем выдумали.

Евтушенко: А потом, когда фильм вышел, как могли так цинично нападать на него! Вспомните только эту душераздирающую сцену, когда появляется отец героя, на войне убитый… Как можно было обвинить фильм в том, что он якобы направлен против отцов!

Волков: Хрущев говорил: ссорит отцов с детьми.

Евтушенко: Это они ссорить начали. А нам просто сердце разрывало! Потому что у нас, у нашего поколения, у тех, кто сидел на этих съемках, у очень многих погибли отцы…

Огромная часть материала, кстати, была снята в МЭИ на Красноказарменной, самые лучшие аудитории были в МЭИ и МАИ. И там то же самое: яблоку негде было упасть! И принимали просто на ура. Весь зал повторял стихи!..

Я выступал не так давно на празднике, который существует уже сорок лет, несмотря ни на что, – это Грушинский фестиваль. Я читал новое, только что написанное стихотворение о футбольном матче СССР – ФРГ в 1955 году, первом таком матче[44]. Я был с Женей Винокуровым на этом матче. И там вдруг появились, казалось бы, изгнанные уже из Москвы из зоны видимости инвалиды войны. Их там было тысяч восемь, а то и десять. Их, конечно, пропустили без всяких… Они катились на деревянных платформах, на которых висели дощечки «Бей фрицев, отомстим за „Динамо Киев“!». Женю Винокурова, который с армией дошел до Пруссии, прямо трясло!.. Они сели на

гаревой дорожке, больше негде было сесть… И вдруг всё пошло по-другому!

У немцев был знаменитый вратарь Фриц Вальтер[45]. И еще были три немца, которые сидели у нас в лагерях, они видели, что русским еще хуже живется. И игра пошла настоящая! Хороший футбол! Наши выиграли – 3:2. И понимаете, такая атмосфера была… Молодой Лева Яшин свои перчатки подарил их вратарю Фрицу. Когда Николай Паршин забил гол, то мяч Фриц Вальтер поднял, и они по-братски пошли к центру начинать. И потом, когда матч кончился – а ведь сначала казалось, что будет какая-то бойня, – все эти дощечки остались лежать на гаревой дорожке.

Волков: Дощечки с надписями «Бей фрицев»?

Евтушенко: Все! И весь стадион аплодировал тому, что произошло на поле… И я читал стихи об этом матче там, на Грушинском фестивале, где было сорок две тысячи человек. Это ночью было, завершение фестиваля. Сцена там потрясающе красивая – гитара гигантская, качающаяся на волжской воде. А после меня какой-то молодой бард своей песней должен был закончить. И вдруг он, этот бард, понял, что надо что-то другое спеть! И знаете, что он спел? «У нас на всех одна победа» – песню Окуджавы! Не свою спел! И вся эта толпа, все сорок тысяч подхватили, слово в слово! Это всё у них сохранилось в памяти.

Это было заметно и на похоронах Булата. Я специально подходил, спрашивал у детей – там было очень много бабушек с детьми: «А ты какую песню любишь Окуджавы?» И они все знали песни Окуджавы. Это колыбельные их были. Так же, как моя жена Маша пела их моим детям. Понимаете, шестидесятничество – оно сохранилось. Оно не до конца выветрилось. Существует очень глубокое уважение к шестидесятникам. Оно спасено кем-то. Вот теми же бабушками-шестидесятницами, воспитавшими своих внуков.

Шестидесятничество: корни и эволюция

Волков: Евгений Саныч, я хотел спросить у вас, что такое шестидесятники, что такое шестидесятничество, как вы понимаете эти два слова, два термина. Потому что шестидесятые годы XX века – это сейчас почти легенда, причем во всем мире. На Западе быть шестидесятником сегодня – все равно что почетный орден носить. Люди вспоминают, как они протестовали против войны во Вьетнаме, как в Париже выходили на баррикады, жгли полицейские участки, входили в конфронтацию с властями… Они герои. А у нас как, в России?

Евтушенко: Я так именно и ощущаю слово «шестидесятники»

в нашей стране. И сейчас объясню почему. И как образовалось это слово. Если говорить о поэтическом поколении шестидесятников, некоторые утверждают, что я был основоположником. Ну да, я раньше всех начал печататься и стал знаменитым, выступал с индивидуальными вечерами, чего почти не водилось: тогда были в моде только коллективные вечера, вечера одного стихотворения, где заранее проверялись тексты. Мое первое выступление в 1954 году было, правда, в маленьком зале Литературного музея на Якиманке. Микоян тогда не мог там проехать, увидел толпу, и ему сказали: «Это Евтушенко». Он даже не знал, что это такое.

Сохранилась совершенно волшебная фотография, как лезли в окна, хотя это было зимой. Какой-то мальчишка в ушанке сунулся в окно, но не смог его открыть, потому что оно заклеено было изнутри этими лентами бумажными, и он не мог внутрь пробиться. Так он голову всунул прямо в форточку. С торчащими оттопыренными ушами от шапки… Это был вечер, когда никто не знал, сколько я буду читать, что я буду читать… Никаких ограничений!

Волков: И тексты не проходили цензуру – того, что называлось «литовка»? Не было этого?

Евтушенко: Не было. Индивидуальных вечеров тогда просто не было. Только юбилеи какие-то проходили, пышные юбилеи, но это совсем другое.

Но давайте говорить – вот по совести, что нас всех объединяло? Нас, шестидесятников? Это было, прежде всего, поколение, которое описало войну, увиденную глазами детей. Кто же был первым? Вышел сборничек «Родному комсомолу», крошечная книжечка, очень непрезентабельно изданная, где было много очень хороших стихов.

И там были напечатаны стихи Владимира Соколова. Я впервые прочел его стихи. Стихи совершенно были замечательные, там такие были строчки: «Четвертый класс мы кончили в предгрозье, / Из пятого мы перешли в войну…» «А уж в парадные не понапрасну / Затаскивали ящики с песком…» И мы, как Соколов, сначала не догадывались, «что с нами / Играет настоящая война». Мы играли в войну, а она уже играла с нами – и из игр перешла в жизнь. И Соколов был первый, написавший об этом. Кстати, я вам говорил уже, что он мне помог поступить в Литинститут. Мы очень подружились с ним, были неразлучными. Я учился у него многому. Во-первых, я учился у него отношению к поэзии. Ему нравились разные поэты, совершенно разные, казалось бы, несоединимые. У него было три, пожалуй, любимых поэта: Твардовский, Пастернак – видите, совсем разные поэты! – и

Ярослав Смеляков. Он открыл мне раннего Смелякова. А самого Смелякова я услышал перед его посадкой последней, когда его выпустили только что, а потом снова посадили. И он снова исчез, хотя книги его не конфисковывали.

А я тогда писал стихи бравурные, увлекался рифмами, аллитерациями и т. д. И вот когда я начал писать первые стихи о своем, я дошел до своего детства, до своей войны, эвакуации. Все-таки я дежурил на крыше, у меня было даже такое удостовереньице, к несчастью, потерянное: «Благодарность Жене Евтушенко за проявленный им героизм во время дежурств среди бомбежек Москвы в 1941 году». Мы с лопаточками стояли, потому что были и небольшие бомбочки, и не скажу, что это было так уж страшно. Хотя видел я своими глазами, как упала большая бомба. Большая бомба! Ее оцепили – она как раз недалеко от нашей школы упала, – и, хотя это запрещено, конечно, было, но мы с крыши наблюдали, поскольку мы дежурили, нас пускали туда. А когда эту бомбу открыли, она была полна песка, и в ней была фанерка, и на фанерке нарисован кулак, и «Рот Фронт!» было написано.

Волков: Сжатый кулак – символ «Рот Фронта» …Ну, это просто уникальный случай!

Евтушенко: Нас, шестидесятников, сближала война. Мы хлебнули и голода, и в эвакуации было непросто, и попадали в оккупацию, становились сыновьями полков, были партизанскими связными… Это всё наше поколение. Мы, например, в нашей школе штопали шинели. Фронт приближался… Профессиональные портнихи делали из нескольких шинелей или гимнастерок одну новую. Мы, конечно, не были никакими портными, но тоже в этом участвовали – мы оттирали кирпичом, шершавым кирпичом кровь с шинелей. Но – дети есть дети – нам скучно было, это монотонная работа. И вот, чтоб было повеселее, мы начинали играть в игру, которая невеселая была на самом деле, кричали: «Меня убили прямо в сердце!», «Мне оторвали руку!» – и слепляли из частей, из остатков нескольких шинелей одну. Из гимнастерок тоже. А потом эти шинели отправляли обратно на фронт. И на одном из таких грузовиков мы, укрывшись, с девчонкой одной сбежали. Добежали до Ясной Поляны, между прочим. Мы даже немножко попали к немцам. То, что я в своем фильме «Детский сад» показал, – как немецкий офицер отпустил нас, – это было на самом деле. Он говорил по-русски, что нас очень удивило: оказывается, некоторые фрицы знали русский язык.

Волков: Клаус Мария Брандауэр сыграл эту роль, да?

Евтушенко: Да, очень здорово сыграл, замечательно.

Разумеется, в фильме я кое-что допридумывал, но история эта действительно случилась.

…И в этом, понимаете, были корни шестидесятничества. А потом уже начало это все выплавляться в поэзию. Среди нас были поэты похуже, получше… Но до сих пор, к сожалению, не существует такой антологии – «Война глазами детей».

Волков: Да, а странно… Причем даже не только поэзии, а вообще шестидесятнической культуры. Потому что тогда нужно было бы показать и Тарковского с его «Ивановым детством»…

Евтушенко: Безусловно! Война дала нам недетский опыт и недетское понимание жизни. Ведь мы видели и страшные вещи – как люди наживались на войне, да, видели и таких. Я стихотворение «Мёд» написал…

Волков: Вы описали в нем Леонида Леонова?

Евтушенко: Мне говорили, что это произошло с Леоновым, и меня это потрясло. Мне говорили очевидцы, но сам я этого не видел. Я никогда не ставил имени Леонова, потому что кто знает, может быть, ему это приписали?…

Волков: У меня есть ваша книжка, где посвящение проставлено.

Евтушенко: Я не имел на это права. Когда ты сам не видел, использовать фамилию человека невозможно. Мне Леонов никогда не был симпатичен, его позиция очень какая-то куркулеватая, извините уж за такое пролетарское выражение. Как-то он жил отдельно ото всех, замкнуто. А ведь стольким мог помочь… И иногда подписывал письма, которые не должен был подписывать человек, защищенный всеми своими регалиями. А стихотворение «Мёд» – вот оно:

Я расскажу вам быль про мёд.
Пусть кой-кого она проймет,
пусть кто-то вроде не поймет,
что разговор о нем идет.
Итак, я расскажу про мёд.
В том страшном, в сорок первом,
    в Чистополе,
где голодало всё и мерзло,
на снег базарный
    бочку выставили —
двадцативедерную! —
    мёда!
Был продавец из этой сволочи,
что наживается на горе,
и горе выстроилось в очередь,

простое, горькое, нагое.
Он не деньгами брал,
    а кофтами,
часами
    или же отрезами.
Рука купеческая с кольцами
гнушалась явными отрепьями.
Он вещи на свету рассматривал.
Художник старый на ботинках
одной рукой шнурки разматывал,
другой – протягивал бутылку.
Глядел, как мёд тягуче цедится,
глядел согбенно и безропотно
и с мёдом —
    с этой вечной ценностью —
по снегу шел в носках заштопанных.
<…>
И девочка
    прозрачной ручкой
в каком-то странном полусне
тянула крохотную рюмочку
с колечком маминым на дне.
Но – сани заскрипели мощно.
На спинке – расписные розы.
И, важный лоб сановно морща,
сошел с них столп российский прозы.
Большой, торжественный,
    как в раме,
без тени жалости малейшей:
«Всю бочку. Заплачу коврами.
Давай сюда ее, милейший».
<…>
Стояла очередь угрюмая,
ни в чем как будто не участвуя.
Колечко,
    выпавши из рюмочки,
Упало в след саней умчавшихся…
Далек тот сорок первый год,
год отступлений и невзгод,
но жив он,
    медолюбец тот,
и сладко до сих пор живет.
Когда к трибуне он несет
самоуверенный живот,

когда он смотрит на часы
и гладит сытые усы,
я вспоминаю этот год,
я вспоминаю этот мёд.
Тот мёд тогда
    как будто сам
по этим —
    этим —
        тек усам.
С них никогда
    он не сотрет
прилипший к ним
    навеки
        мёд!

Знаете, я тоже видел подобные случаи, когда захватывали сразу всю бочку. Поэтому, когда мне рассказали эту историю, персонифицировав ее, она у меня просто наложилась на мои собственные впечатления.

Кроме того, была другая известная история, мне ее тоже рассказывали очевидцы: как Толстой Алексей Николаевич приезжал на военный базар, привез какие-то ковры музейные, прихваченные в Германии, и расплатился ими. Были, были люди, которые на войне наживались. Но одновременно с этим были удивительные люди, которые делились последней рубахой. И вот это я тоже помню. Я видел народную доброту, народную сердобольность, даже к немцам, о чем я вам уже говорил.

Волков: О том, как бабы пробивались сквозь охрану, чтобы дать немецким пленным хлеба.

Евтушенко: Они увидели своих собственных мужей, которые где-то, может быть, бредут такие же израненные, ни в чем не виноватые, мобилизованные, угнанные на эту войну… Вот это всё нас, будущих шестидесятников, объединяло. Война дала нам чувство народа. И это был драгоценный подарок войны. Подарок войны!

Я никогда не мог понять, как могли так нещадно и бесстыдно преследовать Андрея Тарковского. Мне не всё в нем нравилось как в художнике. Но вот новелла о колоколе в его «Андрее Рублеве»!.. Мне и «Иваново детство» понравилось, там ведь тоже была война, увиденная глазами ребенка. Но вот история с колоколом меня потрясла совершенно! Потому что тогда начали и наше поколение бить – сразу, как только мы высунулись. Точно как этого парнишку из «Рублева», который так вдохновенно

работал! И Тарковский так же делал свои фильмы вдохновенно, вкалывал день и ночь… Тарковский был народный художник, а его всячески оскорбляли и мучили…

Волков: Новелла из «Андрея Рублева» о мальчике, который отлил колокол, безусловно автобиографическая. Но она также и обо всех вас.

Евтушенко: Это великая новелла! Тарковский написал всё поколение шестидесятников вот так!

Волков: Помните, как реагирует иностранный гость, итальянец, которому показывают этот колокол и похваляются им?

Евтушенко: Конечно! Это то же самое у Вознесенского: «…И присел заграничный гость, / Будто вбитый по шляпку гвоздь». И может быть, в начале и я был одинок. Но уже был Роберт, которого я знал, он тоже об этом писал. Помните его стихи? Ведь у нас у всех есть стихи об этом – почти все мы пели в хорах при госпиталях, ходили к солдатам, и пели им, и декламировали стихи. Я, помню, читал стихи Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», замечательные стихи. Сколько было тогда хороших песен задушевных, которые пела моя мама… Мы их тоже солдатам спевали. Это всё нас сближало! У всех у нас было огромное уважение перед подвигом нашего народа и армии. И мы сами чувствовали себя маленьким народом, что ли… Понимаете?

Волков: Но в какой-то момент на всех вас – от Слуцкого до Окуджавы – стали нападать за то, что вы как-то нетрадиционно говорите о войне. Вас обвиняли в том, что вы перетягиваете одеяло на себя, – так это выглядело с точки зрения ваших критиков. Ведь традиционалистам эта новая точка зрения на войну не очень нравилась?

Евтушенко: Да, безусловно. Было какое-то недопонимание. Скажем, когда я снимал фильм «Детский сад», мне Сергей Федорович Бондарчук и Сергей Аполлинариевич Герасимов очень помогли, у меня же не было никакого кинематографического образования. Но были и смешные вещи. Я помню, как обсуждали материал, и Сергей Федорович говорит мне: «Жень, ну откуда у тебя такие бабы в плюшёвках в деревнях? Это же всё кончилось, это ж дореволюционное!» Я говорю: «Сергей Федорович, до сих пор в Сибири ходят бабы в этих дореволюционных, чудом выживших плюшёвках. Крепенькими оказались, пригодились!» Или Сергей Аполлинариевич мне говорил: «Женя, у тебя в сцене эвакуации все-таки пережим, ты показываешь такой хаос… Я помню, как мы эвакуировались в Ташкент с Тамарой Федоровной, сидели прилично, было хорошее купе. А у тебя на крышах едут, сапогами людей выпихивают…» Я говорю: «Ну, это ваш поезд

был…

Волков: Ваш с Макаровой…

Евтушенко: …а мой поезд был совсем другой». Но в итоге мы находили общий язык. Мы, шестидесятники, всегда находили общий язык с фронтовиками. Хотя нет, не всегда… Но при первых шагах нашего поколения – находили. Потому что фронтовики понимали, что мы хлебанули войны тоже. А мы знали все их стихи. Это ж замечательные были фронтовые стихи! И Семена Гудзенко, и Михаила Луконина, и даже Виктора Урина. А как писал молодой Гудзенко! «…Бой был короткий. / А потом / глушили водку ледяную, / и выковыривал ножом / из-под ногтей / я кровь чужую». Это была правда войны, мы эту правду тоже видели. А Миша Луконин, как он чудесно писал: «В этом зареве ветровом / Выбор был небольшой, – / Но лучше прийти с пустым рукавом, / Чем с пустой душой». И они помогали нам на первых порах – до того, как мы стали вдруг говорить «нет» очень многому. Это началось после смерти Сталина. И тоже не сразу. Потому что у нас было всё перемешано в головах. И у них было перемешано, но им было труднее, ведь они всю жизнь так жили. А у нас жажда новой жизни появилась.

Я не забыл, что я испытывал во время войны. Я торговал тогда врассыпную папиросами. Надрывал пачку и стоял на Колхозной площади, прежде чем завернуть в сторону кинотеатра «Уран» – это мое место было. Это был наш заработок, наш маленький бизнес – такого слова мы тогда, конечно, не знали. Но когда настал день победы – это еще не было объявлено, хотя ясно было, что немцы вот-вот капитулируют, сарафанное радио уже разнесло, – все мы: все ребята со своим запасом сигарет, все мороженщицы со своими голубыми лотками, газировщицы со своими колясками – все двинулись на Красную площадь. Мы пришли туда со своими маленькими сокровищами и всё раздавали! Никогда не забуду сидевших на уступах Мавзолея двух летчиков из «Нормандии – Неман» и между ними безногого инвалида. Они в обнимку пили что-то французское, коньяк, может, или что-то другое… Из горла́, в обнимку! А некоторые люди даже удалялись заниматься любовью под голубые ели, и это не было по́шло, понимаете? Не то что они делали это всё при всех, но как-то никто не обращал внимания…

Боже мой, это была незабываемая картина! Одна из моих мечт – восстановить когда-нибудь этот день на Красной площади, потому что это было невероятно! Принесли огромное количество патефонов, их называли «виктролы», они заводились ручками. Они стояли на брусчатке Красной площади и играли там пасодобли всякие, «Рио-Риту»… Старший Тодоровский вспомнил

это и так и назвал свой фильм о войне. «Брызги шампанского», что-то ещё играли, женщины танцевали с женщинами, с какими-то инвалидами на костылях… И ни на одной из женщин не было туфель на высоких каблуках! Они были чаще всего в сапогах, хромки очень редко были, больше протертая кирза с латками какими-то или танкетки – такие туфли-деревяшки, обтянутые материей. И они, эти рабочие женщины, качали солдат, даже американцев, которые были выпившие, конечно. Я помню тогда первый раз – что-то выпало из кармана у американца, я подобрал… Это была *chewing gum*.

Волков: Жвачка.

Евтушенко: Я про такое и не знал, мы ведь жевали серу в Сибири. Но жвачка – это было что-то! Я думал, что это конфета. И проглотил! Мы выносили генералов на руках, пьяных совершенно… И было чувство, что начнется сейчас новая жизнь. Уже языки развязались: люди-то вернулись с фронта! И вот тут, я думаю, это и случилось: Сталин и опричники его испугались того, что люди распрямились, почувствовали собственное величие – не то даже, что собственное величие, а величие того, что они сделали. Вместе, всем народом! И мы тоже чувствовали, что принимали в этом какое-то участие, хоть немного. Это было новое чувство народа, которое тогда возникло. Это чувство и осталось во всех шестидесятниках. И даже если у Вознесенского не было такого опыта, как станция Зима, такой прямой связи с деревней, он был тоже пронизан войной.

Волков: «Я – Гойя!»

Евтушенко: Конечно! Его война была уже другая, но это тоже мальчик войны. И Тарковский, и другие. И нам хотелось что-то сделать. Что-то большое!.. А у нас отобрали весь мир. У нашего поколения, у нескольких поколений отобрали весь мир. А мир хотелось увидеть…

В 1954 году я написал стихотворение. Я не включил его в большую книгу «Весь Евтушенко», а, в общем-то, зря, надо было оставить. Оно о том, как я попал на первую после праздника Победы демонстрацию. Я не раз был на демонстрациях с мамой, но в тот раз меня как резануло! Мы уже привыкли к истинному подъему, к восторгу салютов, всё искусственное начало нас резать! Фальшивое подгоняние нас, втискивание в какие-то стандарты прежнего поведения… Может быть, я это и раньше слышал, но не обращал внимания, а тут вдруг начальственный голос врывается: «Товарищи! Вы сейчас входите на Красную площадь, главное место планеты! Поднимите повыше оформление, больше радости!..» И я написал стихи против этого[46]:

…И столько раз
мы, к сожаленью,
лишаем сами красоты
вот этим:
«Выше оформленье!
Цветов не видно!
Где цветы?»

Вы не представляете, что было, когда я читал эти стихи! И кстати, их напечатали. Потом я написал стихи про памятник Юрию Долгорукому[47]:

Я не люблю
в ее надменной ложности
фигуру Долгорукого
на лошади,
А где же тот народ
рабочий,
лапотный…
Где те,
что избы первые рубили?
Их нету в бронзе.
Это «и другие». <…>
Когда война – как только трудно станется,
Фамилии небось в повестках ставятся,
И умирают наши дорогие
Товарищи, чье имя «и другие».

Я читал со слезами тогда, вот видите, и сейчас.

Это то же самое, что Сева Бобров почувствовал, когда вернулся в родную деревню[48]. Они, может быть, не сильные были как стихи, но от души. А потом… Как же так? Мы страны освобождали, раскрывали ворота концлагерей… Даже в фильме Михаила Чиаурели «Падение Берлина» выдуманном – мы же знали, что товарищ Сталин не был на войне, нас обмануть нельзя было, – даже там были показаны эти освобожденные нами люди. Вы понимаете, чувство какое было? Гордости! Это гордость была за свою победу, за народную победу, в которой и наш взнос был. А тут вдруг появилась о космополитах какая-то бредятина, почему-то начали исчезать люди… Те исчезли, того забрали… У нас был старичок Карлуша, который гранил рубины для звезд Кремля, – его забрали. Опять люди начали перешептываться: того посадили, этого… И что-то не то начало происходить. И нам это

надоело! Дайте нам увидеть весь мир, который мы спасли и который у нас отобрали! Мы заслуживаем того, чтобы его увидеть!

И вот 1954 год. «День поэзии». Тридцать тысяч человек собралось на площади Маяковского. Вы представляете, что это такое?! Мы сами не ожидали. Ахнули!.. И выходит парень со станции Зима – тогда уже я был известным, уже меня толпа вытолкнула – и читает вот такое:

Я разный —
    я натруженный и праздный.
Я целе
    и нецелесообразный.
Я весь несовместимый,
    неудобный,
застенчивый и наглый,
    злой и добрый.
Я так люблю,
    чтоб всё перемежалось!
И столько всякого во мне перемешалось —
от запада
    и до востока,
от зависти
    и до восторга!
Я знаю – вы мне скажете:
    «Где цельность?»
О, в этом всем огромная есть ценность!
<…>
Границы мне мешают…
    Мне неловко
не знать Буэнос-Айреса,
    Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
    хотя б на ломаном.
Мальчишкой,
    на автобусе повисшим,
Хочу проехать утренним Парижем!
Хочу искусства разного,
    как я!
Пусть мне искусство не дает житья
и обступает вдруг со всех сторон…
Да я и так искусством осажден.
Я в самом разном сам собой увиден.

Мне близки
и Есенин,
и Уитмен,
и Мусоргским охваченная сцена,
и девственные линии Гогена.
Мне нравится
и на коньках кататься,
и, черкая пером,
не спать ночей.
Мне нравится
в лицо врагу смеяться
и женщину нести через ручей.
<…>
Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру
на белом свете,
то я умру от счастья,
что живу.

И – р-р-раз! Ударили по этим стихам! По голове! Ударили за стихи, исполненные такой радости жизни, такого оптимизма, такого ощущения счастья! «Надо сначала-то хотя бы выучить основы марксизма-ленинизма…»

Но начали звучать уже и другие голоса, появился Вознесенский, потом Беллочка. Вдруг читаю: «по-украински март называется „березень“…» И «березень» – «бережен» рифмуется. О, почувствовал я, боже, моя школа! Сразу подумал: читывала меня девочка! Тут же звоню и пошел, познакомился. Мы стали выступать: сначала Володя Соколов, Роберт, я, потом Володя Морозов, который, к сожалению, спился. Он очень способный был, но вот погубила его водка. Еще Окуджавы не было, он потом к нам присоединился, хотя постарше нас был. Я никогда не забуду, как Саша Аронов – чудесный поэт, «Остановиться, оглянуться…» или «Когда горело гетто…»[49], это его стихи, – вдруг с Ниной Бялосинской спели мне песню Окуджавы: «И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной…»[50] Я тогда сказал Булату: «Слушай, всё здорово, потрясающе. Но только знаешь, давай одну строчку поправим: „На той единственной гражданской!“». (Сейчас в песне: «На той далекой, на гражданской». – *Ред.*) Он говорит: «Почему?» – «Потому, что у

нас сейчас опять гражданская начинается». Мы ощутили уже общих врагов – бюрократию. И он согласился и пел так. Вот так это всё начиналось.

Волков: Евгений Саныч, я понимаю, что для вас шестидесятничество продолжается по сию пору. Но если все-таки мы взглянем на шестидесятничество как на нечто ограниченное во времени и пространстве, то в те годы – в 1960-е – 1970-е – как это понятие развивалось для вас? Началось всё с того, что вас объединяло переживание войны, как нечто близкое вам…

Евтушенко: Да, это первое. А второе – если говорить чисто о политике – это была ошибка шестидесятничества, которую шестидесятники же и исправили: мы идеализировали Ленина. Когда Вознесенский писал поэму «Лонжюмо»…

Волков: И «Уберите Ленина с денег!»

Евтушенко: «Уберите Ленина с денег, / так цена его высока!» – это, конечно, были искренние стихи в свое время. Но именно шестидесятники добились, что в перестройку постепенно начали открывать архивы. Например, мы все были уверены в том, что ГУЛАГ – это была сталинская идея. И когда приоткрылись архивы, когда мы увидели, что на декрете о создании Соловков стоит подпись Ленина! И никакого Сталина там нет – это потрясло нас просто! Это нас всех убило! На Соловках сидели такие замечательные люди – идеалист Флоренский, молодой Лихачев… А потом была создана сказка, что Сталин был предателем дела Ленина. Я помню, как кто-то из наших же шестидесятников, по-моему, это был Булат, показал мне переписку-переброску телефонограммами Ленина со Сталиным. Я не ручаюсь за точность – но Сталин жаловался, что очень плохая слышимость, а Ленин ему ответил: а вы пригрозите расстрелом телефонисткам, сразу слышимость улучшится.

Это постепенно выяснялось, что Сталин во многом был действительно учеником Ленина. И когда мы начали это осознавать – после публикации поразительных документов, потом стали печататься специальные статьи, с комментариями – пошла осторожная, правда, но переоценка. Например, кто, как не Ленин, безжалостно говорил о крестьянстве? Кто, как не Ленин, во время раскулачивания писал, что кулаков надо безжалостно вешать? А у нас было ощущение, что это шло от Сталина…

А дальше всё еще более усложнялось. Ну, например, я написал стихотворение «Еще не поставленные памятники», где назвал как одну из невинных жертв Сталина маршала Тухачевского. И – о его скрипке, как она сейчас воскрешается.

Волков: Скрипка Тухачевского – да, он же был изготовителем скрипок, скрипичным мастером.

Евтушенко: Да-да. Я напечатал стихи очень искренние, абсолютно. И вдруг получаю от моего же товарища, от критика Льва Аннинского письмо. Его биографический очерк о Тухачевском напечатал Виталий Коротич в «Огоньке». А в этом письме было написано, что перед тем, как быть самому арестованным, Тухачевский участвовал в обвинении маршала Блюхера и других. То есть совершенно другая картина!

Волков: Тухачевский участвовал и в подавлении Кронштадтского мятежа.

Евтушенко: А безжалостность его в подавлении крестьянских восстаний? То есть всё как-то начинало меняться в нашем сознании.

Волков: Ну, это уже в гораздо более поздние годы, перестроечные. А тогда, когда шестидесятничество начиналось, это ведь было для вас принципиальной позицией: «возврат к ленинским нормам», правда?

Евтушенко: Совершенно верно. Сейчас я сказал бы, что нельзя учить историю по пьесам Миши Шатрова, но это были первые шаги тогда, первые наши открытия.

Волков: Пьесы Шатрова о Ленине шли с огромным успехом в «Современнике».

Евтушенко: Зал набит был ищущей молодежью. И Миша произносил такие идеологические речи! Его вроде бы прочили даже в будущие лидеры комсомола. Понимаете, у нас очень многие понятия были смещены – из-за путаницы, из-за недостатка информации. И только постепенно всё выстраивалось в другую картину. Мы еще не читали книгу Василия Гроссмана «Всё течет…», которая многим просто ударила по голове! Хотя мы уже к тому времени с большим уважением относились к Гроссману, потому что очень понравилась большинству из нас его книга об Армении – очень сильная книга. И другие, военные его книги.

Волков: А «Жизнь и судьба»?

Евтушенко: «Жизнь и судьба» – это было впоследствии. «Жизнь и судьбу» я прочел, уж если вы спросили, довольно поздно.

Я помню, мы поехали на один из конгрессов ПЕН-клуба, в котором советские писатели принимали гостевое участие. Это уже восьмидесятые. Конгресс проходилв Кельне. Перед поездкой нас собрал Александр Чаковский[51], который руководил всем. И Чаковский сказал: ни в коем случае не видеться с врагом-антисоветчиком Копелевым! «Если он будет подходить к вам, пожалуйста, я вас прошу, с ним ни слова, это враг самый настоящий! Перекрасившийся очень быстро, показавший своё истинное лицо». И первое, что я сделал в Кельне, – пошёл к Лёве

Копелеву. Это был идеалист…

Волков: Марксист-идеалист.

Евтушенко: Да, и очень милый и очень хороший человек. И, честно говоря, мне он тогда даже больше нравился, чем герои Солженицына, которые с Копелевым полемизировали. Лева был мне близок своим интернационализмом. Он мне нравился просто по-человечески. Он был совершенно искренний, как большое дитя, и в то же время много говорил хорошего и умного. Но с кем же из нашей делегации я мог пойти к Копелеву? Со мной пошел только один человек – Василь Быков. Ну, я, может, никому и не предлагал, кроме него, – некого было приглашать. И у нас с ним произошла такая история.

Еще до этого я шел по улице Кельна – и вижу: в витрине магазина – книга Гроссмана, которую я так хотел достать! У меня были очень хорошие отношения с Семеном Липкиным, и я просил, чтобы он помог мне ее достать.

Волков: Это Липкин спрятал один экземпляр книги Гроссмана?

Евтушенко: Да, но тогда он сказал: «Я не знаю, у меня ее нет…» Короче говоря, я иду по улице Кельна – и рядом с тем отелем, в котором жила вся советская делегация, в белом, неиллюстрированном варианте стоит в витрине магазина «Жизнь и судьба»!

Волков: По-русски?

Евтушенко: По-русски! Это было первое издание! Его специально выпустили к приезду советской делегации! И, поскольку мы были с Быковым очень близки, я единственно кому сказал о том, что купил Гроссмана, это ему. И он попросил у меня на ночь эту книгу почитать. Не спал, читал всю ночь, а потом еще одну ночь.

Волков: Писатели, чтобы прочесть книгу, должны были ехать за границу!.. Это сейчас невозможно себе представить!

Евтушенко: Так и я бессонно читал ее, я не мог оторваться! И я сказал: «Вася, а почему ты себе не купишь?» – «Ну, Жень, ты что, не понимаешь, что со мной сделают, если у меня ее найдут?! Я ведь все-таки член партии – меня же сотрут в порошок, если узнают». И меня это потрясло! Потому что Быков был для меня символом бесстрашия. Фронтовик! Очень хороший человек, без страха и упрека! И вдруг я увидел, что он просто-напросто боится. Вот такое было время.

А я провез книгу в Москву. Может быть, это был первый экземпляр книги Гроссмана, который приехал в Москву. И Семену Липкину потом я все-таки шепнул: «А у меня есть „Жизнь и судьба“ Гроссмана…»

Волков: И как он отреагировал, помните?

Евтушенко: «Женечка, я это не комментирую», – вот что он мне сказал. Ну правильно себя вел, опытный человек…

Что меня, конечно, потрясло больше всего у Гроссмана…Все-таки для нашего поколения самое страшное был фашизм. И этот разговор комиссара с немецким идеологом… не помню, как его фамилия. Это меня просто потрясло! Когда гестаповец спокойно так говорит: у нас очень много общего, вообще-то говоря, мы близки. Вот до этого я никогда не доходил. Не доходил! И я в первый раз подумал: вот ведь в чем дело. Жестокость – одно из проявлений фашизма, это его *trademark*[52]. И то же с коммунизмом. Потом я вспомнил – я уже тогда читал «Крутой маршрут» Евгении Семеновны Гинзбург, – я вспомнил потрясшую совершенно меня историю, как немецкая коммунистка-коминтерновка показывала Евгении Семеновне следы от зажигалок, которые были сделаны в Германии гестаповцами, а потом в нашем НКВД. А уже после я вспомнил вдруг, как однажды моя тетя Ира сказала: «Так это же фашисты! Они только называют себя коммунистами. Мало ли как они себя называют…» Тетя Ира много мне говорила шокирующих вещей, когда я стал про это думать. Эти люди использовали идею, которая мне так нравилась, – идею социализма, коммунизма. Я о коммунизме еще мальчишкой прочел, и мне так понравилось! Во-первых, что не будет государств…

Волков: Богатых и бедных…

Евтушенко: Да, без богатых и бедных! Ведь бедность я видел, видел, до чего она доводит людей даже хороших – иногда до преступлений, воровства, убийств… И эти мысли меня начали дико мучать, кошмарно мучить.

Я помню, мы шли как-то с Вознесенским – мы уже были известными поэтами, нас впервые пригласили не для проработки в ЦК комсомола, а для такого хорошего разговора. И представьте, что они нам предложили! Сейчас, они говорят, проводится борьба против хулиганства. И вот очень хорошо было бы, чтобы два таких знаменитых поэта с повязками дружинников просто прошлись бы в центре, чтобы люди увидели, что они тоже принимают в этом участие. И я никогда не забуду, как одна девочка, увидев нас – наверняка мы были ее кумирами – с этими красными повязками дружинников, вдруг сказала: «Как, вы дружинники?!» – и, потрясенная, остановилась. И мы с Вознесенским переглянулись и бросили эти повязки в мусорную урну. Одновременно! Потом я написал стихотворение «Две красные повязки». Вот такая история. Представляете, какие примитивные были люди, которые решили, чтобы мы так

помогали родине? Они же говорили, что это родине надо помочь!

Волков: А кстати, зачем было создано движение дружинников, как вы считаете? Готовили какую-то вспомогательную милицию, чтобы бунты подавлять?

Евтушенко: А мы увидели, как их использовали, – когда начали разгонять чтения у памятника Маяковскому. Там веснушчатый какой-то суворовец читал стихи Маяковского. Ранние. Из первого тома. Я уж не помню, что он читал. Дружинники и его тоже запихали в черный воронок – они просто запихивали всех не глядя! Я написал потом письмо в его защиту. В ЦК, по-моему, написал.

Волков: Потом дружинники резали широкие или, наоборот, узкие брюки – когда партия решала, какие именно брюки хороши.

Евтушенко: Это было какой-то дикостью! Папа когда-то пригласил меня в ресторан в гостинице «Советская». И его не пустили, потому что у него не было галстука. И он мне тогда рассказал историю, как в свое время его, наоборот, исключили из комсомола за то, что он носил галстук. Представьте себе, это считалось буржуазной отрыжкой. И как всё это было формально, ритуально! Всё это начинало уже выглядеть как какая-то пародия… И потом, я вам скажу, всё меньше и меньше уже становилось людей, у которых при слове «революция» действительно возникала какая-то искренняя эмоция. Если говорить о политике, то я, пожалуй, последний человек, у которого иногда вспыхивали какие-то искорки. Они были смешные, эти моменты, потому что я уже увидел правду.

У меня было стихотворение «Монолог бывшего попа, ставшего боцманом на Лене» – это 1967 год. Знаете его, нет?

Волков: Конечно!

Евтушенко:

> Но я сквозь внешнюю железность
> у них внутри узрел червей.
> Всегда в чужую душу лезут
> за неимением своей.
> <…>
> И понял я: ложь исходила
> не от ошибок испокон,
> а от хоругвей, из кадила,
> из глубины самих икон.

Вот какие я стихи написал. И они были напечатаны, между прочим, в газете «Неделя», это приложение к «Известиям». Люди обалдели просто: как это можно было напечатать! Это для меня

новое было стихотворение. Потому что я увидел, что эти люди сами ни во что не верят. Думаю, что я вызывал очень большое раздражение у таких людей, как Шелепин, Семичастный[53] и т. д. И именно потому, что во мне брезжили еще какие-то идеалы. Журнал «Молодая гвардия», Саша Макаров был главным редактором его, в 1960-м напечатал мою поэмку «Считайте меня коммунистом!». И когда я написал там:

На этой войне сражаюсь я,
Победы трудные одерживая.
Это – моя Гражданская,
Это – моя Отечественная… —

Саша сказал, что я призываю к войне с партией. В какой-то степени он угадал. Да, призываю – с бюрократией партийной, а не с мамой моей, идеалисткой-коммунисткой. А уже после я писал:

Когда мужики ряболицые,
папахи и бескозырки,
шли за тебя,
    революция,
то шли они бескорыстно. <…>

Начиналось с этого. И мне это очень важно!

Им,
кто юлит, усердствуя,
и врет на собраньях всласть,
не важно,
    что власть Советская,
а важно им то,
    что власть.

Вот, им нужна только власть! Я пришел к этому своим умом. Я увидел этот страшный цинизм. Я узнал их секрет. Я догадался об этом!

Танки в Праге

Евтушенко: Для меня вторжение в Чехословакию в 1968-м было так же страшно, как для многих диссидентов. Хотя и они разные были. Кто-то из них испытывал гнев, а некоторые, как,

например, Александр Исаевич Солженицын, думаю, испытывали какое-то даже злорадство. Когда в Прагу вошли наши танки, это подтвердило его теорию – вы же помните, он говорил: это неизбежно, это красная чума, которая поползет по земному шару.

Волков: Он говорил позднее и о том, что третья мировая война уже идет и она проиграна Западом.

Евтушенко: А для меня как для идеалиста-социалиста это был просто конец. Я никогда не был так близок к самоубийству, как тогда, вот поверьте! Я помню, как мы сидели у Бори Балтера, писателя, дома, в Коктебеле. Это был, по-моему, его день рождения. И мы все – Вася Аксенов, Боря, Толя Гладилин, кажется, тоже был – праздновали. И говорили о том, что случится сейчас в Чехословакии. Потому что напряжение там нарастало.

Волков: Я помню очень хорошо ту атмосферу, когда все ожидали, что произойдет. Но никто не думал, что они решатся на вторжение.

Евтушенко: Ну да, никто не думал! Неправда, что никто не думал. Все, кто сидел за столом, кроме одного человека – меня, – все это думали! И Боря Балтер, очень порядочный человек, сказал: «Дорогой Женя, я бы очень хотел не верить в это…» Я тогда, помню, говорил: «Это невозможно! Все-таки братская страна… А как же идеи социализма? И что такое социализм с человеческим лицом? А какой может быть другой социализм? Разве социализм вообще может быть…»

Волков: Со звериным лицом?

Евтушенко: Да, может ли он быть без человеческого лица? И еще надо задуматься, чтобы и капитализм тоже был с человеческим лицом. Их не так уж много, капитализмов с человеческим лицом. Звериное проступает очень и в капитализме, и в разных других системах, не только в нашей, понимаете? Но я не позволял себе верить, что так произойдет. Хотя у меня были уже еще до того, что произошло, такие мысли, когда я написал стихотворение «Проклятье века – это спешка». Это было до августа 1968-го! И когда в Австралии перепечатали эти стихи (а у нас опубликовали их в «Огоньке», это было единственное издание, где можно было напечатать такие стихи), то написали, что Евтушенко предсказывает…

Волков: …вторжение в Чехословакию.

Евтушенко: Да-да. Слава богу, никто у нас этого не заметил, Австралия от нас все-таки далековата. Но меня все время мучили какие-то дурные предчувствия, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Вы знаете, у меня были и трагедии личного характера, но никогда в жизни не было страшно, как тогда. А Боря Балтер мне сказал: «Дорогой Женечка, я бы очень хотел думать, как ты.

Но я боюсь, вот сейчас вот, в этот момент, когда мы сидим и спорим и ты говоришь: „Я не могу это представить…“ – я боюсь, что, быть может, именно сейчас наши танки пересекают границу».

Потом – я уж забегаю вперед – мы шли с Васей Аксеновым утром. И навстречу украинский письменник[54], не помню его фамилии: «Ребята! Так поздравляю! Так же ж наши танки у Праге! Ну а чего ж? Мы ых кормыли! А воны!» Мы были потрясены. Пошли в столовку с Васей, водки тяпнули – в столовке коктебельской водка продавалась, – и вдруг Вася произнес речь! Там очередь за водкой стояла, и Вася произнес обращенную к ним речугу. Он стал их оскорблять: «Вот вы здесь стоите жалкой толпой бессловесных рабов и даже не знаете, что произошло! Вам все равно!..» Это страшная была речь…

Волков: Так его повело, да?

Евтушенко: Он просто потерял разум! Я понял, что сейчас его будут бить и, возможно, ногами, – я серьезно говорю. И я его увел, потом пошел на местный телеграф, – Вася пошел спать – и отправил телеграммы, читая которые девочка-телеграфисточка всплескивала руками: «Ой, чё делается, чё делается! Вам же попадет так!»

Волков: А что было в телеграммах? Кому вы их отправляли?

Евтушенко: Я несколько телеграмм направил – в поддержку правительства Дубчека и нашему правительству с протестом. Стихов тогда еще не было. А через пару дней, пожалуй, или через день, может быть, я услышал, как мой друг Мирослав Зикмунд – помните: Ганзелка – Зикмунд?…

Волков: Путешественники знаменитые чешские.

Евтушенко: Он говорил по радио «Свободная Прага»: «Женя, дорогой, помнишь, как мы на станции Зима говорили о будущем – о социализме с человеческим лицом? Надо спасать эту замечательную идею! Помнишь, как мы говорили об этом на сеновале у твоего дяди Андрея Иваныча…» – знаете, у меня вся душа перевернулась… «Женя, сейчас к нам входят ваши солдаты, вот они уже идут по нашей лестнице, я думаю, нас закроют. Женя, скажи свое слово…» У меня уже сердце не выдержало, и я написал стихи. А вечером я их читал в доме Волошина.

Волков: Тоже в Коктебеле.

Евтушенко: Да. Кстати, для меня открытие было феноменальное – очень большое! – стихи Максимилиана Волошина о Гражданской войне. С моей точки зрения, он был средним декадентским поэтом до Гражданской войны. А вот его позиция моральная… Вы читали его поэму «Россия»?

Волков: Конечно.

Евтушенко: Вы знаете, ее нужно в школах обязательно

преподавать – это гениально! «Великий Петр был первый большевик…» Это потрясающее произведение! И его моральное поведение: приходили красные – Волошин спасал белых, приходили белые – он спасал красных. И это не было показное христианство.

Волков: Он оказался в жизни не декадентом, да?

Евтушенко: Ну совершенно, просто удивительный человек! И его вдова хранила этот его дух, и все эти стихи, которые у нас не печатались, лежали там доступно. Кстати, Чабуа Амирэджиби в лагере эти стихи выучил наизусть, они когда-то, в 1920-х еще годах, напечатаны были в каких-то крымских газетах…

Ну, вернемся в 1968-й. Вы не представляете, что со мной делалось! Вот поверьте, я вам честно говорю: это не было никакой моей смелостью или подвигом – я себя спасал от самоубийства. Если бы я не написал вот этих телеграмм, этого стихотворения, я бы покончил жизнь самоубийством. Я серьезно вам говорю! Другого у меня выхода просто не было.

Танки идут по Праге
в закатной крови рассвета.
Танки идут по правде,
которая не газета.

Танки идут по соблазнам
жить не во власти штампов.
Танки идут по солдатам,
сидящим внутри этих танков.
Боже мой, как это гнусно!
Боже – какое паденье!
Танки по Яну Гусу,
Пушкину и Петёфи.

Что разбираться в мотивах
моторизованной плетки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрева на глотке?
Страх – это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы – это помесь Ноздрева
и человека в футляре.

Совесть и честь вы попрали.
Чудищем едет брюхастым
в танках-футлярах по Праге

страх, бронированный хамством.

Танки идут по склепам,
по тем, что еще не родились.
Четки чиновничьих скрепок
в гусеницы превратились.

Разве я враг России?
Разве не я счастливым
в танки другие, родные,
тыкался носом сопливым?
Чем же мне жить, как прежде,
если, как будто рубанки,
танки идут по надежде,
что это – родные танки?

Прежде чем я подохну,
как – мне не важно – прозван,
я обращаюсь к потомку
только с единственной просьбой.

Пусть надо мной – без рыданий
просто напишут, по правде:
«Русский писатель. Раздавлен
русскими танками в Праге».

Так что, повторю, никакой это не подвиг, никакая не смелость, а это было самоспасением для меня. У меня же какие были идеалы? Один из героев моих был Иисус Христос, который прекрасно уживался с другим – с Тилем Уленшпигелем, – это от папы, это его любимый герой был. Я много стихов о Тиле Уленшпигеле написал. Я написал «Марш гёзов», которым горжусь. Андрей Петров к нему музыку написал чудную.

Волков: Да, сам Петров им был доволен, он мне об этом говорил.

Евтушенко: Я иногда ставлю «Марш гёзов» перед своим выступлением, потому что он меня заводит. Коля Караченцов пел ее дивно! Я так любил: «Пепел Клааса стучит в мое сердце…» – это вся моя жизнь была, это моя была идеология! Понимаете? Справедливость, правда, честь, смелость!

А с теми танками у меня есть еще одна история.

Я всегда, как наивный человек, бывал в музеях революции и рассматривал выставленные там книги. Однажды я увидел книгу

Анны Антоновской «Великий Моурави», пробитую пулей. Она была в грузинском Музее дружбы народов. И это не подделка какая-то! В Отечественную войну погибло много грузин и людей других национальностей Советского Союза. Вообще, я любил Советский Союз. Я любил вот эту вот возможность братства народов, понимаете? И надеялся на то, что мы покажем пример всему человечеству когда-нибудь. И я – ну чего греха таить – по-мальчишески мечтал о том, что и мои стихи тоже будут находить пробитыми пулями и они тоже храниться будут в музеях! Люди будут погибать за правое дело! А получилось совсем по-другому.

Был у меня знакомый парень в 608-й школе, из которой меня выгнали. Его тоже выгнали, хотя его не обвиняли в краже учебников, как меня, хулиганистый был парень, нормальный. Хулиганистый – по-хорошему, робингудистый такой. И его никуда не брали. А в военные училища ребята тогда не очень охотно шли, и он пошел в военное училище, его взяли. И вот в 1968 году, когда я уже вернулся из Коктебеля в Москву, звонок в дверь. Стоит солдатик, маленький солдатик. «Евгений Александрыч?» Я говорю: «Да». – «Я к вам с печальной вестью. У меня вам подарок, но очень печальный». И достает мою книжку, да еще с каким названием – «Шоссе энтузиастов». Книжку, пробитую пулей. И рассказывает мне, что этот мой одноклассник был командиром танкового подразделения, которое в составе советских войск вошло в Чехословакию. Им объяснили, что западногерманские реваншисты хотят туда вступить…

Волков: Я помню, это было тогда официальное объяснение.

Евтушенко: И они пошли выручать братский чешский народ. Спасать идеи социализма. Вот они въехали – это в Моравии было: горы, горная какая-то дорога, – и их подразделению танковому путь преградили люди с цветами и стали танцевать фольклорные танцы, закрывая им серпантин дороги. Мой одноклассник позвонил по связи своему начальству, и ему скомандовали: «Продолжайте движение. Выстрелите в воздух, но потихоньку надо двигаться. Осторожно, внимательно двигайтесь вперед. Продолжайте выполнение приказа!» А танк же слепой! И вдруг закричали женщины – он случайно раздавил девочку.

Волков: Ужас!

Евтушенко: Одноклассник мой вылез из башенки, увидел раздавленную девочку и пустил себе пулю в сердце. А в кармане у него лежала эта маленькая книжка. Вот так она ко мне вернулась, и так исполнилась моя мечта – чтоб и моя книга была пробита пулей. Грустно…

В Чехословакии у меня столько друзей было! Со многими их людьми знаменитыми мы виделись здесь, в Москве. С тем же

самым Дубчеком, когда Вацлав Гавел[55] пригласил его во власть… Они приезжали на наши выступления, они ходили на вечера шестидесятников, в Политехнический заходили… И после 1968-го я, конечно, хотел поехать к своим друзьям, но меня не пускали – боялись нежелательного гостеприимства. Говорили, что сейчас не время, что это будет использовано антисоветскими силами… И конечно, меня прорабатывали, говорили, что я не понял исторической миссии нашей армии…

Волков: Это после стихотворения «Танки идут по Праге»? Но ведь его же тогда не опубликовали?

Евтушенко: Его опубликовали лет через двадцать, но оно ходило по рукам, его все знали. А на Западе оно было опубликовано, ходило в разных версиях даже. В ломаных разных.

А в Чехословакию меня наконец пригласили как фотографа! Без выступлений, без чтения стихов! И устроили мне выставку. Это было уже лет через семнадцать-восемнадцать! Причем где? В самом центре![56] Выставочный зал – замечательный. Там такое количество собралось людей, невероятно! Несколько десятков тысяч пришло – просто пожать мне руку. И подходит ко мне женщина, такая строгая, с короной седых волос, и говорит: «Товарищ Евтушенко, хочу рассказать вам интересную историю. Когда ваши танки… Извините, – она поправилась, – брежневские танки пересекли границу, для меня это было самым страшным временем. Я преподавала всю жизнь русскую литературу и русский язык. Я пришла в школу, и для меня это было тяжелое решение, но я сказала, что не буду больше преподавать русский язык и литературу. Это было тогда, прямо по свежим следам. Но вдруг я услышала по радио „Свободная Прага“ ваше обращение в поддержку правительства Дубчека и протест советскому правительству и ваше замечательное стихотворение. И я вернулась в школу и сказала: нет, я буду преподавать русский язык и русскую литературу. Спасибо вам, товарищ Евтушенко, что вы меня спасли от ненависти к вашему народу». Вот. А в 1968 году это называлось антипатриотизмом…

Волков: Вот вы говорите, что были близки к самоубийству. Вы действительно об этом думали? Представляли, как это сделаете?

Евтушенко: Не знаю, не знаю! Я не думал об этом конкретно, вы знаете! Я знал, что мне не хочется жить, понимаете или нет? Всё! Вот когда наши танки прошли через чехословацкую границу…

Волков: Что, это действительно было желание самоубийства по политическим мотивам? Мне всегда казалось, что это связано с вашими романами, о которых мы поговорим позже.

Евтушенко: Ну, наверное, все соединилось… Но – нет. Все-

таки танки – это был край. Пастернак, между прочим, сказал, что у самоубийства никогда не бывает одной причины. Когда не за что зацепиться, чтоб держаться. Вот сейчас я подумал: скорее всего так и было. Но чешские события тоже имели огромное значение, потому что для меня это была не политическая проблема – это была человеческая проблема. И эти стихи мои – они меня и спасли. Чтобы жить, продолжать мучиться…

Литовская модель

Евтушенко: А вот такая история случилась в 1963 году. Тогда начали ходить слухи о том, что я покончил жизнь самоубийством. Это даже по «Голосу Америки» передали. И мне один знакомый журналист сказал, что есть женщина, которая очень меня любит, влюблена в мои стихи. Познакомил меня с ней, с литовской моделью. Она была чудесная интеллигентная женщина. И она действительно в меня была влюблена.

Волков: И где вы познакомились?

Евтушенко: В Москве, они приехали на сельскохозяйственную выставку. Она была старшей манекенщицей, между прочим. И я в нее влюбился. А потом я долетел до Урала и повернул в Вильнюс, к ней. И прожил там с ней некоторое время. И вдруг однажды – мы курили оба, тогда все курили – я полез в ее сумочку, которая стояла у кровати, чтоб достать сигарету, и вдруг увидел там расшифрованную телеграмму. Расшифрованную ее каллиграфическим почерком. А когда она вошла с завтраком – европейская женщина, первая в моей жизни, которая подавала мне завтрак в постель, что мне, конечно, очень нравилось, – она рассказала мне свою историю.

У нее была на Западе родственница-миллионерша. И модель мою вызвали в КГБ и сказали: вы единственная наследница, и, если вы подписываете с нами соглашение о сотрудничестве, конкретно о том, что вы получите тридцать процентов от наследства, мы вам поможем всё оформить – остальное будет наше. Короче говоря, они ее в некоторых случаях использовали: приезжали какие-то важные гости из-за границы, особенно из литовской эмиграции, она их сопровождала – ну, типа эскорта – и докладывала о них. А потом говорят: «Мы слышали, что вы любите стихи Евтушенко». Она сказала: «Йа отчень льюблу его стихи». – «Ну вот видите. Это хороший поэт. Мы тоже ценим его талант. Сейчас он впал в депрессию. А вы такая красивая женщина… Надо вернуть его к жизни. Так что ничего дурного сделать вас не просим». И потом она мне прочла – хотя я и сам уже прочел, хотя мне было страшно это читать, – что было в ее

расшифровке. Там было написано так: «Продолжайте наблюдение за порученным вам объектом. Постарайтесь внушить ему оптимизм и отвлечь его от мыслей о самоубийстве. Нам очень нравится то, что он, согласно вашим сведениям, хорошо говорит о Никите Сергеевиче Хрущеве. Постарайтесь поддерживать его в этом отношении, потому что критика товарища Хрущева была направлена не на уничтожение его как поэта и вообще их поколения, а на то, чтобы они работали с большей отдачей для родины». То есть она им, видимо, писала, что я хвалил ей Хрущева. А я никогда с ней не разговаривал о Хрущеве, это всё она придумала.

Волков: Евгений Саныч, ну что может быть лучше в этом сюжете? К вам КГБ послал литовскую манекенщицу, чтобы она вас развлекла, отвлекла и привела в оптимистическое состояние духа. И всё за счет КГБ!

Евтушенко: Все-таки это было ужасно! Неужели вы не понимаете?

Волков: Не понимаю.

Евтушенко: Ну представьте себя в этой роли.

Волков: По-моему, это прекрасно!

Евтушенко: Если вам просто подкладывают – даже хорошую – женщину… все равно!

Волков: Подкладывают хорошую женщину, господи!

Евтушенко: Все равно! Я не мог уже ее любить, к сожалению.

Волков: Нет, вы были чересчур строги все-таки, наверное.

Евтушенко: Ну как строги! Это неприятно!

Волков: Я пытаюсь напрячься и вообразить, почему это неприятно!

Евтушенко: Я написал стихи потом.

Вот с вами женщина в постели
вам что-то шепчет еле-еле.
В ее глазах такая качка…
А может быть, она – стукачка?

Ну, и что тут хорошего?

Волков: Она же хотела вам помочь! Она только хорошего вам хотела.

Не хорошего – идейного, а хорошего – просто хорошего…

Евтушенко: Ну все равно это что-то липкое! Это не так должно быть.

Волков: Евгений Саныч, она как женщина была хороша собой?

Евтушенко: Очень!

Волков: Ну вот! О чем речь?

Евтушенко: И между прочим, кончилось-то всё плохо. Это случилось довольно скоро. Она вышла замуж за балетмейстера, нашего балетмейстера. Его пригласили в Югославию работать. И там произошла странная история: автокатастрофа, и погибла только она. А в машине были еще ее сын и муж.

Волков: Вот это действительно довольно подозрительно и прискорбно.

Случайные связи

Евтушенко: Моя мама говорила: «Да Женька ж у меня сумасшедший! Он как влюбляется, ему обязательно приспичивает тут же жениться». Это правда, мне всегда не хотелось расставаться с женщиной. Хотя все равно бережливости в моем поведении недоставало. Понимаете, у меня есть одно качество: я необычайно обожаю жизнь вообще. Саму по себе и все ее неожиданности. У меня есть стихотворение, которое некоторые, особенно женщины, считают оправданием чего-то неоправдываемого, – «Случайные связи». Это стихотворение никогда женщинам не нравилось, потому что оно их обижало. А с другой стороны, это правда! Вот что такое для меня моменты счастья? Это не имеет отношения только к женщинам. Самое большое для меня счастье – встретить незнакомого человека, это может быть попутчик в поезде или случайный сосед где-нибудь в пивной, в неожиданном месте каком-то, в незнакомом городе, в другой стране совершенно… Он может быть человеком другого социального происхождения, образования – да это не имеет значения! Но когда я ему могу сказать всё и он тоже начинает говорить мне всё – вот это самые у меня обожаемые моменты жизни! Я выше всего именно это ценю – случайные разговоры, случайные встречи. Вот это я обожаю в жизни – ее неожиданности. «Я жаден до людей, и жаден всё лютей…» – я же это писал ещё совсем в ранней, в очень ранней юности:

Мне в жадности не с кем сравниться,
и всюду – опять и опять
хочу я всем девушкам сниться,
всех женщин хочу целовать!

Мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи и дня.
Меня ненасытность вскормила,
и жажда вспоила меня.

Это мое, видимо, и хорошее качество, но одновременно и мой недостаток. Женщины иногда меня спрашивают: «А если бы я так себя вела, как ты?» Я бы не выдержал такую женщину, с моим-то характером… Я бы… Нет, просто по-другому мы устроены.

Волков: «Был бы я своей женой…»

Евтушенко: «Не развелся бы с собой». Конечно, всем людям свойственно самооправдываться. Опять тут Георгий Адамович вспоминается: «всё – по случайности, всё – поневоле…».

Волков: Лучше прочтите «Случайные связи», понятнее будет.

Евтушенко: Я не считаю это стихотворение пошлым. Это моей жене Маше эти стихи совсем не нравятся. Она меня высмеивает, и правильно высмеивает: «Стоит персику ли обижаться, если вишенка просится в рот?…» И Галине Семеновне, моей второй жене, не нравилось это стихотворение. Не нравилось ни одной из моих жен. Оно написано в 1973 году и сразу напечатано. Его меня просят часто читать, кстати. Но я ни разу его не читал. Сейчас прочту в первый раз:

Случайные связи —
Они порицаются, став
Синонимом грязи
У грязи самой на устах.
И лженедотроги,
Надменные губы поджав,
В пожарной тревоге
Мужьям залезают в пиджак.

Взрывается ярость,
Когда там находит рука
Записочку, адрес —
Любую улику греха.
Упреки в разврате,
Они по-судейски грозны,
Как будто в растрате
Священной семейной казны.

Пусть лучше запомнят:
Развратнее нет ничего
Спать с мужем законным,
Когда ты не любишь его…
Но разве развратен
Тот случай, совсем не слепой,
Что так безвозвратен
И все-таки вечно с тобой!

Проездом, пролетом,
Тот случай – прекрасен и дик —
Тебя над болотом —
Возносит пускай хоть на миг.
В метро, в электричке,
В толпе, тебя взявшей в кольцо,
Среди обезлички
Вдруг выплывет чье-то лицо.

И жизнь без нажима,
Лишь горло сжимая тебе,
Вдруг неудержимо
Вас бросит друг к другу в толпе.
Что будет – потемки,
Но выплакать легче тоску
Еще незнакомке
И все же – почти двойнику.

Честней очерственья,
Когда вы с женой, как враги, —
Тот брак на мгновенье —
Зато без измен и ругни.
И разве случайна
Такая случайная связь,
Которая тайно
Мерцает, всю жизнь тебе снясь?

При той дешевизне
Занудства, с которым слились,
Случайности жизни —
Быть может, и есть ее смысл…
И пусть обличают,
Порочат, бесстыдно стыдя, —
Без слова «случайность»
Нет слова другого – «судьба».

И чего я стесняюсь этого стихотворения? Довели… Ничего здесь нет нечистого. Я никогда и не составлял амбарных книг своих, так сказать, сексуальных похождений…

Волков: Никаких донжуанских списков?

Евтушенко: Никаких. Но я никого не забыл.

Волков: Знаменитый донжуанский список Пушкина – по-моему, тридцать с чем-то имен. А Бродский перед отъездом на

Запад с гордостью сообщил Томасу Венцлове, что у него он вдвое больше. Приблизительно в том же возрасте.

Евтушенко: Бог ты мой, у меня свои правила игры! Я этого не люблю. Я считаю это ниже своего достоинства просто. Я просто помню всё, не забываю. У меня всё это в стихах. Любовь везде. Вот тут, смотрите, Наташа Апрелева – еще до Беллы. Сейчас живет в Америке, между прочим. Ну это еще влюбленности. Потом уже любовь за любовью пошла… Помните, я вам рассказывал про это мое знаменитое стихотворение, написанное аж в 1954 году? «Видишь, небо какое синее?» (См. выше. – *Ред.*) Понимаете, уже тогда всё пошло. А таких стихов было мало тогда!

Был момент, когда денег у меня было полно, потому что я печатался много в газетах. Я был одним из самых богатых студентов Литинститута, ходил в «Коктейль-холл», у меня был роман с барменшей «Коктейль-холла».

Волков: О, барменша! Это уже экзотика.

Евтушенко: Ей было сорок шесть лет, она была генеральской вдовой и замечательной барменшей. А мне девятнадцать было.

Волков: Правильное соотношение. И, кстати, любовная тема – вы там ведь тоже начали пролагать новые пути. Она ж была такая суперцеломудренная, советская поэзия того времени. Как любят до сих пор шутить в Америке, писали больше о любви к трактору. Это была такая производственная любовь. А у вас всё приобретало личный, персональный характер, и оттого ваши стихи нас всех цепляли. Они были про секс, которого в СССР якобы не было…

Евтушенко: Вот появилась у нас девушка, приехала из Одессы. Лена Зятковская. Она была актриса, хотела поступить в театральное училище. Она в меня влюбилась. Я ее, кстати, любовь нашу, как мы оказались вместе, описал в поэме «Голубь в Сантьяго». Я переподарил ее герою поэмы, Энрике.

Волков: Ведь Энрике – это вы сами, правда? В этой поэме больше правды о себе, чем в вашей автобиографической прозе. Больше правды об отце, о матери, об их отношениях друг с другом и об их отношении к вам. И о женщинах, о сексе, как у вас ничего не получилось в первый раз, как вы зарыдали… И, конечно, о суицидальных мыслях – это ваша обсессия.

Евтушенко: Да, любовь спасает. Чувство спасает:

> Пусть будет радостно, пусть грустно —
> лишь приходило бы оно.
> Ведь нам важны не сами чувства,
> а то, что ими рождено…

Галя Сокол

Волков: А как вы встретили Галю Сокол? И когда?

Евтушенко: А, я давно очень ее знал.

Волков: Там ведь была ситуация очень сложная: она же была женой одного из ваших лучших друзей – Михаила Луконина.

Евтушенко: Она не была с ним расписана. И им было трудно жить, я не знаю, как они устраивались даже. Она мне всегда нравилась, но я никогда себе не позволял и подумать даже, что такое может случиться. Это не было каким-то адюльтером тайным от Миши. Мишу я очень любил, его многие стихи я до сих пор на память помню.

Госпиталь.
Всё в белом.
Стены пахнут сыроватым мелом.
Запеленав нас туго в одеяла
И подтрунив над тем, как мы малы,
Нагнувшись, воду по полу гоняла
Сестра.
А мы глядели на полы,
И нам в глаза влетала синева,
Вода, полы…
Кружилась голова.
Слова кружились…

Какая чудная поэтика! Удивительная! Он талантливый был человек.

Волков: А как вы поняли, что влюблены в Галю?

Евтушенко: Я к ним часто ездил. Миша был очень гостеприимный, он дружил с Володей Соколовым и со мной. Мы не называли себя его учениками, но мы ими были. Очень много стихов написано о вздохе Луконина. Так он иногда тяжко вздыхал! Очаровательный человек был. Он был и футболистом даже, в «Тракторе» играл до войны…

С Мишей я познакомился году в 1952-м, а с Галей… Я уже не помню, когда это было. У меня рассказ был, где всё это описано. Рассказ, которым зачитывались, – «Куриный бог». Он был напечатан в «Молодой гвардии». У Гали был роман с одним поэтом, и Миша это понял. И однажды он в моем присутствии ее ударил. Я и ее приятельница Майя Луговская возили Галю в

больницу.

Волков: Что, так сильно?

Евтушенко: Сильно. Пили тогда сильно. Водку все-таки пили. Не я. Я водку почти не пил. У меня с Беллой тогда всё уже распадалось. И у Гали дома было худо. Я бы никогда не стал ее уводить от Луконина, не дай бог жениться на женах своих друзей. Но практически и у них брак уже развалился. И однажды мы оказались вместе. Совершенно просто как-то. И ошеломило меня это.

А потом так получилось, что ее нужно было просто как-то приютить, она уже ушла от Луконина. Я был тоже один, комнату снимал на Сущевской.

Волков: Вы оба от своих развалившихся предыдущих браков сдрейфовали и соединились, да?

Евтушенко: Да. Так и было.

Волков: А как Луконин отреагировал на это? Отношения ваши с Лукониным после этого не прекратились?

Евтушенко: Конечно, это могло его задеть, но он, по-моему, понимал, как это произошло. Мы же с Беллой очень любили их. Мы с ними дружили. Белла была лучшей подругой Гали! Галя очень ее любила.

Волков: Белла пришла, вы говорили, на вашу свадьбу с Галей? Благословила ваш союз?

Евтушенко: С фартучком, да, с фартучком пришла. Да потом и Миша к нам заходил. Редко, правда. У меня с ним сохранились какие-то отношения, но все-таки что-то между нами повисло.

Волков: А чем второй ваш брак отличался от первого, с Беллой? Что нового вошло в вашу жизнь с Галей Сокол?

Евтушенко: Галя просто мне на многое открыла глаза. Потому что она прошла жизнь девочки из семьи врагов народа. Вы знаете, несмотря на то, что у меня оба дедушки были арестованы, я как-то это не очень сильно чувствовал. А через нее у меня это появилось. «Во мне твою мать на допросы таскают… Я старше себя на твои тридцать три…» Она была старше меня, двадцать восьмого года рождения. Она очень многому меня научила, рассказала мне много такого, чего я не знал. Она сыграла огромную роль в моем становлении, я стал во многом другим человеком. Гораздо резче и настойчивей стал.

Волков: Это был безмятежный брак или вы сталкивались? С кем вы больше конфликтовали – с Ахмадулиной или с Галей Сокол?

Евтушенко: Ну, с Беллой было всё как-то быстро очень. А с Галей я прожил ведь семнадцать лет!

Волков: Вы сразу зарегистрировались ведь?

Евтушенко: Да. Это был ее первый зарегистрированный брак. И она была совершенно безупречна как женщина, как жена. Абсолютно безупречна.

Волков: Кто готовил дома?

Евтушенко: Галя очень хорошо готовила. В отличие от Беллы. Нет, Белла старалась всегда, она не уклонялась от этого. Но Галя была очень хозяйственная. Она и стихи очень любила. Любила и понимала. Но могла быть беспощадной. Я никогда не забуду, как она сказала – вот это была чистая Галя! – когда умер Луговской, которого я хорошо знал…

Волков: Прекрасный поэт!

Евтушенко: Его «Алайский рынок», написанный в Ташкенте белыми стихами – это поразительная вещь!

Так вот, когда мы устраивали поминки по Луговскому, пришел Лесючевский. Он припоздал. А Лесючевский был стукачом.

Волков: А также директором издательства «Советский писатель».

Евтушенко: Он известный был рецензент КГБ, официальный, вроде пресловутого Эльсберга[57]. И вот Лесючевский входит, а там много уже вдов накопилось, и они все, конечно, зависели от него. И они говорят ему льстиво: «Садитесь, Николай Васильевич!» Это человек колоссальной власти был, его все боялись. А Галя через весь стол… Вот это Галя! Она на Красной площади плясала цыганочку, когда Сталин умер. Заставила Луконина пойти с ней на Красную площадь и там плясала! Ее хотели разорвать в клочья, Миша мне рассказывал, что он еле ее выручил.

Так вот, с Лесючевским… «Садитесь, Николай Васильевич!» А Галя говорит: «Ничего! Те, кто сажали, пусть постоят!» Вот что такое была Галя! А как она сказала мне насчет «Бабьего Яра»? «Женя! Это так страшно, что про это нельзя писать вообще! Ты меня понимаешь? Я не говорю, что это хорошие или плохие стихи. Про это не надо писать! Нельзя! Нельзя трогать это!» Вот такой человек она была.

Волков: Она была, не зная того, последователем Теодора Адорно, который сказал: «После Освенцима нельзя писать стихи».

Евтушенко: Правда? Я этого не знал. Ну что же, какая-то большая, самая главная правда в этом есть. Потому что такую боль человеческую трудно описать. Галя была моей совестью.

Волков: Компасом моральным в каком-то смысле?

Евтушенко: Да! Но! Она вдруг совершенно неожиданно поздравила меня со стихами «Сопливый фашизм». Галя понимала: это был смелый поступок тогда. Потому что я пошел против этих

фашистят маленьких. А когда она приехала на Кубу – она ведь сначала не хотела ехать, – ей вдруг дико понравился Фидель Кастро, он же был необыкновенно обаятелен. Фидель любил тогда ходить по улицам. Конечно, у него была охрана, но и любовь народная его окружала невероятная! И Галя мне рассказывала, что он ее зачаровал… зачаровал просто. Она ходила за ним целый день. Говорит: «Это же явление природы, а не человек!»

Или она говорила: «Тебе не нужно продаваться. Ни за что ты не должен идти на уступки, соглашаться. Мы заработаем как-нибудь денег, не пропадем». Говорила, а все-таки боялась за меня. Потому что любила. Ее не было рядом со мной в Коктебеле, когда я ходил на телеграф отправлять телеграммы Брежневу и Дубчеку. Я с ней не советовался даже. И когда я вернулся, она была уверена, что меня арестуют. Это же гигантские геополитические события происходили!

Волков: Тектонические политические сдвиги…

Евтушенко: Тектонические сдвиги, вот видите! Она это поняла. А мы охотники были до нелегальной литературы. Мы не занимались ее распространением, а просто читали, читали, читали… насыщались. Она всегда доставала такие книжки. И после Коктебеля она говорит: «Надо сжечь часть книг». И мы сразу же сожгли. Сидели с ней, она плакала, говорила, гладила меня… Очень боялась за меня. Но не тронули почему-то…

Короче говоря, она была безупречна как жена. Но не знаю я, что со мной происходило… Я ведь ее очень любил тоже. Вот поверьте мне! Я ее очень любил! Ну почему это вот может сочетаться в мужчине? Вот это ненасытное любопытство… Ничего больше женщин мне так в жизни не нравилось… Они давали мне столько счастья! Они были самыми хорошими моими друзьями. Они никогда меня, никогда не предавали. Вот и с Беллой: мы не разошлись – мы разминулись. Всему хорошему, что во мне есть, я научился у женщин. Я серьезно говорю. Это с детства. Я обожал женщин всегда. Ну не мог я удержаться… Ненарочно я это делал! Но, конечно, Галю это ранило.

И тогда у нас начинались с ней споры. Гордость не позволяла ей говорить о женщинах, и она меня начинала упрекать за стихи. Она могла быть беспощадной совершенно. У меня есть стихотворение «Евдокия Лопухина». Пожалуй, это Галя, вот такая и она была, заговорщица… Стала уходить не то что в политическую деятельность, но начала помогать заключенным, то-сё, другое, третье. И стихи ей мои перестали нравиться. Она стала ругать мои стихи.

Волков: Да, это уже основание для развода…

Евтушенко: И не потому, что стихи уж такие были плохие –

из-за ревности.

Волков: А сын, который у вас появился, это была ее инициатива или ваша?

Евтушенко: Да, ее, ее. Потому что я… Я описываю это в поэме «Дора Франко»… я запутался абсолютно!

Волков: Вы говорите там о трех женщинах…

Евтушенко: Да, я запутался между тремя… Я запутался между тремя… Актриса Театра на Малой Бронной Наташа Никонова – я в нее влюбился – раз. Потом с другой актрисой этого же театра у меня был роман – два… И Галя. На Малой Бронной тогда, в 1967 году, поставили спектакль по моей «Братской ГЭС». Наташа замечательно Нюшку играла, а ту, другую актрису не выбрали на эту роль. Хотя у нее фактура, наверное, больше подходила. Ставил спектакль Саша Поламишев – был такой режиссер. Знаменитый был спектакль, с декорациями Олега Целкова. Там очень здорово, потрясающе играла Лидия Сухаревская – Пирамиду египетскую.

Волков: Для вас этот спектакль оказался еще и по личным причинам важен?

Евтушенко: Мы не могли сдать спектакль в Москве, цензура не пропускала. И тогда Андрей Гончаров, главный режиссер театра, придумал, что надо съездить в Латвию, в одну из стран моих предков, и там прекрасно мы этот спектакль сдали! И на премьере, блестяще Саша Поламишев это поставил, мы пустили экраном, как танцуют парни на бетоне, знаменитые были кадры, потом их часто показывали. А на сцене Наташа танцевала твист:

Лысый с телехроники,
с ног чуть не валясь,
умоляет:
«Родненькие,
родненькие,
вальс!»
Но на просьбы робкие —
свист,
свист,
и танцуют
родненькие
твист,
твист…

И тут Наташка выходила и босиком плясала. И вот я иду к Наташе в гримерку и вдруг вижу – сидит она, а у нее все ноги в крови. Ей бросили на сцену толченое стекло! Та, другая актриса

бросила. Я написал об этом случае стихотворение «Твист на гвоздях», только там не толченое стекло, а гвозди бросили. Вот что там было! Так… теперь с Галей! Я стихи об этом зашифрованные написал – «Краденые яблоки». Боже мой! Вот как всё спуталось! Я не знал, что и делать.

А мне приглашение было в Копенгаген и в Чили. И я попросился, чтоб меня отправили… Я точно знал, что поеду в Латинскую Америку. Как можно дольше там пробыть – и всё! Я не знал, что делать… Когда я уже поехал в Копенгаген, меня не хотели пускать сначала, я как-то вырвался. В Чили Пабло Неруда меня ждал… Вот там я встретил Дору Франко, колумбийскую фотомодель. И не возвращался десять месяцев…

То, что я чувствовал тогда, в 1968-м, я описал в поэме «Дора Франко»: что подступает что-то страшное. И Дора это почувствовала как любящая женщина. А я-то, дурак тоже… поэт… не понял, что это женская интуиция. Я заподозрил ее!

Волков: Заподозрили, что она тоже подослана?

Евтушенко: Ох, боже! Какой позор! У меня же был такой случай уже однажды. Я обжегся! С литовской моделью, которая тоже меня любила… Я переживал из-за угрозы, нависшей над Чехословакией. И Дора чувствовала это. И когда это произошло, Дора вдруг сказала: «Ради бога, останься со мной, не уезжай сейчас, подожди какое-то время!» Ну что делать, я был дитя холодной войны, у меня было всё перевернуто в душе… И я сказал ей такую вещь, от которой мне тут же стало стыдно. Я сказал: «Тебя кто-то научил мне это предложить, да?» А она бросилась бежать в Амазонку! Топиться! К пираньям! И кстати, когда я ее встретил сейчас, два года назад, она мне ни словом не напомнила об этом. Ни словом…

А к Гале я не возвращался десять месяцев. Объехал тогда двенадцать стран, и даже в Америку попал, и на «*Queen Elizabeth*»[58], и чуть-чуть не отправился вместе со знаменитым путешественником польским, который на яхте «Опти» один путешествовал кругосветно (Леонид Телига. – *Ред.*), и на Таити попал – там просто целое дело было!

Волков: Это вы убегали от ваших проблем…

Евтушенко: А на Таити я от Гали получил телеграмму, что у меня есть сын. Она взяла Петю. Это замедлило наш развод. Я порвал с Наташей. Ребенка у меня еще не было. Я это оценил, я понял, что для Гали это важно, что я для нее важен, что это она сделала для меня. И я вернулся к ней. К сожалению, это не помогло. Семнадцать лет! Это же гигантский кусок жизни! Но невозможно стало жить с Галей, Галя стала пить. С Беллой, бывало, выпивала… Они дружили просто. Но, знаете, было

тяжело видеть мне иногда их вместе, очень тяжело.

Она видела всё, конечно, что происходит. Но как она пыталась удержать меня! Может быть, ей обидней всего было, что она была совершенно безупречной как жена, в смысле верности…

Мы сейчас с ней редко, конечно, разговариваем, но у нас есть общая проблема – Петя. Очень ей тяжело достался этот ребенок. И меня просто потрясло, какие сегодня циничные нравы у нашей прессы. Они же прекрасно знали, я же писал о нем, о его болезни. Но они его подловили, зная, что он лечится и так далее… У него какая-то форма шизофрении была. Он способный вообще-то был мальчик, но в Америке не выдержал. У него наследственность тяжелая. Галя это не проверяла, неопытная была. Но она столько посвятила ему жизни!.. Мы сейчас с ней говорим о нем и вообще говорим по-человечески. У нас дружеские отношения. Я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Галине Семеновне. Это бесстрашная женщина, которая и меня научила бесстрашию… Очень многому научила меня в жизни.

Бабий Яр

Волков: Самое знаменитое ваше стихотворение – «Бабий Яр». Оно переведено на семьдесят с лишним языков. Как оно родилось?

Евтушенко: Я впервые узнал о существовании Бабьего Яра из стихов Льва Озерова и Ильи Эренбурга, они еще в 1944 году об этом написали. Литконсультант «Труда» Лев Озеров уже был известный поэт. «Я пришел к тебе, Бабий Яр. / Если возраст у горя есть, / Значит, я немыслимо стар, / На столетья считать – не счесть…» Замечательные стихи! Я тогда еще не знал, что самые первые стихи о Бабьем Яре принадлежали Ольге Анстей.

Волков: Она эмигрантская поэтесса, вы ее и не могли знать.

Евтушенко: Потом я был на Каховке[59]. Я в командировку туда приехал, 1952 год. И меня познакомили с молодым писателем, который не был известен никому, Анатолием Кузнецовым, он там работал в многотиражке. А в гостинице, где я жил, поселились два украинских письменника. Один был Евген Бандуренко из Одессы, и другой… у него еще рука была потеряна во время войны. Я его помню: «Ты выходила зустричаты ранок…» – вот только помню единственную строчку эту… Степанюк! Точно. Бронислав Степанюк. Они были ясные, абсолютно ясные антисемиты. И они, считая, что я полный Евтушенко и, значит, тоже антисемит, пошли вместе со мной в эту многотиражку и говорят редактору: «Слушай, а ций хлопчик Кузнецов, ций недобиток у Бабьего Яра…» «Недобиток» – они

сказали, вы представляете! «Ну-ка, покажь-ка нам его документики!» Как будто редактор был подчиненный их! Я обалдел. Редактор испугался, достал личное дело Кузнецова, его автобиографию. И там написано, в автобиографии, что он был свидетелем расстрелов в Бабьем Яре: «Самое большое мое впечатление – это как я был свидетелем расстрелов в Бабьем Яре. Как украинские полицаи совместно с немцами расстреливали…» Я, как познакомился с Кузнецовым, сразу его предупредил. Но у редактора тогда, конечно, промолчал. Я понял, чем тут дело пахнет. Они оба занимали какие-то официальные посты. Евген Бандуренко, по-моему, был секретарем Союза писателей Одессы, Борислав Степанюк был из Киева, руководил там издательством. Петлюрище… Я никогда не называл еще эти имена! Народ должен знать своих героев! Пусть знают! Пущай знают! И вот они, значит, стали говорить, что Кузнецова надо убрать, вывести на чистую воду! Вы понимаете, что это такое?! Недобиток из Бабьего Яра, которого нужно вывести на чистую воду! Страшно мне стало. Я увидел, кто эти люди. Потому что человек может называть себя как угодно, но это – были фашисты. Слово «фашист» для меня очень важное. Это и есть точное определение таких людей.

Я с Кузнецовым познакомился, когда он что-то читал на литобъединении, заодно показал мне свой рассказ. Мне рассказ понравился, и я говорю ему: «Расскажи мне побольше о Бабьем Яре». Он начал рассказывать, а я спросил: «Скажи, а ты не сможешь, когда я окажусь в Киеве, сводить меня туда, показать?» – «Конечно, смогу». Я говорю: «А что ты не пишешь про это?» – «Евгений Александрович, вы что, еще не поняли, почему я не пишу?» Я говорю: «Все равно ты это знаешь. А кто напишет? Надо, чтоб кто-то смог об этом написать. И ты уже можешь. Я это вижу по твоей прозе».

Кстати, там, на строительстве Каховской ГЭС, я познакомился с великим Довженко. В Каховку он приезжал писать сценарий «Поэмы о море». Он на меня произвел огромное впечатление: человек, который уверен был в том, что он великий! Нет, это ему не мешало.

Мы пошли вместе с ним и Игорем Болгариным, киносценаристом…

Волков: Это тот, кто потом написал «Адъютант его превосходительства»?

Евтушенко: Да-да. И мы все вместе пошли смотреть гениальный японский фильм, на открытой эстраде. Сюжет был скромный, но я этот фильм помню до сих пор, абсолютно всё. Я спрашивал у всех японцев, которых встречал, – никто не может вспомнить, что это за фильм. А про фильм я вам расскажу.

Это японский неореализм. Семья безработных, у них ничего не остается, и они решают покончить с собой, отравиться газом – со всеми детьми, всей семьей. Они продают последнее, даже простыни, и идут в парк, чтобы напоследок с детьми погулять. Кормят их мороженым, пирожными, купаться едут. И вдруг начинает идти дождь, лодка переворачивается. И они спасают детей, которых хотели убить. И конец: прижимая к себе этих двух детей, они идут… и счастье, что они остались живы, что раздумали их убивать. Потрясающий фильм!

И вдруг встает Довженко. А все знали, кто это такой… Встает – и на всю аудиторию, на весь открытый зал, где работяги сидят, говорит: «Друзья, дорогие, шас я хочу признать… Я понял, понял, что вся жизнь моя, всё, шо я сделал, не стое ничого по сравнению с этим фильмом. Мне стыдно за себя, за всю свою жизнь». И уходит. Это на меня произвело колоссальное впечатление. Причем это было сказано так величественно! Даже как-то по-донкихотски было сказано…

А вы знаете, что с Довженко произошло на Втором съезде писателей? Я с гостевым билетом туда попал. Сурков председательствует. И вдруг выступает Довженко и говорит: «Мы очень часто говорим, как мы преодолеваем страдания. И совсем не говорым, шо мы страдаемо. Токо преодолеваем! А когда-нибудь, может быть, уже шас, завтра, послезавтра мы полетим на Марс! И тогда мать космонавта, который первый полетит у сии бесконичные просторы и погибнет, – она будет страдать от потери сына, а не преодолевать страдания!» И Сурков ему сказал: «Ну, Александр Петрович, вы все-таки поближе к матушке-земле. Что вы нам тут разводите научную фантастику!» А через несколько лет Гагарин взлетел. А кто-то уже погиб. Этого я никогда не забуду.

Вот знаете, Сергей Урусевский был из этой же породы. Он жил с этим. Поэтому он и снял такой фильм на Кубе. Это тоже незабвенный образ. А Довженко – он был… ни в коем случае не пародийный, такой естественный романтик. Дон Кихот настоящий.

Волков: Но вернемся к «Бабьему Яру»…

Евтушенко: Когда я пришел туда, в Бабий Яр, это был уже шестьдесят первый год. Девять лет прошло после того, как мы с Толей Кузнецовым говорили о Бабьем Яре. Я до этого еще не был в Киеве. Я там выступал трохи, чего-то декламировал. В Киеве нашел я Толю. И мы пошли к Бабьему Яру. Я ожидал, конечно, что там будет хоть какой-нибудь памятник – ничего не было! И вдруг я увидел: грузовики опрокидывают в этот овраг мусор – спрессованный мусор, сэндвич на сэндвич… Вонь дикая просто,

жуткая! «Толя, что ж ты об этом не пишешь?» Толя говорит: «Ну, я начал набрасывать, но кому это надо?» – «Слушай, Толь, давай пиши». Но он боялся. Я понял, что он не скоро это сделает.

Волков: И тогда вы написали это стихотворение?

Евтушенко: Я пишу стихи из двух чувств: или когда у меня перехватывает горло от чего-то, или от стыда. Почти все мои политические стихи от стыда написаны. За самого себя или за то, что делается вокруг. Потому что я тоже живу на этой земле, и я тоже виноват. И я вечером написал. Два часа писал. Прочитал Александру Межирову по телефону. Межиров мне сказал примерно то же, что сказала моя жена Галя: «Это лучше не показывать никому. Не надо. Это сложнее всё гораздо. Это спрямляет всё…» Я говорю: «Но уже нельзя просто молчать, Александр Петрович!»

Галя была тогда со мной в Киеве, плохо себя почувствовала, пошла к врачу. И врач мне сказал, что она смертельно больна, что у нее неизлечимый рак. Галя рыдала в этот день. Рыдала, врачу верила… а это киста была, Галя потом выздоровела. А тогда, в тот день про стихи она мне сказала: «Не надо». Но это было совсем другое, чем сказал Александр Петрович – про спрямление. Ну конечно, спрямление. Сколько там строчек? Строк девяносто, наверное… Не больше.

Вечером я позвонил своим друзьям: Ивану Драчу, Ивану Дзюбе, Виталию Коротичу[60], и мы встретились в ресторане. Я прочитал им стихи. И они меня поздравили и сказали, что обязательно надо стихи прочесть завтра. А у меня было на следующий день выступление в Октябрьском зале на Крещатике, и, как мне потом объяснили, там, под этим залом, были подземелья КГБ, где допрашивали людей. То есть если вдуматься: сцена, как плот, стояла на трупах, на крови, и я читал такие стихи… И сказать надо было там многое, надо было защитить Драча, его тогда колупали уже сильно за национализм, которого я в нем не видел. А сейчас я уже не знаю, что с ним, не поймешь уже ничего.

Потом он приезжал ко мне в Москву, когда арестовали Ивана Дзюбу: «Женя, надо выручать его». И я сразу написал письмо в защиту Дзюбы, и Драч увез это письмо первому секретарю ЦК компартии Украины Щербицкому, который Дзюбу освободил. И когда я приехал после двадцатитилетнего перерыва в Киев, то Ваня Дзюба ко мне пришел первым. А больше никто. Мне украинские письменники сообщили: «Ничого не маем личного, персонального, Евгений Александрович, но никто из украинских писателей столько лет не выступал в Украине, а вы приезжаете – и для вас все дороги открыты…» Я тогда позвонил директору

театра имени Франко, где должен был выступать: «Мне сказали, что на моем вечере вы не даете выступать украинским писателям… Почему не даете?» – «Евгений Александрович, вот я сейчас при вас позвоню в Союз писателей и предложу им, а вы послушайте». Позвонил. Ему сказали: «Ха-ха, так вы же знаете, что никто не придет!» Вот до чего довели украинскую литературу! И хотя украинцы извинились передо мной, но на выступление мое никто не пришел, кроме Павло Загребельного и Вани Дзюбы. Я Ване Драчу написал письмо: что же ты не приходишь? Что между нами произошло? Хотя он был уже тогда в Рухе, но все-таки пришел, и выступил даже, и не сказал ничего, что могло как-то…

Волков: …обострить ситуацию.

Евтушенко: Да. А сейчас я буду опять выступать в самом большом зале, во Дворце культуры и искусств «Украина», с джазом государственным Украины. И на музыку Раймонда Паулса будем спивать мои писни. Вот. Я очень люблю Украину. Многие шевченковеды, что меня очень тронуло, высоко оценили мой перевод «Заповіта» Тараса Шевченко – я новый перевод сделал и включаю его в русскую антологию, потому, что у Шевченко много стихов на русском. В Украине тоже моя кровинка есть. И в Белоруссии. И Грузия в сердце. Но сердце-то одно…

Волков: Возвращаемся к «Бабьему Яру». Как состоялась публикация «Бабьего Яра» в «Литературной газете»?

Евтушенко: Мое выступление в Киеве в 1961 году должно было быть вечером. А утром, на следующее утро, после того как я написал стихотворение, ко мне стучатся – стоят такая небольшая женщина и двое учеников ее. И она говорит: «Евгений Александрович, ваши афиши заклеивают! Я слышала, что вы будете „Бабий Яр“ читать». Вы представляете? Я закончил стихотворение и прочел его Межирову по телефону только вчера, в десять вечера! Но этого было достаточно. Я забыл про прослушку. Баггинг есть баггинг. Конечно, записали и сразу передали кому надо. Но я не думал, что они так быстро станут действовать – заклеивать афиши. Я позвонил украинским властям и сказал: «Ко мне приходят люди и рассказывают, что вы отменяете мой вечер. Это что, правда? Заклеивают афиши уже, народ волнуется. Вы провоцируете конфликт? Национальный конфликт? Все-таки я представляю российскую поэзию». – «Евгений Александрович, так эпидемия ж гриппа!» Я говорю: «Что-то я не вижу этой эпидемии. Нигде никто не гриппует, и ничего другого не отменяют, только почему-то меня». – «Та там же ж антисанитарные условия! В том зале – они уже бред какой-то несут». Я говорю: «Вот что, я обращусь непосредственно к

Политбюро нашему о том, что вы разрушаете ленинскую национальную политику. Я представляю собой Россию – не просто я, а я как русский поэт, который приехал в братскую Украинскую республику читать свои стихи…» Всё. Правильно я себя вел? Правильно? Правильно! Вот. «Евгений Александрович, утрясли с эпидемией!» Это было очень смешно – «утрясли с эпидемией!». И когда я пришел в Октябрьский зал, холл был окаймлен людьми, огромным количеством людей.

А вы знаете, что у Московской консерватории было, когда там в первый раз исполняли симфонию Шостаковича «Бабий Яр»[61]? Это мне рассказал директор Большого зала консерватории Марк Векслер. Произошла невероятная вещь: люди, которые не попали в зал, не уходили. Стояли и требовали, чтобы концерт микрофонизировали. Этого не сделали. Так люди приникали к стенам – как будто могли услышать Тринадцатую симфонию! Векслер говорил, что такого за всю историю музыки не было. Снег был, декабрь, если я не ошибаюсь, конная милиция, всё, что угодно.

И в Киеве – тоже огромное количество людей, которые не могли пройти в зал. Я просил микрофонизировать вечер – сказали, что поздно. Тоже, говорят, стояли на улице. Но не так, как в Москве. Я не начал, конечно, с «Бабьего Яра». Я прочел это стихотворение… не помню даже где, в каком месте концерта я его прочитал. И вот тут мне показалось, что произошла катастрофа. Обвал тишины… Напряжение просто невероятное… И вдруг «тук-тук-тук» – и я смотрю, идет старушечка с палочкой, маленькая-маленькая, сгорбленная… Идет по сцене, подходит ко мне и говорит: «Я была в Бабьем Яру. Выбралась». И руку мне целует. Вы знаете, как это было страшно… Эта старушка, как из сказки какой-то андерсеновской, шла и постукивала палкой. И мертвая тишина…

Потом приехал я в Москву, пошел в «Литературку». Зашел к Всеволоду Ревичу, тот работал ответственным секретарем. «Сева, я тебе стишочек хотел показать один. Что ты думаешь?» – «Ой, старик, здорово». И отдает обратно. Я говорю: «Я это напечатать у вас хочу, как думаешь?» – «Ну, старина, ты что, всерьез?» Я говорю: «Всерьез». – «Ну, ладно, – говорит, – это к редактору надо, только он может. Если решится. А так не знаю. Ну иди к Валерию Алексеевичу».

Волков: К Валерию Косолапову, главному редактору «Литгазеты».

Евтушенко: Да. И я пошел к нему. Кладу ему на стол – «Это вы что, мне? Почитать просто?» – «Нет, напечатать, Валерий Алексеевич». Смотрит на меня, такой лукавый, и говорит: «Ну,

ладно. Жену надо вызывать. Это семейное решение должно быть». Я говорю: «Почему семейное?» – «Ну как же, не понимаешь, что ли? А то еще невзначай уволят… Так что иди, подожди. Посиди там, в коридорчике». Я сажусь в уголочек. Гляжу, уже бежит ко мне женщина и говорит: «Евгений Александрович, стихи пошла ставить!» То есть Косолапов их набрать отправил, без жены. Потом приезжает жена, большая такая женщина, похожая на борца Поддубного. Мне рассказали, что она была медсестрой, много спасла офицеров, солдат с поля боя. Добрая глазами, большая. Пока они в кабинете какое-то время сидели, старичок появился из типографии. Чекушка и огурец у него, что ли, или горбушечка была. «Мы уже там читаем всё. Нормально, никто не уходит, ждем». Поделиться пришел. Потом вышел Косолапов с женой, посмотрел так на меня и говорит: «Женя, не волнуйтесь. Мы решили быть уволенными». Он, значит, поставил «Бабий Яр» и к нему добавил мои кубинские стихи: «Ты не против, не возражаешь? Посмотрели так: прикроемся немножко, попробуем…»

Я понимал: что-то случилось. Но вот что именно – еще не понимал. А потом этот всемирный резонанс! В течение недели «Бабий Яр» появился на первых полосах всех главных газет мира. Ну, это уже другое…

Волков: Я сохранил вырезку с вашим стихотворением – прямо из того самого номера. От 19 сентября. 1961 год. И я провез ее через все мои перемещения, довез до Нью-Йорка. Этой вырезке больше пятидесяти лет.

Так это стихотворение, я думаю, и разошлось тогда, в виде таких вот вырезок. Потому что никаких ксерокопий еще не существовало.

Ксерокопий не было и позднее. Если вы помните, даже много лет спустя все аппараты по изготовлению ксерокопий были под особым контролем.

Евтушенко: Да-да. Закрывали, это я помню. Прятали…

Волков: Как самое страшное оружие массового уничтожения…

Евтушенко: Но вы знаете, что меня поразило помимо того, что это всюду сразу разлетелось? На протяжении месяца тысяч десять разной корреспонденции наприходило. Присылали даже радиограммы со шхун.

Волков: Это стихотворение стало, наверное, самым вашим популярным?

Евтушенко: Да. Ну, «Письмо к Есенину» тоже ходило по рукам. Но его уже продавали. «Бабий Яр» не продавали, а это уже продавали, потому что тогда образовалась новая техника:

садились в первый ряд студенты вчетвером и писали строчку-строчку-строчку. Я прочел это стихотворение в Колонном зале, на юбилейном вечере в честь Есенина. Это 1965 год. Вечер этот транслировался по телевидению. И три четверти стихотворения передали по телевизору, в прямой передаче. А когда я дошел до «румяного вождя» – а имелся в виду Сергей Павлов, первый секретарь ЦК комсомола, – появились «технические трудности». И передачу прервали. А на следующий день мама уже шла по Кузнецкому Мосту и, по-моему, за трешку купила стишочек этот. Полностью уже…

Я видел, что за люди сидели в президиуме, – сохранилась фотография. У меня был противник – поэт Василий Федоров, который очень часто выступал против меня. Но на этой фотографии, когда я читаю «Письмо к Есенину», он совершенно обалдело слушает это мое стихотворение. И даже с каким-то торжеством. Улыбается даже. А захлопал только один человек в президиуме. Знаете кто? Бесо Жгенти, грузинский критик. Грузин! «А я плохо слищу», – сказал, когда Николай Тихонов набросился на него: «Ты что, с ума сошел? Ты не понимаешь, чему ты аплодируешь?» Вот во что Тихонов превратился… «Гвозди б делать из этих людей…»

Волков: Знаменитая тихоновская строчка. Печальная трансформация замечательного поэта…

Евтушенко: Да. «Гвозди б делать из этих людей: / Крепче б не было в мире гвоздей».

Шостакович

Евтушенко: Вы знаете, что мне Дмитрий Дмитриевич как-то сказал? Он сказал, что он – гений запоминаемости.

Волков: Именно так!

Евтушенко: Нет таких композиторов, оказывается, которые могут догадаться, будет запоминаться их мелодия или нет.

Волков: Евгений Александрович, я хотел, коли мы перешли к Шостаковичу, расспросить вас вот о чем. Очень важная тема – его Тринадцатая симфония «Бабий Яр» и вообще ваше сотрудничество с Шостаковичем. Давайте сделаем как бы обзор этой ситуации с высоты, что называется, птичьего полета…

Евтушенко: Однажды я был у Дмитрия Дмитриевича. У него лежало на столе письмо, обращение к чехословацкой интеллигенции, критическое очень. Это было еще до вторжения в Чехословакию. От него требовали, чтоб он подписал. И я заклинал его не подписывать.

У меня был с Шостаковичем тогда долгий разговор, даже со

слезами на глазах. Он мне говорил: «Женя, я человек сломанный. Вы понимаете, сломанный! Мне уже все равно…» Я говорю: «Поймите, вы – гений, и вы даете дурной, разлагающий пример. „Если Шостакович может такое, почему я не могу тоже?“ Вы не можете этого сделать!» И он не подписал! Слава богу.

Волков: Вы его отговорили

Евтушенко: Да. Слава богу! Это не меньшего стоит, чем «Бабий Яр», я считаю.

Волков: Расскажите, как вам позвонил Шостакович после публикации стихотворения «Бабий Яр».

Евтушенко: Я сидел с мамой, играл в карты. Она считала, что это укрепляет здоровье. Галя подошла, сняла трубку и говорит мне: «До чего люди дошли: звонит какой-то наглец и называет себя Шостаковичем». Повторяется звонок. Она вернулась от телефона бледная и сказала: «Кажется, это он…» Я подошел и, знаете, он меня первый назвал по отчеству: «Дорогой Евгений Александрович!» Так старомодно… «Я прочел ваш „Бабий Яр“. Если бы я писал стихи, я бы подписался под каждым словом. Не могли бы вы дать мне ваше милостивое разрешение попробовать на эти стихи написать музыку?» Я там что-то мямлил, а он говорит: «Спасибо большое, Евгений Александрович. Скажите, а вы сейчас не свободны, нет?» Я говорю: «А что?» – «Приезжайте, музыка уже написана». Это была написана поэма сначала.

Волков: Да, симфоническая поэма…

Евтушенко: А я ему привез заодно еще стихи. «Взмах руки» и журнал «Москва», где было напечатано мое стихотворение «Страхи». Я не думал, что он выберет именно его. Но вы знаете, я ведь написал другие, гораздо лучше. Потом уже… Я долго их писал, долго. Меня тут чуть не угробили один раз. Вот в американской больнице я как раз и дописал стихотворение, эти новые слова, которые мне так тяжело давались. Там ведь сначала слова чудовищные были: «Правда идеи, что является правдой самой…» – это было вписано только для того, чтоб стихотворение напечатали, чтобы спасти от цензуры. А Дмитрий Дмитриевич мне сказал: «Еще будет у нас время переделать, сейчас не до этого, сейчас выручать симфонию надо».

Волков: Тогда он сыграл вам только «Бабий Яр» – первую часть, которая тогда была самостоятельным произведением?

Евтушенко: Да. Самостоятельным. А во второй раз сыграл уже всю симфонию.

Волков: Но Шостакович сначала обсудил с вами, какие стихи он выберет?

Евтушенко: Ничего не обсудил. Он мне позвонил потом через какое-то время и сказал: «Вы у меня оставляли тогда стихи, я

выбрал. Теперь это родилось, расширилось. Кажется, симфония получилась, приезжайте, послушайте». До сих пор эмоционально я помню, какое это на меня произвело огромное, сильнейшее впечатление. Его голос, и то, что он плохо поет, голос надтреснутый, нервничает. Всё это было просто замечательно!

У Максима есть запись, как Дмитрий Дмитриевич пел нам всю Тринадцатую симфонию в первый раз – и за хор, и за оркестр. Я Максиму говорил: «Давай выпустим эту запись!» – «Нет, там плохое качество». Причем здесь качество?! Просто с комментариями, как это происходило, это же так важно! Нет, уперся рогом…

Волков: А как вы узнали, что он решил положить на музыку вашу «Казнь Стеньки Разина»?

Евтушенко: Он слышал, как я читал «Казнь…» в зале Чайковского. Он приходил туда всегда, он даже почему-то всегда садился на одно и то же место. Ему очень понравилось. Но у него были сомнения: «Все-таки Разин кровушки, много кровушки пролил…»

Волков: Он ведь поменял Стеньку Разина на Степана Разина. И, по-моему, вы уже сами к этому привыкли. Я несколько раз слышал, как вы говорите «Казнь Степана Разина»… А у вас же Стенька? Это очень интересная и такая, как называют американцы, «говорящая» деталь. Если Шостакович уж писал музыку, то этот человек не мог для него быть Стенькой, он должен был быть уже Степаном.

Евтушенко: Да? Может быть…

Волков: Я недавно разговаривал с Володей Ашкенази по телефону, и он все время называл произведение Шостаковича «Казнью Стеньки Разина». А вы, наоборот, теперь говорите «Казнь Степана Разина».

Евтушенко: А я сам даже не замечаю. Это для меня большого значения не имеет.

Волков: А вот для Шостаковича имело. Он колебался: может быть, не стоит писать музыку о человеке, который столько кровушки пролил.

Евтушенко: Вот примерно те же самые слова мне и Окуджава говорил. И я, кстати, в последних изданиях партитуры «Казнь Степана Разина» снял строфу:

Нет, не тем я, люди, грешен,
что бояр на башнях вешал.
Грешен я в глазах моих
тем, что мало вешал их.

Волков: Евгений Александрович, а вот когда вам Шостакович в первый раз показал Тринадцатую симфонию целиком – у вас тогда возникли какие-то сомнения относительно финала, да? Что вас там не устроило?

Евтушенко: Ну это идиотство просто было мое. Пафоса захотелось больше. Пафоса! Мне казалось, что там нет настоящего конца, настоящей точки – музыка словно растворяется. Эти звуки – словно бабочка трепещет воздушными крылышками… А мы, молодые поэты, были тогда настроены по-бойцовски! Наш стиль был: громче, еще громче! И я, дурак, сказал тогда Шостаковичу: «Ну, не знаю, может быть, это лишнее – такой конец?» А он что-то начал объяснять мне, дураку. Он ведь был необыкновенно вежлив, необыкновенно! Такой подчеркнуто старомодный, в петербургском стиле. Поздравлял с днем рождения не только меня, но и мою маму, и сестру мою.

И он очень добро и ласково меня увещевал, говоря: «А это и есть умиротворение! Может, в этом и есть смысл жизни – после того как мы мучим друг друга, а иногда и других нечаянно». Я никогда не забуду, как он это повторял: «Ведь мы мучим-то друг друга чаще всего по нечаянности». Это правда. Это во мне засело навсегда.

А гениальность финала Тринадцатой я осознал после премьеры, когда услышал ее в живом исполнении. Я понял, какая сила может быть в мягкости, в хрупкости. Мы все нуждаемся в глотке гармонии, это дает ощущение вечности. Особенно сейчас, в расшатанной России, да и в Америке тоже. Кругом слишком много наглой коммерции, слишком много духовного фастфуда.

Волков: А со «Степаном Разиным» – это для вас, получается, тоже было неожиданностью? Он тоже позвонил и сообщил?

Евтушенко: Абсолютно! «Вот, написал „Степана Разина“».

Волков: И вы к нему опять приезжали домой? Как вы услышали эту музыку в первый раз?

Евтушенко: Да-да. Тоже дома.

Волков: А к «Разину» у вас уже не было никаких претензий? Никаких сомнений?

Евтушенко: Нет, никаких. Просто огромное, огромное впечатление!

Волков: Вы, по-моему, говорили об этом с Леонардом Бернстайном. Ему вроде бы «Степан Разин» не понравился?

Евтушенко: Да, ему не понравилось. Ему понравились мои стихи и не понравилась музыка. Он говорил, что там от Мусоргского слишком много…

Волков: Вы с Шостаковичем вроде собирались оперетту писать?

Евтушенко: Да. Об Иване-дураке. Хотелось задорную такую, я ужасно люблю задорные всякие песни. Но не получилось. Может быть, Валерий Гаврилин мог бы такое тоже написать – не так, конечно, как Шостакович.

Волков: У Гаврилина это бы очень хорошо получилось… по-своему, конечно.

Евтушенко: Я даже не знаю, кто сейчас может написать такую вот вещь.

Волков: Родион Щедрин!

Евтушенко: Вы так думаете, да? У меня вообще-то много таких вещей, которые могут стать основой для оперы…

Волков: У вас есть какие-то наброски готовые этого «Ивана-дурака»?

Евтушенко: Нет, набросков у меня нет… У меня поэма есть про Ивана-дурака. Оттуда какие-то вещи можно взять: «С колыбели голубели у Ивана-дурака под бровями два певучих… два василька». Из нее можно что-то использовать. Но она, конечно, не слишком поющаяся.

Волков: Ну, тут ведь нужен сюжет, это все-таки спектакль!

Евтушенко: Да-да, это должен быть спектакль, я прекрасно понимаю. Если бы я почувствовал, что есть какой-то человек, который может это сделать… Вот то, что вы мне сказали о Родике Щедрине, это меня очень радует. Радует.

Я очень обрадовался, когда узнал, что «Степану Разину» дали Госпремию СССР, а Щедрин же был тогда секретарем Союза композиторов России. Это было большое дело.

Волков: А в перестройку Щедрин тоже ведь был депутатом, как и вы. Он входил в Межрегиональную группу.

Евтушенко: Я туда не входил.

Волков: А почему?

Евтушенко: А потому, что я беспартийный человек по принципу. Я серьезно говорю. Мне некоторые люди там не нравились. И в любой партии человек должен подчиняться партийной дисциплине. Скажем, если большинство голосует за что-то, он тоже должен поддерживать эту точку зрения. А мне это никогда не нравилось.

Волков: В общем, вы могли бы написать замечательную оперетту, получше, чем «Москва, Черемушки» – ту, что Шостакович написал на текст юмористов Владимира Масса и Михаила Червинского. Ну что же вы не сделали этого? А-а-а. Вот это обидно. Я об этом не знал! А так в итоге получились Масс и Червинский.

Евтушенко: А что, у них тексты хорошие, профессиональные, да и музыка неплохая. Разве музыка плохая? Мы с Фазилем

Искандером ходили по контрамарке моей мамы, она нам доставала.

Волков: Музыка смешная…Шостакович непрофессиональной музыки за свою жизнь не написал ни одной ноты! У него было это вот петербургское – он любил повторять: «Пишу всё, кроме доносов». Высокий профессионализм! Он и оперетту мог написать классную, и обработки массовых песен для военных культбригад делал – их даже сейчас исполняют в концертах. Это всё здорово сделано.

Евтушенко: А меня Дмитрий Дмитриевич заставил… Нет, это не то слово – предложил вместе с ним послушать «Военный реквием» Бенджамина Бриттена. Мы слушали подряд два раза. Он меня познакомил с этой музыкой. По-моему, это было неплохо, но мне… как-то не очень. А Шостакович Бриттена обожал почему-то. Он слушал эту музыку и плакал.

Волков: Они друг друга взаимно обожали. А что лично вам дало общение с Шостаковичем?

Евтушенко: Он повлиял на меня как на поэта. После Тринадцатой симфонии я понял, что большую поэму можно строить на контрастном материале – как это сделал он в симфонии. И я так построил свою «Братскую ГЭС», а потом и другие поэмы. Без примера Шостаковича я на это, может быть, и не решился бы. И такой метод стал для меня основным. Критики плевались, а мне было все равно. Я увидел, как это грандиозно сработало в Тринадцатой. Друзья говорили о влиянии Маяковского, Уитмена, Неруды. А это было влияние Шостаковича.

Я рад безмерно, Соломон, что тогда немножко помог Шостаковичу, удержал от подписи под гнусной статейкой. И вам, Соломон, спасибо за то, что вы стали Эккерманом Шостаковича[62], помогли ему избавиться от навязанного официального образа и открыть свою душу перед человечеством.

А для меня Шостакович – композитор номер один XX века. Вне всякого сомнения. Он заплатил за это своими страданиями. Его распинали почти каждый день, так или иначе. Ему загоняли гвозди под ногти, а он продолжал сочинять свою музыку. Говорят: «Музыка Шостаковича депрессивная». Лично я впадаю в депрессию, когда слышу глупую ржущую музычку. Великое трагическое искусство – как у Шостаковича – помогает человечеству выжить. Вот так.

«Преждевременная автобиография»

Евтушенко: Я никогда не забуду, как прочел ее Джон Стейнбек и мне сказал грубовато: «Знаешь, ты будешь, по-моему, хорошую прозу писать когда-нибудь. Потому что у тебя две странички есть просто замечательные – о похоронах Сталина».

Волков: Да, это яркие страницы.

Евтушенко: «А вообще, – говорит, – эта автобиография у тебя слабая, ты одной только частью задницы сидел на табурете». Это правда. Я написал автобиографию совершенно случайно.

Мы были в Германии с моей женой Галей. В шестьдесят втором году, по-моему. И у Гали разболелся зуб. Ей очень быстро зуб этот вытащили. Я говорю: «Вот здорово! Как жалко, что у меня зуб не болит». – «А давайте я проверю ваши зубы», – сказал врач. И увидел у меня что-то. «А давайте, – говорит, – сейчас вытянем». Начал работать – и ничего у него не получилось! Потом, уже когда всё разморозилось, у меня распухла вот такая щека, и я был выбит из жизни на три недели. Три недели я сидел в гостинице и никуда не мог выйти. У меня отменили все выступления!

А у меня хороший был друг – редактор «*Stern*» и «*Die Zeit*» Герд Буцериус, который, между прочим, предложил меня усыновить. Меня и Галю. Потому что у него погибли все дети.

Волков: Первый раз об этом слышу. Редактор «*Stern*» усыновляет советского поэта с женой!

Евтушенко: Он от души это предложил, он был одинок совершенно. И очень полюбил меня и Галю. Он сказал: «Если вы даете мне слово, – я тогда не знал еще, что во мне есть немецкая кровь, – что выучите немецкий язык, то будете продолжать мое дело». А я тогда стал писать автобиографию, потому что мне пришла из «Межкниги»[63] телеграмма: меня просили выслать для американского издания автобиографию. Не оговаривался ни размер, ни манера, ничего. А поскольку было свободное время, я написал сто страничек. Буцериус спрашивает: «Что вы тут пишете?» Я говорю: «Автобиографию». – «А можно почитать? Дайте мне перевести, может, напечатаем?» Быстро перевели, и Герд сказал: «Хорошая читабельная вещь. Вы не против напечатать ее?» Потом пришел ко мне и говорит: «Вы кому-нибудь из ваших показывали этот текст?» – «Почему это я должен показывать? У нас сейчас не сталинское время», – гордо сказал я. «Но все-таки вы не советовались ни с кем? Вы не думаете, что у вас могут быть неприятности?» Я сказал: «Вы живете старыми представлениями». А он как в воду глядел!

Волков: Да, скандал был грандиозный. Первым напечатал,

значит, немецкий *«Stern»*? Я думал почему-то, что французский *«L'Express»*.

Евтушенко: «L'Express» сразу после, а потом всюду было напечатано. Я думал, что меня в Москве за это похвалят, когда я приеду. Но Никита Сергеевич ошибся тогда – его подвели его собственные помощники. Он вдруг, порицая меня за автобиографию, которая на самом деле была декларацией наивного социализма, такого чистого наивного социализма, – стал обвинять меня в том, что я дал интервью буржуазной реакционной газете «*Les Lettres Françaises»*. Хотя это было финансируемое Советским же Союзом издание и редактировал его коммунист Луи Арагон! Вся Франция смеялась просто, когда это читала! Я сразу был приглашен во Францию, потом в Испанию – там был еще франкистский режим, и даже посадили редактора, который напечатал «Преждевременную автобиографию», – как за коммунистическую пропаганду! То есть я вообще на Западе героем ходил. Во Франции меня восемь тысяч человек встречали – и я читал стихи! Просто невероятный успех был.

Когда сейчас читаешь «Преждевременную автобиографию», это не так интересно, это наивно очень. Но так я думал, такой я был тогда! Но там, в этой автобиографии, были хорошие куски. Там был хороший про военнопленных кусок, про похороны Сталина… Там много было искреннего, много. И мне казалось, что меня в Москве встретят с оркестрами. Сергей Александрович Виноградов, посол во Франции, на банкете в присутствии руководства Коммунистической партии Франции, самого Жака Дюкло, секретаря французской компартии, сказал, что я заслужил звание Героя Советского Союза за эту вещь. А когда я вернулся в Москву, меня потащили на расправу…

«Братская ГЭС»

Евтушенко: Я был убежден, что хорошо знаю эту публику. Я вынужден был с нею общаться, потому что у меня единственная была возможность искать защиты от цензуры – это тот же ЦК. Я ходил и на правую руку жаловался левой. И иногда у меня это получалось. Как с «Братской ГЭС» – в целом успешно. С потерями, но успешно. Вот это и была моя жизнь!

Я никогда не забуду, как пришел поезд – первый целинный поезд, и целинники привезли с собой колосья вместо цветов. Как их встречали! Какие они были счастливые! Как они пели песни! Это было то же самое, что на Братской ГЭС. Я же видел там, как растаскивали зэковские бараки. Первое поколение Алеши Марчука, первоэшелонцы. И с какой гордостью они это делали,

как они пели песни! Это была первая огромная стройка без применения труда заключенных.

Волков: Я, кстати, об этом никогда не задумывался. Это действительно была первая стройка без применения труда зэков.

Евтушенко: Да, а про меня потом писали, что Евтушенко воспевал рабский труд на Братской ГЭС – были такие статьи, между прочим. И не только у иностранцев, а и у наших собственных злорадствующих людей. А это был символ. Даже то, что эта ГЭС называлась Братская, хотя это старое название. И даже то, что там Радищев жил в ссылке. Всё это сплелось в одно. А потом – мне безумно эта ГЭС нравилась. Она очень красивая, очень хорошо спроектирована.

А с изданием моей «Братской ГЭС» происходили удивительные вещи, романтические. Ведь цензура не пропускала поэму. И они сами, издательство Братской ГЭС, выпустили мою книгу! Это был невероятный случай! Уникальный! Когда эта поэма была набрана в «Юности», меня поддержали первыми братчане! Когда ее уже поставили в номер, секретарь ЦК <Леонид Федорович> Ильичев ее снял. Он вызвал Бориса Полевого, главного редактора «Юности», и сказал: «Пока есть советская власть, эта поэма не увидит света!» Ведь в те годы то разрешали печатать про лагеря, то нет… И тогда произошел случай невероятный: партийная организация журнала – крошечная, всего-навсего человек пятнадцать там было, – выступила против мнения Ильичева и обязала коммуниста, главного редактора Полевого обратиться в Политбюро с жалобой на секретаря ЦК КПСС! Слышали вы про такое когда-нибудь?!

Волков: Нет, такого я никогда не слышал. И это звучит как фантастика.

Евтушенко: Я думаю, это был уникальный случай! Мы тогда добились фантастического тиража у «Юности» – 2,5 миллиона – и не случайно. Потому что там и Вознесенский печатался, и целое поколение шестидесятников.

Волков: «Юность» же была одним из самых популярных журналов того времени!

Евтушенко: Я был членом редколлегии, отвечал там за поэзию. И тогда мы сделали пятнадцать оттисков – по числу членов Политбюро. А меня просили ездить в типографию, потому что рабочие стали спиваться. Это же гигантское количество! Два с половиной миллиона экземпляров! Я приезжал к ним в типографию «Правды», читал стихи… Они там всячески меня поддерживали. А братчане писали большие письма в мою защиту. Поразительная история!

А потом поэта Ярослава Смелякова вызвали в ЦК, пытались

использовать его как цензора, сделать специально приглашенным редактором. Короче говоря, когда поэма вышла, у нее было пятьсот семнадцать строчных поправок! Причем мне приходилось спасать то, что там было, дописыванием и уравновешиванием чего-то. Я выбрал этот путь по совету Смелякова, он сказал: «Надо, чтоб поэма вышла».

У меня были с Ярославом потрясающие разговоры. Его первый раз пригласили в ЦК, а он всегда мечтал быть поэтом государственным. И вдруг его вызывают, предлагая роль цензора, зная, что у нас с ним хорошие отношения. И просто сказали: надо снять главу «Нюшка». Мы с ним сидели, пили водку, и он говорил мне: «Слушай, пойми одну вещь. Ну не могут они этого напечатать! Посмотри, что ты тут написал:

Будто всё на земле оголенно —
Ни людей, ни зверей, ни травы:
Телефоны одни, телефоны,
И гробы, и гробы, и гробы…

Ты же всю коллективизацию описал, ты же подсек всё под корень! Показал, что сделали с деревней, что делают с рабочим классом! Ты что? Слушай, меня вот до сих пор еще никуда…» Его же тогда не выпускали за границу, вы знаете?

Волков: Как репрессированного?

Евтушенко: Да. Он же был амнистирован, а не реабилитирован. И он говорил мне: «…И я хочу, чтобы ты шлялся по своим дурацким заграницам, раз тебе это нравится. Чтоб ты пил свою „Вдову Клико“, свое дурацкое шампанское – всё, что у меня отобрали. Но они же тебя сомнут! Ты что, не помнишь мое стихотворение про Петра и Алексея? На кого ты пошел, мальчишка! С кем тягаешься! Они же раздавят тебя! Я-то прочел твою поэму хорошо. Но и они тоже не дураки, и они прочли, что ты там понаписал. А ты такое понаписал, – говорит, – что на двадцать пять лет лагерей потянет будь здоров!» И я сказал: «Нет, Ярослав Васильевич, я этой главы не сниму». Вот так редактировали «Братскую ГЭС».

Артур Миллер пришел ко мне домой – мы с ним дружили – и увидел у меня верстку, всю перечерканную красными карандашами: «Что это?!» – «Это, – я говорю, – верстка. Это наша цензура». – «Боже мой! Боже мой!» – и просто подержал верстку в руках. Но все-таки поэма чудом вышла!

Когда-нибудь кто-нибудь напишет, может, научную диссертацию о разнице между первым журнальным вариантом «Братской ГЭС» и последующими. Я убрал потом всё,

действительно всё, что от меня требовали, всё, что приходилось вписывать. А что было с женой моей Галей! Она говорила, что от меня уйдет, что я не должен соглашаться. Я говорю: «Галя, если сейчас это не проходит, выйдет когда-то потом. Сейчас нужно сказать хотя бы вот эту полуправду, четвертинку правды. А мне и этого не дают!» Она свое: «Нет, ты не должен соглашаться! Я буду работать, я умею шить, не беспокойся, с голоду не помрем!» Но я все-таки сделал свой выбор. Ну, что делать было?

Хрущев

Волков: А какова, по-вашему, роль Хрущева в том, что страна после смерти Сталина стала выходить из этой зоны мерзлоты?

Евтушенко: Я хотел бы сразу сказать о трех вождях – в них было что-то общее, хотя это совсем разные люди. Но они все – Хрущев, затем Горбачев и Ельцин – мне ближе Хрущев и Михаил Сергеевич, конечно, – они, с одной стороны, ненавидели бюрократию, а с другой – были частью этой бюрократии.

Хрущев ненавидел бюрократию! Я никогда не забуду, как он сказал однажды мне: «Ш-ш-што такое наша бюрократия? Это же ты как кулаком бьешь в тесто! А оно всасывает твой кулак!»

Волков: Это за ним мог бы повторить каждый российский лидер вплоть до сегодняшнего дня. Кстати, по отношению к Хрущеву Ахматова всегда говорила, что она «хрущевка», потому что он выпустил людей из лагерей.

Евтушенко: И тот же самый Горбачев… Вся семья его пострадала, он знал, что такое страх и подозрительность – хотя бы из-за того, что жил в оккупации, или из-за того, что были раскулачены его родственники. И Ельцин тоже ненавидел бюрократию. Но вот в чем было их трагическое противоречие: в них иногда побеждал враг бюрократии, а иногда бюрократ, внутри них сидящий. Их враг сидел внутри них самих! И не давал им развиваться.

Волков: У всех троих, наверное, была неизбывная в России склонность к авторитаризму.

Евтушенко: Но каждый из них на каком-то этапе сделал важную подвижку. В том числе и Хрущев, который все-таки набрался смелости и назвал Сталина убийцей! Хотя потом у него и расстрел в Новочеркасске случился, и венгерские события, которых можно было избежать…

Волков: А как вы ознакомились с секретным докладом Хрущева на XX съезде?

Евтушенко: Ну как. Пригласили в Союз писателей, где его зачитывали.

Волков: История сама по себе фантастическая! Подготовить тайный доклад, который предназначался для перемены курса всей страны, и сделать из него секрет, который сообщался – помимо членов партии – только избранным представителям населения…

Евтушенко: Знаете, когда я слушал этот доклад, я уже очень много знал. И все равно это потрясало: как люди сидели, молчали, ходили, переглядывались, опустив головы, многие ничего не говорили. Даже в Союзе писателей! Помню, Юрий Пиляр такой зачитывал текст.

Волков: Он был узником Маутхаузена – немецкого концлагеря, да?

Евтушенко: Совершенно верно. И он читал с этим лицом лагерника, что производило сильнейшее впечатление.

И тем не менее я считаю, каждый из этой троицы – Хрущев, Горбачев, Ельцин, – несмотря на то, что совершал какие-то ошибки, очень большие ошибки иногда, – каждый из них сделал важнейшие подвижки в истории развития России.

Хрущев решился на то, чтобы открыть Москву для ста тысяч иностранцев – это было невероятно! Всемирный фестиваль молодежи и студентов, пятьдесят седьмой год, – это историческое событие. И потом, у Хрущева, несмотря на его слова, что в конце концов коммунизм похоронит капитализм, хватило ума и здравого крестьянского смысла показать лидеру капитализма, каким был Кеннеди, что лидеры капитализма и социализма могут все-таки договориться, если идет речь о существовании самого человечества и земного шара. Это очень важный был момент. Я тогда был на Кубе – это не все, к сожалению, понимали здесь, а уж на Кубе тем более! Что происходило! Я был свидетелем всего этого. И еще напишу роман про это.

Волков: Мы знаем, что Хрущев наломал немало дров в разных самых областях. В области внешней политики само собой – кризис с Кубой, «мы вас похороним» по отношению к Америке. А целина – это, по-вашему, что было? Целина – это здравое начинание, которое потом превратилось просто в гротеск, или это с самого начала было идиотизмом?

Евтушенко: Ну, я все-таки не специалист по сельскому хозяйству. Наверное, желание-то было хорошее, а превратилось в гротеск. Но Хрущев был живой человек. Вот мне никогда не было с Хрущевым страшно. Противно – было. Когда он грубил и стучал кулаком. Но страшно никогда не было.

Волков: Кукуруза и целина, вы правы, это не наше дело, хотя сейчас экономисты и специалисты дают всему этому весьма скептические оценки. Но культура… Хрущев говорил всегда, что в

культуре он сталинист. Человек, который развенчал первым Сталина, взял это как бы на себя – хотя, чем черт не шутит, может быть, Берия сделал бы то же самое. Но в истории нет сослагательного наклонения, и сделал это Хрущев. Сталин был монстром и людей уничтожал. У Симонова, который близко (во всяком случае, ближе, чем другие литераторы) наблюдал Сталина, было такое высказывание: «Сталин никогда не повышал голоса на деятелей культуры». Про грубость Сталина существует множество историй. Он орал и матюгал военачальников, министров своих – да. Но никогда не кричал на деятелей культуры. Хрущев во многом подражал Сталину, конечно, и Сталин во многом для него, даже после того, как он его развенчал, оставался авторитетом. Ну почему Хрущев этому у Сталина не научился? Почему с интеллигенцией позволял себе страшнейшую ругань? При этом он сам себя вгонял в полубезумное состояние, по поводу чего замечательный кинорежиссер Михаил Ромм хорошо написал: «Мы слушали его и думали: такому человеку нельзя быть руководителем страны, у него гаек не хватает!» Объясните мне этот парадокс – поведение Хрущева на встречах с интеллигенцией творческой, которые он сам же и организовывал. С какой целью он так себя вел? Чтобы напугать? Показать, что он умнее всех? Что, что происходило?

Евтушенко: Расскажу, с чего всё началось. Издалека, так сказать. Я вам уже рассказывал историю публикации в «Правде» моего стихотворения «Наследники Сталина». Но я не знал, что происходило дальше.

Большая группа бюрократии написала письмо Хрущеву – не зная, что это он приказал послать стихотворение на военном самолете на Кубу, чтоб показать Фиделю раскрепощение нравов. Так вот, бюрократы те написали письмо-донос на главного редактора «Правды» <Павла Алексеевича> Сатюкова, что тот якобы способствовал опубликованию этого антисоветского стихотворения. И Хрущев устроил детский крик. Стучал кулаком и в ярости кричал. Перед этим он дал разрешение на печатание повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и разрешил мое стихотворение, это одновременно почти произошло. «Что это значит? Я первый секретарь ЦК! Значит, я тоже антисоветчик, что ли? Что это такое у нас творится!» Он вызвал Ильичева и сказал: хватит, устарел сам аппарат цензуры. Наш народ, по отношению к которому были совершены такие несправедливости ужасающие перед войной, выдержал войну, с честью доказал свой патриотизм! Так зачем у нас такая цензура!

Волков: Хрущев всегда говорил, что Великая Отечественная война – это и были демократические выборы в Советском Союзе.

Когда народ доказал, что он за советскую власть.

Евтушенко: Да, совершенно верно. И Хрущев сказал: «Подготовьте срочным образом постановление ЦК об отмене государственного института цензуры!» Тогда Ильичев и команда, понимая, что они без цензуры не продержатся, и разыграли этот фокус с Манежем. Они стали звонить Эрнсту Неизвестному, другим молодым художникам, чтобы те приносили в Манеж свои работы, обещали, что специально сделают для них зал, что сейчас готовится указ об отмене цензуры, что правительство даст им дорогу, – то есть была задумана провокация полная! Ильичев точно рассчитал, что ничего нет консервативнее визуального вкуса. Он меняется с самым большим трудом. И главное, я тоже в этом участвовал. Я уж не помню, кому я помогал. Эрику Неизвестному, что ли… Грузовик я достал через знакомого генерала, сказал: «Там ребята художники будут, правительство, надо свезти скульптуры». Я тоже в этом участвовал наивно, не подозревая, в чем участвую.

И когда на следующий день в Манеже появились члены правительства, их завели туда, где была отдельная комнатка, зал, столы… В чью-то картину ткнули Никите Сергеевичу, а на ней какие-то красные пятна крови и надпись – «Октябрьская революция», так это называлось, это была абстрактная вещь. Хрущев сначала не понял, говорит: «Тут какие-то незаконченные картины. Мы, наверное, не туда попали?» Ему говорят: «Нет-нет, это законченные». – «А где же тут лица?» – «Они ненавидят лица». И тут Шелепин, председатель комитета госбезопасности, начал кричать, нападать на Эрика Неизвестного: «А ты откуда металл берешь?» Эрик ответил: «Я ворую». А потом и Хрущев, так сказать, разыгрался. Он же никогда не видел этого! Кстати, когда Гарри Трумэн увидел впервые абстрактную живопись, он точно так же, как Хрущев, среагировал.

Волков: А Уинстон Черчилль так реагировал на Пикассо.

Евтушенко: Хрущев, употребив выражение Гарри Трумэна, как я узнал потом позднее, сказал, что «любая обезьяна могла так хвостом написать эту так называемую живопись». И начали их долбать… Но Эрик, правда, держался здорово.

Волков: Известно также, что Хрущев назвал его пидорасом.

Евтушенко: А Эрик сказал: «Давайте, Никита Сергеевич, выставим тут баб и посмотрим, кто кого переплюнет по этой части!» Хрущев вообще оторопел от такой смелости, он запомнил Эрика Неизвестного.

А потом меня вызвали с Кубы, где я работал над фильмом. И вот я приехал на Воробьевы горы, где было устроено две выставки: <Юрия> Непринцева картины, что-то <Гелия>

Коржева с одной стороны, с другой стороны – <Элий> Белютин, Неизвестный и прочие. Ну, сначала был стол накрыт хороший, винца дали, и шашлычки были. А потом внесли скульптуры Эрнста Неизвестного, поставили на столы. Я никогда не забуду Михаила Андреевича Суслова – перед ним поставили скульптуру Эрнста Неизвестного «Мальчик с мышкой», мальчик из концлагеря. И как сзади Суслов монтировался – потрясающее просто было зрелище! И тогда вот начался этот вот…

Волков: Погром…

Евтушенко: Да, погром. Кстати, тогда же на лестнице Хрущев познакомился со мной и с Солженицыным одновременно. Лебедев нас познакомил. Вел себя Александр Исаевич довольно вежливо. Он сказал: «Никита Сергеевич, спасибо вам от имени политзаключенных за то, что вы сделали для нас». И Хрущев так: «Ну-ну, это партии надо говорить. Ну, пойдемте…» И меня тоже представили: «А, вот ты какой! Ух ты!» И пошли мы вместе. Хрущев обхватил одной рукой Александра Исаича, а другой меня…

Волков: Ничего себе – святая троица…

Евтушенко: Да, это многие видели. И мы пошли в зал. И ведь, кстати, Солженицын ни слова не сказал, не заступился ни за кого из художников. Честно говоря, мне лично не понравилось, что он сидел и отмалчивался. И не ввязывался. Но, с другой стороны, он, как беременная женщина, ходил, он в это время писал «ГУЛАГ»… Потом-то я понял, что он считал эту дискуссию мелким делом. А кроме того, вкусы в области живописи…

Волков: У Хрущева и Солженицына совпадали?

Евтушенко: Ну просто одинаковые были. Это совершенно ясно, потому что, когда Солженицын описывает художника рядом с каким-то там дубом, это просто смешно, это по-детски. Как будто провинциальный учитель какой-то пишет. Вообще у Солженицына явно не очень доброжелательное отношение к интеллигенции. Он описал, например, Симонова в своем «В круге первом». Помните там? Да, это, конечно, Симонов, но Симонов был сложнее. Конечно, неприятные в Солженицыне были черты. У него вообще было подозрение к несидевшим, к тем, кто стоял, так сказать, у трона. Но он и сам был в двух шагах от трона. И не возражал. Он же не возражал против того, чтоб ему дали Ленинскую премию! Это же в последний момент сорвалось! Мы тогда даже не сомневались, что он ее получит. И тот же самый Симонов – это было! – поддерживал его кандидатуру.

Ну вот… Мы вошли в зал, и Хрущев представил прежде всего Солженицына (меня он не представлял): «Я хочу представить нашего современного Льва Толстого». «Современного» – вот так и

сказал! «Может быть», – по-моему, еще добавил.

Волков: То есть Солженицын был представлен как любимец?

Евтушенко: Ну да. Фаворит. Он же почти получил Ленинскую премию! «А теперь давайте, – говорит Хрущев, – сначала посидим, закусим чем-нибудь, а потом разговоримся».

Всё мирно было… пока сидели. А после этого начались разговоры, и вот тут Хрущев перешел на крик. Я сидел рядом с Фурцевой и Эриком Неизвестным. И Екатерина Алексеевна все время Эрика за колено держала: «Сиди-сиди, не нервничай». И началось! «Что это за безобразие! Посмотрите на эту стену и на ту стену! Что это такое! Уродство!» И зашелся… А я же, приехав с Кубы, рассказал Хрущеву историю о том, как при штурме казарм Монкады погиб один реалист и один абстракционист. И я сказал: «Стили и идеология – это совершенно разные вещи, Никита Сергеевич!» – я хотел всё миром закончить. «Никита Сергеевич, ну как же так можно, ну зачем же кричать „забирайте ваш паспорт!“, человек воевал все-таки…» Я знаю, что Эрик даже в штрафбате был.

А Эрику-то не давали слова вообще! Я говорю: «Вот Пикассо, Никита Сергеевич, – я просто упрощал для него, – ведь он коммунист и член ЦК партии, а у него есть абстрактные работы». И в этот момент меня срезал Эренбург: «Ну Евгений Александрыч, ну какой же Пикассо абстракционист?! У него есть супрематические работы, кубистские, но звать его просто абстракционистом – ну что это…» Хрущев сразу: «Вот видишь, Илья Григорьевич из этих парижей не вылезает, уж он-то знает лучше нас с тобой!» Нехорошо это было со стороны Эренбурга.

Волков: Притом что и ему самому от Хрущева тогда досталось.

Евтушенко: Я был Эренбургу антипатичен, я ему никогда не нравился. Даже когда он защищал мой «Бабий Яр», его Слуцкий уговорил, он сказал, что против нападок, но не назвал ни моей фамилии, ни названия стихотворения даже. Я раздражал Эренбурга.

Волков: Эстетически?

Евтушенко: Стадионами! Стадионами!

Волков: Но ведь у него и была, считай, стадионная слава во время Отечественной войны!

Евтушенко: Ая не ходил к нему на поклон! Хотя я его стихи любил всегда. Испанские стихи, и «Хулио Хуренито» всегда любил.

На этой встрече еще Сергей Владимирович Михалков очень усердствовал, лез со своим сыном Никитой: «Вот тут еще один Никита Сергеевич, я хочу Никиту Сергеевича вам представить,

своего сына!» А потом первый стал кричать: «Вон!» И все тоже «вон!» начали кричать Неизвестному, когда Хрущев беситься стал. Я говорю: «Никита Сергеевич! Ну ей-богу! Если Эрнст в чем-то неправ, неужели нельзя договориться? Ведь человек воевал за нашу страну! Он защищал меня! И если он ошибается, он поймет, все-таки люди мы или нет?» А Хрущев кричит мне: «Горбатого могила исправит!» Я хотел стихи свои прочитать – но тут почувствовал по композиции, что это хорошая концовка, что нельзя читать уже стихи. И я сказал: «Нет, Никита Сергеевич, я надеюсь, что прошло то время, когда людей исправляли могилами. Раз и навсегда прошло!» И сел. И тут на меня уже стали все кричать, тот же самый Михалков подпрыгивал: «Вон его!» И вдруг – вот вам Хрущев! – произошла совершенно невероятная вещь. Он на них посмотрел, – это потом мне Эрик говорил, когда анализировал всё, – что Хрущев такой паханский жест сделал – мол, хватит! – как будто увидел, что эти подхалимы его когда-то сдадут. И вдруг обернулся ко мне и вот так три раза хлопнул. Этого было достаточно, чтобы Михалков ко мне немедленно полез обниматься: «Да Женечка, да я всегда верил в тебя, дорогой мой друг…»

Волков: А только что кричал: «Вон!»

Евтушенко: Да! Этого я никогда не забуду. Первый полез, путаясь в портьерах! А потом – вот что такое Хрущев! – раздается у меня телефонный звонок: «Сейчас с вами будет говорить Хрущев». «Ну что ты там наоскорблял меня?» Я говорю: «Где же я вас оскорблял, Никита Сергеевич?» Я действительно его не оскорблял, я сказал только фразу неловкую: «Никита Сергеевич, ну почему тут висят такие плохие картины, где, простите, вас в каком-то идиотском виде показывают, где вы на каких-то полях?» – «Что ж ты меня идиотом-то?» – «Никита Сергеевич, не вас, а как вас показали. Вы бы лучше покритиковали плохой ваш портрет…» – «Ну… ты опять это слово! Я все-таки старше тебя!» И вдруг говорит: «Ты вот что, в Новый год можешь в Кремль прийти?» Я говорю: «Конечно, Никита Сергеевич». – «Ну вот, приходи. Я к тебе потом подойду, чтоб все видели. А то ведь сожрут и только пуговицы будут выплевывать!» Вот вам, пожалуйста. И он действительно ко мне подошел. Это было перед поездкой моей в Германию, где я написал свою автобиографию.

Волков: А на новогодний прием в Кремле кого приглашали?

Евтушенко: О, это огромное было мероприятие. Там все духовенство было, весь дипкорпус. Мы сидели с Галей. Столы буквой «П» шли, а они сидели как бы в президиуме. «Хотят ли русские войны?…», между прочим, пели. И там-то Хрущев произнес речь, про которую, кроме меня, никто никогда не

написал. Он неожиданно, после выступления какого-то старого большевика, обратился к господину <Рольфу> Сульману.

Волков: Это шведский посол в СССР?

Евтушенко: Да. Посол Швеции. Старейшина корпуса. Это уже было под три-четыре часа утра, Хрущев уже выпивший был. «Ну, господин Сульман, вот вы столько лет работаете у нас, вы же не можете быть антикоммунистом?! Неужели вы сами не поняли притягательной силы наших идей?» Тот сказал: «Нет. Но я люблю ваш народ». – «Да брось ты, господин Сульман, садись, ты хороший человек, не верю я тебе! Не верю, нельзя не любить такую идею, как коммунизм!» Всерьез так сказал… И потом добавил: «Вот сейчас выступал старый большевик. Посмотрите, какой человек! Мало таких людей уже осталось, которые так верят. Вообще, иногда думаешь, столько прилипал у нас в партии! Иногда думаю – ну как от них избавиться? Как избавиться от тех, кто просто ради карьеры в партию вступает? Потому что партия – это власть. Ну вот они и липнут, и липнут! И всё под себя гребут, гребут… А ведь были же люди! Мы, когда шли воевать за советскую власть, мы от души это делали, как только что выступавший перед вами человек! Иногда, знаете, какая мысль приходит? Может, просто объявить весь народ – народом коммунистов, да и всё?!»

Волков: Прямо с рождения…

Евтушенко: Да, вы представляете?! И в это время сотрудники органов ходили, смотрели, у кого-то отобрали что-то записывающее, магнитофоны. Их и не много было, наверное, тогда. Но я про это заявление Хрущева никогда больше нигде не видел и не слышал…

Потом ко мне подбегает Лебедев: «Щас Никита Сергеич к вам подойдет», – и идет Хрущев мимо и действительно направляется к нашему столу: «Ну, здорово! А это кто, твоя жинка?» Поздоровался. «Ну ладно, пойдемте вместе…» Брежнев подкатывается, говорит: «Евгений Саныч, приятно видеть любимого поэта! А меня вот здесь держат потому, что я единственный, кто со Снегурочкой танцевать может».

Волков: Функция государственного деятеля – танцевать со Снегурочкой…

Евтушенко: Хрущев ведет меня за руку – показал всем, что ко мне расположен… А в перерыве ко мне уже подбегают: «Евгений Саныч, документики подпишем, с поездкой вашей всё в порядке».

Волков: И вы поехали в Германию…

Евтушенко: Да. И потом произошел скандал с моей «Преждевременной автобиографией», я вернулся, и опять…

Волков: А вам не приходила мысль, когда вы писали эту

автобиографию в немецком отеле: ну, Хрущев-то за мной! Что вы можете себе позволить раздвинуть границы дозволенного?

Евтушенко: Да не думал я о Хрущеве! Я просто вел себя так, как я вел. И он вел себя вот таким образом. Он мог быть человеческим.

Волков: То есть он мог быть, как вы написали когда-то: «Я разный»? Хрущев был таким, каким его изобразил Неизвестный в надгробии – сочетание светлого и черного, да?

Евтушенко: И не забудьте такую вещь: ведь надгробие заказала его семья… и наверняка с его подачи. Наверняка с его подачи!

Волков: Вот в этом я сомневаюсь. Это, я думаю, все-таки легенда, которая создалась, не знаю, с прямым ли участием или не без участия любимого нами Эрнста Иосифовича…

Евтушенко: Может быть, создалась сыном Хрущева?

Волков: Нет, сын как раз об этом написал. Хрущев ничего об этом не знал, и не думаю, что одобрил бы этот выбор. Семья – сын в первую очередь – решила заказать памятник Неизвестному… А вы знаете, кто еще был кандидатом на создание этого надгробия? Церетели! Но он не решился принять этот заказ в тот момент.

Евтушенко: Ах вот как! Что ж, Хрущев таким и останется в моей душе – созданным из противоречий. Он все-таки очень оценил, что я приехал его поздравить с днем рождения, когда он уже был в отставке.

Волков: Есть распространенная точка зрения – и в связи с поведением Хрущева на выставке в Манеже, и в другие моменты, – что его спровоцировали. Я в это не верю ни на грош, Евгений Саныч. Он был достаточно хитрый и сметливый человек, чтобы знать, когда ему взрываться и когда нет. И когда ботинком в ООН стучал – это тоже была абсолютно продуманная вещь.

Евтушенко: Это американцам понравилось многим. Вот – человек простой…

Волков: Хрущев как бы заявлял таким образом и о стране, и о себе. Это была его позиция. Продуманная позиция, а не импровизация. И когда он нападал, на вас на всех несчастных, то это тоже был продуманный ход. Другое дело, что темперамент выводил его уже, может быть, на лишние обороты. Но идею – идею Хрущев продумывал заранее.

Евтушенко: Аон мне сказал такую вещь, на пенсии, когда я к нему приезжал: «Чтоб не забыть, я хочу вам сказать очень важное. Я бы хотел извиниться перед всеми писателями и художниками, по отношению к которым я грубо себя вел. А особенно перед Маргаритой Иосифовной Алигер». Еще до той встречи была предыдущая встреча, на которой я не был…

Волков: Где он кричал на Алигер?

Евтушенко: Да. Я ей это успел передать. А потом Хрущев вдруг говорит: «Вы что думаете, я уж такой дурак, что не понимал, что вы выдумали эту историю насчет кубинских абстракциониста и реалиста, которые погибли в одном бою? Но я понимал логику вашу. Я потому и кричал – сам чувствовал, как я весь раздувался, красный как рак был, – потому и кричал, что я сам на себя злился. Я ж понимал, что вы правы».

Волков: Вот удивительно…

Евтушенко: И я удивился: «Никита Сергеевич, а я был уверен, что вы в тот момент совершенно искренне говорите! Что недовольны моими словами. Думаете, что я что-то не понимаю». Тогда Хрущев мне сказал: «Ну неужели вы не понимаете, что меня со всех сторон окружили, говорили, что я раскачиваю государственный корабль, что нельзя этим художникам помогать, что их вообще надо прикрыть? Ну, стукнул я кулаком… Но разве хоть с одной головы во́лос упал? Хоть с одной головы?!» Я говорю: «Нет, этого не было, Никита Сергеевич». И ведь именно тогда он тайно помог Неизвестному – мне Эрик позвонил, сказал, что ничего не понимает: «Позвонили от Лебедева и сказали, что Никита Сергеевич просил меня не отказываться, если ко мне обратятся с каким-то заказом из Зеленограда». И действительно, позвонили из почтового ящика в Зеленограде, сказали, что Лебедев просил об этом не трепаться среди художников, чтоб не вызвать зависти, а то всем им захочется, и дали Эрику очень большой заказ денежный. Вы знаете об этом?

Волков: Да, Неизвестный мне говорил.

Евтушенко: Вот видите, это Хрущев тогда сделал. Накричал, но помог.

Волков: Но когда он кричал – об этом многие вспоминают, – это был момент страшный. Все испугались, что возвращается тридцать седьмой год, что будут арестовывать. Эренбург сидел – его всего трясло, он вообще чуть не сполз со стула от страха, унижения. И, по-моему, все ожидали, что за ними вот-вот придут.

Евтушенко: Нет, противно было, а страшно не было.

Волков: А Вознесенский говорил мне, что у него был дикий-дикий страх.

Евтушенко: У него – да. У него. Но он же не стукнул на Хрущева кулаком? Я ж за него стукнул… И понимаете, это другое. Мы с Вознесенским совершенно разные люди. Я, все-таки не забывайте, я уже был исключен из школы, из Литинститута, пятнадцать уголовников под начальством было у меня в экспедиции… А там затевались тяжелые разговоры бывало. Особенно, когда они однажды решили под монастырь меня

подвести.

Волков: Каким образом?

Евтушенко: Мы керном проходили – брали пробы. И меня вызывает начальник экспедиции, говорит: «Что, мировой рекорд, что ли, устанавливаешь по проходимости? Вы сейчас идете по роговикам (это роговая порода, самая тяжелая). Как они могли столько пройти? Тут бурильной установкой надо брать образцы почвы. Ну не могли они столько пройти!» А я потом разглядел, что уголовники мои просто долбили и обкалывали галечные большие булыжники и получали чистые деньги за это. И они мне пригрозили тогда, но потом раздумали. Им понравилось, что я их выгородил. Хотя мне могло за это крупно влететь.

Волков: Это тянуло на срок…

Евтушенко: Да, это могло плохо кончиться. Всё зависит от людей. Пожалели, я бы сказал так. Они люди все-таки. Я им просто сказал: «Да что же вы, не понимаете? Я же не написал докладную, я не дал, чтоб это дело дальше пошло». Потому что их всех бы не выпустили.

Волков: Да, Евгений Саныч, вы знали, как с уголовниками разговаривать.

Евтушенко: А Хрущев…К нему ведь после отставки никто не приезжал почти. Он был совсем одинок. Боялись. И когда его хоронили, люди стояли около Кунцевской больницы и боялись к гробу подойти.

Волков: Там ведь был митинг? Сергей Хрущев вспоминал, что он попросил вас выступить, но вы отказались, сказали, что это лишнее.

Евтушенко: Да. Я никогда не забуду, что со мной случилось. Я собрался ехать на Новодевичье кладбище с Сашей Межировым, там Хрущева должны были хоронить. И вы знаете, мне плохо стало. Я не поехал на кладбище, точнее, не доехал. Вот от этого, от толпы, которая боялась к гробу подойти, мне стало худо. Там никого не было. Ни из писателей, ни из артистов – никого, вообще никого не было. Венок от Микояна принесли. От одного… Я попросил Сашу остановить машину у обочины, вылез, шатаясь, и меня стало страшно тошнить – глоткой, носом. Меня выворачивало наизнанку. Я уже не мог ехать на Новодевичье. Да… Это был тяжелый момент, очень тяжелый. Прощание с эпохой… Я написал об этом: «Однажды я плакал…» – в поэме «Фуку». Это ее конец. Прочту вот этот отрывок – «Напоследок».

Последнее слово мне рано еще говорить —
говорю я почти напоследок,
как полуисчезнувший предок,

таща в междувременьи тело.
Я —
не оставлявшей объедков эпохи
случайный огрызок, объедок.
История мной поперхнулась,
меня не догрызла, не съела.
Почти напоследок:
я —
эвакуации точный и прочный
безжалостный слепок,
и чтобы узнать меня,
вовсе не надобно бирки.
Я слеплен в пурге
буферами вагонных
скрежещущих сцепок,
как будто ладонями ржавыми
Транссибирки.
Почти напоследок:
я в «чертовой коже» ходил,
будто ада наследник.
Штанина любая
гремела при стуже
промерзлой трубой водосточной,
и «чертова кожа» к моей приросла,
и не слезла,
и в драках спасала
хребет позвоночный,
бессрочный.

А вот что случилось, когда я не поехал на Новодевичье, остановил машину Саши Межирова, и вышел из нее, и прижался к дорожному знаку…

Почти напоследок:
однажды я плакал
в тени пришоссейных
замызганных веток,
прижавшись башкою
к запретному, красному с прожелтью
знаку,
и всё, что пихали в меня
на демьяновых чьих-то банкетах,
меня
выворачивало

наизнанку.
Почти напоследок:
эпоха на мне поплясала —
от грязных сапог до балеток.
Я был не на сцене
был сценой в крови эпохальной и рвоте,
и то, что казалось не кровью, —
а жаждой подмостков,
подсветок, —
я не сомневаюсь —
когда-нибудь подвигом вы назовете.
Почти напоследок:
я – сорванный глас всех безгласных,
я – слабенький след
всех бесследных,
я – полуразвеянный пепел
сожженного кем-то романа.
В испуганных чинных передних
я – всех подворотен посредник,
исчадие нар,
вошебойки,
барака,
толкучки,
шалмана.
Почти напоследок:
я,
мяса полжизни искавший погнутою вилкой
в столовских котлетах,
в неполные десять
ругнувшийся матом при тете,
к потомкам приду,
словно в лермонтовских эполетах,
в следах от ладоней чужих
с милицейски учтивым
«пройдемте!».
Почти напоследок:
я – всем временам однолеток,
земляк всем землянам
и даже галактианам.
Я,
словно индеец в Колумбовых ржавых браслетах,
«фуку!» прохриплю перед смертью
поддельно бессмертным
тиранам.

Почти напоследок:
поэт,
как монета петровская,
сделался редок.
Он даже пугает
соседей по шару земному,
соседок.
Но договорюсь я с потомками —
так или эдак —
почти откровенно.
Почти умирая.
Почти напоследок.

Вот так прощался я с эпохой. Прижавшись к запретному знаку, когда меня выворачивало наизнанку. Но это моя эпоха, что делать… Другой у меня не было. Вот так, Соломон. Расплакался я что-то, вспоминая всё это. Стал сентиментальным…

Волков: Вы, к счастью для вас, всегда были им.

Евтушенко: Да, конечно, выплакиваться лучше.

Волков: Вероятно, это необходимое качество поэта.

Евтушенко: И знаете, что я хочу сказать? Если бы мне выдался случай поменять жизнь, я бы не стал ее менять.

Волков: Я думаю, очень многие поменялись бы с вами своими жизнями, если б это было возможно…

Шагал и Хрущев

Евтушенко: В 1963 году я вернулся в Москву из Франции. И пришел к тому же Лебедеву. Я привез Никите Сергеевичу в подарок от Шагала его альбом и письмо Мориса Тореза с просьбой помочь – Шагал хотел вернуться тогда на родину. И Шагал описку сделал, когда надписывал свою книгу Хрущеву. Он написал: «Дорогому Никите Сергеевичу Хрущеву с любовью к небу», а не «к нему». А я заметил: «Вы ошиблись здесь, по-моему…» И Шагал переправил.

Волков: Шагаловская ошибка.

Евтушенко: Я попросил Лебедева передать Хрущеву, что и Торез поддерживает эту идею – что Шагал хочет вернуться и отдать государству все картины. Переехать в Витебск – только одного он хотел. Я ему сказал: «Вы знаете, что у нас сейчас происходит с художниками?» Он говорит: «Это неважно, это всё пройдет!»

Волков: Так ему надоело жить во Франции?

Евтушенко: Да не во Франции дело, Шагал тосковал просто! «Я хочу в Витебск!» Я ему говорю: «Так Витебск другой совсем…» А что при этом было с его женой, вы видели бы! А с дочкой что было!..

Волков: А какой была реакция Лебедева?

Евтушенко: Он же никогда не слышал про Шагала. Стал листать: «А что это такое, тут евреи какие-то… и опять евреи?» Я говорю: «А это, Владимир Семеныч, прошлая жизнь, дореволюционная. А сейчас придут люди на выставку Шагала в Москве, посмотрят и увидят, что жизнь другая уже стала. Поймут, какие большие изменения произошли…» – «Ну, кто и как еще посмотрит, Евгений Саныч! А это что еще?! Евреи, да еще летают! Евгений Саныч, вы что, с ума посходили в вашей загранице?» Я говорю: «Посол Виноградов тоже поддерживает очень эту идею…» Лебедев мне: «И он тоже с ума сошел. Засиделся там!.. Возьмите-ка эту книжку. Неужели я буду передавать эту чепуху Никите Сергеевичу?» А я дурак – надо было взять книгу, а я оставил у Лебедева. Но я знаю, у кого она оказалась потом. У Михаила Ромма. Она лежала, наверное, у Лебедева на столе, когда Ромм пришел к нему по каким-то делам. Ромм сам мне сказал: «Мне попала книжка Хрущева, которую вы привезли от Шагала». Так что она где-то у наследников Ромма. А то была бы сейчас в моем музее.

Волков: Ваша история зато – память об этой книге.

Фидель и Куба

Евтушенко: Я слушал выступление Фиделя на лестнице Гаванского университета, где он почему-то сосредоточился на Коммунистической партии Франции. Он говорил: вот мы боролись за свободу – и что? Раньше нам диктовали американцы, а теперь диктуют коммунисты.

Волков: Намекал, конечно, при этом на Советский Союз? На то, что Хрущев отступил перед Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса.

Евтушенко: Ну, это ясно было, но он все-таки не говорил этого, кстати.

Фидель стоял в ботинках в этих солдатских, увидел меня и восклицает: «Вот здесь поэт русский Евтушенко! Что он скажет про все это?» Я находился в растрепанном состоянии перед многотысячной толпой, не было даже микрофона… И я сказал: «Я вас понимаю, но вот что хочу сказать: я убежден, что никто не хотел как-то оскорбить вас лично или кубинцев. Просто такая серьезная ситуация в мире. Очевидно, все исчислялось какими-то

минутами, секундами. Это была опасность, которая нависла над всем человечеством. И понимание этого продиктовало такое скорое решение. Может быть, вас не могли найти в этот момент…» – это правда, так оно и оказалось[64].

Ну и Фидель подошел после этого ко мне: «Пойдем поговорим!» Пошел ко мне в отель прямо. Он еще такой тогда был. И сидел у меня, и мы о многом говорили. Там был еще один человек, его друг мексиканец – преподаватель школы, в которой Фидель организовал школу революционеров.

Волков: Первую свою подпольную организацию.

Евтушенко: Да. Виктор Рико Галан. Очень хороший человек, идеалист. Мексика была единственной страной, которая тогда поддерживала дипломатические отношения с Кубой. И когда я потом попал в Мексику и узнал, что он арестован, я президента Мексики попросил его освободить. Президент сказал: «Единственное, что нужно, – это чтобы он написал письмо, что больше никогда не будет заниматься политической деятельностью. Больше ничего. Только я не верю, что он это сделает». Я говорю: «Почему?» Президент говорит: «Вы не знаете, что такое гордость мексиканская. Гордость ему не позволит. Он все понимает, он понимает, что сделал ошибку, но вот признать это он не может, потому что его затравить могут за то, что он оказался слабым». Это справедливо было.

Я ездил к Галану в тюрьму, мне дали с ним свидание. Это место, где на стенах висели портреты Мао Цзэдуна, Троцкого – там же сидели разные леваки, террористы, экстремисты. Некоторые были милыми людьми, со своими убеждениями. И Виктор Галан мне дал понять, что сожалеет о том, что устроил подпольную школу. Но в конечном счете ничего страшного с ним не случилось. Кажется, он действительно перестал политикой заниматься.

Волков: Аразговор с Фиделем?

Евтушенко: Это был разговор об истории Советского Союза вообще. О ГУЛАГе, обо всем что угодно. Понимаете, мне пришлось ему многое рассказывать. Это был очень искренний спонтанный разговор, где было даже стучание револьвером по столу – не на меня направленным револьвером, просто от темперамента…

Кубинский кризис – это был настоящий всемирный триллер. Вообще – к каким вещам приходится прибегать иногда политикам! У Микояна была какая-то удивительная интуиция. Он привез фильм Эйзенштейна об Иване Грозном. Каким образом он мог взять с собой этот фильм и понять, что это может ему пригодиться при разговоре с Фиделем? А он знал, что это

сложный будет разговор…

Поначалу Фидель сидел, отмалчивался. Тогда Микоян сказал: «Давайте посмотрим один фильм, товарищ Фидель, чтобы вы поняли, что такое власть». И показал ему этот фильм. И на Фиделя это подействовало. После фильма Фидель стал разговаривать с ним.

Волков: Может быть, Фидель идентифицировал себя каким-то образом с Иваном Грозным?

Евтушенко: Наверное, как человек власти, как человек, который получил власть, осознал, что такое бармы власти…

А после этого случилась еще одна история, я был тому свидетелем. Мы сидели – Калатозов, я, Урусевский – и разговаривали с Микояном.

Микоян Калатозова очень хорошо знал – ведь Калатозов когда-то был начальником Госкино и показывал по заказу Сталина разные фильма для членов Политбюро. А Микоян присутствовал при этом. И Калатозов с Микояном вспоминали, как однажды Сталин смотрел американский фильм про одного пирата. Я помню сюжет этого фильма, но не помню названия.

Там один пират играл в шахматы из мякиша хлебного. Он делал портреты, крошечные статуэточки своих собственных соратников. И когда отыгрывал какую-то фигуру, то сбрасывал с доски, вызывал этого человека и шлепал его из пистолета. Фильм заканчивался тем, что пират стоял, отхлебывая ром из бутылки, и, хохоча адски, вел судно – и увидел прямо перед собой выросший айсберг… Он вел судно уже один, так как всех перестрелял, – и разбился об айсберг. И вдруг товарищ Сталин сказал: «Ну, как вам этот фильм?» Все поежились, сказали: «Ну, не очень приятный, Иосиф Виссарионович», – кажется, Микоян и сказал. А Сталин сказал: «А я считаю, что полезно еще разочек этот фильм крутануть». И они крутанули его второй раз…

Еще Микоян рассказал – понимаете, вот в такие напряженнейшие исторические моменты, свидетелем которых оказываешься, люди раскрываются по-другому, – так вот, Микоян рассказал такую историю. Они однажды шли на озере Рица после выпивки на даче у Сталина, утром с похмелья, и Сталин был не в духе. И тогда Микоян отстал – услышал, что Сталин разговаривает сам с собой: «Я несчастный человэк, я никому нэ вэрю». Вслух. И Анастас Иваныч Микоян сказал нам: «Я понял, что я не должен быть замечен, а то бы я, может быть, здесь не сидел бы сейчас».

Волков: Мог бы оказаться фигуркой из мякиша.

Евтушенко: Ну, вы понимаете, да? А мне Микоян именно тогда рассказал, как он впервые услышал мое имя. Как он ехал по

улице – по Якиманке[65], около Литературного музея, – и вдруг там перегорожена улица.

Волков: Пятьдесят четвертый год, кажется?

Евтушенко: Это был первый мой вообще индивидуальный вечер, когда там собралась толпа, перегородившая улицу. Там же крошечный музей был. И Микоян спросил: «Что это такое? Что тут происходит?» – «Евтушенко!» Он сказал мне: «Я даже не знал, что это такое, кто это такой! Потом уже мне рассказали, что это поэт такой появился».

Волков: Микоян, по-моему, тогда же вам сказал, что в первый раз увидел: очередь стоит на поэта, а не за продуктами.

Евтушенко: Что-то в этом роде, да! Но самое главное, что это было… Это был такой уровень откровенности! Потому что мы были внутри исторического момента, когда открываются души… Это невероятное чувство!

Волков: Да, момент был страшноватый.

Евтушенко: Вот и он это понимал. Микоян, конечно, незауряднейший человек, незауряднейший. Я ему подарил свою книжку, и он комментировал некоторые стихи, особенно стихотворение «Бойтесь данайцев, дары приносящих»: «Это мне больше всего понравилось. Много их было в моей жизни, много таких я видел…» И это Микоян всё рассказывал к неудовольствию одного человека. Его фамилия была Тихменев. Я не знаю, у него были действительно ли такие…

Волков: Действительные или воображаемые погоны?

Евтушенко: Да, мне так показалось, во всяком случае. Он отвечал за поездку Микояна на Кубу. И в момент вот такой откровенности принесли телеграмму. И Тихменев сказал: «Шифровка от Никиты Сергеевича». Микоян ему говорит: «Читайте». А Тихменев ему заявляет: «Это секретная информация, суперсекретная информация. По инструкции, Анастас Иваныч, здесь не должны присутствовать люди посторонние». – «Эти люди не посторонние!» – закричал Микоян. Взял бутылку и запустил ее в сад… У нас терраса была открытая. И знаете, как страшно?! Человек бросает бутылку, а звука нет… она в траву упала…

Микоян заставил-таки Тихменева эту телеграмму прочесть. Там ничего не было секретного, просто человеческая: «Дорогой Анастас, я знаю, что ты выполняешь важную миссию, от которой зависит судьба всего человечества, я очень тебе благодарен. Твоя жена скончалась неожиданно. Возвращайся. Забудь про всё. Вы всю жизнь прожили вместе. Мы найдем, кому поручить дальнейшие переговоры. Спасибо тебе за всё, что ты сделал». Уже тогда все-таки были какие-то результаты переговоров Микояна на Кубе.

Волков: Ну, того тоже можно понять. По инструкции он не имел права этого делать.

Евтушенко: Да, да. Вот так всё произошло. И это было незабываемо, как я оказался внутри коловорота истории. Почему-то история выбрала меня, чтоб я был свидетелем этой сцены. А может быть, это и справедливо.

Волков: Для того чтобы вы могли об этом рассказать?

Евтушенко: Да. Это моя мечта, я хочу написать не воспоминания, а именно роман о Кубе. Я знаю, что Габриэль Гарсиа Маркес собирал материалы о Фиделе, но, наверное, его книги уже не будет, если не осталось чего-то написанного. Но все равно я напишу. Потому что я видел эту историю с разных совершенно позиций. Чего стоит только та ночь, когда закрывали все злачные места на Кубе, все дома свиданий – места, по которым меня команданте Гаваны водил. Всё проходило мирно, но для многих людей – я не подозревал даже! – это была трагедия, для многих это было последнее убежище.

Волков: Образ жизни. С этим связана очень интересная волна ностальгии по докастровскому времени на Кубе, которая сейчас существует в Соединенных Штатах. Американцы даже нашли группу старых музыкантов, которые играли в этих самых кабаках и злачных местах, – *Buena Vista Social Club*, люди, которым под девяносто лет. И это был феноменальный коммерческий успех. Миллионными тиражами их записи расходились.

Евтушенко: Я очень люблю Кубу. Фидель, конечно, уникальная личность. Совершенно. И я бы хотел его описать таким, каким видел, когда он был молодым. Я его в более позднее время не знал, я уже не ездил на Кубу. Я заступился за моего друга – поэта-диссидента Эберто Падилью[66] и уже не мог туда приехать. Но это уже особая история. А отношения наши с Фиделем продолжались.

Фидель знал, что я был в большой беде, когда он приехал со своим неожиданным визитом в Москву. Вы знаете, что он послал сообщение о том, что летит к нашим, уже с борта самолета? А ночью мне позвонил посол Фауре Чомон, сказал, что Фидель хочет меня видеть. И Фурцева мне рассказывала, как Фидель ей специально хорошие вещи обо мне говорил, зная, что я в опале.

Я ему благодарен за это. И за то, что ночью мы виделись. Я же появился в этой специальной партийной гостинице в Плотниковом переулке на Старом Арбате, и в этот момент товарищ Месяцев[67], которому Фидель был поручен, – мой, кстати, враг, который мне проработки устраивал…

Волков: Он потом был председателем Гостелерадио.

Евтушенко: Да. А перед этим был секретарем комсомола.

Когда он увидел меня в двенадцать часов ночи в гостинице, где остановился Фидель… Что с ним было! Он чуть в обморок не упал. Это было как возникший перед самым его носом взрыв. Это всё в романе будет описано.

Волков: Это в каком году было?

Евтушенко: Шестьдесят четвертый, по-моему.

Волков: А не шестьдесят третий?

Евтушенко: Это можно будет уточнить. Когда его переводил Коля Леонов[68]. Совершенно замечательно, импровизируя в переводе. Здорово! А когда формировалась программа пребывания для Фиделя, там был невероятно смешной случай! Составить программу было поручено Месяцеву. Приехал все-таки глава государства, знаменитый всемирно человек. И Месяцев спросил: «Товарищ Фидель, что бы вам хотелось увидеть в нашей стране?» – «А что вы скажете, компаньеро Николас? – спросил его Фидель. – Что самое интересное в Советском Союзе?» А у того инструкций-то не было никаких еще. «У нас всё интересно, товарищ Фидель!» И тут Кастро начал упорствовать: «Ну все-таки самое интересное, вот лично для вас – что самое интересное?» Вы знаете, я никогда не испытывал такого чувства жалости к человеку, как в тот момент. Жалости к стране нашей, стыда. Месяцев совершенно потерялся, он даже взмок от пота. У него не было на этот случай инструкции! И Фидель понимал, чувствовал это.

Волков: Он издевался над Месяцевым немножко?

Евтушенко: Это было. И Месяцев вдруг встал, вытянулся в струнку и сказал: «Партия, товарищ Фидель!» И Фидель захохотал. А Месяцев ему: «Как вы можете смеяться при этом, товарищ Кастро!» – «Да нет, я же спрашивал о другом! Географически просто!» У меня было просто чудовищное ощущение позора…

А вы знаете, чем Месяцев кончил? Когда его услали послом в Австралию, он приставал там к нашим артисткам ансамбля «Березка». В общем, ему влетело.

Волков: Месяцев несколько лет назад выпустил книгу мемуаров. Называется «Горизонты и лабиринты моей жизни». Там он вспоминает об этой истории.

Евтушенко: Видите, сколькими воспоминаниями я наполнен? И, наверное, не зря я это всё видел.

Волков: Да. Это всё надо записать. И про Кубу надо написать. Куба – это особая тема, конечно.

Евтушенко: Безусловно, кубинская революция была совершенно справедливая. Она была просто бескровной вначале. А потом на Кубу вторглись контрреволюционеры. И Фидель

просто отправил всех этих «гусанос»[69] обратно в Америку, только по сто долларов попросил за доставку. Это уж точно я знаю, потому что у меня были личные дружеские отношения с Сашей Алексеевым.

Волков: Алексеев тогда был резидентом КГБ на Кубе.

Евтушенко: Да, он был профессиональным работником КГБ, работал в Латинской Америке корреспондентом «Известий», это была его «крыша». Писал стихи, между прочим, довольно упадочные, с нашей советской точки зрения. Одинокий человек, неженатый. Он познакомился с Фиделем, который ему понравился, с Че Геварой и написал нашему руководству, что надо им помочь – они собирали тогда деньги на экспедицию на «Гранме»[70]. Но что сделало наше Политбюро? Послало запрос кубинской компартии, Бласу Роке, их вождю, что они об этом думают. И те написали, что Фидель принадлежит к аристократии, что он учился в иезуитском колледже и прочее.

Волков: Испугались, что это им перекроет кранты советской финансовой помощи?

Евтушенко: Ну, конечно, если говорить по совести. Не то что они его совсем раскритиковали, но, в общем, не рекомендовали. Их послушались. А после своей победы Фидель решил установить с Советским Союзом взаимоотношения и попросил, чтобы первым послом на Кубе был Алексеев. А у нас тогда было правило, которое, по-моему, исполнялось: профессиональный работник КГБ не мог быть послом. И Алексеева не утвердили.

Волков: Не удовлетворили просьбу Фиделя?

Евтушенко: Да, не удовлетворили. Но тогда Алексеев приехал на Кубу первым секретарем посольства. А я приехал корреспондентом «Правды» писать стихи. Это был уникальный случай, когда не член партии приехал в страну как поэтический корреспондент. Я не писал никаких статей, я писал просто стихи, разные.

Волков: Это действительно первый и последний случай.

Евтушенко: А после приехал еще Симонов, когда Калатозов предложил ему написать сценарий о Кубе, – Фидель ведь тогда очень был популярной фигурой. И даже в Америке, между прочим. Когда я был первый раз в Америке, я познакомился с одной девочкой, с которой у меня был некоторый роман. Нас соединило то, что и на ее груди – чуть более красивой, чем моя грудь, – был значок с Фиделем Кастро.

Алексеев мне рассказывал про первое исполнение «Интернационала» на Кубе – я в это время отлучался, уезжал куда-то. Он был там уже первым секретарем, но на самом деле был главным в посольстве. Кастро сказал ему, что сегодня будет

сюрприз. Это было после высадки десанта «гусанос» в заливе Плайя-Хирон. Пришел какой-то оркестр маленький, из старичков всяких, профсоюзных каких-нибудь забастовщиков бывших, и они сыграли с грехом пополам «Интернационал». Вот и всё.

Волков: Этим жестом Кастро заявил всему миру, что Куба окончательно становится коммунистической страной.

Евтушенко: А я говорил американцам всегда, что они сами сделали Фиделя коммунистом.

Волков: Многие американские исследователи сейчас приходят к такому же выводу, должен вам сказать.

Евтушенко: Ну вот видите… Фидель был неповторимо обаятелен! Он был подлинно новым человеком – новым для нас, но новым и для Запада. И эта его человеческая новизна во многом не потускнела и по сию пору. Во всяком случае, для меня.

Че Гевара

Волков: Расскажите и о Че Геваре, потому что он меня очень интересует.

Евтушенко: Он был очень красив, это правда. Но в нем было то, о чем Блок писал: «То роковое все равно, / Которое подготовляет / Чреду событий мировых…» У него была обреченность в глазах. Жертвенность и обреченность. Мы разговаривали с ним потому, что работали над сценарием для фильма «Я – Куба». Работа эта состояла в изучении материалов – как подготавливалась революция. Практически там о Фиделе ничего нет, это еще даже дофиделевская предыстория, студенческое движение антибатистовское. И мы нигде не ошиблись в истории. Эту картину изучают во всех киношколах, потому что с точки зрения операторского мастерства – это просто шедевр. Шедевр Урусевского.

Волков: Мартин Скорсезе финансировал восстановление фильма в 2007 году?

Евтушенко: Совершенно верно, Скорсезе и Фрэнсис Коппола. Кстати, на Кубе открыта прекрасная киношкола. И я исполнил свою мечту: я показал там оба своих фильма – не только «Детский сад», но и «Похороны Сталина». С огромным успехом.

Волков: Но ведь тогда на Кубе царил правоверный социализм…

Евтушенко: Да, и очень было непросто показать такую картину, как «Похороны Сталина». Не просто… А все-таки ее показали. Я поставил это условием своего возвращения. Потому что некоторое время я не то чтобы был *persona non grata*, но все знали, что я был другом Эберто Падильи…

Волков: Поэта, который был сначала арестован Фиделем, а потом выслан.

Евтушенко: Да, недолго он там был в тюрьме… Это был мой близкий друг. Эберто и у нас жил, я его описал. Он написал книжку о России «Железные березы». Он никогда не был контрреволюционным поэтом, просто скептиком был, больше ничего. Просто он говорил то, что не всем нравилось. Он был довольно горький по натуре человек. Но очень хороший. Я написал о нем личное письмо Фиделю Кастро[71]. Его освободили и дали ему возможность уехать, когда он решил это сделать сам. Его не изгоняли с Кубы. И в Америке он очень страдал. Надо было бы его пригласить обратно, а кубинские власти хотели, чтоб он им написал. Но он очень был самолюбивый, не хотел просить. Часто и наши политики так поступают: требуют, чтоб ты первый сделал шаг… Надо проще к этому относиться и по-человечески. В конце концов, милосердие справедливее самой справедливости.

Волков: Возвращаясь к Че Геваре…

Евтушенко: Че Гевара был человек очень искренний, писал стихи – не очень хорошие, но по натуре он был поэтом. Мы разговаривали с ним целую неделю. Он давал нам время от двенадцати ночи до четырех утра, а потом шел спать. И уже в семь часов вставал, уже ехал. Он был министром тяжелой промышленности и работал как вол.

Я был в Боливии, в той деревне, где его убили. Его предали крестьяне, те самые, во имя которых он сражался. Там что произошло? К Че Геваре и его людям население относилось очень неплохо. Партизан кормили, давали молока, давали кров. А следом за ними, по горам, шли карательные отряды, которые насиловали, убивали… То есть его экспедиция приносила крестьянам несчастье. А относительно, так сказать, мечт о каком-то там будущем марксизма…

волков:…то беда была рядом, а не счастливое будущее.

Евтушенко: Да. Боливийцы не хотели меня там видеть. Туда, в эту деревню, очень трудно было попасть. Добраться можно было только на конях. Вот как в Гранд-Каньоне: там есть такие тропиночки, что вы должны бросить поводья, и кони вас доведут. Вы ни в коем случае не должны дергать за поводья. И то же самое там было, в Боливии, только нам с боливийским поэтом Педро Шимосе – японского происхождения боливиец – не давали лошадей. Они очень не любили корреспондентов, потому что им было стыдно, что они предали Че Гевару. И мы сидели с Педро, честно уж говорю, пили, и я ему читал свои стихи, а он мне свои. И крестьяне спросили, кто я. Я говорю: «Я не корреспондент. Мы поэты». Они не знали такого слова! Но когда я стал читать им

свои стихи, они услышали в этом музыку, поняли: «Так ты *cantante*!» – то есть певец! И мы подружились, они дали нам коней, и мы поехали в деревню, где убили Че. Ла Хигера она называется. Че Гевара сидел за столом, когда вошел офицер, который его нашел. Че Гевара был ранен, у него была прострелена нога. И офицер скомандовал: «Встать!» Че сказал: «Я не буду вставать!» И тот в него сразу выстрелил. Потом отрубили его руки и послали в доказательство того, что это действительно Че Гевара…

Волков: А он в самом деле производил такое магнетическое воздействие своей личностью?

Евтушенко: Невероятное. Невероятное.

Волков: Но почему он не остался строить лучшее общество на Кубе? Почему ему нужно было отправиться умирать в Боливию?

Евтушенко: Потому что он болел мечтой о мировой революции.

Волков: А вот не от скуки ли такой мирной, созидательной, условно говоря, жизни он убежал?

Евтушенко: Ну как вам сказать… Он работал очень много. Но он не был таким вождем, как Фидель, – тот получал удовольствие от выступлений, от общения с народом. А Че Гевара был человеком дела. Он мечтал о деле.

Волков: Для него дело было быть с оружием в руках, значит? Его дело было стрелять, так получается?

Евтушенко: Мне тяжело об этом говорить… Я никогда не видел в нем «человека с ружьем», я видел его внутри семьи, жена у него красавица была. Он сам очень красивый был.

Волков: Романтический облик Че Гевары – это, по-моему, его главная сейчас карта.

Евтушенко: Лицо было у него очень благородное, рассказывал он нам очень хорошо и был подчеркнуто вежлив как-то. И очень грустен. Какая-то обреченность в нем сквозила. Ведь с ним произошли мистические вещи. Он сначала полетел во Вьетнам, вы знаете про это?

Волков: Нет.

Евтушенко: Так вот во Вьетнаме его встретил Хо Ши Мин и сказал ему: «Иностранцы в нашей борьбе не участвуют…» И тогда Че отправился в Боливию, навстречу своей смерти.

Пиночет

Евтушенко: Пиночет – это тоже особая история. Помню, на вечере Пабло Неруды в Чили сидел я рядом с одним генералом, и тот со мной заговорил, услышав, что я реагирую на стихи по-

испански, – я знаю испанский язык довольно прилично, гораздо лучше, чем английский. И генерал сказал про Неруду: «Если б он только не занимался политикой!» Я говорю: «Ну, по-моему, он ко злу не зовет даже и в своих политических стихах». – «А вы вообще кто?» Я сказал: «Я русский». – «А, вы еще скажите, что вы Евтушенко!» Я сказал: «Да, я вот как раз Евтушенко». – «А-а… – и протягивает руку: – Генерал Пиночет».

Волков: Вот так вы познакомились с Пиночетом.

Альенде и Латинская Америка

Евтушенко: Альенде был очень уравновешенный человек. Это был просто интеллигент, любящий литературу, он никогда не был коммунистом. Он был идеалистом-социалистом. И очень хороший человек.

Однажды к Альенде – он мне сам это поведал – пришли леваки. Они уже убили одного генерала, провоцировали, и кто знает, может быть, это подсадные утки были, – всегда среди экстремистов есть люди темные, неизвестно как втершиеся, гапоны, выражаясь русским языком. Так вот, они пришли к Альенде со списком: кого надо посадить.

Волков: Ну да, гапоновщина. То, что в 1905 году в России расцвело.

Евтушенко: А между прочим, в этом списке был Пиночет – среди других заговорщиков. И Альенде мне сказал: «Там тысяча человек было. Ну не может быть, чтоб там не было ни одного невиновного! Но Бог мне судья будет. Я, – говорит, – предпочитаю остаться наивным, но хочу дать пример, что в Латинской Америке может быть президент, который никогда не арестовал ни одного невинного человека».

Прав он ли нет? Конечно, некоторые обвиняют его в том, что в результате его позиции столько людей погибло на одном только печально известном стадионе, превращенном в концлагерь. Погиб такой замечательный человек, как музыкант Виктор Хара, которому отрубили руки…

Волков: Когда к власти пришел Пиночет, он не церемонился.

Евтушенко: Альенде мне позвонил однажды – мы должны были с ним увидеться: «Я сейчас не могу с вами встретиться, но очень вас прошу… Когда у вас будет выступление, вы можете выставить ваше стихотворение „Мучачо“? (Оно по-испански написано, посвящено Че Геваре и обращено к молодежи.) „Налево ребята, всегда налево! Но не левее сердца!“ Можете повесить? Потому что сейчас, – говорит, – леваки провоцируют конфликты, запугивают обывателей. И, может быть, некоторые из них –

провокаторы или дураки». Вот так он сказал.

Волков: В любом движении всегда появляются какие-то экстремисты. Это с одной стороны. А с другой стороны – чилийский опыт по-своему оказался таким же символическим для второй половины XX века, как попытка построения «социализма с человеческим лицом» в Чехословакии. И то, что к власти пришел Пиночет, и то, что он сделал, находит поклонников до сих пор. Ведь очень часто можно услышать: «О, нам нужен свой Пиночет!»

Евтушенко: Это чилийский народ слышал даже от господина Немцова, который, будучи российским вице-премьером, приехал в Чили. Представляете, что чувствовала чилийская интеллигенция? Между прочим, что-то в этом роде, что-то положительное о Пиночете, сказал, к сожалению, и Александр Исаевич. Очень всё это латиноамериканцы помнят. Но это просто разные взгляды, не настолько хорошо они знали, так сказать, местную обстановку, которую я-то знал хорошо. Я вообще очень люблю Латинскую Америку. Вот есть у меня любимые страны! Вообще-то я был во всех странах. В девяноста шести, что ли. И я бы сказал так: плохих народов просто не существует. Народов! Вообще. Ну нету!

…Многие из них были романтиками, тот же Корвалан.

Волков: Луис Корвалан, руководитель чилийских коммунистов.

Евтушенко: Наши Поспелов[72] или Суслов – у этих людей ничего же не светилось! У них не было никаких искр! Это инквизиторское лицо Михал Андреича! А Поспелов был просто очень скучный, невыносимый человек! Я помню, как мне на них Корвалан жаловался. Он пытался сказать, что наши танки в Чехословакии сыграли на руку практически всем латиноамериканским диктатурам, – они не хотели слушать даже! Я помню, он чуть не плакал, когда говорил.

Он был искренний человек, идеалист. Я был у него в семье, это простая семья. У него были хорошие отношения с Пабло Нерудой. Пабло Неруда тоже не был циником. Другое дело, что он был идеалистом, во многом ошибался. Или Володя Тейтельбойм, прозаик, поэт итоже чилийский коммунист. Замечательный человек. Обожатель поэзии, он, кстати, очень хорошо писал о поэзии.

Когда они в Москве жили, как им было тяжело! И какие горькие у нас были разговоры! Володя говорил мне: «Я смотрю на них и думаю: кто эти люди? Я встречаюсь с ними, они говорят-говорят вроде бы: „идеология“… Но они же ни во что не верят! У них нет, совсем нет идеалов!»

Волков: А Корвалана, если не ошибаюсь, обменяли на диссидента Щаранского.

Евтушенко: На Щаранского? На Буковского, по-моему.

Волков: Ах да, спутал диссидентов…

Евтушенко: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана»…

Волков: Коли мы заговорили о Латинской Америке, какие ваши впечатления были от Никарагуа? Вы ведь там тоже были. В их революции что было главным?

Евтушенко: Да, я был в Никарагуа, но там сложнее всё. Сначала было хорошо, потом началась борьба за власть. Сомоса[73], конечно, был чудовищный. И я видел его бункер. Это диктатура была, и она ведь не случайно была, как я написал когда-то: «Империализм производства вулканов».

В Никарагуа я понял одну вещь. Знаете какую? Что поэту лучше не вступать в правительство. Понял на примере Эрнесто Карденаля[74] – очень хорошего поэта, священника. Поэт должен быть независим – как доктор, может быть, как священник. Он должен быть беспартийный, внутренне беспартийный. Он не должен принадлежать к какой-то группе людей с какой-то политической программой. Но не должен также и бросать людей в беде.

Дядя поэта и Стейнбек

Евтушенко: Как мой дядя подружился с Джоном Стейнбеком – это фантастика!

Сидит у меня Стейнбек дома, и мы с ним говорим по-испански. У меня лучше был испанский уже тогда, а Стейнбек говорил по-испански свободно. Ну, сидели, болтали, и в этот момент вваливается мой дядя Андрей Дубинин. Прямо со станции Зима, он был там начальником автобазы, шофером грузовика. Человек, который во время войны отвечал за то, чтобы перевели все грузовики Сибири на чурочное отопление. Чурками топили, чтоб экономить бензин для фронта. Приделывали две мусорные металлические корзины по бокам, дети наколотые чурки бросали туда, и машины двигались на этом топливе. Это дяде моему было поручено. Он рвался на фронт, его не пускали, и он внедрял это всё.

Волков: Фантастический способ передвижения!

Евтушенко: Да! Дядя вообще был изобретатель, у него много было патентов, самородок был. Стихи любил жутко! Багрицкий – любимый поэт. У меня до сих пор в библиотеке есть стихи Андрея Дубинина и Володи Дубинина – это его брат, тоже самородок, к сожалению, пивший сильно, как многие самородки на Руси – и гибнувшие из-за этого.

В общем, заходит дядя с чемоданом – получил какую-то

горящую путевку, едет в Сочи. Спрашивает: «Кто это у тебя тут?» Говорю: «У меня тут один американец сидит, писатель». И даже не говорю кто, имя не называю. О, я своего дядю недооценил! А Стейнбек – вот настоящий писатель! – тут же забыл про меня. Он уже со мной познакомился, сделал анализ меня, мы уже друзья с ним, а тут появился пролетарий. Вы понимаете, всё выглядело как инсценировка! Уж очень театрально.

Стейнбек его спрашивает: «А что вы читали из американской литературы?» – «Ну, – говорит дядя, – чо, Марка Твена, конечно, читал». – «Ну а что еще?» Писатели-то как дети все, знаете.

Волков: Им хочется, чтобы их читали.

Евтушенко: «А вы не слышали о таком писателе американском – Стейнбеке?» – «Ну как же, – говорит дядя, – „Гроздья гнева“ я читал!» – «Да? – Стейнбек недоверчиво. – А что-то я не помню этого романа, это о чем там?»

Волков: Проверять стал.

Евтушенко: Даже я не помнил героев этого романа. А он вспомнил, дядя мой. «А что это за книжка, – говорит Стейнбек, – была?» – «Ну как книжка, – говорит дядя, – в „Роман-газете“ я читал». И всё-всё описал, даже фамилии помнил семьи этой самой. Тогда Стейнбек говорит: «Это я – автор этой книги». И тут дядя мой: «Да ну что вы, на фотографии в „Роман-газете“ он с усиками был!» А Стейнбек стал оправдываться: «Так когда это было! Да я это, я!» И какую-то вытащил рекламную открыточку – показал, что это он.

Они долго сидели, сколько выпили, я просто не знаю. Очень много. Поздно страшно было. А я перевожу только с испанского на русский и обратно, Стейнбек всё расспрашивает… Потом к утру уже говорит: «Вот у меня тут записано, что у вас есть один обычай: пол-ли-тра-на-тро-их». И что вы думаете? Они с дядей пошли искать, где пол-литра на троих можно организовать. Причем потребовали, чтобы я удалился. Потому что нужно было найти настоящего третьего.

Волков: Алкаша…

Евтушенко: Да. И мы договорились, что через час я за ними приду. А в это время дома у меня появился представитель Союза писателей: «Мы потеряли Стейнбека!» Просто «тысяча и одна ночь»! Короче говоря, когда я вернулся, у нас какой-то человек сидел с удочками.

Волков: Где-то рыбака нашли! Третьего на пол-литра!

Евтушенко: С удочками! И Стейнбек дремал, мой дядя тоже – и как-то они все вместе сгрудились…

Волков: Скульптурная группа: пол-литра на троих… Видите, вот общая-то черта какая у американских и российских талантов!

Знакомство со Стейхеном и первая поездка в США

Евтушенко: Я должен вам рассказать про Эдварда Стейхена – одного из самых влиятельных в мире фотографов века.

В 1959 году, в разгар холодной войны, Эдвард Стейхен привез в Москву фотовыставку «*Family of man*»[75]. Выставка была замечательная совершенно. Я никогда не видел ни в одном американском музее такого мастерского подбора, радуги всех абсолютно стилей…

Ну, кто за чем приходил туда. Мальчишки все, конечно, стояли в очереди за пепси-колой. Это очень забавная вещь, что кока-колу, поскольку она в свое время была символом империализма, не допустили на выставку наши, и тогда появилась пепси-кола. Бесплатная! Тут же дежурили машины скорой помощи, потому что ребята надувались так, что их потом вывозили пачками по госпиталям.

И вдруг Стейхен мне говорит: «Завтра я уже уезжаю, а, вы знаете, Советский Союз – это первая страна, в которой меня никто не приглашал домой». Я тогда был женат на Белле Ахмадулиной, и жили мы в ее маленькой комнатке в коммуналке за «Соколом». Но я сказал: «Да что вы, мы с женой вас приглашаем, конечно, если хотите. Просто, – говорю, – люди немножко стесняются. У нас в сталинское время долго не строили вообще для людей».

Волков: Кроме того, еще боялись – главным-то образом. Как это – пригласить иностранца без разрешения?!

Евтушенко: И стеснялись! Но все-таки я уже принадлежал к другому поколению, я уже написал стихи «Границы мне мешают… / Мне неловко / не знать Буэнос-Айреса, / Нью-Йорка». Это было заявление нового поколения! Я жил всегда по своим стихам. Если я что-то объявлял, я старался этому соответствовать. И Стейхен приехал к нам домой, в крошечную комнатку – метров двенадцать в ней было, зато на стене висела картина Лёвы Збарского – я уже начал собирать картины, это начало моей коллекции было. И Стейхену так понравилась Лёвина картина! На следующий день перед его отъездом я устроил ему с Лёвой встречу, и Збарский даже ему что-то подарил, Лёвка помнит это очень хорошо.

…Мы сказали, что отдадим Стейхену тахту нашу, а сами ляжем спать на полу. Но он не согласился: «Я по-походному, по-военному, я человек привычный…» А утром мы проснулись с Беллой, мы спали все-таки на тахте, – его нету! Мы выходим в кухню нашей коммуналки и видим следующую картину: Стейхен сидит с нашим соседом майором… А майор наш все время варил

себе самогонку, в ведре прямо. Какую-то желтую, чудовищного цвета. И помешивал какой-то щепочкой.

Волков: Вы пробовали?

Евтушенко: Вполне-вполне, нормально, ничего, голова не болела. И вот сидели они и пили эту самогонку.

Волков: Без общего языка? Самогонка сблизила?

Евтушенко: Да нет, дело в том, что наш майор был на Эльбе, в Германии, братался там с американцами! А я даже не знал об этом.

Короче говоря, когда Стейхен уехал, у меня остался его телефон американский. А в 1960 году я приехал впервые в Америку. Это туристическая группа была: Андрей Вознесенский и Толя Рыбаков, из известных писателей Сергей Антонов – кстати, оказался дико неприятным человеком, завистливым. Просто чудовищно себя вел! Но самое ужасное – это был староста наш, Вирта.

Волков: Николай Вирта? Четырежды сталинский лауреат?

Евтушенко: Дело не в том, что сталинский лауреат, дело в характере. Когда мы приехали в Нью-Йорк, он собрал летучку – всех у себя в номере – и сказал: «Я хочу вам показать, куда вы приехали». Поднял ковер: «Видите? Вот тут прослушка идет». Достал перочинный нож и разрезал этот шнур на полу. И свет погас!.. И это я никогда не забуду!

Я созвонился со Стейхеном и сказал, что приехал с группой, мне как-то неудобно их бросить. Он говорит: «Приезжайте ко мне на дачу в Нью-Джерси, это рядом, я встречу, всех приму с огромной радостью. Я не забываю и всем рассказываю, как вы меня чудесно с вашей молодой женой встречали».

Волков: А про майорскую самогонку он помнил?

Евтушенко: Конечно, помнил! Конечно! Как они там в обнимку сидели, вспоминали Эльбу… Но когда мы к нему поехали, наш автомобиль остановили на 35-й миле. Оказывается, мы нарушили конвенцию. А мы этого не знали – ведь это была первая поездка писательской группы в Америку, туда еще даже наши самолеты не летали. И поэтому нас не принимали официально, хотя мы платили свои деньги на делегационном уровне. Но Стейхен тоже не был в курсе соглашения между нашими правительствами – о том, что дальше 35-й мили нельзя было выезжать без специального разрешения, если это заранее не было запланировано. Это, оказывается, была такая мера обоюдная.

Волков: Да, и в Москве нельзя было отъезжать, и в Нью-Йорке.

Евтушенко: И опять Эльба помогла: шериф, который нас остановил, тоже был на Эльбе. Многие там были.

Волков: Да, в 1945 году на Эльбе произошла историческая встреча советской и американской армий – и через пятнадцать лет о ней еще помнили!

Евтушенко: Шериф сказал, что чувствует себя очень неудобно. Он знал, кто такой Стейхен, но пришло распоряжение от начальства: нас остановить. Тогда он связался со Стейхеном. Стейхен – главный военный фотограф армии. Но был уикенд, и некуда было позвонить даже ему! Никому, даже большому начальству. И шериф принял на себя решение: он взял наш автобус – хороший, слава богу, был день, – съездил сам к Стейхену – а мы уже почти доехали! – привез его гостей, которых тот пригласил, со стульями, с выпивкой, с закуской на эту поляну. И мы устроили на 35-й миле праздник дружбы. И даже шериф выпил с нами!

Волков: Фантастическая история!

Евтушенко: Поразительно! Видите, какие вещи! И когда я через шесть лет приехал уже с большими выступлениями, то Стейхен устроил в мою честь огромный прием. Он был начальником отдела фотографии.

Волков: В *Museum of Modern Art*[76].

Евтушенко: Да. У нас продолжалась дружба всю жизнь, до его смерти в 1973 году. А я между тем находил возможность передавать ему в подарок для музея картины советских художников. Так туда попали первые советские картины. И он выставил их все, когда я приехал.

Художник и политика (мягкая сила)

Евтушенко: Я считаю, что писатель вообще никак не соотносится с политикой, не имеет просто на это права. Политика манипулирует людьми. Политика убивает людей, начиная вóйны. Поэтому быть совсем равнодушным к политике нельзя. И писатель должен все-таки думать о политике. Не надо очень часто, подряд высказываться, это девальвирует значение поэта. Но иногда есть такие моменты истории, когда высказываться нужно.

Волков: Сейчас существование политического и даже пропагандистского искусства как бы реабилитируется. Потому что долгое время под пропагандистским искусством понимали, скажем, искусство фашистской Германии, или муссолиниевской Италии, или тоталитарное искусство соцреализма, как его воспринимали на Западе. В прогрессивных, авангардных кругах – и советских, и западных – это всё просто отметалось. Серьезное изучение этого периода не включалось в историю искусства. А

сегодня раздаются голоса влиятельных историков культуры и искусства, что это несправедливо. Потому что всегда существовали две ветви: ветвь подчеркнуто, принципиально аполитическая и ветвь политического искусства, пропагандного искусства. Одно сосредотачивалось на форме, другое хотело в большей степени донести содержание. Но на самом деле такого не бывает, в реальной жизни форма от содержания никогда не отделяется.

Я, например, считаю, что «Я – Куба» – великий фильм. Это ваша удача, ваше везение, потому что кино, киноиндустрия – не область индивидуального творчества, это промышленность. И сделать в этой области штучный товар – невероятное везение. «Я – Куба» производит сильнейшее впечатление именно как произведение искусства, а не как пропаганда.

Евтушенко: Не на циников.

Волков: Вы знаете, и на формалистов. Это же энциклопедия киноприемов! Это потрясающе изобретательное кино. Я недавно был в Вашингтоне на фестивале, посвященном Шостаковичу. Показывали среди прочего фильмы с музыкой Шостаковича, обычную обойму: «Король Лир», «Гамлет», «Пять дней – пять ночей»… Но показали фильм, который я никогда не видел, под названием «Песня великих рек». Сделал его Йорис Ивенс[77], голландец, с которым, может быть, вы сталкивались.

Евтушенко: Я его знаю хорошо, у меня даже стихотворение о нем есть – «Баллада о Йорисе Ивенсе».

Волков: Он в это время как раз убежал из Голландии, то есть голландцы его, по-моему, выслали. И он жил в Восточном Берлине, это сорок шестой год. И сделал фильм о Всемирной федерации профсоюзов, помните, была такая сталинская организация, которая действовала по всему миру? И Шостакович написал 45 минут музыки, в том числе замечательную песню. Представляете, какое содружество: фильм Ивенса, музыка Шостаковича на слова Бертольда Брехта, а поет Поль Робсон! Причем Шостакович писал музыку в Москве, Брехт написал слова в Восточном Берлине, а Поль Робсон записал в Бруклине. Они никогда вместе втроем не сошлись. Это всё организовал Ивенс, такой вот международный проект. Это ж три титана! Ну, и Ивенс четвертый, конечно.

И знаете, почему этот фильм произвел на меня такое сильное впечатление? Во время холодной войны американцы и их тогдашние союзники, западные немцы, подхватили авангардное искусство по двум соображениям. Первое – это было искусство, которое было запрещено в нацистской Германии, а значит, хорошее по определению, автоматически. И второе: Советский

Союз авангард всячески преследовал, значит, мы, «просвещенный Запад», возьмем это дело под свое покровительство, будем устраивать всюду фестивали авангардной музыки, выставки абстрактной живописи и, таким образом, показывать, какие мы либеральные и хорошие и какой Советский Союз зажимщик авангардной прогрессивной культуры. И всё это было поставлено на широкую государственную ногу. Особенно в Германии – там в музыке авангардисты просто захватили всё. И шло это под флагом якобы «аполитичной» музыки.

И такая же во многом история была здесь, в Америке. Я, когда сюда приехал, разговаривал со многими американскими композиторами, которые мне говорили: знаете, я хотел писать понятную тональную красивую музыку с мелодиями, но я не мог. Меня бы заклевали! Вся моя карьера была бы уничтожена! Здесь была такая же диктатура авангардной музыки, как в Советском Союзе – диктатура музыки доступной. А сейчас пропагандистская, понятная массам линия реабилитирована во многом.

Евтушенко: Одна вещь исчезла из музыки, даже из попсовой, – мелодия. Ничего не запомнить. Насвистеть нельзя.

Волков: Знаете, какая последняя песня, которую я запомнил? Услышал, кстати, недавно: «Зашумит ли клеверное поле…» Ваши стихи, а музыка Андрея Эшпая ложится на слух…

Евтушенко: А вы знаете, о чем я жалею? Очень жалею… О том, что сейчас происходит в области культурных обменов с Америкой. Вот вы подумайте, какой парадокс: во время холодной войны у нас были наитеплейшие взаимоотношения с американскими писателями. Мы встречались каждый год, спорили иногда, бывало. Но никогда это не превращалось в борьбу, хотя, конечно, всякие сурковы путались под ногами. Читаешь, например, воспоминания Артура Миллера, как хотели изменить устав ПЕН-клуба[78]. Это же просто смехотворно! Это Сурков! Но все-таки сколько в этом было хорошего! Потому что угроза ядерной войны, нависавшая тогда над нашими странами, нас сближала.

А что сейчас случилось? Как разъединилась интеллигенция! Посмотрите, сколько происходит международных футбольных матчей, теннисных турниров и т. д. Но мировая интеллигенция почти не встречается друг с другом. А ведь столько проблем накипело!

Волков: А вы знаете, почему это происходит, Евгений Саныч? По очень простой причине. В ваше время и американский истеблишмент, и советский были заинтересованы в том, чтоб оставить хоть какие-то каналы взаимных контактов и как-то прощупывать – неофициальным образом – настроения друг друга.

Евтушенко: Минуточку-минуточку. Но ведь у нас же теперь без конца происходят бизнес-саммиты всякие!

Волков: Там писатели не нужны. Там встречаются олигархи, с одной стороны, и миллиардеры – с другой.

Евтушенко: А может быть, мы заслужили такое пренебрежительное отношение? Если государство не понимает значения таких контактов, то, может быть, сейчас у нас не хватает писателей, которые своим поведением, своими словами, значением высказывания своего могли оказаться нужными государству? Может быть, нам просто недостает сейчас таких людей, таких писателей?

Волков: Когда мы с вами говорим о культурных болевых точках современного общества, то ваш взгляд неизменно более оптимистический, а я все время оказываюсь в позиции скептика. Но в этой области, в плане возможных культурных обменов я скорее оптимист. В Америке довольно давно существует такое понятие, как мягкая сила, так называемая *soft power*, под которой подразумевается влияние на другие государства, на события в мире с помощью не военной силы, а с помощью в основном культурных механизмов разного рода. То есть это влияние и литературы, и музыки, и кино, и идей каких-то. И американцы давно анализируют это дело. Но я с недавних пор с удивлением всё чаще и чаще читаю рассуждения о мягкой силе со стороны российских политических экспертов.

Евтушенко: …А вот к разговору о мягкой силе. Журналист высочайшего класса Гаррисон Солсбери, заместитель редактора *«New York Times»*, сколько книг важных написал.

Волков: Он был превосходный журналист, но писателем как таковым не был. Хотя написал роман о России. С Солсбери мы хорошо знакомы.

Евтушенко: Мы сейчас не говорим о нем как о прозаике. Он очень интересную книгу написал о Ленинграде[79] все-таки, лучшую книгу о блокаде!

Волков: Историческую по своей значимости книгу. Потому что она была первой попыткой дать глубокую, объективную, насколько это было возможно на основании тогда опубликованных документов, историю ленинградской блокады.

Евтушенко: Вот, кстати, мы говорили о шестидесятниках. Ведь он же признавался, что многие шестидесятники были просто его героями. Вы знаете, это дорогого стоит от такого человека.

Волков: Это был человек, искренне влюбленный в Россию, в ее историю. И ведь эти его «900 дней» появились тогда, когда в самом Советском Союзе о ней помалкивали. Сталин попытался вообще этот эпизод трагический изъять из исторической памяти,

как будто ничего подобного не было. Музей обороны и блокады Ленинграда был закрыт по его прямому указанию, распылен, директор арестован. Это всё было связано с так называемым ленинградским делом.

Евтушенко: Честное слово, я не знал про это. А чем это объясняют?

Волков: У Сталина как всегда были многоходовые политические комбинации. Сначала он почти объявил – то есть все так считали – своими наследниками двух ленинградцев – Николая Вознесенского и Алексея Кузнецова, которые вошли в его ближайшее окружение. Но потом Сталин решил, что слишком рано выбрал себе наследников. А в Ленинграде в это время именно в связи с блокадой возникли настроения, о которых, кстати, первым написал как раз Гаррисон Солсбери, тогда корреспондент *«New York Times»* в Москве, – что, может быть, сто́ит в Ленинград перенести столицу России, РСФСР. И вообще дать больше прав Российской Федерации, что в тот момент вообще не входило в планы Сталина. В этом он увидел попытку какого-то сепаратизма.

Евтушенко: Да еще высказанную американцем…

Волков: И тогда возникло «ленинградское дело». Всё руководство Ленинграда было репрессировано. Расстреляли и Николая Вознесенского, и Алексея Кузнецова.

…Помните, как Сталин когда-то, когда ему сказали, что у папы римского большое влияние, спросил иронически: «А сколько у папы дивизий?» Потому что для Сталина сила, влияние государства измерялось количеством штыков в его распоряжении. Вот интересно: Ленина проблемы культуры не очень волновали, хотя он был гораздо более образованным человеком, чем Сталин. Но Сталин интересовался культурой как таковой и создал модель советской культуры, которая просуществовала абсолютно в неизменном – или, может быть, в чуть-чуть подправленном – виде до 1991 года. А после развала Советского Союза новая Россия впервые за долгие-долгие годы оказалась вообще без какой бы то ни было модели существования культуры. И только сейчас, как мне представляется, начинаются какие-то первые попытки выползти из-под развалин этой прежней имперской советской культуры и разобраться в том, каковы же механизмы действия современной культуры.

Евтушенко: Вот мне звонили, приглашают принять участие в серии культурных встреч во Франции, который проводит французский Институт культуры. И уже Медведев приезжал и говорил о предстоящем. Это будет встреча с нашими художниками-эмигрантами, которые давно уже обосновались в

Париже: Целков, Оскар Рабин – ветеран… патриарх бульдозерной выставки. И Заборов Боря, очень хороший художник. Приезжают Галина Волчек, Веня Смехов, потом встреча с писателями – Владимир Войнович будет выступать, Анатолий Гладилин тоже туда как-то попал… Всё это под эгидой нашего посольства во Франции и французского Института культуры. Давно очень не проводилось ничего подобного.

Волков: Вот видите, всё это подтверждает мои наблюдения. Ведь до самого недавнего времени в российских посольствах за рубежом, когда произносились слова «русская культура», то под этим понимался оркестр балалаечников.

Евтушенко: Но я хочу сказать, что все-таки некоторые наши дипломаты, в частности Добрынин, понимали важность культурных обменов.

Волков: Это всегда было исключением. Всегда!

Евтушенко: Это верно. Но был и посол СССР во Франции Сергей Александрович Виноградов, который тоже понимал это. За приездами многих шестидесятников, и не только шестидесятников, на Запад очень часто стояли наши послы. Такие, как Добрынин, который очень любил поэзию. Между прочим, мы даже с ним спорили однажды. Он меня уговаривал встретиться с Линдоном Джонсоном, но у меня были основания не видеться с ним. Я объяснил Добрынину, что хотя мне, конечно, интересно встретиться с американским президентом, но в разгар войны во Вьетнаме (а тогда была эскалация этой войны) – я приехал по приглашению двадцати семи американских университетов – это будет неразумно.

Волков: Потому что война во Вьетнаме была крайне непопулярна в американских кампусах.

Евтушенко: Да, не думаю, что такая встреча понравилась бы американскому студенчеству.

Вьетнам

Евтушенко: Иностранцы во вьетнамской войне не участвовали. И наши люди там не воевали.

Волков: Почему? Сейчас вроде считается, что воевали?

Евтушенко: В Корее воевали, а во Вьетнаме не воевали, инструктировали только. Вот на моих глазах случай был. Меня пригласили почитать стихи на женскую антисамолетную батарею вьетнамок. И там был русский инструктор. И когда американцы начали обстрел – с авианосца летели такие маленькие самолеты, шли на бреющем полете и стреляли, – убили их пулеметчицу, которая сидела за небольшим таким орудийцем зенитным. А наш

парень-инструктор схватился за это орудие – и его на моих глазах убила вьетнамская девушка! По инструкции! Стала кричать ему: «Это нельзя! Ленсо!» «Ленсо» – это советский. Нельзя стрелять советским! «Низя, низя». И она выполнила приказ. Душераздирающая сцена! А может быть, у них была тайная любовь, а? Хотя нет, это же было запрещено строжайше.

У меня есть стихотворение об этом[80]. Это целая история. Советских людей не приглашали домой. Из-за бедности, в основном, вьетнамцы очень бедно жили, ходили в сандалетах, сделанных из покрышек автомобильных. А вьетнамский писатель один меня пригласил. Он в Сорбонне учился. Я с ним говорил по-испански, по-итальянски, а он по-французски, но мы как-то друг друга понимали. Он меня угощал, у него была трофейная бутылка виски от пленного американского летчика, который спрыгнул с парашютом, и спиртовка. На спиртовке вьетнамский классик готовил каракатицу сушеную, подогревал. А на книжной полке – у него было очень много книг, особенно на французском, – сидел кот, прямо на Бодлере и Верлене лежал. И вдруг этот кот прыгнул оттуда и сорвал кусочек каракатицы с вилки у меня! Такой акробатический прыжок! Потом почувствовал свою вину, замурлыкал, стал тереться о штанину мою, и я взял его на руки. И это было что-то страшное… Потому что я ощутил, что он ничего не весит! Он был как пушиночка, почти совсем ничего не весил! И мне это было страшнее, чем то, к чему я привык уже там… страшнее трупов! Так я почувствовал, что такое война вьетнамская.

И еще был жуткий случай, когда я разрешил своему шоферу-вьетнамцу уклониться немножко от дороги № 1 – он не видел давно свою невесту. И в это время бомбанули, и у него голова покатилась… улыбающаяся… Он невесту увидел уже!.. Понимаете, когда видишь столько страданий человеческих, то любое политическое ханжество и амбиции политические кажутся такими ничтожными, преступными! Потому что столько проблем реальных у человечества! И полуголодание, полуумирание – от голода и от болезней, и эпидемии… Я, кстати, был просто поражен, когда нашел где-то высказывание Эйзенхауэра: когда ты думаешь о новом летящем снаряде, не забывай, сколько денег украдено у твоих налогоплательщиков – вместо того чтобы накормить стольких людей. Я даже не представлял, что он, генерал, мог написать такую вещь…

Волков: Но Эйзенхауэр, как известно, выступал против военно-промышленного комплекса – когда решил, что они слишком много забрали себе влияния.

Евтушенко: Я когда-то был у Роберта Кеннеди и говорил с

Робертом Макнамарой, думая, что это его секретарь. Потому что его представили как *Secretary McNamara*. А он был министром обороны! А не так давно вышел фильм о войне во Вьетнаме, мемуарный фильм с его комментариями, – вы не видели?

Волков: О Макнамаре? Видел, конечно. Его снял мой хороший знакомый – Эррол Моррис[81].

Евтушенко: И некоторые Макнамару упрекали: мол, тогда он был «ястребом». Ничего подобного! Я помню, как он мне тогда сказал – он знал, что я поэт и не использую нигде то, что говорит министр обороны: «Вы, может быть, не представляете, как мне тяжело, как я не сплю ночами. Самое страшное, что войну очень трудно остановить – как огромный прущий локомотив. Это такая инерция образуется гигантская! Начать легко. А вот остановить безумно трудно!» Меня потрясла его откровенность…А однажды я разговаривал с Калашниковым.

Волков: С изобретателем знаменитого автомата нашего?

Евтушенко: Да-да. У меня было, конечно, совершенно другое впечатление о нем. Потому что я никогда не забуду, как я первый раз увидел в Ирландии, уже будучи женатым на Джан Батлер, конфискованные «калаши». Их гора целая лежала! Оказывается, мы продавали их в Ирландию.

Волков: Ими до сих пор торгуют по всему свету. Это, по-моему, излюбленное оружие всех повстанцев и террористов.

Евтушенко: Так вот, я Калашникова спросил при встрече: «А какие вам сны снятся?» И вот что он мне ответил. Это просто абсолютно точно, что он мне сказал, я просто зарифмовал:

> «Скажите, а вам сны какие снятся?» —
> «Мир на Земле, для шарика всего…
> И всюду „калаши“ мои пылятся,
> не убивая больше никого…»

Это сказал создатель оружия! Видите, почему в конце концов так страдают и раскаиваются атомные ученые, которые положили столько сил на изобретения, обращенные в страшные орудия уничтожения? Хотя, может быть, изначально у них были совершенно иные замыслы. Потому и Михаил Тимофеевич так сказал – понимал, сколько людей было убито его «калашами». Он был искренен, когда это говорил…

Патриотизм и антипатриотизм

Евтушенко: В Америке до сих пор двойственно относятся к

американцам, которые выступали против войны во Вьетнаме. Я понимаю, почему они это делали, – они спасали честь своей страны. И я думаю, секрет тут простой – понимание, что такое патриотизм. Патриотизм по отношению к своей стране не противоречит патриотизму – ко всему человечеству. Просто он перестает быть патриотизом только своей страны. И это все должны понимать.

Волков: По моим наблюдениям, как человека, который в Америке уже тридцать шесть лет живет, в американском отношении к людям, которые вели себя непатриотично, как это, скажем, в случае с Вьетнамом было с Джейн Фондой, Сьюзен Зонтаг[82], решающим является, как ни странно, вопрос коммерческого успеха. Если к кому-то были претензии по поводу их недостаточного патриотизма, но их карьера с коммерческой точки зрения развивается успешно, то им прощают абсолютно всё. Главное – коммерческий успех. Тогда человек сразу становится хорошим патриотом, и ничто ему не мешает ни появляться на экранах телевизоров, ни печататься, и интервью у них берут, и любят их, и цветы им дарят, и обнимают, и тысячные толпы приходят на их выступления.

Евтушенко: Ну, наверное, не все так думают. Все-таки у Америки есть своя интеллигенция настоящая, ее символизировал для меня, например, Артур Миллер. Это человек, который не сделал ни одной, по-моему, моральной ошибки никогда!

Волков: Но у Артура Миллера, коли уж мы о нем заговорили, подряд несколько пьес имели очень малый успех и, говоря профессиональным языком, проваливались с коммерческой точки зрения, быстро сходили со сцены. А потом – произошло это на моих глазах, я этому свидетель – на Бродвее возобновили его классическую пьесу «Смерть коммивояжера», главную роль играл Дастин Хоффман, – и она имела феноменальный коммерческий успех. И сразу отношение к Миллеру изменилось на сто восемьдесят градусов! Он опять стал любимый, почитаемый, модный, забыли ему его левацкие взгляды…

Евтушенко: Да не было у него левацких взглядов!

Волков: Ну, весьма либеральные.

Роберт Кеннеди
Дело Синявского – Даниэля
«Большая игра» американской разведки

Волков: А с Джоном Кеннеди вы встречались?

Евтушенко: Нет-нет. Но вот что мне рассказывал Роберт Кеннеди, брат его. Джон Кеннеди меня даже цитировал однажды,

упомянул в одной своей речи в Вест-Пойнте. Он сказал: «Я прочел автобиографию русского поэта Евгения Евтушенко, которая произвела на меня большое впечатление. Я бы хотел, чтобы вы так же любили нашу родину, Америку, как он любит свою страну». Вот, пожалуйста: в то время как меня долбали в Москве, Джон Кеннеди обо мне так сказал. Он хотел меня пригласить, но понимал, что в тот момент это было невозможно. Обо мне тогда писали, что я «набил несмываемые синяки предательства». Это была целая брошюра, вышедшая в «Комсомольской правде», авторства Панкина, Оганова, Чикина[83]. И Панкин, и Оганов потом извинились передо мной, но Чикин – нет, он упорно продолжает… продолжает ту же самую антиевтушенковскую линию в своей газетенке «Советская Россия». Даже против антологии моей выступает.

Волков: «Строфы века» или новой уже?

Евтушенко: Да, против новой антологии. Которую я печатаю сейчас, главы из нее, что я там искаженную картину дам…

Волков: Я хотел бы закончить историю с Робертом Кеннеди. Как вы с ним встретились?

Евтушенко: Во-первых, вы знаете, какой прием мне устроили, когда я приехал в Америку в 1966 году! И Роберт Кеннеди хотел передать мне то, что не успел его брат сказать. Оказывается, Джон читал мои стихи.

Волков: Ему небось Жаклин Кеннеди их принесла, она была знаменитой русофилкой.

Евтушенко: Он даже цитировал их в Вест-Пойнте. Но Джон думал, что, может быть, мне повредит, если он пригласит меня: ведь у нас меня и так поносили за опубликованную на Западе автобиографию, за якобы ее антипатриотизм. Вот мы с Робертом об этом и разговаривали.

Потом на своей квартире, при первой нашей встрече, он мне рассказал историю о том, как имена Синявского и Даниэля были выданы нашей разведке американской разведкой.

Волков: Как это он вам рассказал?!

Евтушенко: А просто! Вот так и сказал!

Волков: Как это происходило?

Евтушенко: А происходило это очень забавно. Он мне показывал, где туалет, проводил меня туда. «И кстати, я хотел вам сказать, – включил душ и при включенном душе: – Я хотел бы, чтоб ваши люди знали: имена ваших двух писателей были выданы нашей разведкой». Я был потрясен просто, тогда я был еще наивный. Я говорю: «Почему?» – «Ну как почему? С первых полос сошла на какое-то время война во Вьетнаме, а это сенсация: русские арестовывают своих писателей, а мы за свободу слова.

Ну, всё это чисто политические игры», – заключил он.

Волков: А почему ему было важно это вам сказать? И к кому он адресовался через вас? Потому что на уровне политических деятелей такого ранга и масштаба, как Роберт Кеннеди, такие вещи случайно не делаются. А в его каких-то тактических планах ему представлялось это, видимо, необходимым.

Евтушенко: Да видите, в чем дело, он меня не предупреждал, что я не должен этого никому говорить. Но было ясно совершенно, что нельзя называть его фамилию, достаточно было включенного душа. И я пошел к Николаю Трофимовичу Федоренко, который был нашим представителем в ООН, и сказал, что у меня есть очень важное сообщение, которое мне передал американский деятель. Мне нечего было терять, потому что один из журналистов «Известий» – даже сейчас не могу открывать своего источника – мне сказал, что у них был Семичастный…

Волков: Председатель КГБ.

Евтушенко: Да, и провел с ними беседу. Семичастный выступал очень резко, говорил о том, что вышла за границей книга бывшей зэчки Евгении Семеновны Гинзбург, которая показывает в дурном свете нашу страну[84], и что эта женщина заслуживает того, чтобы еще посидеть. И вообще некоторые люди заслуживают того, чтобы снова угодить в лагерь. Тогда один из журналистов спросил: «А как вы думаете, сколько?» – «Ну, немного, человек сто арестовать, так сразу испугаются, – сказал Семичастный, и говорил он это открыто. – Вот сейчас, например, выпускают в Америку Евтушенко одной рукой, а Синявского и Даниэля сажают другой рукой. А Евтушенко опасней многих диссидентов!» Это было как раз перед самим моим отъездом. Мне нечего было терять! И я понимал, что что-то готовится…

Волков: В Советском Союзе?

Евтушенко: Да, а готовилась операция посадить на трон Железного Шурика – Шелепина.

Волков: Одного изтогдашних руководителей страны, да?

Евтушенко: Да, там целая история была. Долгая история, как это у них не получилось… Егорычев[85] выступил на партийном пленуме и начал говорить о том, что Москва не подготовлена к обороне. Потом должен был выступать еще кто-то из таких же «оппозиционеров». И вдруг встал Суслов и объявил перерыв. А после перерыва уже выступали другие люди.

Волков: То есть была попытка такого мягкого переворота? Они хотели Шелепиным заменить Брежнева?

Евтушенко: Да, и это было уже разыграно, уже Павлов был готов их поддержать. Они чувствовали себя весьма безнаказанно.

Но возвращаюсь к Роберту Кеннеди. Тогда я пришел в миссию

ООН и сказал, что напишу такое письмо: «Очень важные сведения, и я считаю, что это просто равно измене родине». Правильно? Это же измена родине, то, что они сделали?

Волков: В каком смысле?

Евтушенко: Ну как! Они попались на американскую удочку! На провокацию! Как можно было такую карту американцам давать, которая работала против своей страны! Им подкинули, и они проглотили с огромным удовольствием. Ведь они давно уже искали этих людей! Давным-давно!

Волков: Да, КГБ пытался раскрыть эти псевдонимы – Абрам Терц и Николай Аржак. И тут им сообщили, что это Синявский и Даниэль!

Евтушенко: И Синявский, когда я рассказывал Андрею Донатовичу эту историю, мне подтвердил, что был очень удивлен, когда увидел на столе у следователя американскую верстку своего произведения.

…И я, значит, написал письмо, и Федоренко меня даже не спросил, от кого эти сведения. Он сказал: «Это ваше письмо будет шифровальщик читать. Только шифровальщик!» Вы думаете, я не понимал, в какую опасную игру я играю?

На следующий день в семь часов утра из миссии ООН два товарища ко мне приехали. Сказали: «Вас ждут в нашей миссии, срочно». Я ждал этого. Я сказал Гале (она была в курсе дела): «Если я не вернусь до двенадцати часов, ты должна будешь сообщить Тодду, что произошло. Только ему», – Альберт Тодд отвечал за мою поездку по Америке.

Волков: Ну да, чтобы американцы знали.

Евтушенко: В семь я уехал. Товарищи в машине не говорили со мной. Когда вошли в здание миссии, прикрывали спиной номера этажей в лифте.

Волков: Чтоб не показать, куда вы едете.

Евтушенко: Да. Вошли в почти пустую комнату. Один из них сел на стул, другой встал у меня за спиной – знаете, как в кино, насмотрелись американских триллеров, – и начали разговор: «Кто вам дал эти сведения? Вы написали письмо, компрометирующее Комитет государственной безопасности, клевету…» Я говорю: «Во-первых, откуда вы знаете о том, что было в письме? А во-вторых, я ведь не утверждал в нем, что это правда». Тогда мне уже сказали такую вещь: «Знаете, товарищ Евтушенко, вы, конечно, поэт хороший, и жалко будет, если вас где-нибудь найдут под мостом в каком-нибудь Куинсе. „Правда“ напечатает некролог: вот, человек погиб от рук мафии… Вы понимаете, что мы имеем в виду? Вы встали на путь борьбы с Комитетом государственной безопасности. Это вы попались на удочку наших американских

врагов!» И тут уж из меня посыпалось всё! Весь запас хороших русских слов! Я заорал, что меня нечего запугивать! Вспомнил почему-то, как во Вьетнаме я выбирался сквозь трупы… Я орал и орал: «Вы меня не запугаете!» – и они вдруг вышли. И вот тут я испугался. Когда орал – не боялся, а когда остался один, мне страшно стало. Сейчас еще убьют, в мешок сунут и, кто его знает, через мусоропровод выкинут… А что? Почему нет? Подошел к двери, взялся за ручку – и она открылась! Я моментально к лифту, а там стоит горничная с подносом. Я говорю: «А куда вы едете сейчас?» – «А я к Николаю Трофимовичу». – «И мне тоже туда!»

Захожу к Федоренко, всё рассказываю ему, он спрашивает – кто, как они выглядели… И вдруг говорит: «Женя, я знаю, что Альберт Тодд – ваш близкий друг. Сейчас вы немедленно поедете на моей машине под советским флагом к нему домой. Звоните ему сейчас. И всё, что вы рассказали мне, расскажите ему. Всё!» Я был потрясен – я-то думал, что эта история будет храниться в секрете. Нет, Николай Трофимович по-другому сообразил: «Вы когда уезжаете на гастроли?» Я говорю: «Послезавтра». – «Вот и уезжайте…»

Я приехал к Тодду, Тодд побелел просто. Потом стал звонить куда-то и спрашивает: «Ты Гале когда сказал, что будешь ей звонить?» Я сказал: «Ну, еще есть время». – «Потом позвоним, – говорит, – потом… сейчас еще не надо». И все время смотрел в окно – там на улице стояла машина, на которой я ехал под флагом Советского Союза, и два человека всё еще сидели в ней. Я тоже подошел и стал смотреть. И вдруг увидел: подъехала другая машина, вышли два американца, пожали руку нашим дружески – и наша машина отъехала. И с этой поры эти два человека меня не покидали, все 45 дней ездили со мной везде и всюду. Даже когда я с девчонкой ходил на свидание, они сначала забегали вперед и проверяли всё.

Через 45 дней я вернулся, Федоренко меня встречал. На приеме в мою честь пятьсот человек было. И Федоренко мне говорит: «Евгений Саныч, всё в порядке. Этих людей уже здесь нет. Приняты меры. В Москве тоже приняты меры».

Волков: Просто сюжет для детективного романа.

Евтушенко: Опровержение было ЦРУ, что это фантазия поэта, а с нашей стороны это вообще не трогалось.

А теперь последнее о Роберте Кеннеди. Я ему не рассказывал продолжение этой истории. Я понял, что он хотел только, чтоб это было озвучено. Больше он меня ни о чем не просил. Знал он или не знал – я не знаю. Я правильно сделал, по-моему, что не продолжал на эту тему с ним разговаривать. Хотя я убежден

почему-то, что он знал, что со мной произошло: уж больно как-то сердечно он меня потом пригласил к себе на день рождения. Я думаю, что или Тодд, или люди, с которыми был связан Тодд, дали ему знать.

На дне рождения Роберта и случилась эта знаменитая история, которую недавно его дочка Кэтлин вспоминала. Она влюбилась в меня, оказывается, тогда, хотя была еще маленькой девочкой. Она рассказывала моему сыну Жене – пригласили нас к Кеннеди года три тому назад, – что стояла рядом и всё видела.

Я сказал Роберту: «Почему вы все-таки хотите идти на президентские выборы? Ведь такое несчастье лежит на вашей семье, как будто какая-то печать. Вы не боитесь?» – «Вы знаете, – говорит он, – только если я стану президентом, я, может быть, смогу докопаться до истины, кто убил моего брата». Я сказал: «Ну, тогда давайте выпьем по русскому обычаю – до дна, а потом бокалы об пол!» А он в последний момент: «Ой, – говорит, – эти бокалы из приданого Этель…» И жена его Этель поменяла нам хрустальные бокалы, а новые не разбились, когда мы их бросили. И вот тут, я думаю, он тоже испугался. Это было страшноватенько. Он поднял бокалы и постучал по ним. Это был не хрусталь, а толстый пластик или что-то в этом роде. Жены есть жены… Но я абсолютно уверен, что Роберта Кеннеди убрали только по той причине, что не только со мной, а и с кем-то еще делился, что хочет продолжать поиски убийц брата.

Волков: С этим связана ваша нелюбовь к Линдону Джонсону?

Евтушенко: Я вам ничего этого не говорил. Презумпция невиновности есть презумпция невиновности. Но вы догадливый человек…

Волков: В связи с тем, что вы рассказали о попытке посадить Шелепина на место генерального секретаря, не было ли со стороны Роберта Кеннеди тоже таким политическим ходом – попыткой предотвратить снятие Брежнева? Если Кеннеди компрометирует КГБ, тогда он компрометирует и их ставленника, правда? Штатам, вероятно, было выгодно сохранить Брежнева в тот момент?

Евтушенко: Безусловно. Ведь Шелепин и его люди были очень агрессивны и мало американцам знакомы. А Брежнев был им ясен. Да, я думаю, наверное, так и было… Но Тодд был просто грандиозен. Он меня тогда спас, быть может, от смерти.

Встреча с Никсоном и шмон

Евтушенко: Я был принят Никсоном 3 февраля 1972 года, перед его поездкой в Советский Союз, – это была поразительная

беседа. И я счастлив, что согласился принять его приглашение.

Я не согласился, когда Анатолий Добрынин, наш посол в США, очень хотел, чтоб я встретился с президентом Линдоном Джонсоном. Но он с уважением воспринял мой отказ… я не хотел той встречи.

А теперь это было так. Добрынин сказал мне, что позвонил ему Генри Киссинджер и сообщил, что уже следующий президент Никсон едет сначала в Китай, чтобы кардинально улучшить отношения с Китаем, а потом поедет в Советский Союз. И президент хотел бы, зная, что я многое близко к сердцу принимаю во взаимоотношениях между Америкой и Россией, что знаю и ту, и другую сторону очень хорошо, чтобы мы с ним поговорили.

Никсон пригласил меня в Овальный кабинет. Я приехал туда с Альбертом Тоддом. И Альберт меня очень просил, поскольку я недавно был во Вьетнаме – вот тоже интересная деталь, – чтоб я обязательно сказал Никсону о войне во Вьетнаме: как она непопулярна, эта война, что ее нужно кончать, что американцы устали… Ну, это правда, мне многие американцы об этом говорили. Я пообещал, если придется к слову.

Никсон сразу начал по делу. Сказал, что едет в СССР, что после его поездки на американскую национальную выставку в Москве в 1959 году его имя у нас очень непопулярно, некоторые даже считают, что у него антирусские настроения.

Волков: Это после знаменитых его дебатов с Хрущевым на кухне американского пригородного дома на выставке в Сокольниках?

Евтушенко: Да, после кухонных дебатов. Тодд не был допущен тогда, присутствовали только Генри Киссинджер и переводчик. А мне Никсон сказал: «Мистер Евтушенко, вы хорошо знаете и Америку, и, конечно, свой собственный народ. Вас очень уважают в вашей стране. Я бы хотел, чтобы отношения между Америкой и Россией улучшились. Скажите, что я, как американский президент, должен сказать советскому народу? Я получаю двадцать минут нецензурированного времени на вашем телевидении. Я могу сказать всё что угодно, меня будет слушать весь многонациональный Советский Союз». И я ему сказал: «Мне кажется, господин Никсон, что вы должны начать с духа Эльбы». Он так искательно посмотрел на Киссинджера – Киссинджер сразу ему сказал, что это маленькая речушка в Германии, где в 1945 году встретились и братались американские и советские солдаты. И время от времени там проходят встречи ветеранов.

Волков: Неужели Никсон не помнил про Эльбу?

Евтушенко: Он не знал! Он не слышал никогда названия этой

речушки! Никсон говорит: «Скажите, мистер Евтушенко, но ведь столько времени прошло после конца войны, неужели для русских это все еще важно?» Мне это нравилось в нем – что он не притворялся всезнайкой, не разыгрывал из себя эрудита. Он был естественный.

Волков: Это очень интересно, потому что американцы как раз ему в вину вменяли именно постоянную двуличность.

Евтушенко: Нет-нет! Он был очень искренен со мной. Я говорю: «Мистер Никсон, у нас нет почти ни одной семьи, которую бы не задела так или иначе война своим трагическим крылом. Точно так же, как очень мало семей, которые не были задеты тем, что мы теперь называем нарушением социалистической законности в сталинское время». – «Через столько времени!..» И вдруг задает мне вопрос: «Скажите, а сколько русских погибло?» Я был просто потрясен этим вопросом! Я был уверен, что профессиональный политик, американский президент, не может не знать этого. Я ему сказал: «Цифры называются разные, официальная цифра – двадцать миллионов». Тут, между прочим, вступил Киссинджер: «Мне кажется, она гораздо больше…» Последняя, кстати, горбачевская цифра была двадцать семь миллионов. «Ско-олько?!» – Никсон просто ошеломлен был. «А чтобы ощутить это, вот такие раны, где мне лучше у вас побывать? Какое-то есть у вас место, где я мог бы просто возложить цветы, просто от души? Я потрясен этой цифрой!» И добавил: «Простите, что я этого не знал. Мне стыдно». Я говорю: «Я думаю, что вам нужно съездить на Пискаревское кладбище. В Ленинград. И советую прочитать хорошую книжку Гаррисона Солсбери о ленинградской блокаде. Но это большая книга. Вам даже хватило бы маленькой брошюрочки – одна девочка ленинградская написала короткий дневник». И называю…

Волков: Таню Савичеву.

Евтушенко: Да. «Хорошо», – сказал Никсон. Потом были разные разговоры. Он спросил меня: «Когда я в прошлый раз был в Москве, меня почему-то три раза приглашали на один и тот же балет – „Лебединое озеро“. Что-нибудь у вас вместо балета можно посмотреть? Что сейчас смотрят ваши люди, что им нравится, есть что-нибудь новое?» Я сказал: «У нас есть, мистер Никсон, очень хороший новый театр молодой – Театр на Таганке. Его, правда, поругивают, но это любимый театр интеллигенции нашей, и я думаю, если американский президент появится в театре, то это будет большая помощь этому театру в поднятии его престижа». Правильно я сказал?

Волков: Абсолютно.

Евтушенко: Всё это было записано, Киссинджер подтвердил, что Никсон это сделает. Я разговаривал с ним час пятнадцать – это большое время. Он все время о чем-то меня спрашивал, спрашивал мое мнение об американцах. Но не давал мне возможности сказать о том, о чем просил меня Тодд. Конечно, он знал, что я был во Вьетнаме, – ему же наверняка доложили, что Евтушенко там был корреспондентом поэтическим. Но он вот что еще меня спросил: «Скажите, пожалуйста, а к тому, что я поеду сначала в Китай, а не в Россию, как ваши лидеры, вообще народ русский, могут отнестись? У вас же сейчас тоже очень натянутые отношения с Китаем? Как могут это расценить? Не могут ли это расценить как сговор?» Я говорю: «Наоборот, это может повлиять и на наше улучшение отношений с Китаем. Это огромная страна, и лучше с такой большой страной и нам, и вам иметь хорошие отношения. И если вы договоритесь с китайцами, но не за счет хороших отношений с Советским Союзом, то тогда и нам будет легче, по-моему…»

Короче говоря, он мне не давал вставить слово о Вьетнаме. Я думаю, он об этом говорить не хотел. А потом – по композиции разговора я чувствовал, что не нужно лезть ему в душу. Я знал, что у него непростая ситуация была. Все-таки он оказал мне честь – то, что он так доверительно со мной разговаривал, внимательно прислушивался к тому, что я говорил. И навязываться с Вьетнамом как-то неловко было мне. Какая-то настороженность бы возникла. Мне так казалось. Никсону бы сразу могло показаться, что меня кто-то заставил это сделать, хотя никто ничего мне не навязывал – ни Добрынин, никто другой из наших.

В конце встречи Никсон меня поблагодарил (позже он подарил мне президентские запонки, из которых, к сожалению, осталась только одна, вторая потерялась – такая авантюрная жизнь!) и сказал, что когда приедет в Россию, то будет рад видеть меня и других писателей – вообще писателей, интеллигенцию.

Я выхожу, Альберт Тодд меня ждет. Бросается ко мне: «Женя, ты сказал ему о Вьетнаме? Твое мнение?» Я говорю: «Берт, дорогой, это был разговор очень хороший, Никсон задавал вопросы, очень важные, о мире, о войне… Он мне понравился». Никсон, кстати, старался быть обаятельным, но у него это плохо получалось. У него не было природного обаяния, природной харизмы, он был похож немножко на Щелкунчика. Но, с другой стороны, это искупалось его искренностью и, я бы сказал, скромностью в какой-то степени. Я сказал Тодду: «Но, Берт, я ему книжку хотел подарить свою, да так и оставил у себя в портфеле, у меня даже не было времени вынуть ее». И вдруг Берт Тодд так губу закусил – мой близкий друг, который очень много для меня

сделал, и это тоже Америка – это моя Америка… И Берт хотел, чтоб эта война как можно скорее кончилась, чтоб не убивали больше американцев, он был убежден, что надо выходить из этой войны…

Волков: Очень может быть, это было не просто его личным мнением, а мнением определенного и влиятельного круга людей, правда?

Евтушенко: А мне неважно, кто за этим стоял, поручили ли ему попросить меня или не поручили. Во всяком случае, неплохие люди за этим стояли. Такие друзья Тодда, как Джеймс Биллингтон[86], например…

Мы стояли еще напротив Белого дома. И я говорю: «Ладно, давай сейчас, у тебя же книжка», – Берт портфель мой держал, портфель с книжкой. Я достаю эту книжку и, стоя тут же, на углу, напротив Белого дома, пишу… быстро пишу: «Дорогой мистер Никсон! И вас, и вашу семью Бог благословит, если вы остановите войну во Вьетнаме. Спасибо за прекрасную беседу. Ваш Евгений Евтушенко». Берт мне: «Посмотреть можно?» Посмотрел: «О, молодец!» Я говорю: «Держи, неси ее сейчас, пока мы здесь». А он уже подхрамывал тогда, с тростью раньше меня начал ходить, – и поковылял к Белому дому. Вернулся – счастливый! Сияет. «Ты знаешь, повезло! – говорит. – Они стояли на крыльце с Киссинджером, Никсон должен был уезжать куда-то, ждал машины. И я ему передал твою книгу». Тодд еще сказал: «Мистер Евтушенко был так увлечен беседой, что даже забыл подарить вам книгу, которая была надписана». Никсон открыл, прочел… «Спасибо мистеру Евтушенко за его искренность», – сказал Тодду. Он оценил мою искренность. А может быть, оценил и то, что я ему не сказал этого в лицо…

А вам интересен конец этой истории?

Волков: Конечно!

Евтушенко: Итак, выступления мои закончились, в газетах всюду была напечатана моя фотография с Никсоном – без каких-то особых комментариев, но в очень дружественном тоне, что состоялась беседа, столько времени заняла. И мне из Белого дома присылают в гостиницу несколько моих фотографий. С Никсоном и Киссинджером с тех пор была напечатана в моих книгах. И там были еще запонки вложены. И я еду домой. А я всегда из Америки вез всякую так называемую нелегальную литературу – не затем, чтобы ее распространять, а просто для самообразования. И на этот раз у меня было очень много таких книг. Потому что я был у Джеймса Биллингтона в Принстоне и увидел у него дома предмет своих мечтаний – восемьдесят два номера «Современных записок»!

Волков: Самый знаменитый эмигрантский журнал.

Евтушенко: Да, «Новый мир» эмиграции, если так можно сказать… И когда я в них впился, он это увидел! А когда-то мы вместе с Васей Аксеновым встречали Биллингтона в Москве, когда он приезжал к нам. И в аспирантской комнате, куда его поселили, ничего не было! А у него детишек трое было тогда, по-моему, копошились там. Я помню, мы пошли купили ему тарелки, вилки-ложки, постельное белье. Он этого не забыл. И так он на меня дома посмотрел: «Ну, твое!» А вы знаете, как этот журнал трудно было достать? Причем там были тоненькие номера оккупационного времени. Подпольные, которые издавались в оккупированном Париже!

Итак, еду я на родину после выступления в Мэдисон Сквер Гарден. Никто из поэтов не выступал там до меня! И встреча с президентом! Меня обнимал Добрынин! Я ему рассказал, о чем мы говорили с Никсоном, и Добрынин сказал: «Замечательно просто всё, Женя, спасибо огромное!»

Так что эйфория была, конечно. Я чувствовал, что сделал что-то хорошее – для мира, для своей страны и для себя самого, для самоуважения! Ну что тут плохого, когда человек себя уважает за что-то? Я считаю, что вел себя серьезно, искренне, ничем не покривил душой и для обеих стран что-то сделал. И вдруг на московской таможне у меня начинают открывать чемоданы…

Я показываю таможенникам удостоверение, что я член делегации. Они: «Это вы при себе держите!» – и начинается шмон! Обнаруживаются эти восемьдесят два номера «Современных записок», а кроме того, еще какие-то книжки. Всего у меня забрали, я точно помню, по описи сто двадцать четыре книги – порядочно! Черновики мои прихватили еще, помимо этих книг. Четыре с половиной часа меня обыскивали. Четыре с половиной часа! Личного обыска не было, так чтобы залезали в карманы, тоже не было, но когда я пошел в туалет, дверь держали открытой – вы представляете?!

Вышли… Жена Галя ко мне бросилась, она поняла уже, она опытный человек. Бросилась ко мне на шею и говорит – правильно совершенно: «Надо немедленно реагировать!» И я написал письмо. Тут же. Написал, что я возмущен, потому что я выполнял свою миссию – выступал, представляя свою страну, высоко держал знамя советской литературы – и что я прошу вернуть все книги, которые есть уникальная редкость… По-моему, в Ленинской библиотеке было что-то всего 18 номеров этих «Современных записок», я пробовал их там добиться…

Короче говоря, я в письме в КГБ, как опытный Маугли социалистических джунглей, объясняю, что нас все время

призывают изучать врага и поэтому мы должны знать то, что о нас пишут. Это история, которую нужно изучать. Поскольку часто, когда называют каких-то писателей, нам просто невозможно полемизировать, мы их совершенно не знаем…

Но, к счастью, у меня конфисковали также и фотографии с Никсоном с его надписью.

Волков: Заодно прихватили.

Евтушенко: И все это попало к Бобкову. Я на Бобкова прямо написал, поскольку я его знал. Он же был начальником безопасности, когда я ездил на фестиваль в Хельсинки.

Волков: В 1962 году? Я уже забыл: это он тогда пытался вас вербовать?

Евтушенко: Нет, он тогда не пытался. Он пытался перед фестивалем в Москве…

Волков: А, вспомнил: в 1957 году!

Евтушенко: Да. А потом был начальником безопасности в Хельсинках.

Волков: Он отвечал за безопасность всего фестиваля или только советской делегации?

Евтушенко: Нет, советской делегации, конечно. Там были неприятные, так сказать, разные вещи. И тогда они с Павловым…

Волков: Секретарем ЦК комсомола…

Евтушенко: …попросили меня что-то об этом написать. И я ночью написал «Сопливый фашизм». И читал его утром на нашем пароходе. Утром, в пять часов, собрали всех, и я читал на борту. Потому что люди испугались всего этого. Там сожгли клуб, там девочке, какой-то балерине, сломали ногу… бутылкой. И так далее.

Волков: Те, кто протестовал против советской делегации, да?

Евтушенко: Да. В этот день Павлов сделал невероятную вещь – они успели перевести стихотворение на все-все языки. И мне официально Павлов сказал, когда мы в Ленинград приплыли на этом пароходе: «Герой нашего фестиваля – Женя Евтушенко, который написал замечательные стихи». Тут же был Филипп Денисович Бобков, который тоже спасибо выражал огромное, так сказать, что я поддержал нашу делегацию на фестивале. Он больше не приставал никогда ко мне с этими делами, с вербовкой.

Так вот. Я, естественно, Бобкову написал – возмущенно, гневно – с требованием вернуть мои книги. И вдруг мне никто не отвечает! Я звоню – никого нету… Галя говорит: «Надо продолжать, нельзя просто так оставлять. КГБ заиграет это дело, а книжки хорошие». Наконец, меня приняли. Не сразу, недели через три-четыре. Сказали, мол, изучаем это дело… В общем, вернули

все книги, за исключением знаете какой? Анекдотов «Говорит Радио Ереван». За-чи-та-ли! И еще одну книжку не вернули. Это была книга Лидии Чуковской «Софья Петровна». Я ей потом рассказывал про это. Потому что эта книга была написана уже в Советском Союзе. А «Современные записки» вернули, они у меня дома и сейчас находятся.

Волков: Ну это большая ценность!

Евтушенко: Да. И была еще беседа с Бобковым. Я сказал: «Ну зачем всё это делать, зачем? Вы что, хотите, чтобы я родину больше любил? Да ее возненавидеть ведь можно за это!» – «Евгений Александрович, что я – за всех людей, что ли, могу отвечать?» – Бобков мне говорит. Я спрашиваю: «Скажите, а как вы узнали, что у меня столько книг таких?» – «А вы оглядывайтесь, Евгений Александрович! У нас уже доносов на вас – некуда складывать. Вы все-таки прислушивайтесь, что вы говорите, с кем общаетесь!» Раздраженно так сказал…

Паранойя, или Кругом стукачи

Евтушенко: У меня было одно время просто помешательство на эту тему: слежка, подосланные… Вообще у многих советских людей была паранойя такая.

Вот был случай у меня с моим другом, художником Олегом Целковым. Я, когда приезжаю в Париж, у него останавливаюсь обычно. Мы сидим, пьем. И вдруг приходит полицейский: «Вы месье Целков? О, у вас тут люди! А то, что я хотел сказать, конфиденциально». Олег начал: «Да вы садитесь, Тонька, – это жена Олега, – вам поесть даст!» Полицейский говорит: «Вообще-то я уже после работы, – почувствовал, что чем-то вкусным пахнет. И продолжает: – Значит, месье Целков, это будет между нами, и пусть ваш друг это учтет. Месье Целков, я заметил, что если в нашем аррондисмане в каком-нибудь доме появляется русский, то почему-то там же и другие русские начинают появляться. Вот так и с вами. Сначала вы были один. А потом появились еще русские, и еще русские». – «Что ж тут такого, – говорит Олег, – тянет нас друг к другу». – «Да, но как-то странно тянет. Дело в том, что многие из этих русских, – он их называл „совьетик“, „ваши совьетик“, – начали ко мне приходить и предлагать свои услуги в осведомительстве. И стали говорить: тот – то-то, этот – то-то… У меня многодетная семья. Я сначала, честно говоря, подумал, что сейчас раскрою шпионское гнездо целое, на повышение пойду. А потом понял, что ни одно уважающее себя государство не может в одном доме собрать столько шпионов – это же сразу может всплыть. И тогда я понял, что это какая-то болезнь ваша. Вы

единственный, кто не пришел ко мне с доносом. Скажите, вас что, так воспитывали там, в вашем Советском Союзе?»

И еще. Я приехал к Питеру Спрэгу – миллионеру, моему другу, который в Нью-Йорке делил дом с Куртом Вальдхаймом, генеральным секретарем ООН.

Волков: И у которого Эдик Лимонов служил мажордомом.

Евтушенко: Да. И когда у Эдика собиралась компания эмигрантов, там обязательно была постелена газетка, на газетке селедочка, водочка… А мне, между прочим, притащили бутылочку «Шато Марго» из подвала Питера Спрэга – я обалдел, зная, сколько это вино стоит. И вот гости начали говорить о ком-то или друг о друге, что он – кагэбэшник. А потом все перессорились. В общем, как говорил французский полицейский: «Это невозможно! Кто вас там воспитывает, вас – совьетик?» И я тоже параноидальным стал.

Волков: На этот счет есть такое присловье: даже у параноика есть враги. Это первое. А второе, Евгений Саныч: мы можем вспомнить о вашем ближайшем друге в Америке Альберте Тодде, который сделал для вас невероятно много, который в трудных ситуациях находил выходы из, казалось бы, невозможных положений, здесь, в Америке, который организовал для вас охрану, когда ваша жизнь подвергалась опасности. Вот он – пример того, что мы называем компетентными органами. Которые могут работать во зло кому-то, а могут пытаться кого-то и защитить. В лице Тодда, вероятно, эти самые компетентные американские органы старались вас прикрыть. Такова была ситуация?

Евтушенко: Наверное, и дай бог им здоровья. Вот когда Тодд приезжал в Советский Союз, а его не хотели впускать, я написал письмо в КГБ: «Я знаю, что он был в разведке когда-то, но не знаю, связан он сейчас с ней или не связан, я знаю только, что он очень помог в организации моих поездок по Америке. Я его люблю, мы с ним ближайшие друзья, я за него ручаюсь: никакого вреда он нам не нанесет…» И Тодд мне потом рассказал, что после того как он в Москве появился, к нему подошел какой-то человек и сказал: «Мистер Тодд, ваш друг Евтушенко обратился к нам с письмом. Надеемся, что вы не будете у нас заниматься вашими старыми делами».

Волков: На всякий случай предупредили.

Евтушенко: Я об этом напомнил потом Бобкову, когда тот вызывал меня: «Ну скажите, зачем это? Ну попросил я вас… Но зачем подходить к человеку, предупреждать его? Тодд мой друг, он не может нам сделать ничего дурного». Бобков ответил: «Евгений Саныч, а вы что, отнимаете у людей нашей профессии

возможность быть вашими самыми искренними друзьями?»

Волков: Вы понимаете, что он вам хотел сказать? В компетентных органах с обеих сторон могут служить искренние друзья Евтушенко!

Евтушенко: Ну, примерно что-то в этом роде. Но это задело его: «Что вы думаете, люди нашей профессии не могут быть друзьями? Что, мы не знаем, что друзей нельзя подводить?» Так что какая-то параноидальность свойственна нам.

Волков: По-моему, мы пришли к выводу, что это параноидальность, которая имеет солидные корни в действительности.

Евтушенко: Да, наверное.

Волков: Просто мы с вами выросли в такое время и в такой ситуации, когда избежать этой параноидальности было невозможно. Скажем, Анна Андреевна Ахматова понимала отлично, кто в ее окружении был стукачом. И она предпочитала даже держать их поближе к себе, чтобы, если надо что-то сообщить властям, можно было не бегать по городу в поисках стукача, а напрямую сообщить.

Евтушенко: Ну, давайте поменяем тему.

Таганка

Волков: Давайте вернемся в прошлое и поговорим об очень интересном явлении, связанном с шестидесятничеством, которое тоже оказалось символом будущих, отдаленно грядущих перемен. Театр на Таганке. Ваши пьесы там. Пьесы по вашим стихам. Спектакль «Под кожей статуи Свободы». Это, если я не ошибаюсь, 1968 год.

Евтушенко: Поэма была написала в 1968 году – это был страшный год. Самый страшный для меня год. А постановка была в 1972-м.

Волков: Чем был вообще для вас Театр на Таганке?

Евтушенко: Театр на Таганке – это было поле битвы за будущее. Ну, вот так я бы сказал.

Волков: Когда вы познакомились с Любимовым?

Евтушенко: Когда возник Театр на Таганке, в 1964-м, наверное.

Волков: А какой из двух театров вам был ближе – Театр на Таганке или «Современник»?

Евтушенко: Театр на Таганке. Потому что Любимов был гораздо смелее и отчаяннее просто. Отчаяннее! Я был членом худсовета, меня сразу пригласили. Там собрались разные люди: выдающиеся ученые – академик Флёров, один из крупнейших

атомщиков нашей страны, нобелиат Петр Капица, шекспировед Александр Аникст… Мы сидели вместе – придумывали, задумывали. Вот сейчас у меня там ставит новую пьесу Веня Смехов[87] – я даже и не лезу. Веня сказал: «Женя, ты веришь мне?» Я говорю: «Конечно, верю!» – «Думаю, мы немножко по-другому сделаем это. Ты доверься мне, потом ты сделаешь, как ты хочешь». Мне знаете что понравилось? Что Смехов хочет, чтоб в спектакле был гимн Театра на Таганке. Мне это в голову не пришло. Это здорово будет. После всех этих ссор и разделов надо вспомнить то время, когда все боролись за каждое буквально слово.

Волков: Возвращаясь к Любимову… Ведь он был традиционным актером, играл Олега Кошевого, был такой сладкий герой-любовник – и вдруг стал авангардным режиссером. Вы помните первый спектакль в Театре на Таганке, который увидели?

Евтушенко: «Добрый человек из Сезуана». Помню, конечно.

Волков: И что вы подумали об этом обо всем? Ведь это даже не политическая пьеса была, это был эстетический авангард в первую очередь.

Евтушенко: Мне это понравилось. А потом всё пошло больше, и больше, и больше. И я совершенно влюбился. А сейчас вот, как мне рассказывает Веня, они хотят сделать важную вещь. Чтобы там участвовали ветераны – и он, и Золотухин. Золотухин вспомнил, как я принимал участие в режиссуре спектакля «Живой». По повести Бориса Можаева. Это замечательный был спектакль! Гениальный просто! Я там придумал много сцен. Я участвовал и в режиссуре своего собственного спектакля, во всяком случае, помогал им читать стихи.

Волков: А вам не кажется, что трагическая история с уходом Любимова из театра символична для всей ситуации шестидесятничества? Замечательное дело кончилось грустно…

Евтушенко: Подождите-подождите-подождите! Посмотрите, какая хорошая идея пришла в голову Смехову: сказать спасибо не лично Любимову, а всему тому, что было там, в этом театре. Напомнить!

Волков: Вы думаете, Театр на Таганке может существовать без Любимова?

Евтушенко: Ну, Любимов изменился, наверное, в чем-то. Где-то он тоже виноват был в этой истории. Эту историю трудно понять. Но идея мне очень нравится: вспомнить свою жизнь, как они были частью всего этого! Как приходили цензоры, садились и смотрели, сверяли каждое слово. Актеры иногда путались – столько поправок было, что они просто уже забывали, чего там

где было!

Волков: Кажется, ваш спектакль тогда проходил через какие-то особенные мучения? Кромсали вдоль и поперек?

Евтушенко: Да ужас! Ужас! И все равно – это был обвальный успех! И вот что интересно. Мы ведь делали политическую пьесу из поэмы «Под кожей статуи Свободы». Вы ведь понимаете, что там всё правда, и про Америку тоже. Но в Москве она читалась, разумеется, совсем по-другому.

Волков: Да, как аллегория.

Евтушенко: И вдруг *«The New York Times»* печатает статью. Я знал хорошо Хедрика Смита, их корреспондента в Москве, который написал книгу «Русские». Мы с ним дружили, он прекрасно разбирался в тонкостях нашей жизни. Но его в тот момент не было, он был в отпуске. И какой-то новый, совершенно неизвестный человек написал: «Гигантский успех антиамериканского хита в Театре на Таганке». Я был просто возмущен! Я отправил в редакцию письмо, что не могу написать ни антирусскую, ни антиамериканскую – никакую анти-какого-то народа пьесу: «Вы просто ничего не поняли. Это пьеса, которая говорит обо всех проблемах, которые мучают разные страны». Больше уже я не мог написать, потому что это был бы самодонос. Приехал Смит, и я ему пожаловался: «Ну кто у вас там написал такую статью?» – «Ах, русские, как тяжело с вами работать! Конечно, это и про Америку правда. Но это же всё и про вас одновременно, и про всё человечество про наше. Но, Жень, ты понимаешь, если я напишу всё, что думаю про твою пьесу, у вас же ее снимут сразу!»

А когда поставили спектакль о Пушкине[88], мне так понравился этот спектакль, это было так замечательно! Золотухин гениально читал Пушкина стихи! И вообще они так научились хорошо в конце концов читать стихи. Вот «Павшие и живые» – они замечательно читали. Как Губенко читал стихи Гудзенко! «Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели…» Я не видел никогда ни одного театра, где так хорошо бы читали стихи!

Волков: А «Берегите ваши лица» Вознесенского?

Евтушенко: «Берегите ваши лица», да. Но Вознесенский сделал тогда страшную ошибку. Этот спектакль сняли же быстро. А знаете почему? Потому что Андрей пригласил работников ЦК. Он слишком хотел, чтоб его поддержали. В этом спектакле Высоцкий пел «Идет охота на волков, идет охота…» – потрясающе было поставлено! Да, это был явный политический спектакль – это 1970 год. Моей поэмы «Под кожей статуи Свободы» тогда и быть не могло, конечно…

А еще случай помню, когда я вместе с Театром на Таганке возвращался в Москву из Парижа. Они во Франции имели гигантский успех. Я привел на спектакли мадам Элен Мартини, владелицу ресторанов «Распутин» и «Шахерезада», который в «Триумфальной арке» Ремарка описан, познакомил ее с Юрием Петровичем. Она купила «Распутин», между прочим, с моей подачи, по моему совету. Я очень с ней дружил, она была крестной матерью моего сына Тоши. Одинокая женщина, самая богатая женщина Франции – очень интересная судьба, феноменальная история… Ну, у меня вообще-то лет на двадцать для прозы разных сюжетов… После спектакля «Мать» – это был замечательный спектакль! – Элен мне говорила: «Женя, когда я смотрю этот спектакль, во мне борются две женщины – бедная польская девчонка и французская миллионерша».

А перед возвращением в Москву я устроил для всего театра банкет в Париже. И на этот банкет не пришел только один человек, что меня потрясло. Юрий Петрович Любимов. Вот когда я увидел, что он может быть разным. И поэтому я верю, что мог быть конфликт между ним и театром, как об этом говорили за границей. Ведь он сказал мне, что придет! Мы сидели с Элен в театре, чтоб его отвезти на банкет, он давал интервью газете *«France Soir»*, прямо на сцене. Он знал, что мы его ждем, весь театр уехал уже в ресторан. А его этот шаромыжник какой-то, маленький журналист из *«France Soir»*, газета типа «Вечерки», спросил: «А вы заняты сегодня на ужин?» – «Нет, я совершенно свободен», – ответил Любимов. И потом подошел к нам и сказал: «Вы знаете, это первый парижский спектакль, надо еще продолжить интервью, закрепить успех», – и не пришел на банкет. Не пришел к своему театру!

Волков: Как вы это объясняете?

Евтушенко: Так, как он объяснил. Всё! Элен была потрясена, я тоже. Знаете, как больно такую вещь испытать? Пригласить весь театр на банкет! Это такая редкость, правда же? Да в Париже еще! Целый ресторан снять! Это я сделал! Не кто-то, не какой-то миллионер… Но вот Любимову показалось, что дать интервью важнее будет. Но так нельзя делать! А такие вещи у Юрия Петровича были. Так обидно было. Элен сказала мне: «Как вы можете после этого с ним дружить?»

Я тогда первый раз увидел другого Любимова. Вы понимаете, почему он так поступил? Потому что интервью показалось сейчас выгоднее, а там – свои люди, простят. А потом Любимов снял «Под кожей статуи Свободы» – когда узнал перед планировавшейся поездкой театра в Америку, что напечатана статья, в которой спектакль назван антиамериканским. Сам снял

спектакль! А гастроли те, по-моему, так и сорвались. Мы столько бились за этот спектакль! Но ссоры с ним у нас не было, я просто это пережил внутри, я был потрясен этим.

Я ведь Любимова до сих пор очень люблю. Он был замечательный в целом – бесстрашием своим. И вот такие вещи начали происходить. Но уже после изменения его семейного положения. Раньше такого не было. Мне тоже не совсем была ясна мотивированность его отъезда.

Волков: Это когда Любимов остался в Англии после постановки там «Преступления и наказания» в 1983 году?

Евтушенко: Да. Это его, в конце концов, дело. Но все-таки он капитан корабля был. А как начало всё сыпаться, так он и оставил свой корабль.

Волков: Это ведь извечная драма взаимоотношений создателя коллектива со своим детищем после энного количества лет. Станиславский предупреждал, что театр может существовать двадцать лет, а дальше начинаются конфликты. Так оно получилось и с Таганкой.

Евтушенко: Надо сказать, что Губенко[89] сделал всё, чтобы Любимов вернулся. Всё абсолютно! Это даже целая операция была по его возвращению. Но почему начались раздоры в начале 1990-х, когда он вернулся, я не могу понять. Как-то жалко всё это было.

А я ведь был самый главный человек, который все письма Театра на Таганке писал: обращения в Политбюро, к Андропову, советовал, как их передавать… У меня в этом была набита рука, я в психологии начальства хорошо понимал. Я у Виктора Васильевича Гришина, первого секретаря Московского горкома КПСС, в его кабинете говорил о Юрии Петровиче. Потом Гришин пришел к ним в театр… Ведь Никсона не пустили на Таганку, несмотря на то что я советовал ему там побывать. А не пустили знаете по какой причине? Потому что туалета не было отдельного!

Волков: Который можно было бы охранять?

Евтушенко: Да. И американская служба безопасности тоже сказала, что нельзя.

Волков: И что, Театр на Таганке именно через Гришина эту проблему решил?

Евтушенко: Так они получили деньги! От него! Он пришел, посмотрел: «Ну что это такое? Непорядок!» Нет, вы послушайте, что дальше произошло. Ему нарочно показали спектакль «Павшие и живые», который еле держался, на ниточке просто качался. Обвинения были – нагнетание трагизма. Но Любимов потребовал: я хочу показать этот спектакль. А Гришин посмотрел и говорит: «Меня это очень тронуло, Юрий Петрович».

Волков: А Гришину можно было в неохраняемый туалет ходить?

Евтушенко: Ну, все-таки это свой, так сказать. Да там лазили с миноискателями с утра, войти было невозможно!

Волков: Осматривали с туалет с миноискателями?!

Евтушенко: Ну да. А потом, в перерыве уже, Гришин стеночку в кабинете знаменитую увидел с автографами гостей Таганки. Юрий Петрович сказал: «Может быть, сейчас, Виктор Васильевич, мы как-то по-фронтовому, по-нашему выпьем и закусим?» А Гришин смотрит, что там на стенке написано: «А это кто – Фидель Кастро Рус? Он русский, что ли, разве?» – «Нет, это у него полное имя». – «А-а, я-то думал… А вот этот Миллер тут – он чего? Артур Миллер? Как он к нам сейчас?» – «Да нет, нормально всё». – «А то я читал про него как-то…» – «Да они спутали его с другим, с Генри Миллером», – объясняет ему Юрий Петрович. «А вот тут что это такое написано: „Юра, помнишь, как мы с тобой плясали в органах?“ – А это надпись была Сергея Юткевича, они с Любимовым работали в ансамбле песни и пляски НКВД во время войны. – Это, извиняюсь, в каком смысле?» – «Да я же конферансье там был, – говорит Юрий Петрович, – Берия там у нас не вылезал!» Гришин оживился: «Ну ладно… Это, так сказать, факт, но все-таки не надо его популяризировать, не надо». Юрий Петрович ему: «Может быть, сейчас, коли про войну заговорили, помянем просто этих людей?» – «У нас есть свое…»

И в этот момент из свиты Гришина выделяется человек с чемоданом, открывает его – а там было всё уже упаковано, проверено: водочка, коньячок… Вина не было. Но всё остальное было уложено – на всякий случай, – даже с вилочками. Они выпили. И вот тогда Гришин заговорил: «Надо, конечно, чтобы и главы государств сюда приходили тоже. Значит, сколько тебе надо? Подсчитали? Обойдешься?» – и дали деньги тогда на перестройку театра.

Волков: И на оборудование охраняемого туалета.

Джан Батлер

Волков: Ваше творчество тесно связано с вашими женами. Каждая жена – новый этап. При этом каждая служила для вас моральным компасом, старалась не дать вам сильно уклоняться от определенного морального вектора. Все они были очень смелыми, правда?

Евтушенко: Но Джан была совершенно бесстрашной.

Волков: Джан Батлер, ирландка, третья жена.

Евтушенко: Она любила Россию, чувствовала ее так, как не

все русские чувствуют. Она потрясающе, совершенно фантастически перевела мою самую любимую поэму – «Голубь в Сантьяго». (Джан Батлер по профессии переводчик, работала в издательстве «Прогресс». – *Ред.*) Не только потому, что эта поэма, насколько мне известно, спасла от самоубийства около тысячи людей в разных странах. Она была переведена на многие языки – и на английский, и на итальянский, и на испанский, но лучше всего на английский. Замечательный просто перевод, дивный! Почти каждый год я прохожу ее со студентами в одном из семестров, но в издании указано, что это перевод Дона Томаса[90]. Конечно, хорошо, что Томас поставил свое имя, потому что он был уже известный писатель и это открыло дорогу к публикации поэмы. Но он в переводе, сделанном Джан, практически ничего не изменил. Джан так волновалась, она перевела поэму в роддоме, в *maternity floor* – на этаже материнства перевела!

Волков: А когда вы встретили Джан?

Евтушенко: Она появилась вдруг. В ресторане. Я говорю: «Вы американка?» – «Нет, Англия пока еще не штат Америки», – сказала она. Мне очень понравился ответ, и я сразу влюбился в нее. Она удивительная! У меня все жены были удивительными! Все жены.

Волков: А как вы решили, что женитесь на Джан? Ведь это было тогда довольно необычно – жениться на иностранке. Да и для нее ведь это тоже было необычным жестом – выйти замуж за русского, да еще знаменитого поэта…

Евтушенко: Ну еще бы! Мы сидели как-то в Доме литераторов, и Юлиан Семенов, пьяный вдрабадан, вдруг ей говорит: «Джаночка, я хочу за тебя выпить. Ты вообще должна быть героиней английского народа за то, что заполучила такого парня! А что? В Англии всегда считалось почетным продвигать интересы государства. И Сомерсет Моэм это делал, и Грэм Грин – с честью выполняли задания государства…»

Волков: То есть Семенов сказал ей, что она, выходя за вас замуж, исполняла поручение английского правительства? *Secret service*?

Евтушенко: Он не сказал это так грубо, как вы сейчас изложили, он просто намекнул. И вы знаете, что Джан ему сказала? «Я привыкла, что в Женином присутствии многие щеголяют, – и была абсолютно права, – тем, что говорят истинную правду, и оскорбляют его. Оскорбляют, думая, что это доставляет мне удовольствие. Но я и сама могу, между прочим, за себя постоять». А я Семенова отозвал и сказал: «Юлик, если ты сейчас же не перестанешь хамить и не извинишься перед ней…» А она уже была мать моих двух детей! Он извинился.

А потом у меня был случай с Михаилом Васильевичем Зимяниным – у нас с ним неплохие отношения были.

Волков: Секретарем ЦК по идеологии?

Евтушенко: Да. Я был в Монголии и сделал об этой стране репортаж для журнала «*Life*», с фотографиями. Очень хорошие фотографии были, и статья хорошая. Но монголы почему-то очень испугались и пожаловались, что я их не предупредил, что делаю статью в «*Life*». А я только хорошее про них написал! Это было перепечатано, кстати, повсюду. И вдруг Зимянин вызывает меня: «Ну что вы! Ну невозможно же просто! Вот женитьба ваша опять… Что, вы не могли русскую найти? Что у нас, девок, что ли, мало?!» – «Михал Васильевич, – я встал, – извинитесь, пожалуйста, извинитесь сейчас же передо мной. Потому что если вы не извинитесь, то я с вами не смогу никогда разговаривать. Это мать моих детей, женщина, которую я люблю». – «Ну хорошо, хорошо! Но зачем вы дразните гусей все время?! Сколько на вас ходят с доносами ко мне! Из КГБ мне все время звонят… Ну надоело уже!» Но, видите, заставил я его извиниться.

Волков: Трудна жизнь советского поэта…

Евтушенко: Это было тем более оскорбительно, что Джан так любила Россию. Да она и сейчас ездит в Россию. А мы ездили к ней. Мой сын от Джан – Саша, подарил мне внучку, я дедушкой стал. Роза ее зовут, Роза Евтушенко. Ирландка, как и ее мама. Саша работает сейчас на Би-би-си, заведует там отделом. Он очень хороший мальчик. Приглашение было от всей семьи, и мы ездили к ним всей семьей – моя жена Маша и наши двое детей. Джан с Машей уже были тогда знакомы.

Волков: А Саша женился на ком? Кто она, мать вашей внучки?

Евтушенко: Она училась с ним в университете, тоже на филфаке, потом вместе они учились в Лондонском университете. Она романы пишет, написала несколько романов, но что-то пока не напечатала.

Волков: А почему вы расстались с Джан?

Евтушенко: Дело в том, что один из наших мальчиков – Тоша – родился с цитомегаловирусом. Ему сейчас уже тридцать семь лет. Этот цитомегаловирус расстроил его совершенно – спастика появилась, дислексия. Он вообще двигаться не мог, когда родился. Джан невероятно себя вела, героически! Она собрала целую бригаду помощников, в основном английских студентов. Наши тоже помогали, но все-таки английские студенты были главными. У них так принято – волонтерская, добровольная работа. Тошу нужно было без конца двигать, развивать двигательные рефлексы. Я не мог этим заниматься, из-за чего и произошел наш с Джан разрыв. Она не могла оставить ребенка, а

я не мог остановить свои выступления в Америке, у меня гигантские выступления там были. Она это понимала, конечно, но для нее это было очень тяжело. Чтобы ей помогать, мне нужно было выбирать вообще другую профессию, прекратить все выступления, никуда не ездить… Но я этого не мог сделать! Вина моя. Но я не мог перестать быть самим собой. Это начало ее обижать и задевать. Ну а как?! Муж носится где-то по заграницам, а она сидит в России, занимается упражнениями с ребенком, и помогают ей чужие люди… Конечно, волей-неволей у нее возникало отчуждение. И один из тех, кто помогал ей с Тошей, наш, русский, стал ей ближе…

Волков: А когда состоялся развод с Джан?

Евтушенко: Я не помню, по датам уже не помню. Но когда нас разводили – и с Галей, и с Джан, – судьями были женщины, которые уговаривали нас не разводиться. Потому что они не слышали ни одного плохого слова ни от Гали обо мне, ни от Джан обо мне, ни от меня о них и просто не понимали, что же происходит. А Джан боялась меня ранить, не говорила мне, что у нее кто-то появился.

Волков: Ей нужна была поддержка, а вас не было.

Евтушенко: Ну конечно! Как я мог этого не понять?! Практически же я бросил не ее, а ребенка, больного! Вот так это и случилось, потому мы и расстались…

Прощание с красным флагом

Перестройка

Волков: Поговорим о Перестройке с большой буквы. Когда вы почувствовали, что ситуация действительно начала меняться? Что это не очередное временное послабление, такая слабенькая оттепель? Хотя, наверное, и оттепель вы в свое время встречали серьезно и думали, что она перейдет в настоящую весну и настоящее лето. А вот как с перестройкой?

Евтушенко: И в брежневские времена в ЦК были люди, которым можно было позвонить и которые понимали и помогали. Это сейчас так странно вспоминать… Когда-то Миша Луконин про меня сказал: «Ты первый поэт, который употребил против власти то, что она обычно употребляла против нас: политику кнута и пряника. Ты ссорил разные руки партийные друг с другом». Они тоже были разные люди. Ну, например, к Георгию Хосроевичу Шахназарову можно было идти с любым вопросом. Он работал в аппарате ЦК, был помощником Горбачева. Это отец Карена Шахназарова, кинорежиссера. Он всегда помогал сразу, без всяких. И когда я познакомился с Александром Николаевичем Яковлевым – это еще было до Горбачева, Яковлев тогда был первым заместителем заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС, – с ним тоже можно было говорить. И сразу я как-то почувствовал изменения.

Вот была арестована – это один из последних диссидентских арестов был – диссидентка, поэтесса Ирина Ратушинская, которую я совершенно не знал, не знал ее стихов. Меня обычно оповещала о таких делах чудесная идеалистка Сара Бабёнышева. Она и руководила тем, в чем участвовала моя жена Галя, – посылками заключенным диссидентам и так далее. И как раз только что пришел к власти Горбачев. Я позвонил Александру Николаевичу и сказал про Ратушинскую. Он говорит: «Женя, сегодня к вечерку заходите. Может, Михал Сергеевич освободится. Кстати, хочу вас познакомить». Михал Сергеевич действительно зашел: «Ну, – говорит, – я вас в первый раз увидел, когда мы с Раисой Максимовной еще жили в общежитии МГУ и вы у нас выступали. Было немного народу, человек сорок. Я с Раисой и со своим другом – по-моему, Зденек его друга чешского звали – ходил. Это он нам рассказал, что надо вас послушать. Так я вас и узнал. Потом мы стали вас читать…»

Волков: Зденек Млынарж стал потом видным деятелем

чешского социализма «с человеческим лицом».

Евтушенко: Я говорю: «Михаил Сергеевич, когда женщину арестовывают за стихи, как-то всё это очень некрасиво выглядит». Я нарочно не затрагивал политического аспекта. Точно так же, как я написал письмо Андропову о матери Эрика Неизвестного, когда ее не выпускали к нему в Америку. Ее отъезд много раз срывался, хотя он просил. А я просто написал письмо неполитического характера: дескать, я люблю Эрнста Неизвестного, это талант, это большой скульптор. И что такое – женщину преклонных годов не выпускают к сыну! В общем, как мужчина мужчину прошу: проявите просто добросердечие. И ее выпустили. Она это прекрасно знала.

Волков: Да, Эрнст был очень благодарен вам за это.

Евтушенко: Я понимал, как это лучше делать, да и для самих властей это было удобнее – чтобы не впутываться в политические аспекты.

Волков: На чисто гуманитарной основе, что называется.

Евтушенко: И такое же письмо я написал Горбачеву о Ратушинской. И он зашел на минутку: «Я сказал, чтоб там разобрались. В случае чего – вы знаете, что здесь вас любят».

Волков: А какое он на вас тогда произвел впечатление? Вас его знаменитое пятно на лысине не напугало?

Евтушенко: Да нет, не напугало. Нормальный человек. Просто занятой очень. Мне было с ним комфортно. Поздоровался приветливо, сказал: «Извините, я правда занят, но, узнав, что вы здесь, заглянул…» Мы сразу по делу стали разговаривать. Ратушинскую выпустили быстро, она звонила моей жене Маше, разговаривала с ней.

Волков: Это было знаковое событие.

Евтушенко: Потом было другое дело, посложнее. Следующий мой шаг по соприкосновению с новой властью. Я услышал о существовании фильма «Комиссар» Александра Аскольдова, который был запрещен на двадцать с лишним лет. Аскольдова я знал в общих чертах: администратор, мрачноватый такой. Никогда у нас с ним не было дружбы, и даже, так мне казалось, он не особенно ко мне доброжелательно относился. Может, мне Алексей Герман рассказал об этом фильме заодно, потому что я фильмом Германа «Проверка на дорогах» занимался тоже. Я принимал участие в судьбе трех фильмов: «Проверка на дорогах», «Комиссар» и «Покаяние» – фильма Тенгиза Абуладзе. Я, кстати, когда-то, совсем молодой, написал рецензию на первый фильм Абуладзе «Чужие дети». Мы очень с ним, очень дружили.

А с «Покаянием» была целая операция. Эдуард Шеварднадзе уже был министром иностранных дел, мы с ним обо всем

договаривались. Он уже переехал в Москву, но не терял связи с Грузией. В Москве не хотели выпускать на всесоюзный экран эту картину, говорили, что в Грузии она спровоцирует волнения. Это рискованное было дело. Такие вещи трудно контролировать, всё могло произойти. Но всё прошло прекрасно.

Мне Гога Леонидзе дал разгадку так называемой любви грузин к Сталину: «Понимаешь, генацвале, вот ты в совэршэнно никому нэзнакомой дэрэвнэ живешь. И там живет зверь, которому ты как дань своих детей вынужден время от времени приносить, и он их пожирает. Потом ты оказываешься вдруг где-то в ба-а-лшом городе. И вдруг говоришь с какой-то странной патологической гордостью: а я вот из той деревни, где живет такое чудовищное животное. Вот в чем, генацвале, коренится грузинская любовь к Сталину». Это хорошая метафора, между прочим. Потому что в процентном соотношении грузин было арестовано даже, может быть, больше, чем русских. Во всяком случае, тех, кто из Гори. Тех, кто знал сталинские корни.

Короче говоря, у меня какой-то опыт уже был. Я посмотрел «Комиссара» и пришел к Яковлеву. А Яковлев мне сказал: «Женя, я эту картину тоже смотрел, но ты понимаешь, этот еврейский вопрос, эти желтые звезды… Не думаю, что это будет так просто. Ты что, не почувствовал это по своему „Бабьему Яру“?» Я уже рассказывал, как я вспомнил слова моего папы, что иногда хорошо бывает прибегать к помощи реакции, чтоб осуществлять прогресс. И нашел для нужных подписей двух людей, которые, с моей точки зрения, должны были понравиться начальству, – Владимира Васильевича Карпова и Ваню Стаднюка[91].

Волков: Двух таких весьма ортодоксальных писателей, облеченных полномочиями.

Евтушенко: Да, и не только их. Я пригласил еще Беляева – очень известного писателя из старых.

Волков: Альберта Беляева, из Отдела культуры ЦК?

Евтушенко: Нет! Владимира Беляева, писателя детского, «Старая крепость»! В общем, я человек тридцать собрал…Стаднюк и Карпов – это люди были другого плана. У них и душа была, и всё они знали, и сами попадали в беду. Я был уверен даже, что эти люди поддержат. Потому что они поддерживали когда-то мои стихи, когда меня обижали за разные вещи. И когда были уже их подписи, то почти все подписали это письмо… И Яковлев мне сказал тогда: «О-о! Это вот правильно. Вот ты понимаешь! Начинаешь, наконец, понимать, что такое политика! А то не всё нам, так сказать, легко. Уже, Женя, начинается огромное сопротивление». Я все-таки понял, что могу приходить туда, в ЦК.

Точно так же я получил разрешение ставить фильм

«Похороны Сталина» в 1990 году. Я разговаривал об этом с Сизовым, директором «Мосфильма». Он сказал: «Ну, а как ты эти похороны будешь снимать? Вот ты хочешь поставить камеры в том самом месте, где это было, – но это же центр, ты что, перекрывать центр хочешь? Это же правительственная трасса! Кто тебе даст?!» Я спрашиваю Сизова: «А кто это может разрешить?» – «КГБ тебе не даст такого разрешения, милиция тебе не даст, мы спрашивали у них уже. Так что надо на самый верх. Попробуй написать письмо». И тут я говорю Сизову, отчего он, так сказать, слегка оценил меня: «А чего, – говорю, – писать письмо? Давайте я сейчас позвоню просто!» – «Кому позвонишь?» – «Михаилу Сергеевичу». Я никогда ему еще лично не звонил, но у меня был телефон Яковлева. И я позвонил ему: «Александр Николаевич, вот какое дело…» – «А ко мне как раз Михаил Сергеевич зашел», – и меня соединили! Вы понимаете, насколько мои акции в глазах Сизова повысились?!

Но он был доброжелателен ко мне и палок в колеса не вставлял. И, кстати, поддержал меня, когда в съемочной группе не хотели, чтобы снимался эпизод, где я читал собственные стихи о врачах-убийцах, написанные в 1953-м. А Сизов сказал: «Ну правильно, эти ребята – твои друзья. У тебя такая репутация. А все-таки я понимаю тебя… Чтобы будущим поколениям была наука. Ну, будешь рисковать, что делать! Ты молодец, не боишься».

Волков: Так Горбачев подошел к телефону – и что?

Евтушенко: Я ему говорю: «Михал Сергеич, одним из самых больших событий моей жизни были похороны Сталина. И я хочу снять об этом фильм». – «Ну, я читал, читал твою автобиографию, ты живо написал там, как понял, что такое Сталин, когда вернулся с его похорон», – он запомнил, оказывается. Я говорю: «Да, но надо это снять по-настоящему. Ведь такого документального материала нет, чтобы перекрыть. А мне вот говорят: правительственная трасса, мы будем мешать подъезжать, куда вам надо». – «Скажи, что я „за“, ссылайся на меня. Всё». Я говорю: «Так я вот сейчас у директора „Мосфильма“». А Горбачев: «Ну зачем мне с ним говорить? Что он, тебе не поверит, что ли? Я сейчас занят, добро получай. Недели тебе хватит?» И так я получил разрешение на неделю.

Волков: А как было решено сделать «Огонек» рупором перестройки?

Евтушенко: Когда пришел туда Виталий Коротич. Я уже рассказывал, что Виталий был одним из трех моих друзей, которые слышали «Бабий Яр» в день написания. Кстати, Толя Кузнецов, который моим гидом был, потом написал на меня –

тоже парадокс – донос, что я участвую в каком-то заговоре. Даже серьезные люди в КГБ не поверили в это, но все-таки меня и Аксенова из редколлегии «Юности» вывели. Из-за этого письма! То есть это пригодилось кому-то. Они понимали, что это брехня, конечно. Потому что в заговоре там были обвинены такие люди, как Олег Табаков, Олег Ефремов.

Волков: А на что этот ваш заговор был направлен?

Евтушенко: Как на что? На свержение советской власти, конечно! А Кузнецову в награду дали командировку в Лондон, включили в писательскую делегацию. И Роберта Ивановича Рождественского включили.

Волков: Вместо вас?

Евтушенко: Да. И Кузнецов тогда сбежал, остался в Англии… Мы с Робертом не выясняли отношения по этому поводу. Хотя я бы, может быть, будучи на его месте…

Волков: …и отказались бы. Ну, он не отказался.

Евтушенко: Да, но он первое, что сделал, – позвонил мне. А мне тогда дали сразу командировку на Братскую ГЭС. Так что видите, как судьба складывается непредсказуемо.

Волков: Так как же Коротич стал редактором «Огонька»?

Евтушенко: Через Яковлева.

Волков: А почему Яковлев взял его из Киева, а не выбрал какого-то московского человека?

Евтушенко: Откуда я знаю. Встретились где-то, понравились друг другу. Коротич же очень хороший оратор, выступал, общался с аудиторией прекрасно, хороший публицист. Нужны были люди – проводники перестройки, понимаете?

Волков: Я как раз хотел спросить: как это «Огонек», который традиционно был чрезвычайно консервативным, и «Московские новости», которые были вообще никакой газетой, никто даже не знал об их существовании…

Евтушенко: Да, Егор Яковлев[92] там появился сразу же.

Волков: То есть что? Это была продуманная стратегия Александра Яковлева – какие-то издания сделать рупором перестройки?

Евтушенко: Ну, я не знаю! Неужели вы думаете, что я сидел рядом с ним, с Горбачевым и вырабатывал стратегию перестройки?

Волков: Коротич с вами советовался по поводу каких-то публикаций в «Огоньке»?

Евтушенко: Не советовался. Но я пришел к нему с идеей поэтической антологии. И он ее поддержал. У меня уже была договоренность с американским издательством. Уже! И я работал по договоренности с ними. У меня даже представления не было,

что так быстро произойдут подобные изменения. Вдруг история начала ускоряться. Появление Горбачева… Его ж никто не знал из нас! Он появился как из воздуха! Но Александра Николаевича я знал хорошо.

Волков: Яковлева?

Евтушенко: Да. Но там были и другие люди в ЦК. Люди вполне приличные, помощники секретарей ЦК и даже членов Политбюро. Федя Бурлацкий тот же самый. Там были относительно либеральные люди, которые хотели позитивных изменений. Тот же Георгий Шахназаров. Даже я бы сказал, что Альберт Беляев был таким, хотя, конечно, он меня и прорабатывал очень часто. Но он никогда очень уж плохо ко мне не относился или к кому-то из нас. Когда он считал, что его мы подводим, вот тогда он только злился. Может, на него кто-то и обижался… Я не знаю.

Волков: Вам не кажется, что перестройка начиналась как реванш хрущевцев? Что они хотели вернуть антисталинскую политику, которая при Хрущеве самим же Хрущевым и была заторможена?

Евтушенко: Нет, это что-то было совсем другое. Конечно, без того, что сделал Хрущев, перестройки бы не было. Это он все-таки первый впустил такое огромное количество иностранцев, с которыми не знали просто, что делать. И все-таки он санкционировал публикацию Солженицына. Но у него все время был один шаг вперед – два шага назад. Перестройка – это не совсем было всё по-хрущевски, но что-то из недоделанного им всплывало. Таких тесных контактов с интеллигенцией не было, и таких быстрых решений не принималось.

Волков: Здесь, в Нью-Йорке, я помню это очень хорошо, для меня сигналом о том, что произошел какой-то серьезный и символический культурный сдвиг, было появление на обложке «Огонька» в марте 1986 года фотографии – теперь уже легендарной, – где были вы, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский и Булат Окуджава.

Евтушенко: Это был замысел Виталия Коротича. Хотя понятие шестидесятничества было шире, конечно, чем эта четверка. Во всяком случае, это было ошеломление. Но не оправдались наши надежды очень во многом, конечно. Не оправдались…

Волков: Но перестройка же была вашим звездным часом, разве нет?

Евтушенко: Да. Все-таки что-то мы сделали.

Волков: А как это всё разворачивалось, как вы решили, что в этом можно и сто́ит принимать участие? Как вы лично были вовлечены в перестройку?

Евтушенко: Ну как? А чего мы делали? Вы думаете, мне политическая карьера была нужна?

Волков: Как вы решили стать депутатом, например?

Евтушенко: Я понимал, что это на время. На время. Надо это было. А кому еще верить, кого еще люди знали?! Посмотрите, сколько в Верховном Совете было ученых, писателей, интеллигенции было много! И как нас встречали – ведь страна вся прилипала к телевизору и слушала наши речи. Огромное количество людей приходило на встречу. Мы же все-таки остановили войну в Афганистане? Остановили. Мы отменили «выездные комиссии»? Отменили. Ну, потом пошло всё не туда. Началось в Вильнюсе, где произошли столкновения войск с народом, были жертвы – из-за нерешительности горбачевской или из-за того, что он, вероятно, не мог быть другим.

Волков: Вы считаете, что добились того, чего хотели, в перестройку?

Евтушенко: А когда, скажите мне, родной мой, когда мы побеждали? Вот мы победили во время войны, так? Победили – с одной стороны. Но с другой стороны, разве мы добились всего того, что нам казалось, что добились? И когда вообще в жизни происходила революция или победа в какой-нибудь войне, когда уж всё получилось бы? Всегда что-то мешало, что-то не до конца удавалось. Такова, к сожалению, история.

Несмотря на то что мне многое очень не нравится, и я об этом писал – очень резкие стихи писал во времена и ельцинские, и последние времена, – все равно я знаю, что нечто необратимое произошло. Уже загнать народ обратно в рабство не удастся так, как это когда-то происходило. Разумеется, я надеюсь на это больше, чем в этом уверен. Но что-то мне подсказывает, что самое страшное не произойдет. Я вам скажу так – вот то, что в этом году происходило с этими гигантскими демонстрациями в Москве? Это ведь сотни тысяч! И не потому, что мне очень понравилось, что там говорилось с трибуны, понимаете? Не всё мне там нравилось, и не все люди мне нравились, которые туда шли, ни с той, ни с другой стороны. Но ведь мы не могли себе этого даже представить! Такого, что столько людей могло выйти на улицы! И, в общем-то, все-таки ничего кровавого и страшного не произошло. Ну, были грубости и взаимооскорбления какие-то. Просто глупости звучали иногда. Какие-то вещи просто смешны, я не знаю, что из этого получится. Когда собирают координационный совет оппозиции и их на зарплату, по-моему, даже ставят. Это как-то просто вообще. Чем это всё закончится, не поймешь еще! Но все равно что-то необратимое.

И потом, что я всегда считал очень важным, – наконец

наступило время, когда каждый гражданин наш может свободно купить билет и поехать куда угодно, в какую угодно страну, посмотреть, как люди там живут. И так же свободно вернуться. Это же мы только в снах видели! В лучших! А с другой стороны – развиваются вещи, которых мы не ожидали совершенно. Какой-то угрожающий расцвет того, что можно назвать антиинтернационализмом, что ли. И это не только у нас, это в разных странах происходит. Я считаю, что сейчас очень нужны крупные философы или политики, которые обладают искусством и провидчества, и угадывания опасностей. А современные политики ведут себя, с моей точки зрения, по-старомодному: продолжают не доверять друг другу. Всегда было очевидно, но сейчас это особенно ясно: не может быть патриотизма без патриотизма к человечеству в целом. Невозможно без этого будет выжить. А сегодня повсюду, во всем мире идет наступление националистического духа, трайбализма[93]. И что победит – национализм? Или все-таки интернационализм? Вот эти две главные силы сейчас будут бороться за наши души.

Горбачев

Евтушенко: Поверьте мне, если б сам Горбачев был замешан в коррупции – уж ему бы это не сошло с рук, настолько его ненавидели. Может быть, Михаил Сергеевич и не оказался на высоте тех событий, свидетелем которых – и даже начинателем – он был. Он просто оказался не готов к происходящему. Вот и всё. Он наделал много ошибок, но никогда это не было злым умыслом. Он просто не сумел удержать руль в руках. Мне кажется, ошибка его была вот в чем: нужно было бы отделить вопрос о прибалтийских республиках от всех других и не допустить того, что там началось.

Волков: В Вильнюсе, в Риге, откуда я родом, я хорошо знал настроения латышской интеллигенции.

Евтушенко: Я видел Горбачева в разных ситуациях. Ему было не очень просто, конечно. Вот, например, он уговаривал армянских делегатов – я видел эту ситуацию – не поднимать вопроса о Нагорном Карабахе. Я видел его растерянность, когда он просил их. Он даже сказал: «Хотите, я на колени перед вами встану?! Мы решим этот вопрос, будем решать! Но не сейчас это надо делать, не тот момент! Повремените немного, мы разберемся, давайте всё мирно решим. Не надо сейчас – сейчас всё так напряжено…» И он прав был, это был не тот момент, когда нужно было об этом говорить.

Волков: Помню, приехал кинорежиссер Сергей Параджанов в

Нью-Йорк на международный кинофестиваль, его на пресс-конференции спросили о творческих планах. И он ответил: «Хочу снять фильм о Гамлете. В главной роли – Михаил Горбачев». Я тогда подумал, что это глубокое наблюдение. В Горбачеве очень силен был этот элемент гамлетизма. Он всякий раз как бы останавливался на распутье и не знал, какую выбрать дорогу.

Евтушенко: Боже мой, как это было тяжело! Ведь такое было в первый раз! Но вот во что я отказываюсь верить, это когда говорят о нем как об агенте империализма. Да боже мой, что про него только не писали и не пишут! Один автор украинский даже написал книгу, где назвал Горбачева чуть ли не посланцем сатаны. Но это всё чепуха полная. Горбачев – сам человек много испытавший, он видел, как семья его пострадала. Он жил в оккупации, видел, как люди страдали от государства… У него было искреннее желание чем-то помочь. Он понимал, что дальше так жить нельзя, но не знал, как это изменить, – никакого же учебника не было, никакого подспорья, – не знал, как это сделать, не был сам готов к этому… Но то, что он задуманно разрушал Советский Союз, – это полная чушь. Вот пройдет какое-то время, и то, что сделано было при Горбачеве – первые шаги какие-то, семена, – они взойдут в конечном счете. Мы вернемся в семью человечества! Это и было то главное, к чему стремился Горбачев. Мы уже возвращаемся. Очень неловко, трудно, непросто. Делаем ошибки. И все равно Россия уже не изолированная страна, она не вернется в изоляцию никогда. Изоляционизм в России не победит.

Волков: Вот здесь мы с вами расходимся: вы уверены в этом, а я – нет.

Евтушенко: Это невозможно просто! У нас есть силы этому сопротивляться.

Волков: Многие историки считают, что Горбачев частично сам создал ситуацию, при которой путч ГКЧП в 1991 году оказался возможным.

Евтушенко: Повторяю: может быть, своей нерешительностью, но не злым умыслом.

Волков: Вообще, вспоминая прогнозы о судьбе СССР, которые делались и на Западе, и Андреем Амальриком в его известной книге «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?», я должен сказать, что никто не мог и вообразить, что это обойдется без грандиозной кровавой бани. Когда говорят о том, сколько неудач было на пути у перестройки и у постперестроечного периода, – все забывают об одном: какие бы ни были неудачи, одна великая удача состоялась: всё это обошлось без гражданской войны и без огромной взаимной резни. Потому что, когда такие попытки резни вспыхивали, они каким-то чудом угасали, не

перерастая в глобальную заваруху.

Евтушенко: Это верно. И повторю: Михаил Сергеевич просто был не в состоянии справиться с теми событиями, которые сам он и пробудил. Но он был человеком хороших устремлений.

Волков: По отношению к Горбачеву всегда можно будет вспомнить, что он открыл ворота переменам: и к лучшему, и к худшему. И чем всё это кончится, пока неясно. Ясно одно: мы живем в «интересные времена», если вспомнить это знаменитое китайское проклятие – пожелание жить в эпоху перемен.

Выездные комиссии и случай с Михаилом Светловым

Волков: Вы помните, как Заболоцкий с Твардовским, Слуцким и Мартыновым съездили в Италию в 1957 году?

Евтушенко: Совершенно верно. А Вознесенский поехал туда в 1962 году. Меня тогда не пустили.

Волков: Да? Вы должны были тоже ехать?

Евтушенко: Конечно, был должен! Ну как же!

Волков: А почему вас вдруг отсеяли?

Евтушенко: А я не помню уже, что тогда было. Ну, очередная какая-то опала. У меня много было опал. По разным поводам…

Волков: Поездка 1957 года очень много значила тогда для всех участников. Для всех абсолютно. Заболоцкий, великий поэт, даже посчитал нужным эту поездку отработать. Вернулся и написал «правильное» пропагандистское стихотворение про то, как в Венеции безработные мучаются. То есть для него важен был сам факт, что его – человека, который отсидел в лагере при Сталине и который был на птичьих правах в Москве, – включили в официальную делегацию. И за это нужно было заплатить.

Евтушенко: Написал такое стихотворение? Я даже не знал.

Волков: Вот мы с вами говорили – что одним из бесспорных и необратимых достижений Горбачева является то, что Россия смогла начать ездить за границу, за рубеж, это стало повседневным явлением, это стало частью быта. Сейчас молодежи трудно даже понять, какой недостижимой мечтой была поездка за рубеж – особенно в капстрану, как это тогда называли, – и через какие унижения нужно было проходить, чтобы добиться этого. В дневниках Юрия Нагибина, известного писателя и типичного представителя московской интеллигенции того времени, по-моему, подавляющее место отведено всем перипетиям, связанным с поездками за границу: пустили – не пустили, почему не пустили, как добиться, чтобы пустили… И блаженство, когда, наконец, выпускают.

Евтушенко: Меня несколько раз просто вытаскивали из

поездок. Однажды я должен был поехать на Олимпийские игры в Италию, купил туристическую поездку – и у меня эту поездку остановили. Потом еще какую-то поездку остановили… А в это время пришел в Союз писателей руководителем Степан Петрович Щипачев. Небольшой поэт, но человек доброго сердца.

Волков: «Любовью дорожить умейте…»

Евтушенко: Да. Очень доброжелательный к молодежи. Когда он стал руководителем писательской московской организации, он пригласил туда и Вознесенского, и Аксенова, и меня, но это уже позже было. А тогда его только назначили. И я пришел к нему и сказал: «Почему меня уже несколько раз подряд снимают то с поезда, то с самолета в самый последний момент? В чем я виноват? Меня в чем-то подозревают? Я прошу просто дать объяснение». Он выслушал. «Сидите, – говорит, – сидите и ждите меня». И ушел, его не было часа два. Потом, через много лет, на похоронах Степана Петровича ко мне подошел министр культуры <Петр Нилович> Демичев и сказал: «А вы знаете, что Степан Петрович Щипачев, когда я только что пришел работать в ЦК…» – с производства его взяли, он работал там по химии…

Волков: Да, Демичева Химиком называли…

Евтушенко: Да-да, Химиком. Так вот, Демичев говорит: «Это был первый визит ко мне писателя – и Степан Петрович пришел по вашему поводу. Первое, что сделал, – положил партбилет на стол, а партбилет его был помечен восемнадцатым годом. И сказал: „Что вы делаете с нашей молодежью? Зачем вы их делаете врагами? Чего вы хотите добиться? Мы разве за это…“»

Волков: «…кровь проливали?…»

Евтушенко: Примерно так. Ну, это в стиле Щипачева. Мне он ничего не сказал – куда ходил, где был… Это только на его похоронах я узнал. Мы долго с ним дружили. Он напечатал мои первые очень важные для меня стихи «Свадьбы» в журнале «Октябрь», поэму «Станция Зима» напечатал…

Волков: Мы говорили с вами о выездных комиссиях. Тех, что разрешали или запрещали человеку выехать за границу. Вы говорили, что нынешняя молодежь даже не знает, что такое выездная комиссия.

Евтушенко: Да, действительно, был у меня случай в одной школе – это не элитная школа, а самая обыкновенная, – в которой поэтесса Инна Кабыш преподавала русский язык и литературу. Она пригласила меня, спросил у этих молодых ребят, знают ли они, что это такое – выездная комиссия. Встала девочка и говорит: «Евгений Алексаныч, это, наверное, комиссия, которая все время куда-нибудь выезжает?» А потом я стал их расспрашивать. Оказывается, все они куда-то уже ездили. Пусть

даже недалеко: кто в Болгарию, кто в Данию почему-то, с большими скидками, особенными скидками для детей…

Когда я был депутатом СССР от Украины – это было в 1989 году, – мне не был известен ни один депутат, который в свою программу официальную включил бы требование отменить все выездные комиссии, унижающие достоинство советского человека. Эта формулировка стояла только в моей программе, которая висела по всем стенам. Вот этим я очень горжусь! Когда отменили выездные комиссии, знайте: это сделал депутат от Украины Евгений Евтушенко.

И даже у меня был случай с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Не то чтоб мы спорили по этому поводу. Он мне сказал: «Ну, это вопрос частный». Я говорю: «Нет, это не частный вопрос, Андрей Дмитриевич, это очень важно. Очень важно! Вот если бы вы были выездным человеком, наверное, вы гораздо раньше пришли бы к правозащитничеству». Он улыбнулся: «Ну, поскольку этого со мной не было, мне трудно говорить в сослагательном наклонении».

Волков: Но Сахаров же объявил голодовку в свое время за право выезда его падчерицы из Советского Союза, так что это достаточно важным было и для него.

Евтушенко: Я приведу вам пример, как унизительно это было. Михаил Светлов разводился с женой – она выходила замуж за Бруно Понтекорво, засекреченного физика-итальянца, и после замужества ее тоже могли уже не выпустить за границу вместе с ним. И она попросила Светлова: «Миша, хоть ты свози меня, пока я еще выпускаемая, куда-нибудь. Кстати, есть путевка во Францию и в Испанию. Вот ты и посмотришь свою Гренаду[94], Миша». И Светлов мне рассказывал, как он пришел в выездную комиссию, где сидела такая молоденькая девочка, его поклонница, которая принесла книжки ему на подпись и очень уважительно с ним разговаривала. Но вдруг она начала его наставлять: «Михаил Аркадьевич, я знаю, что вы выпить любите. Пожалуйста, возьмите с собой, конечно, пару бутылочек водки, но лучше с товарищами по вашей группе выпейте… Или вот вы иногда рассказываете анекдоты – а вдруг какой-нибудь иностранец использует это против Советского Союза?» Светлов слушал-слушал ее и говорит, – это он мне сам рассказывал: «Почему вы меня поучаете, родная моя? Разве я заслуживаю этого?» А она ему: «Но ведь вы же ни разу не были за границей!» – «Нет, – говорит, – девочка, вы ошибаетесь! Я там был в качестве майора Советской армии. Я освободил пять европейских стран и входил во многие лагеря смерти, спасая людей! И после этого вы почему-то поучаете меня, как я должен себя вести?!» И Светлов

разорвал свою анкету: «Лучше я никуда не поеду!»

А когда я был в Испании – Михаил Аркадьевич уже умер, – я вспомнил его рассказ. Мы проезжали по Гренаде, и я попросил шофера остановить машину. Я взял носовой платочек, который был у меня, слава богу, чистый, собрал эту рыжеватую красноватую землю Гренады в платок и привез к нему на могилу. Он похоронен на Ваганьковском. И мы вместе с Ярославом Смеляковым и режиссером и актером театра Ермоловой Семеном Гушанским – они оба тоже были друзья Михаила Аркадьевича большие – вместе соединили гренадскую землю с землей на могиле Светлова. Я исполнил долг перед одним из своих учителей. Теперь вы понимаете, что я чувствовал, когда услышал ответ девочки?

Волков: В том-то и дело, что советских реалий люди уже не знают, не понимают.

Евтушенко: Наши дети в другом обществе уже растут. А ведь когда-то вступление в романе «Ягодные места» я писал как страницы фантастического романа. «Наступит же когда-нибудь момент, – подумал космонавт, – у меня космонавт там был, – когда какой-нибудь лесоруб с той же самой станции Зима, просыпаясь, скажет: „Ну чё, Машка, вот и отпуск уже на носу. Ну, куда мы сейчас подадимся с тобой? Европу мы уже посмотрели! Ну, может, в Китай? Там поближе, говорят, что у них сейчас там поинтереснее…“» Я помню, как Нагибин, который рецензировал эту книгу, смеялся. «Конечно, смешно было читать, как просыпается какой-то сибирский слесарь и думает, куда ему рвануть в отпуск, в какую страну?» А все-таки так случилось…

Волков: Когда об этом вспоминаешь, то чувствуешь себя действительно более оптимистично. Но когда думаешь о том, какой еще длительный путь впереди и насколько он оказался непрямым, а зигзагообразным, то становится немножко печально.

Евтушенко: И тем не менее – я и сам изумляюсь – начали наконец появляться путеводители на русском языке во всех странах. Вот я встретил в Помпеях воронежских ребят. Бедные студенты с рюкзачками, автобус совершенно какой-то облупленный, в котором они ночевали… Я даже им стихи почитал. Понимаете, кто-то ездит за границу, чтобы оттянуться, как говорится. А кто-то приезжает и вольно и невольно сравнивает, делает выводы. И перестает идеализировать заграницу или, наоборот, демонизировать. Всё это постепенно ведет к нормализации положения России в мире. Это, конечно, гигантский шаг. И последствия у него будут, которые нельзя предсказать. Но я убежден, что в целом это скажется очень хорошо.

Прощание с красным флагом

Волков: Одним из главных символических эпизодов, связанных с концом Советского Союза, стал вот этот: 25 декабря 1991 года над Кремлем опустили советский флаг, и вместо него поднялся флаг России. Как вы к этому событию отнеслись и где вы в это время были?

Евтушенко: Я был там. Стояло огромное количество людей. Разных. Молча. Никто не торжествовал, но и не рыдал. Вот когда спускали флаг – некоторые заплакали, это правда. Ну конечно, под этим флагом мы столько лет жили… И я написал стихотворение, в котором попытался сам для себя выяснить, что для меня означал флаг этот, для моего поколения. А потом я поехал в Америку и прочел перед выступлением эти стихи Альберту Тодду. Он сказал: «Очень сильные стихи». Я говорю: «Берт, давай переведем это стихотворение и прочтем сегодня», – мы часто так делали, вместе с ним переводили. «Ну, давай попробуем». Потом прочли – вроде получилось, хотя это всегда очень трудно. И вдруг Тодд мне говорит: «Жень, может, все-таки не стоит их читать?» Я говорю: «Почему?» – «У нас многие могут этого не понять. Я понимаю твои чувства, меня тронуло это стихотворение, но некоторые могут подумать, что ты хочешь возвращения советского флага, коммунистической системы и всего, что с этим было связано. Учти, – говорит, – у вас была американская антипропаганда, у нас была советская антипропаганда, и это отразилось на многих. Они могут неправильно тебя понять, вообразить, что ты сталинист. Кто знает, как люди будут реагировать?» Я говорю: «Давай все-таки попробуем». – «Ну, как хочешь», – сказал он. И я прочел это стихотворение по-английски. Я только начало прочел по-русски, чтобы услышали, как оно по-русски звучит. И вы знаете, поразительно, как его приняли. Очень вдумчиво. Были такие умные аплодисменты… Не бурные, а вот такие думающие. И люди очень внимательно слушали.

После этого мы были в гостях у местного миллионера, бывшего лесоруба, как мне рассказали, *self-made man* – человека, который «сам себя сделал». И я заметил, что он тоже очень внимательно слушал это стихотворение. И даже аплодировал, я бы сказал, задумчиво. А потом неожиданно попросил прочесть еще раз. «На меня оно произвело сильное впечатление», – сказал мне. Я говорю: «А вы что, были когда-то в молодости коммунистом-идеалистом?» – таких же много было в Америке во времена Великой депрессии. Он сказал: «Нет, я никогда не был коммунистом. И вообще ни в какой партии не был. Я старался

сторониться политики». И я прочел еще раз – у него глаза на мокром месте были. Я спросил его: «А почему вас это стихотворение так задевает, если вы никогда не были коммунистом и никогда не сочувствовали коммунистам?» Он сказал: «Мистер Евтушенко, вы немножко недооцениваете этого стихотворения. Оно шире, чем просто стихотворение о красном флаге. Ведь это стихи о неосуществленной мечте. И когда многие люди вам аплодировали сегодня, они, может быть, неосознанно или полуосознанно чувствовали это. Просто они не могли проанализировать до конца, почему это их задевает. Ведь у нас тоже была великая американская мечта. Но если говорить по-честному, разве когда-нибудь какая-нибудь мечта полностью осуществлялась? После стольких революций, после стольких событий! Наверное, никогда… Вот вы помните победу во Второй мировой войне?» Я говорю: «Конечно». – «У нас была знаменитая фотография, где целуется моряк…»

Волков: Американские и советские солдаты на Эльбе?

Евтушенко: Нет-нет, другая знаменитая фотография, где целуется моряк с женщиной. На площади в Нью-Йорке, на Таймс-сквер, после окончания Второй мировой войны. И он говорит: «Ведь тогда казалось, что будет совершенно другая жизнь. А потом была холодная война. И с вами тоже такое произошло, наверное…» Я говорю: «Да, я был в день победы на Красной площади. Помню, как выносили на руках американцев из Кремля, где шел банкет. Нам тоже тогда казалось, что всё волшебно изменится». И он заключил: «У нас была американская мечта. Но разве она свершилась в полной мере, как думали основатели нашей демократии? И потому частично можно понять и вашу боль, вот почему это стихотворение задевает и будет задевать американцев». Я был поражен!

Вот это стихотворение – «Прощание с красным флагом»:

Прощай, наш красный флаг, —
С Кремля ты сполз не так,
как поднимался ты —
    пробито,
        гордо,
            ловко,
под наше «так-растак»
    на тлеющий рейхстаг,
хотя шла и тогда
    вокруг древка мухлевка.

Прощай, наш красный флаг.

Ты был нам брат и враг.
Ты был дружком в окопе,
надеждой всей Европе,
но красной ширмой ты
загородил ГУЛАГ
и стольких бедолаг
в тюремной драной робе.

Прощай, наш красный флаг.
Ты отдохни,
приляг.
А мы помянем всех,
кто из могил не встанут.
Обманутых ты вел
на бойню,
на помол.
Но и тебя помянут —
ты был и сам обманут.

Прощай, наш красный флаг.
Ты не принес нам благ.
Ты – с кровью, и тебя
мы с кровью отдираем.
Вот почему сейчас
не выдрать слез из глаз,
так зверски по зрачкам
хлестнул ты алым краем.

Прощай, наш красный флаг.
К свободе первый шаг
мы сделали в сердцах
по собственному флагу
и по самим себе,
растоптанным в борьбе.
Не растоптать бы вновь
«очкарика» Живагу.

Прощай, наш красный флаг.
Смотри, наш триколор,
Чтоб шулера знамен
тобой не мухленули!
Неужто и тебе —
такой же приговор —
чужие и свои

шелк выжравшие пули?

Прощай, наш красный флаг…
С наивных детских лет
играли в красных мы
и белых больно били.
Мы родились в стране,
которой больше нет,
но в Атлантиде той
мы были,
мы любили.
Лежит наш красный флаг,
в Измайлово в растяг.
За доллары его
«толкают» наудачу.
Я Зимнего не брал.
Не штурмовал рейхстаг.
Я – не из «коммуняк».
Но глажу флаг и плачу.

Вот потому, наверное, и многие люди там, на Красной площади, стояли и плакали…

Волков: Евгений Саныч, вы, конечно, знаете, что президент Путин сказал о крушении Советского Союза? Что это была одна из крупнейших – или он даже выразился, «крупнейшая геополитическая катастрофа XX века». А ваше отношение к этому какое?

Евтушенко: Конечно, тогда Вавилонская башня рухнула. Я был в то время депутатом от города Харькова и принадлежал к тем, кто считал, что нам нужно было отделить вопрос прибалтийских республик, поскольку они были аннексированы. Вынести его, так сказать, за скобки, просто вернуть им независимость. И даже мы говорили Михал Сергеевичу, что он должен был бы туда приехать и поздравить их с независимостью, чтобы потом, расширяя демократию, давая нашим людям больше возможностей и защищая права человека, постепенно соединяться с Европой. С цивилизованной Европой.

Волков: То есть вы считаете, что и республики Закавказья могли остаться в составе Советского Союза, сконструированного на какой-то новой основе? И среднеазиатские?

Евтушенко: Да, мне так казалось. Михаил Сергеевич был хорошим человеком, но когда он поехал туда, в Прибалтику, его окружили в основном коммунисты. Они отделили его от народов

прибалтийских республик и, к сожалению, убедили его, они показались ему народом прибалтийским. И мы не смогли избегнуть таких ужасных вещей, которые произошли в Вильнюсе.

Волков: В Тбилиси, Сумгаите…

Евтушенко: По-другому могло всё, может быть, развиваться. Но опять говорю, что у истории нет сослагательного наклонения. Всё это было. Помню, я был в Киеве, присутствовал на заседании Рады, где чуть не дрались уже депутаты. И я почувствовал, как трещит наша Вавилонская башня. Я не спал всю ночь и написал одно из лучших своих стихотворений, «Дай бог!», которое стало песней. Музыку замечательную написал Раймонд Паулс. И до сих пор эта песня живет. Я понял, что разрыв с Украиной будет трагедией для множества семей. Так оно и случилось. Потому что многие проснулись за границей. Вот что произошло. Когда в Беловежской пуще всё это было решено. Ведь тогда был проведен референдум, если вы помните, относительно того, оставаться ли в Советском Союзе. Надо было, мне кажется, оставаться.

Волков: По результатам референдума, как мы помним, большинство предпочло бы сохранить Советский Союз.

Евтушенко: Совершенно верно. То, что было сделано в Беловежской пуще, было ошибкой, я думаю. К сожалению, Борис Николаевич Ельцин в тот момент повел себя весьма эгоистически. Он сам не понимал, что делает! Он вернулся и спал как огурчик. Я помню, как он вернулся оттуда: «Да всё будет прекрасно!» А как же валюта? «Будет та же самая валюта у всех…» И вдруг всё приняло совершенно другой характер, Советский Союз начал неумолимо разваливаться. Почему? Потому что Ельцин хотел отделаться от Горбачева. Он думал только об одном: отделаться от Горбачева! И до сих пор эта проблема окончательно не решена.

Волков: Как вы помните, одна из идей Солженицына, которая в тот момент казалась многим чрезвычайно еретической, была следующая: Россия должна сохраниться в союзе с Украиной и Белоруссией и северными областями Казахстана. А все остальные пусть отделяются, считал Солженицын, которого почему-то обвиняли в монархизме, в стремлении воссоздать великую Российскую империю и еще в каких-то невообразимых грехах. Но на тот момент это была, напротив, радикально демократическая идея. Гораздо более демократическая, чем позиция того же Горбачева. Но Горбачев даже рассматривать не стал подобную возможность усеченной державы. А в итоге, как мы знаем, Россия осталась одна.

Сейчас мы наблюдаем за начальными попытками реконституции, как сейчас говорят, восстановления какого-то союза смежных государств. И опять-таки, как вы знаете, к самой

этой идее и в самих республиках бывших, и в Европе относятся чрезвычайно амбивалентно. Потому что многие видят за этим попытку восстановить империю в том или ином виде. Советскую империю. А как вы считаете?

Евтушенко: У нас, конечно, есть люди, у которых эти имперские тенденции в головах. Я просто бы хотел, чтобы между нашими народами существовали связи, исторически сложившиеся, которые жалко терять.

Волков: Но они на глазах исчезают, эти связи. В Тбилиси молодежь с гораздо большей охотой и рвением изучает английский, нежели русский. То же самое происходит в Прибалтике. То есть на глазах вымывается – и вымывается с невероятной быстротой – весь накопленный за многие десятилетия культурно-исторический опыт, который казался неотъемлемой частью всего этого пространства.

Евтушенко: Да, у нас было общее культурное пространство. Если говорить о литературе, вспомним: Расул Гамзатов принадлежал к маленькому народу дагестанскому, но его книги издавались миллионными тиражами, он был одним из самых любимых поэтов не просто России, а всего Советского Союза. Или Чабуа Амирэджиби, классик грузинской литературы. Или Нодар Думбадзе. Это были общесоветские писатели, которых читали везде. Латышских писателей переводили на якутский язык и наоборот… У нас было огромное культурное пространство, и оно разрушилось. А ведь эти культурные связи уходили во времена еще и Пушкина, и Грибоедова. Пастернак очень здорово когда-то написал: «Страны не знали в Петербурге, / И злясь, как на сноху свекровь, / Жалели сына в глупой бурке / За чертову его любовь. / Она вселяла гнев в отчизне, / Как ревность в матери, но тут / Овладевали ей, как жизнью, / Или как женщину берут»[95]. Даже во времена имперского завоевательства происходили разные процессы. И семейные, брачные узы завязывались между крупнейшими аристократическими семьями, и действительно братские отношения были. Вспомним, как русская интеллигенция – Брюллов и другие – устроила аукцион…

Волков: …когда выкупали крепостного Тараса Шевченко.

Евтушенко: И это общее культурное пространство работало на всех. Например, в Грузии был журнал, адекватный «Новому миру», – «Мнатоби». Пятьдесят тысяч подписчиков у него было! А теперь, по-моему, пять тысяч издается. Сейчас во многих республиках писатели не могут жить на свои гонорары, а когда их переводили, они получали за это вполне приличное вознаграждение. А театры! А грузинский кинематограф!

Я не могу квалифицировать отношения между нашими

республиками как колониализм только русский. Я помню, когда Абуладзе сделал свою замечательную картину «Покаяние», как мы пробивали ее в Москве. И когда я возил в Грузию свой фильм «Похороны Сталина» – мне тоже говорили, что взволнуются грузины, а они прекрасно приняли этот фильм. Нодар Думбадзе открывал показ «Похорон Сталина». Я помню, как грузинского поэта Мухрана Мачавариани снимали с должности, а я перевел его стихи и напечатал их в «Правде»… Мы помогали друг другу, у нас был общий враг – цензура, бюрократия. Мы дружили с латышскими и литовскими поэтами, очень хорошими, – Юстинасом Марцинкявичюсом и другими. Это были поэты не только своих республик, своих маленьких языков, а поэты большого культурного пространства, это был уникальный культурный опыт. Мне жалко, что это всё пропало.

Может быть, это было невозможно просто исторически, кто знает? Но я жалею, что Советскому Союзу мы сами не дали шанса превратиться в нечто другое, в другое политическое образование. Я считаю, что можно, не возвращаясь к имперским взаимоотношениям – это и не нужно, и не получится, – но вернуться, возродить общее культурное пространство. Мы столько вместе всего испытали! Товарищ Сталин был большим интернационалистом, когда сажал. Замечательные грузинские поэты погибали – тот же Чабуа Амирэджиби…

Волков: Тициан Табидзе, Паоло Яшвили…

Евтушенко: Вот украинские националисты говорят о голодоморе – а что, у нас голода, что ли, не было, в России? У нас был общий враг – бюрократия сталинского типа, которая искажала само понятие «дружба народов», но она тем не менее существовала, эта дружба! Это разве был неискренний фильм, про грузина, который воевал…

Волков: Да-да, «Отец солдата», с Серго Закариадзе в главной роли.

Евтушенко: Замечательный Серго Закариадзе! И картины, которые были сделаны во многих республиках, становились общими. Советскими! Их смотрели везде. И просто жалко, что столько хорошего было потеряно. Хотя что-то мы пытаемся сейчас возродить, потому что не можем не чувствовать себя родными людьми.

Волков: Это очень сложная проблема. Я вырос в Риге, с детства знал латышский язык. Учился в латышском классе в латышской школе, и, кстати, с похвальной грамотой окончил. Я хорошо знал настроения латышской интеллигенции – элиты культурной Латвии. Уже тогда, в 1960-е – начале 1970-х годов, о русских иначе, как «русские оккупанты», не говорили. Говорили и

похлеще – «русские свиньи». И настроения были очень в этом смысле радикальные. Поэтому для меня всё последующее развитие событий было совсем не сюрпризом. Сейчас, когда я разговариваю со своими латышскими друзьями, я вижу как бы две тенденции. Одна представлена Раймондом Паулсом, с которым я в одной музыкальной школе учился в Риге: я поступал туда, а он ее оканчивал. Паулс как раз говорит и совершенно этого не стесняется, что с распадом Советского Союза были нарушены очень многие культурные связи, – то есть именно о том, о чем говорите вы. А с другой стороны, я знаю латышских художников и композиторов, которые до сих пор о советском иначе как о периоде русской оккупации не говорят, и их мечта – избавиться от этого наследия и перейти на совершенно иные – европейско-атлантические рельсы. Что из этого получится – никто не знает. И даже они не знают. Но они этого хотят.

Евтушенко: И одновременно тот же Раймонд Паулс написал недавно пятнадцать песен с моими словами. Это же целый мир – пятнадцать новых песен! И мы устроили огромный вечер моей поэзии на его музыку, я читал свои стихи, и зал был наполовину латышский, наполовину русский, битком набитый зал. Люди аплодировали, меня обнимали…

Волков: Может быть, решающим аргументом в итоге станут даже не собственно культурные моменты в строгом смысле этого слова, а нечто более широкое, что включает в себя и элементы культуры, и элементы, как ни странно, коммерции. Скажем, наилучшими клиентами-туристами в современной Латвии, в Юрмале, считаются сейчас русские. Русские туристы меньше всех торгуются, больше всех оставляют чаевых, с ними удобнее всего иметь дело. И поэтому владельцы небольших бизнесов – кафе, ресторанчиков курортных, обслуживающий персонал в срочном порядке, даже те из них, кто уже подзабыл, опять учат русский язык. И с величайшей готовностью ожидают туристов из России. Может быть, с этой стороны наступит и какая-то новая интеграция культурная…

Евтушенко: Да, но, помимо всего прочего, существует искусство, искусство само по себе, в котором есть нечто объединяющее. Я все-таки не хотел бы ставить знак равенства между культурой и коммерцией.

Волков: Но если у того же Раймонда Паулса распродается большой зал в России, это как-то влияет на его отношение ко всему культурному процессу, не так ли?

Евтушенко: Потому что его любят, его музыка обнимает людей, объединяет их. И моя поэзия, простите, такая же. И не все люди забывают, какие стихи я писал и тогда, и сейчас. Они знают,

что я остался тем же самым человеком, я тот же самый Женя Евтушенко, который никогда не призывал оккупировать кого-нибудь или что-нибудь. В этом дело! Искусство может играть огромную роль в объединении человечества. Я, например, безумно тоскую по Грузии. Безумно тоскую! Я столько их переводил, всех переводил! Со столькими грузинами и дружил, и дружу сейчас. Любой культурный грузин знает вот эти стихи:

О, Грузия, – нам слезы вытирая,
Ты – русской музы колыбель вторая.
Про Грузию забыв неосторожно,
Поэтом быть в России невозможно.

Они перепечатываются во всех моих книгах, но, поверьте, есть люди, которые помнят эти стихи и в Грузии.

Вы правы, к сожалению, во многом. Но русский язык не везде теряет силу, он же открывал огромный мир литературы! Грузинскую поэзию переводили лучшие поэты России – и Пастернак, и Антокольский, у Межирова потрясающие переводы были, и Вознесенский их переводил…

Волков: Заболоцкий!

Евтушенко: Конечно! Да и Белла переводила столько!

У меня есть друзья и абхазы, и грузины. Во время чудовищной, бессмысленной вражды, абхазско-грузинской войны – и ведь ее с двух сторон поджигали! – у меня убили крестного отца моего мальчика – Джумбера Беташвили[96], которому я посвятил стихи.

И я считаю, что с обеих сторон, и с третьей стороны – американской, и с нашей стороны было сделано что-то неправильно. Потому что большие нации не должны ссорить маленькие нации, они должны их мирить. Мирить! Если они называют себя миротворцами, то нужно этим и заниматься, а не тянуть в свою сторону и ссорить людей. И я думаю, что процессы культурного воссоединения все равно будут продолжаться. Геополитика будет сложным путем идти, а все-таки совершенно неестественное разъединение людей будет постепенно возвращаться в свое естественное русло. И через культуру это будет!

Волков: Евгений Саныч, как вы считаете, в наше время мы увидим разрешение двух проблем: одну – между Грузией, Осетией и Абхазией и другую – Нагорный Карабах, горячий вопрос между Азербайджаном и Арменией. Мы увидим существенный прогресс? Или – уже не увидим?

Евтушенко: Если бы Америка и Россия поставили целью

своей, если бы одновременно договорились содействовать этому, то это могло бы получиться. Это должны понять и американцы, и наше правительство: нельзя допустить, чтобы Кавказ превращался в яблоко раздора. Посмотрите, что в Дагестане творится…

У нас сейчас, слава богу, нет холодной войны, но у нас, как говорится, *cold peace*, холодный мир. Холодноватый. И нельзя забывать про маленькую немецкую речушку Эльбу, где наши солдаты – и русские, и американцы – показали всему миру, что если они плечом к плечу возьмутся за что-то, то у них всё получится. А сколько у нас общих врагов! Терроризм, голод; посмотрите, какая сейчас угрожающая ситуация в той же Греции… Мы сейчас должны искать какие-то новые подходы. Так что да – «Прощай, наш красный флаг…»

Я принадлежу к тем людям, у которых, может быть, идеалистический взгляд. Я очень переживал распад Советского Союза, очень переживал! Я родился в Советском Союзе, это моя родина. Я считал, что всё можно было бы сделать по-другому, Союз можно было спасти – не тот, который был, но давая людям больше свободы. И личной, и общественной.

Волков: Перефразируя Аркадия Белинкова[97]: «Сдача и гибель советского идеалиста…» Грустно всё это, грустно…

Ельцин

Евтушенко: Ельцин стал себя окружать не теми людьми. Я был первым человеком, который выступил с осуждением его решения о введении войск в Чечню. Можно было договориться. Потому что Дудаев хотел сначала с Ельциным поговорить, и помешали этому только ельцинские капризность, самодурство. Я убежден, что Дудаев хотел найти примирение! Все-таки он был советский генерал…

Волков: По-моему, даже награжден орденом Боевого Красного Знамени…

Евтушенко: Да, конечно! И коммунист, и всё что угодно. Я знаю очень хорошо Кавказ! Я сразу понял, что это будет очень долгое кровопролитие.

Волков: Вы тогда отказались принять орден Дружбы народов от Ельцина?

Евтушенко: Не потому, что я хотел оскорбить лично Ельцина, – нет!

Но за несколько дней до вручения я узнал, что в Чечне начинаются военные действия. Я понял, что это приведет к страшному кровопролитию. Я знал и о том, что генерал Дудаев хотел приехать в Москву – первое, что он сделал, когда его

выбрали президентом, – а ему отказали! Такие вещи нужно было решать по-кавказски: постелить ковер, встретить человека и говорить с ним. Так должна делаться политика. И я, зная Кавказ, кавказские обычаи, понял, что это превратится в бойню, которая затянется.

Волков: А какова вообще ваша оценка роли Ельцина, его фигуры?

Евтушенко: Он допустил невероятную коррупцию. Не знаю, с кого это началось, но при Горбачеве я не видел такой коррупции…Ельцин был просто лишен элементарной человеческой культуры. Вот и всё.

Волков: Он был решительным политиком – это разве не свойство настоящего лидера? Я думаю, что именно поэтому Горбачев ему проиграл тогда в соревновании за власть. Один был более решительным, другой – менее. Нет?

Евтушенко: Мне Ельцин нравился один день.

Волков: Когда он влез на танк? 19 августа 1991 года?

Евтушенко: В этот день я пришел к нему. Я пришел – этого было достаточно!

Волков: Вы ведь читали с балкона Белого дома свое стихотворение тогда?

Евтушенко: Да. И как я назвал его, самое мое лучшее плохое стихотворение. Внизу было, наверное, больше ста тысяч человек. Я хотел просто прочесть стихи Пушкина «Товарищ, верь: взойдет она…». И в это время депутаты Гдлян и Иванов решили эти стихи вместе исполнить. И тогда я понял, что нужно что-то другое, и быстро нацарапал это стихотворение – «19 августа».

Волков: Народ, небось, взревел, когда вы прочли.

Евтушенко: Конечно, аплодировали. Просто рады были, что я стоял со всеми вместе. Я никогда еще столько хороших людей не видел. Сколько там было матерей с колясками – женщин, которые, может быть, и решили всё! Ведь они пришли, потому что уже устали стоять в очередях лучшие годы своей жизни. Они победили только тем, что пришли и создали вокруг Белого дома кольцо. А Ельцин забыл о том, как люди эти спасли его. Забыл! Вот что мне в нем не нравится. И когда я это почувствовал, то понял: незачем мне входить в это правительство.

Я думаю, что я был в политике в правильное время. Когда в 1989-м я пришел в парламент – это был колоссальный опыт для меня. И я счастлив, что до сих пор не стесняюсь приезжать в Харьков и что меня ждут там.

Потому что многие бывшие депутаты сбегают просто и больше не показываются своим избирателям. А я ни в чем перед ними не провинился.

А тут мне было с самого начала просто стыдно. И все-таки я хочу сказать, Ельцин в тот момент, когда он залез на этот броневик, на этот танк…

Волков: Это был жест лидера, да? Будущего царя.

Евтушенко: Было бы хуже, если б путчисты пришли к власти. У них были уже на депортацию списки, могла развязаться гражданская война… Ни к чему хорошему это бы не привело. И Ельцин, я считаю, пусть один лишь день, все-таки был национальным лидером.

Волков: Один день Бориса Николаевича.

Евтушенко: Да, один день я его любил. Я был рядом с ним в этот день. Я помню разговор, который у меня с ним произошел. Он мне сказал: «Слушай, товарищ Евтушенко, спасибо тебе, что ты с нами сегодня». А потом говорит: «Ты извини за это партийное слово „товарищ“, я же все-таки из партийных… Видишь, как вырвалось». Я говорю: «Борис Николаевич, ну какое же это партийное слово – оно еще до Пушкина было. Это старое русское слово, еще Пушкин писал: „Товарищ, верь: взойдет…“» – «О! Эт-т я знаю!» Я никогда не забуду, как он радостно сказал: «О! Эт-т я знаю!» Это было в тот день, первый. Когда он полез на этот самый, как я называю его – броневик.

Волков: Ленинский броневик и ельцинский танк.

Евтушенко: А вы знаете, что он сказал солдату? Я был рядом, я слышал: «Ну что, ты не будешь стрелять в своего президента?» И тот сказал: «Да нет! Нет! Нет-нет-нет!» – от ужаса он вообще обалдел, солдатик этот веснушчатый, из башенки торчащий. Вот мне в этот день Ельцин нравился.

Еще у меня от этого дня остался любопытный автограф Руслана Хасбулатова: «Евгению Александровичу Евтушенко с увением» подписано на его книжке – он пропустил буквы в слове «уважением», и это показывает, что происходило в тот момент с ним.

Волков: А вы были в Москве, когда Ельцин дал приказ стрелять по парламенту? 4 октября 1993 года? Я следил за этим из Нью-Йорка, сидел до утра у телевизора, смотрел прямую трансляцию.

Евтушенко: Да, я был в Москве, там было ужасно. Еще слава богу, что доктор Долецкий[98] остановил сторонников Ельцина от другого – ведь хотели перекрыть канализацию в Белом доме.

Волков: Чтобы выкурить мятежников таким образом?

Евтушенко: Вы представляете, что могло случиться, если б перекрыли канализацию? Могла и эпидемия случиться… Нет, это всё уже было мне глубоко чуждо, я написал об этом в своей поэме «Тринадцать».

Волков: Письмо деятелей культуры в поддержку расстрела Белого дома, «письмо сорока двух», которое подписали и Окуджава, и Ахмадулина, вы не подписывали. Но как же вроде бы некровожадная Белла Ахатовна решилась на такой шаг?

Евтушенко: Уговорили! Не поняла. Уговорили.

Волков: И Булат Шалвович – ведь после Великой Отечественной войны он стал пацифистом? Как же он?

Евтушенко: Он жалел. Он жалел об этом. Это он мне сам говорил. Но всё это было потом. А в тот день – 19 августа 1991 года – Ельцин был герой. Герой одного дня.

Несостоявшийся министр культуры

Евтушенко: Я никогда себя не считал профессиональным политиком и не рвался во власть. Когда мне предложили при Ельцине стать министром культуры, я отказался, я покинул поле.

Волков: Лично я об этом всегда жалел. А скажите, Евгений Саныч, кто персонально предложил вам пост министра культуры?

Евтушенко: Мне предложила это группа депутатов. Позвонил от их имени ленинградский актерОлег Басилашвили, очень уважаемый мной человек, и сказал, что они готовы выдвинуть мою кандидатуру на этот пост и уверены, что получат поддержку. Я сказал, что это не моя профессия. Я это понял. Вот и всё. Это не моя профессия.

Волков: А вам не кажется, Евгений Саныч, что в тот период многие от вас именно этого и ожидали, уверены были, что вы как раз тот человек, который должен был бы заняться культурой?

Евтушенко: Нет, это уже было во времена Ельцина. И, повторяю, мне многое сразу не понравилось из того, что он начал делать. Я отказался и не жалею об этом.

Россия в ретро- и перспективе

Волков: Я прочел у вас любопытные строчки – вот: «У Ельцина есть решающий для его окончательной исторической репутации шанс – создать прецедент плавного перехода власти из рук в руки. Если он выполнит свое обещание и станет первым правителем России, добровольно передавшим скипетр в руки выбранного народом преемника, возможно, вся история России с этого момента изменится. Но чьи это будут руки? Не важно чьи, лишь бы они были чистые…» Это что – просто такое любопытное размышление поэта над возможными историческими вариантами?

Евтушенко: Да, но я бы сказал, что история не сказала своего

последнего слова. Не дала последнего ответа. И очень бы хотелось, чтоб он был положительным. Да, рука должна быть и сильной, и чистой. Одновременно чтоб это было. Вот только это не всегда получается. Вот, скажем, у Петра і рука была…

Волков: По локоть в крови.

Евтушенко: Да, но не всегда же. Она была и по локоть в стружках, правда?

Волков: Да, это еще один вечный и трагический российский парадокс.

Евтушенко: В золотых стружках была. Петр был вдохновенный человек, очень талантливый, а с чего начал? Рубить головы стрельцам. Сколько ему было – лет шестнадцать-семнадцать тогда? Все-таки это отразилось на нем.

Волков: Предполагается, что он участвовал в пытках, которым подвергался его собственный сын. Историки склоняются к тому, что пытки были и, конечно, не могли совершаться помимо воли Петра. Алексей все-таки царский сын. Так что это на самом деле страшноватый сюжет. И для меня он очень важен в итоговой оценке Петра как личности. У меня, помню, был на эту тему разговор с Шостаковичем. Его это очень тревожило.

Евтушенко: А вот мне очень нравится Петр-плотник, Петр-созидатель. А там, где это переходило к топору и к дыбе, – тут уж он перестает быть моим героем. Но я думаю, что так было со многими правителями в истории человечества.

Волков: Однако многие нации приходят все-таки к консенсусу какому-то. Вот как Франция пришла к консенсусу в отношении Наполеона, у которого тоже руки по локоть в крови и, может, даже еще повыше. Но согласилась же Франция, что это их национальный герой и что он, может быть, величайший француз, правда?

Евтушенко: В моем фильме «Детский сад» есть крошечный эпизод: эвакуация, поезд, сидит буфетчица, обхватив ногами большую люстру и разные причиндалы, которые она захватила, и среди них статуэтка Наполеона, которая падает при движении поезда. И еще – это просто случайно вышло, даже без всякого второго смысла – попалась мне базарная картинка на станции Зима в каком-то доме, я попросил ее для съемки: Наполеон в санях, удирающий из России. Так вы представляете, что на пресс-конференции по поводу моего фильма «Детский сад» все французские корреспонденты сконцентрировались на том, что я имел в виду, когда дважды показывал Наполеона? Они обиделись. Обиделись! Хотя, может, и приписали Наполеону слова, которые он сказал: «Этот овраг, надеюсь, мои доблестные кирасиры заполнят собой, и потом по ним пройдут другие»? Может, это

придумали? А если это правда – это чудовищно! Но я в это не верю.

Волков: Однако то, что это был человек, не склонный беречь ни своих солдат, ни тем более солдат противника, – это ясно. И он же ввел очень по тому времени прогрессивные реформы во Франции, ставшие образцом для всей Европы.

Евтушенко: Ну знаете, в сталинской конституции, написанной, кстати, Радеком, а не Сталиным, тоже было много хорошего. Красиво была написана. Только вот она не выполнялась. У нас вообще есть много неплохих законов, которые совсем не выполняются.

Волков: Ну, Россия – это страна, в которой если бы законы выполнялись, то жизнь была бы совсем невыносимой. Всё построено на том, что закон, когда он предлагается, уже как бы подразумевает невыполнение. И тогда жизнь становится возможной.

Евтушенко: Это правда. Это правда, ничего не скажешь. И потом – очень уж Россия большая, она как динозавр: пока закон доходит от головы до хвоста, он, закон, претерпевает большие изменения. Я это чувствую каждый раз, когда езжу по России. А я много раз пересекал всю Россию – до Владивостока или даже до Чукотки, до Камчатки. Я всегда это чувствовал. Но все-таки нет у меня ощущения, что какие-то подвижки, которые были сделаны и Хрущевым, и потом Горбачевым, и даже ельцинские шаги, и даже то, что происходит в последнее время, – что всё это зря. При том что мы жалуемся на одно, на другое, на третье – с ошибками, с тем, что нам не может нравиться и быть по душе, – все равно происходят какие-то и хорошие изменения. Что-то меняется все-таки.

Волков: В России удивительным образом – не очевидным образом – до сих пор ни народ, ни руководящая элита никак не могут решить одного фундаментального вопроса, который на самом деле имеет решающее значение: куда же Россия собирается идти и в какую сторону она собирается, как тот двуликий Янус, поворачивать свое истинное лицо. Она хочет быть лицом к Европе или она хочет смотреть на Азию? И об этот вопрос спотыкается один идеологический проект России за другим.

Евтушенко: «Так кем ты хочешь быть, Россия: / Востоком Ксеркса иль Христа?» – правда? Вот этот соловьевский вопрос[99].

Волков: Вы его, конечно, немного переиначили: получился Владимир Соловьев в редакции Евтушенко. Но от разрешения этого вопроса, который Тютчев сформулировал еще до Соловьева, очень многое зависит, бесспорно. Выбор окончательный не сделан до сих пор. И, боюсь, мы с вами этого выбора не дождемся…

Евтушенко: Какое счастье, что у меня есть Маша! Правда.

Волков: Она замечательная женщина. Вот я смотрел, как она помогает вам при съемках нашего фильма и как вы на это реагируете… Она вас понимает с полуслова и даже с полузвука, по-моему.

Евтушенко: Но мы с ней спорим дико. Я обожаю «Детство» и «В людях» Горького. Лежу в постели рядом с ней, читаю вслух и реву. А она смеется надо мной. И Маяковского она не любит – другое поколение, тридцать лет разницы.

Волков: Я тоже хотел возразить Маше, когда она сказала: «У Окуджавы нет плохих стихов». Да Окуджава вообще средний поэт. Он потрясающий, великий… не знаю, как назвать этот жанр. Бард? Нерусское слово. Создатель песен? Такого никогда не было в русской культурной истории и уже не знаю, когда будет. Но стихи… Читать их, по-моему, неудобство одно. Спасает то, что слышишь в уме музыку, голос.

Евтушенко: А слушать хорошо. Нет, он прелестный, прелестный…

Волков: Я вот сейчас подумал: обыкновенно мужчины стремятся к одному типу женскому – а ваши жены все разные, не похожи друг на друга.

Евтушенко: Но все они очень уважают Машу. Это для меня очень важно. Они к ней с огромным уважением относятся. Ни одна из них никогда не сказала ни одного плохого словечка о Маше. Она единственная, кто выдержал меня столько – двадцать пять лет!

Я увидел Машу, когда она пришла в Петрозаводске на мое выступление на местном ТВ. Мне тогда было плохо, и Марат Тарасов, мой друг, народный поэт Карелии, литинститутский еще мой товарищ, пригласил меня в Карелию. И я с ним нырнул туда, в Карелию. И вот я выступал в телестудии, аудитория небольшая была, человек сто собралось, подписывал книжки свои – и обратил внимание на одну руку. Рука какая-то была… мраморная. Поднял глаза – и лицо тоже мне очень понравилось. Я спросил: «Как вас зовут?» – «А зачем вам это?» – «Как, – говорю, – зачем? Вы же у меня просите автограф». – «А это не моя книжка. Я вообще не ваша поклонница, у меня мама ваши стихи любит, она меня послала. Я люблю Окуджаву больше. Простите меня, но я больше люблю Окуджаву…» Конечно, меня немножко это задело. Хотя Булат мой товарищ и друг, но все-таки…

После выступления мы с Маратом уезжали с телестудии и увидели ее: она шла очень быстро, спеша куда-то. Я сказал:

«Хотите, мы вас подвезем?» Я не знал, как ее зовут даже! «Нет, – говорит, – я опаздываю, извините, Евгений Саныч, мне не до вас сейчас. Я работаю гидом, меня группа ждет, я еду в Кижи».

Волков: Но вы, конечно же, не сдались?

Евтушенко: Я позвонил в туркомпанию, она единственная в Петрозаводске была. Подошла Маша, но только другая. Она была потрясена, когда я сказал, что это Евтушенко звонит, но очень разочарована, что я не ее искал. Я объяснил, узнал фамилию – Новикова, и мне с большой неохотой, но дали телефон. Я позвонил. Подошла ее бабушка: «Что-то я не понимаю. Как это вы нам звоните и одновременно по телевидению разговариваете?!» Меня ж на ТВ записали, а она как-то не врубилась, старушка. Потом позвала Машу. И вы знаете, я сразу испытал к ней такое чувство доверия…

Я тогда делал всё, чтобы не разводиться с Джан. Я еще не знал, что там был замешан другой человек. Хорошо, женщина из английского посольства, которая с Джан дружила, сказала мне: «Жень, не будьте слепым. Это, может быть, жестоко с моей стороны, но я хочу, чтоб вы просто не тратили свои нервы. У нее есть человек, который оказался с ней тогда, когда вас не было рядом. Простите…» Этот человек потом уехал с ней, у них ребенок родился.

Короче говоря, я Маше всё рассказал. Мы зашли в маленький ресторан, в бывший каземат, там была такая комнатка только на двоих, где можно было спокойно поговорить. Это было самое дорогое местечко в городе. И я ей рассказал, что остался у разбитого корыта, что должен уезжать в Испанию, а меня никто не провожает, не встретит… Говорю: «Вы мне так нравитесь, я испытываю к вам какое-то чувство доверия. Посоветуйте, что мне делать сейчас? Как мне спастись?» И она мне сказала: «Вам нужно всё сделать, чтоб спасти ваш брак. Потому что если вы не сделаете этого, вы про любую женщину, на которой женитесь, будете думать, что это она виновата в расставании с Джан, что у вас еще был шанс, а вы его не использовали. И вы никогда не будете любить эту женщину».

Ведь какую мудрую вещь сказала! Я так и поступил. Пол Уинтер, знаменитый джазмен американский, мой друг, ездил к Джан, и другие мои друзья ездили, пытались Джан уговорить не разводиться со мной. И я сказал Маше: «Всё сделал, что мог. Ничего не получилось. Сейчас вот уезжаю в Испанию. И меня опять никто не будет провожать, никто не будет встречать…» – «Ну хорошо, если хотите, я поеду вас проводить». Мы приехали в Москву, нас встретили двое моих друзей: Юра Нехорошев, главный евтушенковед, и Леша Черняков, мой бывший

одноклассник, один из немногих остался. Этот сразу сказал: «Вот – это жена! Жена!» А Юра сказал: «Надо ее свезти туда, где ты когда-то вылез из окна Межирова и прошелся с чаркой водки по карнизу девятого этажа, чтоб она поняла, что ты за тип». И мы поехали на Солянку, показали ей это окно, и они ей описали, как я тут когда-то гусарил. Мне было тогда лет семнадцать или восемнадцать. «Это меня не пугает, я еще хуже была!» – сказала Маша.

А когда она приехала в Переделкино, один писатель, увидев ее в первый раз, ей сказал: «Маша, а вы знаете, что Женя или полковник, или генерал КГБ наверняка. Вас это не пугает?» – «Меня просто разочаровывает, что он не маршал», – она ответила. Вот молодец, да? Нашлась. Она об этом мне рассказала лет через двенадцать только, тогда не рассказывала. Потому что было бы плохо ему… Он вообще любил мистифицировать и сам про себя распространял всякие мистификации. Его уже нет, он умер давно, но Маша до сих пор не может простить ему эти слова.

Волков: У вас с Машей двое детей – Женя и Митя. Расскажите о них.

Евтушенко: Они здесь учатся, в Талсе. Уже оба заканчивают университет. Один из них, может быть, поступит в аспирантуру, посмотрим. Женя хочет заниматься *political science*[100], а Митя пишет стихи по-английски и осуществляет какие-то проекты литературные, в которые я не очень вникаю. Я даже включил одно его маленькое стихотворение в свою последнюю книжку. Странные очень стихи. Но ребята хорошие. Травку не употребляют, не колются, не пьют – то есть могут, конечно, выпить немножко…

Волков: Но не так, чтобы полное воздержание.

Евтушенко: Вот Женя влюбчивый. Не знаю, в кого пошел уж…

Волков: Действительно, загадка.

Евтушенко: И удачно довольно. Но быстро как-то перевлюбляется. А Митя несчастливо влюбляется, он однолюб. Вот такие они – хорошие, нормальные ребята, маму любят, папу, по-моему, тоже. Все дети мои знакомы друг с другом, у них хорошие отношения, переписываются, переимейливаются.

Волков: А в смысле двуязычия как у ваших сыновей?

Евтушенко: Они говорят по-русски. Хотя Митя вообще не очень разговорчивый. А Женя говорит быстро, живо. Митя интроверт, а Женя экстраверт. А так – трудно предугадать, что с ними случится.

А Машин особый дар в том, что она соединила всех со всеми.

Она очень любит моих английских детей, и Петю жалеет, и Тошу. Как-то она, слава богу, воссоединила всех.

Волков: Может быть, прочтете «Последнюю попытку»?

Евтушенко: С огромным удовольствием. Между прочим, Маша сама составляла книгу «Весь Евтушенко» и включила все стихи, посвященные моим предыдущим женам. Стихотворение «Последняя попытка» написано в 1986 году, когда я Машу встретил, а посвящение немножко позднее, в 1993 году: «Моей жене Маше, подарившей мне с той поры, как было написано стихотворение, двух сыновей – Женю и Митю».

Последняя попытка стать счастливым,
припав ко всем изгибам, всем извивам
лепечущей дрожащей белизны
и к ягодам с дурманом бузины.

Последняя попытка стать счастливым,
как будто призрак мой перед обрывом
и хочет прыгнуть ото всех обид
туда, где я давным-давно разбит.

Там на мои поломанные кости
присела, отдыхая, стрекоза,
и муравьи спокойно ходят в гости
в мои пустые бывшие глаза.

Я стал душой. Я выскользнул из тела,
я выбрался из крошева костей,
но в призраках мне быть осточертело,
и снова тянет в столько пропастей.

Влюбленный призрак пострашнее трупа,
а ты не испугалась, поняла,
и мы, как в пропасть, прыгнули друг в друга,
но, распростерши белые крыла,
нас пропасть на тумане подняла.

И мы лежим с тобой не на постели,
а на тумане, нас держащем еле.
Я – призрак. Я уже не разобьюсь.
Но ты – живая. За тебя боюсь.

Вновь кружит ворон с траурным отливом
и ждет свежинки – как на поле битв.
Последняя попытка стать счастливым,
последняя попытка полюбить.

И еще одно маленькое стихотворение. Хорошая песня есть на эти стихи, Сережа Никитин написал. «Три фигурки», 1995 год:

По петрозаводскому перрону,
зыбкому, как будто бы парому,
шла моя любимая с детьми.
Дети с ней почти бежали рядом
и меня упрашивали взглядом
«Папа, ты на поезд нас возьми…»
Что-то в тебе стало от солдатки.
Все разлуки словно игры в прятки.
Вдруг потом друг друга не найти?
Женщины в душе всегда готовы
молча перейти из жен во вдовы,
потому их так пугают зовы
железнодорожного пути.

На перроне, став почти у края,
три фигурки уменьшались, тая.
Три фигурки – вся моя семья.
Монументы, мусор и окурки.
Что осталось? Только три фигурки —
родина последняя моя.

Талса

Волков: Евгений Саныч, а почему из всех возможных университетов вы выбрали Талсу?

Евтушенко: Случай. Я очень любил и люблю Бориса Леонидовича, очень люблю фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго», очень люблю музыку Мориса Жарра к фильму «Доктор Живаго». Я видел, что творилось в Америке, когда он вышел. Фильм шел уже полтора-два месяца, я ездил по всей стране и специально приходил на последний сеанс, чтобы посмотреть – встанут люди в конце фильма или не встанут? И они всегда вставали. Этот фильм дал надежду очень многим людям, которые смертельно боялись войны. У нас такого не было, как у американцев.

Волков: Это я точно могу сказать, что не было.

Евтушенко: А тут увидели руку Пастернака, протянутую человечеству. И они поняли, что в России вовсе не красные роботы живут, а просто люди, которые любят и страдают.

Волков: Но почему Талса именно?

Евтушенко: А потому что, когда я оказался здесь, в Талсе, на симпозиуме по переводам, им мои фильмы понравились, которые я приезжал сюда показывать. И они мне тоже понравились. Простотой какой-то своей. Вообще, это самый типичный американский город. Я шел по улице – и вдруг откуда-то с неба возникла мелодия Лары. Средь бела дня! Я обалдел просто. Я искал – откуда? А это городские часы заиграли. И местные жители сказали, что у них давно уже так!

Волков: И так до сих пор играют?

Евтушенко: Да! В 12 часов! А я, кстати, написал стихотворение об этом[101]. И положил его на музыку Жарра.

Волков: А прочтите его!

Евтушенко:

Если, крича,
плачу почти навзрыд,
словно свеча,
Лара в душе стоит.
Словно свеча,
в этот проклятый век,
воском шепча,
светит она сквозь снег.
И ты плачешь, Россия, плачешь
по всем, кто где-то замерз в пути.
<…>

Вы знаете, я пою это иногда. Это единственное, что я пою…

Волков: И даже не фальшивите.

Евтушенко: Да. Я это с женщинами пою, дуэтом. Вот на эту мелодию Лары. И когда я услышал вдруг эту музыку в Талсе – я суеверный человек, – подумал, что Борис Леонидович мне показывает…

Волков: Где вам приземлиться… Значит, получается, что это сделано с подсказки Пастернака?

Евтушенко: Да-да. А вы не забудьте, что все-таки он был первый великий поэт, который меня поцеловал. Я буду петь это скоро с джазом – меня просят, чтоб я это спел. Ну, конечно, это еще неизвестно, буду ли я в голосе, черт побери!

…А вы заметили, что в Талсе всюду Щелкунчики стоят?

Волков: Вообще «Щелкунчик» – это национальная американская музыка. Петр Ильич – автор двух национальных американских музык: «Щелкунчика» и увертюры «1812 год».

Евтушенко: Ну послушайте еще:

Я на площади Ютика в Талсе
стою, как Щелкунчик,
который сбежал из балета,
посреди оклахомских степей,
посреди раскаленного лета.
Здесь привыкли ко мне,
и мой красный мундир деревянный
тем хорош, что на красном невидима кровь,
а внутри меня – рана за раной.
Мне бинтуют их,
зашивают —
есть и поверху, есть и сквозные,
но никак она не заживает,
моя главная рана – Россия. <…>

Мне ковбой на родео сказал:
«Ты прости, я был в школе лентяем.
Где Россия?
Постой – где-то между Германией
и… и Китаем?»
А ведь в точку попал он.
Россия действительно между,
но от этого «между»
терять нам не стоит надежду.

И однажды я вздрогнул
на площади Ютика в Талсе,
потому что с Россией на миг
с глазу на глаз остался.
Это мне городские часы
под размеренные удары
заиграли хрустально
мелодию Лары.

Жаль, что сам Пастернак не услышал той музыки,
снега рождественского искристей.
Если даже не фильм,
то ему бы понравилась Джули Кристи.

Запрещенный роман
прорывался в Россию
мелодией Мориса Жарра.
Выключали экран телевизора,
если где-то на льду

танцевала под эту крамольную музыку пара.

Так сделали на нашем телевидении, когда на чемпионате Европы по фигурному катанию в Загребе играли эту мелодию!

Но во всех кабаках —
и в столице,
и даже в Елабуге —
тему Лары играть ухитрялись,
прикинувшись дурнями,
русские лабухи.
И рыдали медвежьи
опилками туго набитые чучела,
потому что, как запах тайги,
эта музыка мучила.

И, не зная за что,
инвалиды рублевки кидали,
и мелодии этой подзванивали медали:

Если, крича,
плачу почти навзрыд,
словно свеча,
Лара в душе стоит.
Словно свеча,
в этот проклятый век,
воском шепча,
светит она сквозь снег.
И ты плачешь, Россия, плачешь
по всем, кто где-то замерз в пути.
Жгут, горячи,
слезы, как воск свечи.
Русь, ты свети!
Лара, свети, свети!

Даже кресты
плачут живой смолой.
Родина, ты
будь ради нас живой!
Мир пустоват,
если нет звезд в ночи,
и Пастернак
с Ларой как две свечи.

И ты плачешь, Россия, плачешь,
по всем, кто где-то замерз в пути.
Жгут, горячи,
слезы, как воск свечи.
Русь, ты свети,
Лара, свети, свети!

И, скитаясь по свету,
опальный роман доскитался
до того, чтобы время вызванивать музыкой в Талсе.

Тихий шелест страниц запрещенных —
мой трепет российского флага.
От чего-то нас все-таки вылечил доктор Живаго.
И Щелкунчиком, не деревянным – живым,
в нескончаемом вальсе
я кружусь вместе с Ларой
на площади Ютика в Талсе.

Это мой подарок городу Талса. И здесь я это пел. Я пел и с местными студентками своими, и с гостями из других городов. Это можно петь со всеми. Лишь бы в голосе быть.

Преподавание: книги и фильмы

Евтушенко: Вот я сейчас думаю – почему я так дорожу своим преподаванием? Да потому, что вижу, как мои студенты иногда меняются, как они становятся другими. Я вижу, как они просветляются. С ними работать не безнадежно. И сам очищаешься от этого. Когда я заболеваю и мне трудно выступать, когда я долго не вижу человеческих лиц перед собой, для которых я пишу, которым читаю стихи, – я чувствую себя не в своей тарелке. Я хочу видеть эти лица, всматриваться в них. Я хочу им что-то передать из своего опыта. Я преподаю совершенно по-другому, чем многие это делают. Например, когда преподают литературу, чаще всего проверяют усвоение материала, и поэтому заставляют учеников рассказывать содержание. И больше ничего – раз ученик пересказывает содержание, значит, он прочел. А я наоборот – я говорю: вам никто не поможет в жизни. Сейчас сложно. Очень сильный дефицит великих философов. И вы должны вырабатывать свою собственную философию. Сейчас размываются границы моральные, и вы должны сами себе очертить эти границы. Я говорю им о себе, о своей жизни, на что я

поставил самозапреты, что я видел в детстве…

Я верю: мои ребята, студенты, не будут никогда высокомерны, зная Цветаеву, зная Ахматову, зная русских писателей и те хорошие фильмы, которые я им показываю. Как им нравится «Холодное лето пятьдесят третьего…» – хотя это, казалось бы, далеко от них. Я преподаю им и книгу Евгении Семеновны Гинзбург «Крутой маршрут», курс называется «Евгения Гинзбург как преподаватель оптимизма». Я говорю им: чему она вас учит? Быть готовыми, примеряться к разным ситуациям, как она делала.

Волков: Вы в преподавании своем так связываете эстетику с этикой и ее практическим применением в жизни?

Евтушенко: Нет. Я просто преподаю совесть. Я серьезно говорю. Преподаю совесть! Так, как я ее понимаю.

Волков: Совесть не в абстрактном смысле, а совесть, как американцы говорят, – *guiding light*, направляющий свет? Как некий образец, как себя вести, что делать в повседневной жизни?

Евтушенко: Поведение, да. И теперь понимаете, почему они так любят мою поэму «Голубь в Сантьяго»? Потому что она учит их, что нельзя сдаваться, нельзя поддаваться мыслям о самоубийстве. А некоторые из них подвержены депрессиям. Это, кстати, и у нас тоже происходит. И вообще в мире много самоубийств среди молодых. Так что я преподаю им всё, чему научился в жизни у других людей.

Волков: Вы преподаете им жизнь. В том числе и свою жизнь.

Евтушенко: Совершенно верно. И Гоббс еще, Гоббс[102] – то, чего они не знают. Когда я вижу, что они не знают англосаксонской классики, своей собственной, я моментально ее включаю, сразу же перехожу совершенно свободно к теме глобальной культуры и начинаю: «Границы мне мешают… / Мне неловко / не знать Буэнос-Айреса, / Нью-Йорка…» В их системе американской есть элемент изоляционизма. И я учу их не быть провинциалами. Вы, говорю им, сами про себя говорите, что вы лидеры всего мира. Но нельзя же быть лидерами всего мира, не зная этого мира! Я их предостерегаю, я говорю им, что при всей непохожести Америки и СССР иногда я вижу, что вы во многом похожи с Советским Союзом.

Волков: То есть в Союзе общение со всем миром не разрешалось – а здесь оно не поощряется, что ли…

Евтушенко: Да, дескать, можно прожить без этого. И потом, американцы действительно мало сейчас видят мир, скукожилась их идея Корпуса мира[103].

Волков: Я недавно разговаривал с американским чиновником, который начинал в Корпусе мира, и он считает, что сейчас это

совершенно не похоже на то, что было пятьдесят-шестьдесят лет тому назад, когда всё начиналось.

Евтушенко: Мое преподавание – это не просто пропаганда России. Это пропаганда Пушкина. Я им не любовь к нашей бюрократии преподаю, я сам им искренне говорю, как я не люблю нашу бюрократию – так же, как и их бюрократию не люблю. И они слушают меня и пишут такие вещи, которые меня потрясают.

У меня был недавно праздник просто. Мы проходили мои стихи, я им говорю: любое стихотворение выбирайте, – и один студент, араб, выбрал «Бабий Яр».

Волков: Понимаю. И у меня на вашем месте был бы праздник.

Евтушенко: Я прочитал его работу и так счастлив, что он написал это сам, я его не подталкивал. За семнадцать лет преподавания у меня это было первый раз! Девятнадцатилетний мальчик сказал, что их поколение должно наконец решить вопросвзаимоотношений Израиля и арабского мира. Старшее поколение не может решить этого, они уже привыкли настолько не верить друг другу, что это будет продолжаться бесконечно. Нужны совершенно новые подходы – и он прав. Вы не представляете, как я был счастлив, что это произошло в моем классе, в моей аудитории!

Волков: Евгений Саныч, а моя реакция такая: я боюсь за жизнь этого человека.

Евтушенко: Я это понимал и, когда цитировал его работу, не называл его имени… на всякий случай. Хотя он не боялся поставить свою фамилию, между прочим.

Волков: В этом вы видите свою миссию здесь – расширять кругозор ваших подопечных, молодежи американской?

Евтушенко: Да, потому что они не только американцы. Есть даже из Анголы, и арабы, и китайцы, и японцы. У меня был китаец, совершенно неожиданно приехавший и вовсе не собиравшийся, по-моему, оставаться. Неизвестно, конечно, что из него будет, но он написал замечательное эссе – редкий случай для китайского студента. Он написал очень трезвое эссе относительно того, что только сочетание свободы слова и свободы мысли, свободомыслие в конечном счете в соединении с экономикой могут дать то общество, которое будет действительно служить народу.

Волков: Сейчас это еще не ортодоксальная мысль для Китая. И мне становится яснее, о чем вы разговариваете со своими американскими студентами.

Евтушенко: Да, мы вместе разговариваем обо всем человечестве. Я с ними совершенно по-братски разговариваю! Я хочу понять, чего же мои студенты хотят от мира, каким хотят его

видеть. И многие вещи мы чувствуем одинаково, и похожи они на меня в каком-то смысле.

Волков: Юные евтушенки…Не в том смысле, что они будут обязательно стихи писать, а в том, что вы предлагаете им какую-то этическую модель, на которую они могли бы ориентироваться, которую они могут принимать или не принимать – это уже их личное дело.

Евтушенко: В которую я сам верю. Только одно я им не позволяю, тут я борюсь за них.

Волков: Списывать?

Евтушенко: Нет-нет. Впадать в пессимизм. Я им говорю, что некоторое наличие здорового скепсиса желательно для человека, проникнутого романтизмом. Как для меня, например. У меня друзья более скептически настроены, чем я сам, мне этого не хватает. Вот в семье моей этого хватает, жена Маша скептик. Не циник, цинизма в ней нет нисколечко. Скепсис и цинизм – это разные вещи, и этой разнице я учу тоже. Я с ними разговариваю, я выволакиваю из них исповедальность, я учу их исповедальности, потому что кончают жизнь самоубийством те в основном, кто не обладает смелостью исповедальности. Я говорю: исповедальность, конечно, наказуема, над вами могут издевнуться, но зато она, исповедальность, компенсируется тем, что если вы сами рискнете открыться, то и перед вами кто-то откроется. И вы найдете таких же мыслящих людей, которые болеют тем же, чем и вы. Вы найдете самых близких друзей. Правда?

Волков: Но это очень трудно, я знаю, как это трудно – открыться другому человеку.

Евтушенко: Поэтому-то некоторые мои студенты, сдав мне свои эссе, добавляют, что не хотели бы, чтобы это читали все. Я понимаю. И тогда я говорю: «А можно я без фамилии прочту? Тут очень важная мысль, ребята, даю вам слово». Некоторые разрешают – без фамилии разрешают. Но иногда они меняют свое решение об анонимности – когда я говорю: «Это же очень важно для других – то, что вы пишете. Я не понимаю даже, чего вы тут стесняетесь. Не бойтесь! Не бойтесь, ну, оглянитесь, какие хорошие лица у ваших сокурсников!» И это на них действует.

Волков: Так вы им преподаете кроме всего прочего еще и социальную психологию?

Евтушенко: Я стараюсь предостерегать их от розового оптимизма, потому что это ужасно: подойти к краю пропасти и не чувствовать, что она заполнена просто каким-то туманом розовым. А насчет пессимизма… Знаете, их очень здорово встряхивает, когда говоришь, что для многих людей пессимизм – это способ казаться умнее, чем другие.

Волков: Справедливо.

Евтушенко: Я им говорю: нужно начинать с себя. Осудить себя – прежде чем осуждать что-то в мире. А то многие сидят на кухне и ругают правительство свое собственное. Сами никогда не будут заниматься политикой, но ругают. Сидят и ругают-ругают-ругают. А что же вы сами не попробуете тогда? Может быть, надо попробовать иногда что-то сделать?

Волков: По-моему, эта функция преподавателя более типична для американской системы, а в России еще не прижилась. В России отношения педагога и ученика-студента рассматриваются так: педагог говорит, а студент записывает за ним. А потом должен это изложить. А в Америке упор делается всё же на общение.

Евтушенко: Не очень это типично, не очень. В Америке то же самое. Очень во многом.

Волков: Получается, что вы и здесь новатор…

Евтушенко: Я знаю, как учат в американской школе. Здесь не рекомендуется отвлекаться от темы. А первое, что я говорю: мы прочли с вами такой-то роман, посмотрели такой-то фильм. Я это знаю всё, я этот фильм смотрел, я перечитывал эту книгу. Не надо мне рассказывать то, что вы прочли. И доказывать мне, что прочли, не надо. Увязывайте это всё со своей жизнью – ведь вы даже представить не можете таких ситуаций! А вы попытайтесь сфантазировать, поставить себя на место этих людей в этих условиях. Тогда вам будет легче идентифицировать себя с ними, тогда вам будет ближе все. Все время объединяйте себя с тем, что вы прочли или увидели в кино.

Американцы начиная со школы – они называют это *deviations*[104] – это не приветствуют. А надо больше привлекать совершенно разные произведения. Поэтому я объединяю очень часто совершенно разные фильмы, разные группы вопросов. Замечательно получается, когда, например, объединяешь «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «12» Никиты Михалкова. Между прочим, интересно, что им больше Михалков нравится. Ну, вообще Михалков будет посильнее, надо сказать… Нравится вам, что делает Михалков как председатель Союза кинематографистов, или нет, но он физиологически талантливый человек. Это, конечно, удивительная картина! И совершенно феноменально там играет Сергей Гармаш. Какой образ! Невероятный.

Волков: Сергей Гармаш вообще великий актер, по-моему, недооцененный.

Евтушенко: Да, великий актер. А Михалков тут, кстати, ушел в тень как актер. Он слабее их всех здесь. По-актерски. Он даже

не понял, что он сделал. Ведь там же всё совершенно не совпадает с его монархическими взглядами, которые он пытается нам внушить. Но я своим студентам говорю: не принижайте значения американского фильма. Если б не было его, то не было бы и фильма Михалкова.

Волков: То есть если б не было бы американских «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, то не было бы и «12» Михалкова?

Евтушенко: Да! Вот это и есть нормальная циркуляция культурной крови! Потому что это впиталось когда-то, когда Михалков еще мальчишкой фильм Люмета посмотрел, он думал об этом, потом это каким-то образом наложилось на современные события.

Я не скрываю от своих ребят, какой противоречивый человек Михалков, но он очень талантливый. Когда я показывал студентам оба фильма, я даже защищал американский фильм. Но! Мои студенты проголосовали за михалковский фильм, они были потрясены. У Люмета Генри Фонда потрясающий совершенно, но Михалков какой фильм сделал! Ведь двенадцать гениальных ролей там, двенадцать гениальных актеров! Да и вообще пять или шесть гениальных картин сделал человек. Мы уже привыкли Михалкова ругать – то за то, то за другое, но он человек необыкновенного таланта. Он еще может многое сделать, надеюсь, – если забудет свои имперские замашки, о которых так много говорит. Ему просто нравится играть царя, по-моему, на самом деле он рожден для искусства.

А мои студенты… Что меня трогает в американских студентах – их способность на отклик. Вот я проходил с ними вместе книгу Гинзбург «Крутой маршрут». Само собой получилось так, что я преподавал им оптимизм, веру в человечество – через Евгению Гинзбург. И какой был отклик, какие они замечательные работы написали! Я обожаю эту книгу. Обожаю! Она меня самого многому научила. Гинзбург была для меня огромным человеческим открытием – и как писательница, и как человек. Как она не сдавалась! Как не потеряла любовь к человечеству, как оставалась до конца своей жизни веселым – веселым! – человеком. Жизнерадостным человеком. Любящим молодежь, верящим в человеческую душу. Ведь она сумела ее рассмотреть в самом, может быть, страшном месте – женском ГУЛАГе. Пусть это будет моим студентам прививкой от пессимизма.

Опыт американской жизни и «свои» американцы

Волков: Есть превосходный пример – Иван Сергеевич

Тургенев: человек, который многие-многие годы прожил за границей и не переставал при этом быть настоящим русским писателем.

Евтушенко: Ну, в конце концов, и «Мертвые души» написаны в Риме.

Волков: Немножко другое с «Мертвыми душами»: все-таки Гоголь не вписывался так в итальянский пейзаж, как Тургенев вписался во французский литературный быт.

Евтушенко: А это не всем дано. Это тоже как талант, знаете. Чувствовать могут только люди, которые ездят действительно с жаждой познания мировой культуры.

Удивительный фильм есть, который недооценен был у нас, к сожалению, и на Западе тоже, – а я считаю, это просто потрясающий фильм с Инной Чуриковой, она наша Джульетта Мазина, можно сказать, – «Плащ Казановы». Это фильм Александра Галина по его собственному сценарию, поставленный в девяностые годы. Сюжет такой: в советские времена провинциальная делегация женщин приезжает в Венецию, в частности, женщина-водолаз – замечательно роль сыграна Екатериной Граббе. Да там все актеры просто гениальные! Ну, Инна, супергениальная Чурикова, она вообще национальная наша гордость. Вы знаете, это душераздирающий фильм. О том, как они себя ведут там, за границей. По-разному, разумеется. И Чурикова – преподавательница из провинциального города, ее взяли с собой только потому, что она была влюблена в Италию, самоучкой изучила итальянский язык, она приехала в Италию как уже в знакомую ей страну. И как она влюбилась в одного итальянца, даже не заметила того, что это просто жиголо – очаровательный, правда, милый, не карикатурный такой жиголо…

По счастью, не хватило денег на какую-то итальянскую звезду, и этого жиголо сыграл продюсер фильма, легко и естественно. Это дивная картина! Она душу раздирающая, и я все время показываю ее своим студентам.

Волков: Евгений Саныч, вы что-то впитываете в себя от Америки? Или это остается на какой-то дистанции от вас?

Евтушенко: Как вам сказать… Для иностранца я очень хорошо знал американскую литературу – еще до того, как я приехал в Америку. У меня никогда не было предубеждения, что Америка – это страна некультурных людей. Я зачитывался многими американскими писателями – и Эдгаром Алланом По, и Марком Твеном, я обожал и даже до войны уже читал Стейнбека – я был совсем еще мальчиком, «Гроздья гнева» вышли в «Роман-газете». И потом у нас выходила антология американской поэзии

очень хорошая: мне очень нравился Уитмен, в переводах Чуковского особенно. У Бальмонта они совершенно не получились, были смехотворными, а вот Корней Иваныч нам, детям, столько подарил!

Волков: Уитмен в переводе Чуковского произвел впечатление и на Маяковского, он во многом сформировал Маяковского.

Евтушенко: Драйзер, Синклер Льюис, Натаниэль Готорн и другие американские писатели мне очень всегда нравились. И, конечно, нам близки были по духу и битники американские – потому что мы презирали нашу бюрократию, а они презирали американскую бюрократию, и мы друг друга очень чувствовали и понимали. К нам приезжали американские писатели – Роберт Фрост приехал в Россию, хотел увидеть Евтушенко, Стейнбек был у меня дома. У нас были самые теплые отношения с американскими писателями во время холодной войны. Потому что и им, и нам было страшно, что будет война. Это объединяло, все мы еще продолжали жить надеждами, которые пробудила в нас памятная встреча на Эльбе. Когда я приехал в Америку, моими личными друзьями стали Артур Миллер, Уильям Стайрон, замечательный американский фотограф Эдвард Стейхен. Я никогда не забуду, как поэт Карл Сэндберг, первый американский писатель, с которым мы встретились, и его *long distance relative* – дальний родственник Эдвард Стейхен приехали вдвоем в Россию. На выставке Стейхена я и познакомился с Карлом.

Волков: Сэндберг во время войны написал стихотворение, посвященное 7-й симфонии Шостаковича, большое замечательное стихотворение.

Евтушенко: Он слушал мои стихи тогда. Конечно, Сэндберг не знал русского языка, ему переводили по строчке. Это было стихотворение, написанное под мартыновским влиянием: «Окно выходит в белые деревья. / Профессор долго смотрит на деревья…» Ему безумно это понравилось.

И вы не представляете, какие дружбы у меня появились уже потом в Америке! С Гаррисоном Солсбери – он столько моих стихов напечатал в «New York Times», когда был заместителем редактора… С Уильямом Стайроном… Мне когда-то Пабло Неруда сказал: ты можешь почувствовать страну своей только тогда, когда много твоих личных друзей похоронено в ней. И у меня очень много близких друзей похоронено здесь, и не только писателей. Альберт Тодд был одним из лучших моих друзей, самых ближайших, он крестный отец моего сына Жени. Это не важно, что он был разведчиком когда-то, хотя и говорят, что разведчиками не перестают быть. Это не имеет значения. Потому что во время холодной войны разведчики были не из ЦРУ, а из

National Defence[105].

Волков: Да все говорят ЦРУ, ЦРУ. ЦРУ – это только одно из восемнадцати, по-моему, американских разведывательных ведомств!

Евтушенко: И эти люди были брошены на изучение русской культуры. Но, входя в русскую культуру, они начинали ее любить. Любить!

Волков: Я тоже с этим сталкивался здесь.

Евтушенко: Эти люди ее любили по-настоящему. Тот же Джеймс Биллингтон, мой старый друг, мы с ним сорок пять лет уже друзья. И для меня поэтому страна эта, которую я объехал всю – я был во всех штатах, выступал в *Madison Square Garden*, где ни один поэт не выступал, – для меня эта страна близкая. Поверьте, мне никто не назначал этой миссии – сблизить русский и американский народы, я ее самоназначил – сам себе. По своим же стихам, между прочим. Ведь я выполнял то, что в своих стихах писал…

Национальный вопрос

Волков: Вас не только в «гангнусы» с маленькой буквы и во множественном числе записывают, но еще и в «гангнусы и гурвицы»…

Евтушенко: Потому что Гангнус и Гурвиц были соавторами учебника по тригонометрии. Общество «Память» выпустило даже листовку: «И когда эти гангнусы-гурвицы притворяются русскими поэтами…» и т. д. И в Израиле, между прочим, искали у меня еврейскую кровь, но как-то не получилось у них. Нашли только, что жена моего дяди была субботницей[106] – тетя Женя. Замечательная, кстати, женщина.

Я получил воспитание на станции Зима – у нас даже не заходило вопроса о национальностях. Чтоб кто-то в нашей семье хоть когда-нибудь оскорбил человека другой национальности?! Это было непредставимо! Там ссыльные были совершенно разных национальностей, и все они жили дружно, помогали друг другу. У них были общие враги – а ничто так не сближает, как общая беда. Я уже говорил, что впервые слово «жид» услышал в Москве, поэтому у меня всегда было какое-то брезгливое отвращение к агрессивным националистам. Я считаю, это просто больные люди.

Волков: Сегодня это опять острая проблема: национальность, национальная принадлежность. И главное, даже на моей памяти было, когда решили: всё, кончено, это осталось позади. Помните про новую общность? Мы все – советские люди. И вдруг всё вернулось с такой страшной силой… Сейчас, по-моему, уже никто

не возьмется предсказать, что в обозримом будущем национальная проблема растворится.

Евтушенко: Сейчас нет борьбы идеологий, сейчас ее заменила борьба национализмов, трайбализмов. Смотрите, что в азиатских республиках происходит – бог знает что! Режут друг друга только по принадлежности к тому или иному клану. По маленьким, так сказать, различиям.

Вы помните, конечно, фильм «Цирк», который и вы, и я смотрели в детстве, сцену, когда передавали негритенка из рук в руки, укачивая его?

Волков: Джим Паттерсон.

Евтушенко: Совершенно верно. Так вот Джим Паттерсон никогда не был сильным поэтом, но парень он был симпатичный, и никто его в Советском Союзе никогда не обижал.

Волков: Хоть он и был чернокожий.

Евтушенко: Вы знаете, что он уехал в Америку? (В 1994 году. – *Ред.*) Потому что его стали оскорблять на каждом шагу. Я однажды в Ленинграде выступал. В Петербурге. И сказал: позор, до чего у нас дело докатилось – такой антиинтернационализм! Что, если бы Александр Сергеевич Пушкин воскрес и пошел бы из своего музея на Мойке прогуляться? Его бы встретили и, видя, что у него кожа потемнее, могли бы угробить заточками! Ну вдумайтесь в это!

Безусловно, русский народ сыграл огромную роль в победе, в Великой Отечественной войне. Но и весь советский народ тоже!

Я однажды был в Израиле и меня пригласили на вечер 9 мая. Как вы думаете, какое стихотворение меня чаще всего просят прочитать именно в Израиле? Все говорят – «Бабий Яр». А вот нет! Чаще всего просят, чтоб я прочел «Идут белые снеги…». И ревут просто. При слове «Россия» у меня даже сейчас слезы подступают. Я никогда не забуду, как на вечере, когда собрались ветераны войны израильские, люди, которые воевали, – сейчас старики глубокие, которых всё меньше и меньше, – сказали: «Евгений Саныч, может быть, сегодня прочтете ваши стихи „Идут белые снеги…“?» И эти все старики еврейские, с медалями, читали вместе со мной хором: «Быть бессмертным не в силе, / но надежда моя: / если будет Россия, / значит, буду и я». Вы понимаете, что со мной было тогда?

А однажды был у меня такой случай – в Союзе писателей. У нас дорогой ресторан сейчас в Союзе писателей, нужно быть особым человеком, чтобы ходить туда постоянно. И вот однажды прихожу я туда, а там сидит компания – я бы не сказал, что отъявленные антисемиты, но с такой легкой антисемитинкой, облегченный вариант, скажем так. Из типа «какой же я антисемит,

если у меня некоторые друзья евреи». Сидят и поют песни военных лет. Я проходил мимо. «Ну, давай, Жень, подсаживайся, подпевай!» Я говорю: «А между прочим, ребята, все эти песни – и слова, и музыка – написаны евреями. Что вы чувствуете сейчас?»

И вот когда я увидел Паттерсона и он мне рассказал, почему уехал из России, которую он безумно любит, – ей-богу, я спать не мог просто.

Волков: Этот эпизод из кинофильма «Цирк», где его передают из рук в руки – там и русская, и украинец, и грузин, и еврей, которого играл Михоэлс, – до сих пор вызывает слезы, настолько это умилительно.

Евтушенко: Это правильно. Ведь что случилось? Вот как я метафорически это вижу: где заводится много змей? Всегда в руинах. У нас была Вавилонская башня – и она обрушилась. А при развале огромных сооружений, огромных дворцов – всегда образуются змеи! Так я называю национализмы – агрессивные, неагрессивные, любые. Они подменяют идеалы – потому что национализм не может быть идеалом человека! Самый лучший идеал человека – хоть меня убивайте и делайте что угодно – это братство человечества! Я считаю, что даже в священных книгах временами дописывали что-то – то, чего там не было изначально. Всегда лучшей мечтой человечества было его братство. Неважно, как оно называется! Когда шаг вправо, шаг влево – уже означает измену, всё рушится тогда! Потому что ведет в конце концов к цинизму. И вот что сейчас очень важно, с моей точки зрения, – вырабатывание какой-то новой философии человечества, основанной на печальном опыте XX века. Потому что только старыми философиями мы не проживем. Мы не сделали еще выводов из страшных уроков XX века, которые показали, до чего может докатиться агрессивный национализм, как нам это доказал фашизм. И всё, что похоже на фашизм, – хотя называется иногда по-другому – должно нас пугать и настораживать.

Волков: Это ваша философия, конечно. Только позитивных выводов из этой философии, боюсь, нам уже не увидеть.

Евтушенко: Почему? Почему?

Волков: Потому что национализм хоронили много раз, но он всякий раз восставал из пепла еще более агрессивным, чем прежде.

Евтушенко: Но ничто так не подрывает национальную гордость, как именно агрессивный национализм! Вот пытаются взять на вооружение Достоевского. Да, у Достоевского есть много неприятных вещей, особенно в дневниках. Правда?

Волков: Конечно.

Евтушенко: Неприятно это читать, жалко, что он так думал.

Но давайте заберемся – вы в свою душу, я в свою. Наверное, у каждого человека бывают какие-то страшные мысли, неприятные для него самого даже. Человек сам себя пугается иногда, правда? Но нигде у Достоевского вы не найдете оскорбления других национальностей в его самых главных произведениях, когда все отфильтровано его проверкой. А мало ли что человеку приходит в голову?! Пусть и такому хорошему и талантливому, как Достоевский. Любимым писателем Достоевского был Пушкин – это совершенно ясно. У него почти молитвенное отношение к Пушкину, даже не к Толстому.

Волков: Толстой для него вообще не был авторитетом.

Евтушенко: Да, давайте вспомним, что он назвал самым лучшим качеством Пушкина?

Волков: Всемирную отзывчивость.

Евтушенко: Всемирную отзывчивость! Он назвал это! А Пушкин – это величайший русский поэт. Пушкин нам это завещал! Вот был такой спор, который и сейчас продолжается, только в изуродованном, исковерканном виде, – спор между западниками так называемыми и так называемыми славянофилами. А какой урок нам дал Пушкин? Потрясающий! Он был одновременно и западником и славянофилом, в нем это соединялось. Он впитал в себя западную культуру, будучи с эфиопскими корнями, вообще-то говоря. Он был барином, а кто была его ближайшая подружка? Арина Родионовна! А кто был его учителем русского фольклора? Арина Родионовна! Я думаю, что она была гениальнее, может быть, даже самого Александра Сергеевича, потому что преподала ему такую красоту!

А как он предупредил нас о многих опасностях! Он, свободолюб, предупредил нас об ужасах бунта бессмысленного и беспощадного. Ему какой-то заяц, говорят, перебежал дорогу, он повернул, а иначе был бы на Сенатской площади с декабристами. Нет, его другое остановило! Его остановило то, что у некоторых декабристов была идея цареубийства. Это ему было чуждо. У Пушкина есть отвращение и понимание, что кровь никогда не останавливается. Она продолжается-продолжается-продолжается, тянется капля за каплей. Это то, что он впитал так же, как Шекспир, и он чувствовал это.

И посмотрите, как он предугадал, что расизм будет большой проблемой Америки! А ведь был невыездным человеком. А мы сейчас перестали чувствовать другие страны. Вот понимаете, какая штука – существует очень вредный глобализм. Глобализм монополий. Это очень опасная вещь: имперские тенденции через экономику начинают действовать. Но исчезло ощущение глобального духа! А проблемы сейчас везде одинаковые. И

человечеству – сейчас как никогда – нужно осознать это и вернуться к самому лучшему, что из всех идеалов существует, – к братству! Мне кажется, что другого выхода у человечества, чтоб спастись, просто нет. Иначе беда будет всем.

Волков: Будем надеяться. Но я на этот счет более пессимистичен, наверное, чем вы.

Идеализм и идея конвергенции академика Сахарова

Евтушенко: Все равно – без идеализма человека нет.

Волков: Это та заповедь, которую вы в своем творчестве неукоснительно продвигаете.

Евтушенко: Апочему? Вот сколько и американцам казалось, и нам казалось, что никогда не смогут ни капитализм, ни социализм договориться. Но тот же самый Никита Сергеевич, который говорил «мы вас похороним», – он же договорился с Кеннеди! В решающий момент два человека совершенно разных миров вдруг поняли, что вот этот прекрасный и хрупкий шарик зависит от их решения. Они же все-таки показали, что можно договариваться. А в чем заключается идея конвергенции Сахарова, который, к сожалению, употребил слово, малопонятное большинству человечества? А так просто очень всё! Нужно из всех политических систем использовать только хорошее. А систем политических, на совести которых нет никаких преступлений, ошибок, глупостей, – таких не существует просто. Нужно только всё взвесить. Всё, как говорится, идет в постройку – только не то, что прогнило, и не то, от чего эта постройка рухнет. Скандинавские варианты – когда соединяются и идеи социализма, и такого негрубого, не имперского капитализма, который не перерастает в империализм, – приносят хорошие результаты. За исключением того, что людям вдруг становится скучно.

Волков: Вот об этом я и хотел сказать. В Скандинавии самое высокое число самоубийств, и алкоголизм, и депрессии…

Евтушенко: Но это уже другие проблемы.

Волков: Наверное, но это проблемы, которые вытекают из того, о чем вы говорите. Видите, как всё взаимосвязано?

Евтушенко: Значит, надо и это учитывать, надо и об этом думать. Одна проблема исчезает, появляется другая… И все равно нужно продолжать.

Волков: Получается бесконечный виток, при котором змея постоянно кусает себя за собственный хвост.

Евтушенко: Ну что ж, может быть, поэтому и не такая уж сказка о существовании Дьявола и Бога. Ведь поле битвы каждого

человека – это его собственная душа.

Волков: Опыт XX века не настраивает на особо оптимистичный лад.

Евтушенко: А вот я считаю, что все-таки сейчас, на этом этапе развития человечества, очень перспективно – задуматься всерьез над идеей Сахарова. А мы об этом не задумываемся.

Волков: Потому что это непрактично. Это манифесты Дон Кихота, каковым и являлся, вероятно, Андрей Дмитриевич Сахаров. Дон Кихот прекрасен как литературный образ, а как политическая программа…

Евтушенко: Без политики невозможно, конечно, обойтись на данном этапе человечества. Но я считаю, если человечество будет нормально развиваться, то существование партий вовсе не необходимо. Это и стоит дорого, и много энергии уходит на борьбу между партиями. А должно существовать соревнование идеалов. Идеалов, а не идеологий!

Волков: Люди не хотят соревноваться в области идеалов, потому что идеалов у них нет. У них есть в большинстве своем практические цели, которые сводятся к тому, чтобы сию же секунду урвать побольше за счет кого-то другого. И сделать это с помощью силы. Посмотрите, кто выигрывает в любой политической схватке, какая идеология, какая партия? Та, которая под свои знамена может привести наибольшее количество молодых людей с «калашниковыми», готовых умереть за те конкретные лозунги, которые эта идеология – как бы она себя ни называла – выдвигает. А кто обладает необходимыми качествами для того, чтобы взять в руки автомат и стрелять? Лучшая часть человечества? Нет, она сидит по сторонам и наблюдает, как сравнительно небольшие кучки людей, готовых умереть за цели отнюдь не всегда прогрессивные, решают все эти проблемы с помощью насилия.

Евтушенко: Вы правы, вы нащупали очень большую опасность. А все-таки я верю в человеческий разум. Конечно, если оглядываться назад, то и Христа распяли. Но все же происходят какие-то изменения, когда зло вынуждено маскироваться под добро. Во всяком случае, оно чувствует, что нужно больше притворяться.

Волков: Евгений Саныч, я даже с этим не соглашусь. Взгляните на Интернет: нигде больше нет такого сгустка злобы, ненависти, глупости, невежества – какое-то такое дьявольское варево, которое разливается ежедневно по всему миру! Ведь сам по себе Интернет – замечательный технологический прорыв. И что же? Он разбудил лучшее в психике человека? По-моему, он поднял со дна души всё самое худшее. Вы же в нормальной

беседе, лицом к лицу не услышите того, что выплескивается в Интернете, который дал эту возможность – исходить злобой, оставаясь анонимным.

Евтушенко: Вы абсолютно правы! Но есть в этом – сейчас объясню – и что-то положительное. Потому что есть люди – вот как вы, например, – которые это замечают. Вы замечаете, и вас это ужасает. И они должны об этом говорить и ужаснуть других! Может быть, это путь человека – самому на себя посмотреть в зеркало и испугаться чего-то в самом себе.

Волков: Вы говорите, Евгений Саныч, как поэт.

Евтушенко: Почему поэт? Просто как человек. И пусть меня хоть распнут, все равно литература в какой-то степени – это учительство и педагогика. В какой-то степени. Понимаете, мне очень дороги идеалы шестидесятников. И хочется, чтобы… Существует то, что не называется завещанием Сахарова, но оно все-таки есть, ненаписанное. Хотелось бы все-таки, чтобы мы поближе были к его осуществлению. А для этого все-таки нужно… повышение культуры народа. И культуры поведения.

Волков: Проблема в том, Евгений Саныч, что эта культура – и в более широком смысле, и в более частном ее аспекте – не повышается, а наоборот, понижается. И, боюсь, здесь ничего не сделать. Никакие государственные меры, никакие составления списков ста книг, которые каждый должен прочесть, не помогут. Поле культуры сжимается как шагреневая кожа на наших глазах. И я думаю, что это необратимый процесс. Причем он имеет еще и демографический аспект. Все европейские народы уменьшаются, вы это знаете не хуже меня. Это происходит у всех без исключения европейских народов, даже с самыми благополучными жизненными стандартами. Алкоголизм, самоубийства, несчастные случаи тоже уменьшают население. Но главное – сокращение рождаемости. Неумолимое и неуклонное. И перспектива исчезновения традиционных европейских народов – итальянцев, шведов, финнов, эстонцев, французов – чрезвычайно реальна и близка. Это ведь вопрос каких-нибудь максимум ста лет. С исторической точки зрения это вообще один миг. И соответственно, встает огромная проблема сохранения культурного наследия этих народов. Кто примет на себя функцию сохранения этой культуры?

Евтушенко: А надо, чтобы все народы приняли в этом участие. Надо, чтобы люди осознали эту опасность, чтобы поняли, что эта опасность – всеобщая. Что и потеря мировой культуры будет всеобщая. Выигравших не будет.

Волков: Культура как таковая не исчезнет, потому что она не может исчезнуть. То есть она может исчезнуть, но только вместе с

человечеством. Вопрос в том, сохранятся ли некие партикулярные культуры.

Евтушенко: Ни у вас, ни у меня рецепта нет. И ни у кого, я думаю, нет. Но уже хорошо, что я разговариваю с человеком, которого это мучает и заботит. И мы с вами не одиноки, поверьте мне. Помните, Рей Брэдбери написал замечательный рассказ о путешествии в прошлое, когда человек не должен был ничего убить?

Волков: Раздавить бабочку…

Евтушенко: Да! Он раздавливает бабочку! И от этого меняется будущее! Это потрясающе! Брэдбери думал о том же, о чем мы сейчас с вами говорим.

Однажды очень талантливый Михаил Задорнов сказал: «Эти тупые американцы». Я говорю: «Миша, ну нельзя так говорить. В Америке тоже есть интеллигенция, тоже всё непросто, как и в России. У нас много похожего – такие же проблемы, недостатки, амбиции. Тебя оправдывает только то, что ты анализируешь и собственную нацию, ты ее высмеиваешь – и тем ее оздоравливаешь. Но обобщать нельзя, потому что везде есть думающие люди».

Помните, я рассказывал вам о том, как был счастлив, когда мой арабский студент в работе о «Бабьем Яре» сказал, что его поколение должно решать накопившиеся проблемы человечества, не пользуясь старыми стандартами. И я вижу таких людей и в Америке, и в Китае, и в других странах – молодое поколение, ищущее каких-то новых путей. Но многие еще живут по принципу «после нас хоть потоп». Вот это страшно, это страшные люди. Они вроде и не злые – а уже своим равнодушием причиняют зло будущему. Но я все-таки верю, что человечество способно найти в себе какие-то внутренние силы для большего взаимодоверия.

Я однажды сказал по телевидению, может быть, наивную вещь с точки зрения текущей политики. Я сказал на передаче Владимира Соловьева «К барьеру», как было бы здорово, если бы раз, скажем, в год, а может, раз в два года лидеры всех стран собирались на какой-то симпозиум. Но только они не поучали бы друг друга, а каждый сказал бы, какие ошибки – государство или сам лидер лично – сделали за это время. Потому что самая большая смелость – это признать и проанализировать свои собственные ошибки. И это могло бы быть колоссальной подвижкой. А люди боятся: если я такое скажу, то подумают, что я даю слабину, – и меня за это обвинят.

Волков: Если человек такое скажет, его просто-напросто не переизберут на следующих выборах.

Евтушенко: Вы правы, совершенно верно! Есть такая

опасность.

Волков: Народ демократическим путем покажет, что он этим недоволен.

Евтушенко: Недоволен тем, что человек сомневается в себе? Но неужели нельзя объяснить людям, что это не слабость, а сила человеческая?

Волков: Нет, нельзя. Боюсь, это вас огорчит, Евгений Саныч, но нельзя.

Евтушенко: А может быть, все-таки просто пробовать надо в этом направлении? Повышать взаимодоверие людей?

Волков: Может быть, они попытаются в какой-то важный момент об этом вашем совете вспомнить…

Евтушенко: Я сейчас скажу о нашем с вами писательском деле. Конечно, достаточно великих книг написано, чтобы мы очень сильно получшели, – если только в них вчитываться. Но все равно мне кажется, что у нас просто нехватка великих писателей и философов – в России именно, и в Америке тоже. И вообще в мире. Вам не кажется? И я считаю, что они должны появиться, потому что в них существует настоятельная необходимость. У нас нет философии, которая бы осмыслила хотя бы опыт, колоссальный и страшный, XX века. Кто-нибудь же должен построить какую-то новую философскую модель – не расправляясь со старыми идеалами, укрепить новые, с учетом тех горчайших уроков, которые нам дал XX век.

Волков: А вы заметили, Евгений Саныч, что и с американской, и с российской стороны именно из лагеря писателей и философов раздаются голоса, которые доказывают: не нужно нам великих писателей – их время прошло; не нужно нам великих философов и их грандиозных схем – от них только вред, только зло. Интеллектуалы сами это говорят, так что ж тогда обыкновенной публике на этот счет думать? Она, конечно, это с удовольствием подхватывает. Так что боюсь, я и здесь больший пессимист, чем вы.

Евтушенко: Я написал когда-то:

Не вырастет гений из хлюста.
Еще никогда не была
Победа большого искусства
Хоть малой победой зла.

Не может существовать великое произведение искусства, которое преподает зло. Не может! Уже этим оно невеликое.

Волков: Почему? Есть Ницше – великий философ и великий писатель, чья философия, если ею последовательно

руководствоваться, ни к чему хорошему не ведет.

Евтушенко: Ее надо изучать, но изучать аналитически и показывать, как опасно ею руководствоваться. А для этого нужен не менее сильный талант. Вы правы, когда вы говорите о Ницше. Но это доказывает и мою правоту: в Ницше есть червоточинка, которая не позволяет ему выдвинуться в ряды подлинно великих.

Волков: Нет, для меня он бесспорно великий писатель. И великий философ тоже, наверное. Но просто не в том направлении, которое вам симпатично.

Евтушенко: Он талантливый человек, не буду этого отрицать. И его читать надо. Но, может быть, такие люди и созданы для того, чтобы пробовать нас на искушение. Почему нельзя читать Ницше и восторгаться тем, как он талантлив, но в то же самое время понимать, что это есть искушение? Потому что философия уберменша, сверхчеловека, – это философия, которая ведет в пропасть, ведет к самоуничтожению человечества.

Волков: Жизнь состоит из добра и зла. И они все время меняются местами. Все время меняется представление о том, что есть добро и что есть зло. И именно из-за этого никогда и никто не сделает тех окончательных выводов, по которым вы так тоскуете, Евгений Саныч.

Евтушенко: Ну что же – это, видимо, спор бесконечный.

Волков: Он и после нашего ухода не завершится – это я точно могу сказать.

Евтушенко: Возможно. Наверняка. Наверняка. И все-таки то, что создается, и в том числе литература, – это вид духовной энергии. Энергия, согласно и науке, да даже и религии, только видоизменяется, переходит в другое качество. Существуют два противоборствующих потока энергий, и добавлять каждый из нас должен к тому, что называется добром.

В этом-то мы с вами можем примерно согласиться?

Волков: Да, наверное. Иначе мы бы не разговаривали сейчас.

Евтушенко: Это верно. Хотя опасно, когда человек то, что говорит, считает единственной правдой.

Волков: Нет, за мной такого недостатка не водится.

Евтушенко: Да. Я, например, не разделяю взглядов многих талантливых писателей на некоторые вещи, но все равно знаю: я, как человек, как читатель, как гражданин, если б их не читал, был бы беднее. Даже и того же самого Ницше. Но, к сожалению, хотя я очень люблю Маяковского, но у раннего Маяковского есть очень неприятные вещи, которые читать я не могу. Мне очень больно.

Волков: Маяковский – классический ницшеанец. «Я люблю смотреть, как умирают дети…»

Евтушенко: Ох! Конечно. И еще Маяковский сказал, что ему

больше всего понравилось в Версале – тот штык, который там воткнули в стул, когда «потащили королевку на эшафот»[107]! Я это совершенно не могу читать! Меня корежит! Вы знаете, я очень не люблю всех, кто не любит Маяковского. Одновременно в самом Маяковском я очень не люблю ницшеанство. Ницшеанство, доведенное до такого сатанинства… К сожалению, я должен признать, что Юрий Карабчиевский в чем-то прав, когда он осуждал Маяковского, – только он неправ в том, что не понял: Маяковский остается великим поэтом.

Волков: Не Карабчиевскому, вероятно, судить было об этом.

Евтушенко: Да, лучше бы он не писал сам своих стихов… или, написавши, не печатал.

Волков: Книга его о Маяковском производит впечатление каких-то несоизмеримых дарований. Это не может быть принято всерьез.

Евтушенко: Меня недавно просто ужаснул в дневниках Чуковского рассказ о том, как Маяковский отказался помочь Лидии Корнеевне, когда ее арестовали в двадцатых годах. Вы этого не читали? Он сказал Чуковскому в ответ на его просьбу заступиться: «Она достойна того, чтоб ее послали в Нарым!» Я был просто потрясен, но что делать, это было сказано. Я верю Корнею Иванычу, он не мог оболгать Маяковского.

Волков: Нет, он, конечно, этого не выдумал. Это уж слишком вызывающе было бы.

Евтушенко: Почему Маяковский так сказал? Как он мог так сказать?

Волков: Он мог быть очень безжалостным человеком. Но больше всего он жалел себя самого.

Евтушенко: Ну это же слабость! Страшная слабость…

Волков: Зато какие стихи! Видите, это еще раз доказывает, что культура сама по себе – всегда обоюдоострый меч.

Евтушенко: Я согласен с вами. Поэтому мы должны задумываться и чувствовать свою собственную ответственность.

Волков: Культура – не панацея.

Евтушенко: Но что же тогда панацея? Ну хорошо, у нас многим людям не хватает образования. Но вы же прекрасно знаете, что есть и такие люди, у которых стоит поучиться интуиции совести, они интуитивно совестливы. Такие же люди существуют!

Волков: Да, только они всё больше и больше производят впечатление блаженных. В России главное ее богатство – культура. И, конечно, нефть и газ. Вместе. Но ив Америке есть культура настоящая. И главное – в Америке есть самая эффективная в мире культурная индустрия. Вот тут как раз

России есть чему поучиться, я считаю. Потому что сырье для этой индустрии в России есть. Только не умеют его перерабатывать в законченный продукт, который был бы востребован в глобальном масштабе так, как это научились делать американцы.

Евтушенко: А я все время повторяю одно: самое главное, что нам нужно сейчас, – это вспомнить о завещании Сахарова. О конвергенции. Чтобы использовать из опыта человечества всё, что может принести людям пользу и добро. Надо взять витальность и гибкость выживания капитализма минус его преступления, которые у него на совести. И одновременно взять всё лучшее из других идей, из той же самой социалистической идеи минус все ее ошибки, и дикости, и преступления, которые произошли от имени социализма. Вот это то, что как бы нам завещал Андрей Дмитриевич, – простую человеческую идею.

Волков: Она проста, но утопична. Это напоминает невесту в гоголевской «Женитьбе», которой хотелось бы к носу одного господина прибавить губы другого… Такого сделать нельзя.

Евтушенко: Но вот мы говорили про политическую систему в скандинавских странах – смесь капитализма и социализма, лучшие черты уживаются. Но вы правы, там самое большое количество самоубийств. В чем дело? Отчего это происходит? Экономически это работает, а психологически не работает, потому что становится скучно. Людей разъедает скука, какие-то свои тараканы начинают лезть…

Волков: Потому что люди хотят, чтобы им пустили кровь и чтобы они сами могли кому-нибудь пустить кровь. Я именно в этом плане, Евгений Саныч, рассматриваю страшные и абсолютно нелогичные конвульсии, которые сотрясли Россию после Первой мировой войны.

Вообще Первая мировая – это самая большая трагедия XX века. Потому что это было самоубийство Европы, после которого она уже никогда не оправилась. Никогда. Это была попытка самоубийства, из которой Европа выползла на четвереньках и пребывает в этом состоянии до сих пор. Это было коллективное стремление народов Европы пустить себе кровь. Почитайте, что писали, увы, ведущие люди культуры перед началом войны, – они все жаждали этой войны! А когда ее объявили, они все приветствовали ее, говорили, что сейчас Франция обновится, Германия обновится, Россия обновится… Все русские символисты поддержали Первую мировую войну. С восторгом! А после войны то, что произошло в России, мне кажется, было коллективным бессознательным желанием народа сделать, как это в медицине делают, – выпустить лишнюю кровь. Но уж когда она начинает идти, ее бывает трудно остановить. Такое случается с людьми…

Это случилось как-то со мной.

Кровь пошла носом, а потом не останавливалась. Из меня вытекло полстакана крови, меня отвезли в больницу. Так вот то же случилось с нацией. Начали выпускать кровь, а остановиться уже не могли. И так довыпускались, что сейчас уже не хотят, слава богу, никаких потрясений. Россия так сильно пустила себе кровь революцией, гражданской войной и Большим террором, что эта генетическая память останется надолго.

Евтушенко: Ну хорошо, были, скажем, напряженные взаимоотношения Америки и Советского Союза. Но уже давным-давно никакой опасности коммунистического реванша наше правительство не представляет для мира. Мы доказали: у нас нет этой вопиющей преднамеренности, что противник должен быть уничтожен. И посмотрите, как мы все время возвращаемся в прошлое! Мне даже смешно, когда в Америке Обаму называют чуть ли не советским агентом. Когда я слушаю Раша Лимбо[108] или кого-то в этом роде, это просто анекдот какой-то. Или когда я слышу наших имперских рыцарей холодной войны… Это люди, которые не могут до сих пор вытащить ржавые осколки железного занавеса из своих глаз. И, если говорить о нашей внутренней жизни, в том числе и американской жизни, как часто люди, которые могут и должны выходить на какую-то общую точку зрения – и не для того, чтобы подавить свою индивидуальность, а просто найти взаимопонимание, – упираются рогом и друг друга оскорбляют. Нет, нужна кон-вер-ген-ци-я! И я считаю, что искусство может помочь в этом людям. А? Может помочь, как вы думаете?

Волков: Увидим.

Евтушенко: А я все-таки верю в благородную силу искусства. Для чего-то же существуют эти великие книги, эта великая музыка? Ну разве это плохая идея семьи человеческой? А посмотрите, что сейчас делается, сколько убивают людей внутри семей своих.

Волков: Больше всего насилия применяется против близких. Это статистический факт. Это называется *domestic violence*[109].

Евтушенко: Исамое больное – это обида от близких. Когда тебя обижают люди, которых ты не уважаешь, это не так больно.

Подводя итоги: воспоминания, размышления, сожаления

Солоухин

Евтушенко: Удивительная у меня произошла история с Владимиром Солоухиным. Просто удивительная! Вы знаете, что он сказал на обсуждении моей книжки «Обещание»?

В пятьдесят седьмом году у меня вышла книга «Обещание», из которой цензура выбросила поэму «Станция Зима». Спасся только кусок «По ягоды» – лучший кусок. Какие же нападки были тогда! Я оскорбил родину!.. Свою малую родину!.. Опозорил трудовой рабочий класс города Зима!.. Редактор зиминской газеты написал, что это вообще сплошное безобразие. Дядю моего Андрея Иваныча вызвали, прорабатывать стали: что там твой племянник написал? Он говорит: «А вот про меня по „Голосу Америки“ передавали. Это что же означает – кто я? А я и есть рабочий класс! Гордиться надо, что у нас есть такой поэт!»

Волков: Этот ваш дядька, по-моему, колоссальный эксцентрик был. Вроде деда Щукаря. А что же с Солоухиным было?

Евтушенко: Он же выступил на обсуждении. И, кстати, когда он в Литинституте стенгазетные стихи мои увидел, то подошел ко мне и сказал: «Вот, теперь ты поэт!» Я его слышал, когда еще ходил в литстудию при районном Доме пионеров. В уголке Дурова выступали Винокуров, Ваншенкин и Солоухин. Тогда подошел ко мне Женя Винокуров: «Багрицкого любишь?» Я говорю: «Люблю». – «Ну, что тебе в нем нравится?» Я говорю: «Мне больше всего нравится „Мы – ржавые листья / На ржавых дубах“». – «Вот это тебе нравится? Ух ты!»

Волков: Немножко в сторону, коли мы заговорили о поэте Солоухине. Это правда, что его первая книжка вышла после того, как Аверелл Гарриман[110] обходя караул кремлевских курсантов, остановился перед Солоухиным и восхитился его русской статью? Тогда Солоухина приметили и решили наградить, выпустив его стихи?

Евтушенко: Я слышал эту историю в варианте с Черчиллем. Что Солоухин лютой зимой ел мороженое около Кремля, сидел, отдыхая, где-то на приступочке.

Волков: И Черчилль удивился, что зимой человек ест мороженое?

Евтушенко: Тогда он вроде и сказал: «Этот народ непобедим!» Я слышал в таком варианте. Но дело в том, что Солоухин писал

совсем другие стихи: «А о Марсе мечтать? Мы мечтаем о нем. / Коммунистам и это – не область фантазий!»

А на обсуждении моей книжки Солоухин сказал: «Евтушенко за границу хочется? Так сначала-то нужно молодому-то человеку овладеть хотя бы главными принципами марксизма-ленинизма, и уж потом-то ехать». Это сказал Солоухин, который позже стал антиленинцем номер один! Написав, кстати, хорошую книгу «Владимирские проселки».

Волков: И совсем неплохую книгу «Черные доски», об иконах.

Евтушенко: Это человек был совершенно перекрученный. Выступал тоже против Пастернака. Он такой был. Василий Федоров[111] был гораздо по отношению ко мне добрее, в смысле административном. Он сказал: «Ну рвется за границу, так пустите его. Пустите Дуньку в Европу, пускай она опозорится там!»

Твардовский

Евтушенко: Я видел пьяного Твардовского. Это меня не шокировало, но как-то напугало. Я был поражен, как такой талантливый человек может так тяжело пить.

Волков: Описания сильно выпившего Твардовского на меня всегда производили удручающее впечатление. Такая крупная личность, замечательный поэт! Пьянство его всего как-то комкало.

Евтушенко: У меня было стихотворение, как я однажды Твардовского отвозил в гости к Грибачеву. Я увидел Александра Трифоновича после собрания, выпившего, сидевшего с Грибачевым, и тот вдруг предложил к нему заехать домой. Он очень лебезил перед Александром Трифоновичем.

Волков: Перед ним, по-моему, все лебезили – и справа, и слева.

Евтушенко: Грибачев попросил меня их подвезти, я был за рулем тогда. Моей первой машины.

Волков: Какой марки?

Евтушенко: «Москвич». В машину еще набились Егор Исаев и Алексей Марков – это была очень странная компания. (Е. Исаев – ярый коммунист, А. Марков, наоборот, выступал против однопартийности. – *Ред.*)

Жена Грибачева, увидев Александра Трифоновича – Грибачев выдвинул Александра Трифоновича вперед, – была в совершенном восторге, чуть не упала. А меня поразило огромное количество живописи Грибачева. Он, оказывается, писал акварели – нежные, дымчатые. «Ого! Так ты и рисуешь? – заметил Твардовский. И вдруг сказал: – Ну что? Палач на отдыхе?»

Волков: Да, этим Александр Трифонович славился, мог такое сказануть.

Евтушенко: Тот в ответ: «Ну, Саша, зачем ты так грубо?» А потом было ужасно, просто ужасно… Твардовский пел песни какие-то народные…

Волков: А может, он напивался, чтоб иметь возможность вот такие слова сказать в лицо людям вроде Грибачева?

Евтушенко: Не знаю, не знаю… Но мне было грустно это видеть. Но на том собрании на него так нападали! Даже, по-моему, Владимир Фирсов[112]: «Я, как молодой кандидат в члены партии, хотел бы сказать коммунисту Твардовскому относительно его неверной политики в „Новом мире“…»

Волков: Да, когда Фирсов начинает учить Твардовского – это уже гротеск.

Евтушенко: Да, это было ужасно. Это тяжелая была история, это трагедия человека видна[113]. Но он никогда мне не был неприятен. Я всегда любил «Василия Теркина» и горжусь тем, что первый обратил внимание на гениальное стихотворение Твардовского «Две строчки», одно из лучших его. И написал первую статью об этом стихотворении.

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду.
Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело.
Как будто он бежал-бежал,
Да лед за полу придержал…
Далеко шапка отлетела.

И часто ночью одинокой
С чего – ума не приложу, —
Мне страшно той судьбы далекой,
Как будто это я лежу,
На той войне незнаменитой —
Замерзший, маленький, убитый
Забытый, маленький, лежу.

Волков: Какое потрясающее стихотворение!

Евтушенко: И никто никогда его не замечал! С моей легкой руки его стали все цитировать потом, как будто впервые увидели. Бывает так. Это великое стихотворение – одно из лучших. Вот если сказать по-честному, для меня в русской поэзии самые

дорогие стихи это «Наедине с тобою, брат, / Хотел бы я побыть…» Лермонтова, «Я вас любил: любовь еще, быть может…» Пушкина и, может быть, вот это стихотворение Твардовского. Почему? Я не знаю. Но они на меня так действуют…

Волков: Резонируют, я понимаю это.

Евтушенко: Я прошу прощения, если, может быть, оговорился в некоторых строчках этого стихотворения, когда читал наизусть…

Волков: Это очень интересно само по себе: Твардовский в редакции Евтушенко. Вы уже не раз это в наших диалогах делали. Это всегда любопытно.

Евтушенко: Короче говоря, у меня всегда к Твардовскому была какая-то глубокая нежность и благодарность – конечно, за «Теркина», это великая вещь!

Волков: На которую, помните, еще Бунин отозвался с восторгом. И я недавно понял, что в «Теркине» есть внутренняя – не полемика, нет, – а как бы соревнование с Лермонтовым. Твардовский будто говорит: вот у Лермонтова есть про знаменитый бой, а я напишу про бой у деревни Борки, и тоже будет замечательно.

Евтушенко: И так и получилось. Особенно эти строчки, простые такие: «Люди теплые, живые / Шли на дно, на дно, на дно…»

Больше всего я ценю выдышанность поэзии, когда она как будто выдышана, а не написана. Это было у Пушкина: «Я вас любил, любовь еще, быть может…» – ведь перевести совершенно невозможно. Я пробовал переводить своим студентам. И столько перебрал переводов, и сам пытался перевести, а ничего не получается. Его воссоздать на другом языке почти невозможно, если когда-нибудь не появится гений – вот как Лермонтов гениально перевел «Горные вершины» Гёте. Это гениальный перевод и, кстати, очень точный.

Волков: Сейчас это уже невозможно. Никогда Пушкин не будет адекватно переведен, и по простой причине: в западной поэзии не существует больше рифмы. И поэтому любая попытка перевести зарифмованное стихотворение будет выглядеть как…

Евтушенко: …старомодная. Увы и ах!

Отношение к Набокову

Волков: Набоков вам нравится?

Евтушенко: Стихи?

Волков: Нет, проза. Стихи его – кому они могут нравиться…

Евтушенко: Нет, почему? У него есть одно хорошее

стихотворение.

Пусть только… только лягу…
В Россию поплывет кровать;
И вновь ведут меня к оврагу,
Ведут к оврагу убивать…
<…>
Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг!

Это мне очень нравится. Но я не понимаю его издевательских стихов о Пастернаке. И высокомерности его. Мне не нравится в нем то, что он – энтомолог по отношению к людям.

Волков: Да, это точно замечено.

Евтушенко: Я, кстати, видел в Корнеллском университете его большую коллекцию бабочек. Это действительно стоит посмотреть.

Волков: А какой из романов его вам больше всего нравится?

Евтушенко: «Защита Лужина». Ни в коем случае не «Лолита», нет. «Пнин» мне нравится, а «Лолита» – нет. Что-то мне не по себе от нее становится. У меня был случай, когда одна девочка меня соблазняла. Примерно такого же возраста, как Лолита. Слава богу, ей это не удалось, и я рад этому.

Волков: По-моему, «Лолита» – это вообще антиэротическое произведение. Набоков не только не может ни на что спровоцировать или соблазнить, но, по-моему, вызывает у читателя скорее противоположные эмоции. Это всё настолько отстраненное, холодное, манерное…

Евтушенко: А «Защита Лужина» мне очень нравится. Мне понравился американский фильм с Джоном Туртурро, он прекрасно сыграл Лужина. Недавно я «Пнина» для себя открыл. Я читал его раньше, но как-то не замечал. Это очень здорово. Потому что я теперь хорошо изучил американскую профессуру, а у Набокова она очень точно описана. Хотя, знаете, бывают просто удивительные открытия. Я, например, открыл одного профессора – он меня просто потряс своей искренностью, совестливостью и тем, что не побоялся сказать вроде бы мелочь… Он однажды сказал мне неправду, почему он не смог прийти на мой фильм. Но его это мучило. И как-то он совершенно неожиданно зашел в мой офис и, мучительно краснея, как шестнадцатилетний, – я поразился: это специалист-то по Шекспиру! – сказал: «Ты знаешь… я должен признаться, Женя. Я солгал тебе тогда, я

просто забыл».

Волков: Подвиг Пнина…

Евтушенко: Это дорогого стоило. Я увидел, как этому человеку неприятно было, что он сказал мне неправду. Причем он сказал слово «солгал»! *I was lying to you*. «*Lying*» – это очень сильно по-английски! Я совсем другими глазами на него смотрю теперь, на этого человека. Так что Пнин, да…

Солженицын и Андропов

Евтушенко: В феврале 1974 года я позвонил Андропову в кабинет. Я позвонил и сказал, что умру на баррикадах, если Солженицына снова арестуют. Андропов мне мрачно сказал: «Проспитесь!» Когда я проснулся, я узнал, что Солженицына решили выслать. Солженицын мне рассказывал, как это происходило. В Политбюро были люди, которые хотели его посадить, большой спор шел, оказывается.

А знаете, откуда я звонил Андропову? Из телефона-автомата напротив телеграфа.

Волков: А как это можно было? Как можно было из телефона-автомата набрать номер председателя КГБ?

Евтушенко: А вот как: «Справочная КГБ… срочно! Это говорит поэт Евтушенко. У меня есть срочное сообщение государственной важности». Мне о Солженицыне сказал Любимов, мы тогда были в гостях у корреспондента *«Times»* Стивенса. Я сразу ушел оттуда. Со мной были Римма Казакова и Инна Кашежева, поэтесса, вот мы вместе и выехали. Любимов говорит: «А откуда ты будешь звонить, Женя?» – «Да из автомата надо звонить, не надо отсюда». И вот такой мрачный состоялся разговор с Андроповым. Но я все-таки облегченно вздохнул тогда.

А Генрих Бёлль мне рассказал, что, когда он встретил Солженицына, то Александр Исаевич сразу начал с ним спорить и упрекать в том, что сын Бёлля участвует в левом движении. Забавно, да? Вот это Солженицын.

Волков: Да, это типичный Солженицын.

Ростропович и Вишневская

Волков: А расскажите о ваших отношениях с великим виолончелистом и дирижером Ростроповичем и его женой Галиной Вишневской.

Евтушенко: Я обожаю его как виолончелиста и уважаю как музыканта вообще. Виолончелист он совершенно гениальный, бесподобный. И мне всегда очень нравилась его

непосредственность, которая выше политики. Потому что, хотя он и занимался политикой, это были движения его души – человека импульсивного.

Волков: Ну, собственно политикой Ростропович никогда не занимался. Когда он Солженицына поселил у себя на даче – разве это была политика? Это, как вы правильно сказали, было чистое движение души. Эмоция. Он, кстати, в своем жизнелюбии и желании объять весь мир очень на вас похож.

Евтушенко: Правильно, да. Но вот с Галиной Павловной у меня произошел конфликт. В общем-то, чепуха… Она мне очень нравится и как певица, и даже как драматическая актриса…

Волков: Да, она сыграла у Сокурова в фильме «Александра».

Евтушенко: Она талантливый человек, безусловно. Но между нею и мной произошла какая-то дурацкая история.

Вы знаете, конечно, что всем нам, которые выезжали за границу в командировки, говорили: ни в коем случае не встречайтесь с Ростроповичем и Вишневской. Я это всегда презирал, никогда не слушал этих советов и запретов. Я не делю людей на эмигрантов – не эмигрантов. Меня папа проучил. Я где-то выразился: «наши бывшие соотечественники». Папа мне сказал: «Ты с ума сошел? Соотечественники разве бывают бывшие?!»

И точно так же папа дал мне другой урок. У меня поэма «Братская ГЭС» заканчивалась такими строчками, стремление к пафосу вот к чему меня привело: «Быть может, потому что русский я, / Но и не потому, что только русский, / Всей углотою моего костья, / Всей моей шкурой, всей моею юшкой» – сочно написано! – «Я верю: ложь всемирную снесет / И шар земной от страха и бессилья / Спасет не кто-то – все-таки Россия. / Кто больше всех страдал, тот и спасет!» И папа меня отрезвил: «Женя, а у тебя что, есть специальные весы, что ли, которыми ты взвешивал, кто больше страдал, а кто меньше? А? Вот жили люди в Африке, забирались там на свои кокосовые пальмы. Потом пришли люди с какой-то огненной водой, с какими-то стекляшками, стали менять их на золотые браслеты. Потом стали увозить куда-то, почему-то сделали своими рабами… Ну что, они меньше страдали, что ли? Откуда у тебя это? Как это можно подсчитать, кто больше страдал, кто меньше?» Ну и всё, я сразу это убрал. И никогда больше не рыпался. Хороший, отрезвляющий урок. Папа мне такие вещи сразу как-то…

Волков: …корректировал.

Евтушенко: Да, точно. У него четкое этическое чутье было.

Теперь о Вишневской… Иногда женщина… она может себе вот что-то такое повернуть (показывает на прическу. – *Ред.*), да? Я однажды свою жену не узнал! Почти. Или женщина что-то

наденет, что-то другое, новое, чуть похудеет или пополнеет – и уже по-другому выглядит совершенно!.. И вот однажды (в 1984 году. – *Ред.*) я был членом жюри Венецианского кинофестиваля. Надо сказать, я весь на взводе был, потому что один наш режиссер – не буду называть его фамилии, он человек вообще хороший – изнервленный какой-то приехал, сказал, что он три года не получал никакой премии и обязательно должен ее получить. К тому же я вез подарок Отару Иоселиани, чей старый фильм я обожал просто.

Волков: «Жил певчий дрозд».

Евтушенко: Да. Я привез от его друга князя Димы Эристави, прекрасного художника, сулугуни и ткемали, который у меня взорвался в самолете. А я был в смокинге белоснежном – решил немножко выпендриться на венецианских просторах…

Волков: Ткемали покрыл белоснежный смокинг?

Евтушенко: Всё, да… Но сулугуни я все-таки довез. А еще я привез Отару письмо с родины. И вдруг он начинает поливать меня грязью, говорить, что меня прислал ЦК партии из Москвы специально, чтоб ему не дали премию, поскольку он снимал фильм с французами. А я между тем остаюсь единственным, кто борется за Отара со всеми другими членами жюри, включая Антониони, который считает, что «раньше у Иоселиани были лучше фильмы, а этот – „Фавориты луны“ – не годится». А я ему говорю: «За те фильмы он же ничего не получил!» И Антониони, которого я обожаю, начинает: «Вот все вы, русские, такие – Алёш Карамазовых разыгрываете. А Иоселиани, посмотрите, что он о вас пишет! Какие он интервью про вас дает! Будто вы приехали специально, чтоб он не получил премии! Бросьте вы быть дураком таким!» Клаус Мария Брандауэр даже хотел набить Иоселиани морду, когда тот за «Фаворитов луны» премию получил, за которую я, в общем, всех и упросил. А Иоселиани даже не подошел ко мне, не извинился… Да, еще история с фильмом «Кларетта» о любовнице Муссолини, я ввязался в эту борьбу тоже, там целое дело было… В общем, у меня голова кругом.

И в таком настроении я как-то иду, а навстречу русская компания. И вдруг дамочка какая-то, совершенно мне незнакомая: «Ну, что ж ты, не узнаёшь, Женечка, меня?» А я гляжу и не узнаю. Я никого, может быть, родную сестру даже не узнал бы в тот момент. «Простите, – говорю, – но я вас не знаю». И честно вам говорю, я не притворялся. А это была приодевшаяся, примакияжившаяся Вишневская! Которую я ничем не хотел обидеть! Я просто не узнал ее от всех этих моих забот и тревог! Я говорю: «Извините…» – «Да, – кричит, – забыл, как я делала пельмени своими руками для тебя?! Как ты читал мне стихи свои

про Сирано де Бержерака!»

Волков: В Париже?

Евтушенко: Нет, в Лондоне это было. «Ты забыл!» Я говорю: «Ой, простите, Галочка, простите!» – «Да я больше видеть тебя не желаю! Ты зазнался! Уже никого не узнаёшь!..» Я просто как оплеванный себя чувствовал… Ну бывают такие ошибки, которые может совершать человек!

Когда я читал ей эти стихи о Сирано де Бержераке, я рассказывал, как их запретили. И она же вместе со мной смеялась. Как я провел цензуру! Она знала, что иначе их невозможно было бы напечатать. Я написал эти стихи от имени американского актера Юджина Шампа. Потому что я пил шампанское тогда. И написал, что мне, Юджину Шампу, запретили сыграть роль Сирано в фильме Рязанова за мое участие в протесте против грязной войны во Вьетнаме. Все поняли в Москве, кто читал эти стихи[114]. И Галя сама смеялась! «Ну, ты вообще их всегда водил за нос!» – так она мне тогда сказала. И вдруг я открываю ее воспоминания – а там написано, что я просто трус, что я спрятался за какого-то американского актера! Написал, что это про Америку, и сделал из этого антиамериканское стихотворение! Что за чушь! После этого идет дальше: оказывается, я написал против желания Шостаковича новый текст для Тринадцатой симфонии. Против его желания! Никогда в жизни этого не было! Это получилось, потому что вообще хотели запретить исполнение Тринадцатой симфонии в Советском Союзе, если не будет упомянуто, что украинцы лежат вместе с русскими в одной и той же земле!

Волков: И с евреями.

Евтушенко: Меня обвинили в том, что я замалчиваю подвиг русского народа! Это я-то, который написал песню «Хотят ли русские войны?…»! А Вишневская пишет: «Евтушенко напечатал совершенно противоположный вариант первому варианту „Бабьего Яра“»… Что такое «противоположный „Бабьему Яру“» – это антисемитский вариант «Бабьего Яра»? Иначе как это можно понять? И это всё печатается, переводится на все языки, потому что это Вишневская…

Альберт Тодд написал об этом письмо в *«The New York Times»* – ответ на письмо Вишневской, Ростроповича и Максима Шостаковича. Ростропович, конечно, знал, что это неправда, но все равно они написали втроем – с единственной целью сорвать мои выступления, – что Евтушенко не тот, за кого себя выдает, что это автор другого «Бабьего Яра», в котором подлизался к партии из карьерных соображений… Мне настолько было противно! Ну жить невозможно просто! Но все-таки я не стал к

ней обращаться. Женщина есть женщина. Ну что я буду… Мы так дружили с Ростроповичем по-человечески, и где бы ни встречались, нам всегда хорошо было вместе…

Ну, проходит какое-то время. Я думал, время, как говорят, лечит. Но не всё оно лечит, и не всех. Приближается мой юбилей – мне тогда семьдесят лет исполнялось. Я обращаюсь к Ростроповичу, я пишу: «Славочка, дорогой мой, я бы очень хотел, чтобы ты – у нас же вся жизнь друг с другом связана – продирижировал Тринадцатой симфонией и „Степаном Разиным“, если сможешь. И я к этому как-нибудь подстроюсь». Он сначала обрадовался моему письму, мы начали договариваться, он обещал со мной встретиться. А потом на него совершенно явно оказали давление. И он мне написал: «Дорогой Женя! Какое счастье, что мы с тобой наконец помирились. Но, к сожалению, я действительно на несколько лет вперед занят. У меня всё занято». Таким было второе его письмо. Я еще раз написал ему письмо, но он уже не ответил. Я понял, конечно, в чем тут дело. Но что делать… Надо нести свой крест. Не надо отвечать той же монетой. Я этого и не сделал.

Это, конечно, не такая болезненная история, как с Бродским, но все-таки тоже больно. Очень больно. Потому что речь идет о людях, с которыми тебя что-то соединяет – тем более такое большое, как музыка Шостаковича. Жалко, что так бывает. В который раз я прихожу к выводу, что очень часто мы бываем жестоки не потому, что жестоки, а понарошку. В который раз вспоминаются строчки Георгия Адамовича: «Всё – по случайности, всё – поневоле. Как чудно жить. Как плохо мы живем…»

Высоцкий

Волков: Самым знаменитым актером Театра на Таганке, конечно, был Владимир Высоцкий. Как вы с ним познакомились?

Евтушенко: Я впервые его увидел в «Десяти днях, которые потрясли мир», потом в замечательном спектакле «Антимиры» по Вознесенскому, очень хорошо сделанном. Ребята показали, что они умеют лихо читать стихи! Но что меня потрясло в Высоцком… Слава богу, кто-то дал ему послушать запись Есенина, единственную сохранившуюся, – монолог Хлопуши из есенинского «Пугачева».

Волков: Это Есенин потрясающе читает!

Евтушенко: «Проведите, проведите меня к нему. / Я хочу видеть этого человека…» А сделал сцену удивительный художник Юра Васильев, большой мой друг. Васильев сделал сцену покатой, в цепях, впивающихся в тело. Володя был гениален просто в этой

роли. Он и в Гамлете был хорош, по-своему, но сильнее всего в «Пугачеве», конечно, в роли Хлопуши. Он даже читал, я бы сказал, почти лучше, чем Есенин. Я когда впервые услышал есенинскую запись – я даже не поверил. Мне казалось, Есенин как-то выпевал…

Волков: Как поэт, а не как беглый каторжник…

Евтушенко: Да, а у Высоцкого было совсем другое. Мне казалось, так ранний Маяковский должен был читать.

А знаете, когда я делал передачу для телевидения… У меня же было сто восемь, по-моему, передач «Поэт в России больше, чем поэт». И когда я записывал этот отрывок из «Пугачева», я стоял на краю обрыва, я выбрал обрыв для фона. И вдруг, когда я читал «Проведите, проведите меня к нему. / Я хочу видеть этого человека» – глинистый обрыв пополз вниз… Меня еле успели схватить.

И там же еще одна вещь меня совершенно потрясла. Я написал об этом стихи, соединив впоследствии с тем, что произошло с подлодкой «Курск». Оказывается, по местному обычаю пуповину новорожденного зарывали в подполье. Чтобы она всегда тянула домой. И в подполье под домом Есенина, где он родился, есенинская пуповина зарыта до сих пор.

Но в «Гамлете» у Володи много чего было. «Гул затих. Я вышел на подмостки. / Прислонясь к дверному косяку, / Я ловлю в неясном отголоске…» Потрясающе, как это было найдено, соединено со стихами из «Живаго» и трагедией Шекспира в переводе Пастернака.

Волков: Расскажите про самого Высоцкого.

Евтушенко: Меня некоторые его поклонники не понимали. Я говорил про него и про Шукшина примерно одни и те же вещи. Я не считал и не считаю Высоцкого за такого огромного русского поэта. Я не считаю Высоцкого великим композитором, великим певцом и даже великим актером. Но я считаю его всем вместе – огромным явлением! Русским явлением, советским явлением, между прочим. Такой человек мог родиться только в Советском Союзе. И так же с Шукшиным. Я не думаю, что он великий прозаик, что он великий актер – отдельно. Всё это неразрывно! Образ, личность, понимаете? И это вовсе не в обиду сказано Высоцкому. И Окуджава тоже попадает сюда. У Окуджавы есть одно качество, про которое я не могу вам, как специалисту по Шостаковичу, не сказать: Дмитрий Дмитриевич говорил мне, что Окуджава по-своему гениален музыкально. «Евгений Саныч, я не обладаю этим, – сказал он. – Я не могу предсказать заранее, какая моя песня или какая моя мелодия запомнится, а Окуджава невероятным обладает чутьем. У него всё запоминается. Всё легко

запеть, спеть».

Волков: Профессиональная оценка.

Евтушенко: Я Володю всегда любил, и слава богу, что мы сидели и спорили, и он очень хорошо обо мне отзывался. Вот в дневниках Шемякина сказано: «Был у меня Володя вчера, он сказал, что Женя – это наш Пушкин». Я, конечно, не заслуживаю такого, но я был тронут.

Волков: Давайте о Высоцком и Влади… Ведь вы, кажется, их познакомили?

Евтушенко: Я, как и все люди моего поколения, просто обожал фильм «Колдунья».

Волков: Даже прическа называлась «колдунья», и все называлось «колдунья».

Евтушенко: Когда Марина приехала[115], где-то я ее встретил. Она сказала: «Я очень хотела с вами познакомиться. Как можно приехать в Россию и не попытаться увидеть Евтушенко!» И мы с ней провели дня два-три, я бы сказал так.

Волков: Вы за ней ухаживали?

Евтушенко: Ну как вам сказать…

Волков: Немножко?

Евтушенко: Ну, у меня не было с ней такого романа. Она нравилась мне как женщина, короче говоря.

Волков: В нее вся страна была влюблена. Девушка в белом платье, бегущая через лес, – это был символ сексуальности.

Евтушенко: Она училась читать по-русски по вывескам, и что очень ее смешило – это слово «КПСС»: «О, это так плохо звучит! Сразу СС вспоминается».

Волков: Ухо актрисы.

Евтушенко: Да. И еще ее насмешил один лозунг: на площади Маяковского такой тоннель был, и, когда в него въезжаешь, рядом лозунг «Коммунизм неизбежен! Ленин». Марина так хохотала! «Это же, – говорит, – просто смешно!»

Волков: Темный тоннель…

Евтушенко: Как-то мы были в Серебряном Бору. Была очень хорошая погода, мы лежали на пляже, и она рассказывала про свою жизнь во Франции и как ей иногда тяжело приходится. «Все-таки женщине, даже такой женщине, как я, нужно мужское плечо. И хочется, чтобы это был русский человек наконец», – она мне сказала. Довольно так тактично сказала. Ну, может быть, со вздохом. И я ей сказал: «А знаешь, Марина, есть один человек – очень талантливый, – мне кажется, он тебе должен понравиться. И, кстати, он никогда не был за границей, его не выпускают. Даже театр его ездил, а его не выпустили. Это Владимир Высоцкий. Театр на Таганке. Ты не слышала о нем?» – «Нет, – говорит, –

первый раз слышу. Но я должна пойти на днях туда, в театр, они меня пригласили». Я говорю: «Ты бы очень ему помогла, а он бы тебе помог. Мне кажется, вы бы подошли друг другу: у тебя есть такая авантюрная жилка и у него тоже очень сильная авантюрная жилка. А ты бы ему открыла мир, для поэта это очень важно! У него, правда, сложная жизнь – всяких женщин много, трудно в этом разобраться… Но он очень хороший парень, очень талантливый». И тогда она с ним познакомилась. Они стали сближаться как-то сразу. И я был очень этому рад.

Они еще не поженились, когда Марина вызвала детей своих из Франции в Москву. Она хотела отдать их в пионерский лагерь, что меня очень удивило.

Волков: Она же была членом французской компартии? Человеком левых убеждений?

Евтушенко: Никогда мы о политике с ней не говорили – вот кроме насмешливого ее выражения о КПСС. Но во Франции модно быть левой.

И вдруг ее звонок ночью. А она мне до этого говорила, что детей отправила в пионерлагерь под Красногорск. И тут говорит: «Мне позвонила сейчас директриса лагеря, что-то с детьми случилось». А уже ночь, часов одиннадцать-двенадцать. Я немедленно заехал за ней в гостиницу, и мы поехали в Красногорск. И там директриса устроила нам такой скандал! «Слава богу, что приехали, забирайте ваших детей! Они такие избалованные!» А история произошла такая. Наши пионеры захотели погордиться, показать французам что-нибудь интересное. Нашли лягушку, вставили ей велосипедный насос, начали ее надувать. Ну и неприятная вещь случилась: лягушку разорвало, и ее ошметки прилипли к лицу одного из детей Марины. Другой мальчик ничего, даже смеялся. А вот тот, к которому прилипли ошметки, стал кричать: «Увезите! Маму! Я хочу в Париж!» Эта директриса была в подусниках какая-то такая. Дискутировать с ней нельзя было, потому что она ничего бы не поняла: «У нас передовой пионерлагерь, и таких случаев у нас никогда не было». Так что я забрал Марину и детей и отвез их в гостиницу.

Волков: Помогли французской коммунистке устоять в столкновении с советской системой…

Евтушенко: А мальчик бился просто, плакал все время. Я у них долго сидел, мы его как-то отпаивали, приводили в чувство. Тогда Володю у Марины я не видел еще, потом только услышал об их романе. Володя со мной советовался: «Мы решили с Мариной пожениться. Но понимаешь… Она сказала, что у нее есть деньги на квартиру, и она купит, но это мне как-то неудобно.

Жень, может, тебе придет в голову какая-нибудь идея, как подзаработать…» Я тогда вспомнил про Туманова и говорю: «Есть человек, который тебя обожает, – Вадим Туманов, золотоискатель». И позвонил Вадику.

Волков: А, так и с Тумановым тоже вы познакомили Высоцкого? ИТуманов ведь в итоге стал одним из близких друзей Высоцкого?

Евтушенко: Нет, познакомились они раньше, Высоцкий с ним где-то поздоровкался. Поздоровкался, но не запомнил его фамилии. Туманов просто был еще один поклонник. А после моего звонка Вадик пригласил его на Север. Сколько Высоцкий там провел, я не знаю, дней десять, что ли, а то и меньше. Но у Туманова были вертолеты, Высоцкого возили от костра к костру. И золотодобытчики накидали ему на квартиру. Тогда еще не было таких страшных цен. И Марина с Володей купили эту квартирку на Малой Грузинской. Я там был один раз только, когда они пришли ко мне на концерт, а после был небольшой междусобойчик, как-то не хотелось расходиться. Володя сказал: «Ты ж у нас еще не был!» – ну и поехали. Было человек десять, сидели всю ночь, Володя, как всегда, пел песни. И было чудесно. Марина чудесная хозяйка, очень гостеприимная.

Волков: А как вы узнали о смерти Высоцкого?

Евтушенко: Я был тогда в Монголии, у нас не было никакой связи практически. Мы были в пустыне Гоби, потом шли по Селенге и узнали только в Улан-Удэ, уже когда его похоронили. А потом я получил фотографию от человека, которого Володя попросил сфотографировать его с Тумановым на перроне станции Зима. Эта фотография уже пришла, как говорится, из смерти. И этот человек написал мне, что Володя тогда сказал: «Вот Женьке будет приятно». Эта фотография есть на внутренней обложке одной из книг Туманова.

…А Марина мне тоже очень помогла. В то время у меня уже был заключен договор с американским издательством «*Doubleday*» на антологию русской поэзии, но я не знал, как переправить рукопись в его представительство в Париже. А власти тогда больше всего боялись рукописей, на таможне просто зверствовали. Нина Буис, замечательная переводчица, переводила мой роман «Ягодные места» и привезла его из Америки, причем с моим оригиналом русским, который был издан у нас в «Роман-газете». Так у нее конфисковали английский перевод! И мне пришлось выручать этот перевод из «Кого Господь Бережет» – КГБ. Опять ходить туда, звонить туда: ну что вы делаете, это же уже было напечатано!.. И когда Марина возвращалась в Париж, я, поскольку она была тогда уже членом ЦК французской

компартии, попросил ее перевезти первую порцию рукописи. Там килограммов с десять было, наверное, в сумке этой, – не так много, но все-таки… Мы с Володей до аэропорта тащили вместе – каждый по ручке держали. А Марина, когда надо было проходить таможню с этой сумкой, просто пальцем ее подцепила и, как-то чуть побалтывая ею, прошла! Ну, там стали автографы у нее просить, и она мило, очаровательно сыграла свою роль…

А потом Уоррен Битти[116] в крокодиловом чемоданчике, который у меня сейчас на обложке новой книги «Счастья и расплаты» красуется, перевозил очередную порцию. И палестинский поэт Махмуд Дарвиш…

Волков: Просто братство народов в поддержку Евтушенко какое-то!

Прочтите ваше стихотворение о Высоцком.

Евтушенко: Оно было написано в 1981 году, когда я вернулся из монгольской поездки, где, как говорил, только в Улан-Удэ узнал с опозданием о том, что Володи не стало. Когда я вернулся, то оказался около Сочи. И вдруг увидел то, чего раньше не было. Пластинки Высоцкого всё еще были нелегальными, за редчайшим исключением – «кругозоровская» пластиночка маленькая. Остальные не продавались открыто, но из-под прилавочка их могли вытаскивать. А тут я вижу простое объявление: «В продаже Высоцкий». И почему-то это страшно резануло – как пилой просто по сердцу! И как-то сразу написалось это стихотворение. Его не хотели пропускать, сказали: «Да что вы, Евгений Александрович! Да какой он большой поэт! Да его забудут скоро!» Да… В общем, «Киоск звукозаписи»:

Бок о бок с шашлычной,
    шипящей так сочно,
киоск звукозаписи
    около Сочи.
И голос знакомый
    с хрипинкой несется,
и наглая надпись:
    «В продаже – Высоцкий».
Володя,
    ах, как тебя вдруг полюбили
со стереомагами
    автомобили!
Толкнут
    прошашлыченным пальцем кассету,
И пой,
    даже если тебя уже нету.

Торгаш тебя ставит
в игрушечке – «Ладе»
со шлюхой,
измазанной в шоколаде,
и цедит,
чтоб не задремать за рулем:
«А ну-ка Высоцкого мы крутанем!»
Володя,
как страшно
меж адом и раем
крутиться для тех,
кого мы презираем!
Но, к нашему счастью,
магнитофоны
не выкрадут
наши предсмертные стоны.
Ты пел для студентов Москвы
и Нью-Йорка,
Для части планеты,
чье имя – «галерка»,
и ты к приискателям
на вертолете
спускался и пел у костров на болоте.
Ты был полу-Гамлет и полу-Челкаш.
Тебя торгаши не отнимут.
Ты наш…
Тебя хоронили, как будто ты гений.
Кто – гений эпохи. Кто – гений мгновений.
Ты – бедный наш гений семидесятых
и бедными гениями небогатых.
Для нас Окуджава
был Чехов с гитарой.
Ты – Зощенко песни
с есенинкой ярой,
и в песнях твоих,
раздирающих души,
Есть что-то
от сиплого хрипа Хлопуши!
…Киоск звукозаписи
около пляжа.
Жизнь кончилась.
И началась распродажа.

Волков: Возвращаясь к «Гамлету» …Расскажите, как вы заменили Высоцкого.

Евтушенко: Спектакля я еще не видел, я видел только кусочки репетиции. Помню, Высоцкий мне очень понравился на одной репетиции, когда он долго репетировал сцену, где шпага высовывается сквозь занавес.

А дело было так. Все собрались, а Высоцкого нет. Юрий Петрович Любимов места себе не находит. И говорит: «Садись на мое место, Женя, к телефону. Он позвонит сейчас. Позвонит… Нет, больше я не могу! Всё! Сколько можно прощать? Нет! Всё, всё, всё!»

Раздается звонок, я беру трубку: «Володя, это Женя Евтушенко». – «Женечка, дорогой! Я во Владивостоке, ты представляешь, мы с ребятами такими хорошими гульнули немножко, они говорят – дай слетаем во Владик… а в Москву тут не-лёт-ка, понимаешь? Ну что делать, Женя? Юрий Петрович, наверное, в ярости? Я понимаю, он прав совершенно. Женечка, ради бога! Я стою на коленях перед Юрием Петровичем, перед всеми… Ну не думал я, что так подведу всех! Женечка, ну есть же выход! Вот поверь, единственный выход – если ты сейчас объявишь вечер твоих стихов. И никто не обидится тогда. Женя, спаси меня, пожалуйста! Женя, сделай что-нибудь, чтоб Юрий Петрович меня не выгнал из театра!»

Юрий Петрович слышал всё это, поскольку включили громкую связь, все это слышали. «Ну шо, хоть ума хватило выход найти. Ладно, мы решим с ним, что делать. Но это так ему не пройдет».

Я говорю: «Юрий Петрович, давайте все-таки с вами по-честному. Как я буду выступать сейчас, зная, что вы его уволите? Как я буду читать после этого? Ну дайте мне слово, ради бога, что вы его не выгоните! Напишите ему выговор, всё что угодно… Человек же чувствует свою вину. Ну, бывает… С вами ничего подобного, что ли, не бывало? Да с каждым может такое случиться». – «Ну ладно. Только вы не предупреждайте его. Пусть помучается хоть немножко». И так я вышел вместо Высоцкого. Сейчас трудно представить – никто не ушел. А на следующем спектакле я был, и слава богу, всё прошло замечательно. Но приказ об отчислении артиста Высоцкого в театре повисел, конечно, немножко…

Волков: У них с Любимовым, конечно, были особые отношения. Высоцкого Любимов понимал и любил, но трудно ему было. И потом театр роптал, как всегда в таких случаях: почему Высоцкому спускают то, что никому другому не спустили бы?

Евтушенко: А я не слышал, чтоб кто-то роптал из актеров.

Мне кажется, этого не было.

Волков: Все понимали, что Высоцкий театру нужен?

Евтушенко: Любили его, любили… Он для всех что-то означал, многое очень. Я уверен даже, что не было какой-то там кампании внутри театра, чтобы его уволить. Все-таки он был гордостью театра.

Волков: На знамени Таганки – два человека: Любимов и Высоцкий.

Евтушенко: Да.

Стравинский

Волков: А вот интересно – когда вы встречались со Стравинским, вы фамилию Шостаковича произносили в разговоре?

Евтушенко: Нет. Нет. Мы о поэзии говорили. Я ему читал стихи.

Волков: Где это было? В Нью-Йорке или в Калифорнии?

Евтушенко: У него. В Калифорнии. Я хотел познакомиться с ним.

Волков: А кто вас привел к Стравинскому?

Евтушенко: Альберт Тодд. Но таких больших разговоров, как с Шостаковичем, не было у нас.

Волков: Я понимаю. Но меня интересует, спорили ли вы со Стравинским о Шостаковиче? Не может же быть, чтобы вы совсем ничего не сказали Стравинскому про Тринадцатую симфонию?

Евтушенко: Может, может быть. Я сейчас могу вам соврать, но зачем, если я не помню просто. Я помню, что он мне сказал про мое стихотворение «Граждане, послушайте меня…», это меня поразило. У меня есть такие строчки в этом стихотворении:

> Там сидит солдат на бочкотаре.
> Прикоснулся чубом он к гитаре,
> пальцами растерянно мудря.

Это суперстроки! Но их никто не заметил никогда. Помните, был такой роман – «Братья Земганно»? Братьев Гонкур?

Волков: Помню, про акробатов.

Евтушенко: Да! И когда они там делают трюк какой-то высочайший – никто не замечает. Вот и у меня никто не заметил. А Стравинский подскочил даже: «Ох, как вкусно!» Вот это я помню.

Волков: Да, типичный Стравинский. А как Вера Артуровна

отреагировала, жена его?

Евтушенко: Стихи им обоим понравились. А вот о музыке – я не помню, чтобы мы говорили.

Волков: Веру Артуровну всегда называли русской красавицей – при том что в ней не было ни капли русской крови. Я познакомился с ней в Нью-Йорке, она читала мемуары Шостаковича в рукописи.

Евтушенко: Хочу вам сказать одну вещь – я никогда не был таким уж большим поклонником Стравинского. Он просто эффектный, красивый композитор, с моей точки зрения.

Волков: Мой самый любимый композитор.

Евтушенко: Да? Ну, может, я чего-то не расслышал в нем. Это бывает, это индивидуально же, правда?

Волков: Конечно. Но без Стравинского не было бы музыки XX века.

Евтушенко: Вот вы задыхаетесь от восторга по поводу стихов Бродского, а я совершенно холодно к ним отношусь. К этим вот, которые вы читали: «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…»

Волков: Бродский не случайно не любил Шостаковича и был большим поклонником Стравинского. При том что Шостакович за него заступался, помогал вызволить его из ссылки.

Евтушенко: Вот видите, как это бывает. Но это ничего не означает. Самое главное: даже если я ошибаюсь, это не означает, что вы не ошибаетесь.

Волков: Тут вообще ни о каких ошибках речь не идет. Просто разные вкусы. Как говорит мой нью-йоркский друг, замечательный художник Гриша Брускин, «истина кипариса не отменяет истины яблони».

Евтушенко: А что самое лучшее у Стравинского?

Волков: «Симфония псалмов».

Евтушенко: Я никогда ее не слышал.

Волков: Послушайте, не пожалеете.

Евтушенко: Давайте я вам расскажу о Жаке Бреле.

Я познакомился с этим великим певцом и поэтом – так я могу сказать, ибо он велик один в трех лицах, потому что он и хороший поэт очень, и композитор, и певец, – на молодежном фестивале в Хельсинки. Я обалдел, когда его услышал. Я немножко ухаживал за одной девушкой, француженкой, и она мне открыла Жака Бреля. Он был совсем молод тогда, еще не вошел в большую славу, но молодежь уже любила его безумно. Вот в ком был потерян Тиль Уленшпигель! К сожалению, Жак Брель его не сыграл, а сыграл Жерар Филип – и плохо. Очень не получившийся, совершенно не получившийся фильм. Кстати, «Легенда об Уленшпигеле» Шарля де Костера была моей любимой книжкой.

Волков: И моя любимая книга. Замечательная! Она была очень популярна в Советском Союзе.

Евтушенко: Удивительная история – в Америке она совершенно не известна. Даже один из самых культурнейших американцев – Артур Миллер – не слышал об этой книге Шарля де Костера. Я хотел дать ее своим детям – они читают по-русски, но больше по-английски все-таки. Я достал им только одно издание – старое такое, 1918 года, редкое издание. И такое маленькое, адаптированное для детей…

Волков: Есть очень популярные книги, они были всем известны в Советском Союзе – вроде «Спартака» Джованьоли или «Овода» Этель Войнич, а на Западе никому не известны. ХотяВойнич американская писательница – и все равно об «Оводе» здесь никто не слышал. Это такая специфическая революционная литература – и, наверное, совсем неплохая, раз она нам с вами запомнилась.

Евтушенко: Ну, так Жак Брель… Он, кстати, фламандец. Из Брюсселя. И удивительный совершенно человек. Я в Хельсинки тогда устроил его концерт, пригласил к нам на теплоход «Грузия». И надо сказать, Павлов тогда предо мною просто преклонялся за это. Хотя после моего «Сопливого фашизма» они бы сделали всё что угодно.

Брель очень всем понравился. На палубе сделали грандиозный концерт его – восторг! Потом всё пошло уже: договорились, что он приедет в Советский Союз. И вот он приехал, выступил в Театре эстрады в Москве, ездил в Ленинград, Тбилиси, Баку и везде имел колоссальный успех. Колоссальный!

А в это время уже начали давить на художников-

нонконформистов, неприятности начались. А Брель пришел ко мне домой, и ему понравилась картина Юры Васильева «Весна». Я снял эту картину со стены и ему подарил. А потом Брель стал расспрашивать: «Как вообще живут такие ребята? Ты знаешь, я тоже так жил, довольно бедно».

Это было начало его взлета. А у меня в то время была слава невероятная во Франции. Я выступал в зале Мютюалите – восемь тысяч человек меня слушало. Лоран Терзиев читал мои стихи, замечательный актер, в Национальном народном театре – в зале пять тысяч человек, Жан Вилар, глава театра, читал мои стихи. Там было столпотворение! Арагон не вынес этого. Когда он увидел конную полицию вокруг театра, то сказал: «Когда у меня было пятидесятилетие, то там было всего двести человек, но это были лучшие умы Франции, а тут какой-то молодой нахал собирает толпы!» Эльза Триоле, жена его, тоже, конечно, подпустила… Она меня не любила. Зато туда пришел Макс Эрнст со своей замечательной женой-красавицей, тоже хорошей художницей, такой романтической реалисткой.

Волков: Доротея Таннинг, она недавно умерла. Здесь, в Нью-Йорке, умерла. Ей было сто с лишним лет.

Евтушенко: А Брель тогда получил первую половину концерта в зале «Бобино», это знаменитый зал, где шансонье себя пробуют, – в первый раз получил «Бобино»! – и попросил, чтобы именно я написал ему врезку. И я сделал статью о нем. Это очень ему помогло. Он был человек, который ценил добро. Он очень ко мне внимателен был, дал у меня дома поразительный концерт, который, к сожалению, я не записал. И ведь у меня был тогда магнитофон «Грюндиг» – меня Калатозов заставил его купить, он был любителем этого дела, – но я не включил по робости. У меня тогда пели Булат Окуджава, Саша Галич и Жак Брель.

Волков: Такое сейчас трудно представить. Концерт века!

Евтушенко: И никто из них не пел своих песен, знаете? Саша Галич пел романсы русские старые, Булат Окуджава пел окраинные какие-то песни – «По полю девчоночка идет, в подоле ребеночка несет…» – я даже не знал этой песни раньше. А Брель пел фламандские песни. Это потрясающий был концерт, часа на полтора.

Волков: Представляю себе компакт-диск с записью этого вечера!

Евтушенко: А я вот засмущался. Хотя у меня бывали многие знаменитости, когда приезжали в Москву. Жюльетт Грекó у меня была дома. Была Марлен Дитрих – хотела увидеть «этого знаменитого Евтушенко». И знаете, что она сделала? Она сказала: «Могут ваши гости выйти на секунду из комнаты?» Попросила у

меня большое полотенце. И когда мы вошли, она стояла совершенно голая на столе. Только закутанная – голова была закутана, шея закутана… Она сказала: «Женщина стареет с шеи». У нее было совершенно молодое тело. Вот сделала фокус!

Волков: И дальше? Вот вы вошли, перед вами голая Марлен Дитрих…

Евтушенко: Она сказала: «Ну как?» Мы обалдели просто! Восторг был полный. Главное – это был жест доверия… Она спрыгнула со стола, спела a капелла «Джонни», знаете эту песенку? Еще кто-то попросил «Лили Марлен» спеть. Она сказала: «Только кусочек. Это с войной связано, не хочу». И говорила о Хемингуэе, с которым дружила: «Он был для многих символом мужества, а он был в чем-то сентиментальным и скрывал это». Это я запомнил.

Но возвращаясь к Брелю… Он пригласил меня и Булата на свой последний концерт, а после концерта мы встретились в «Арагви». Мы уже бывали там, Брелю понравилось. И он сказал: «Месье Евтушенко, не устраивайте нам тут всяких оплат счетов, вы уже достаточно показали свою щедрость». Мы сидели, он рассказывал, как у них живут люди в литературе. А я говорю: «Вот у нас, к сожалению, есть проблема со вдовами писателей. У нас был Михаил Булгаков, замечательный писатель, – тогда еще не напечатали „Мастера и Маргариту“, – его жена очень нуждается. И есть вдова Мандельштама, который до сих пор не реабилитирован…» Брель спрашивает: «Вы на машине сегодня?» Я говорю: «Да, а что?» – «Ну, мы тут вам кое-что приберегли. И спасибо вам огромное за всё, что вы сделали. Была сказка. И всегда помните, что у вас есть брат в Париже!»

Кстати, я использовал его приглашение. Его не было: у него открыли острую форму туберкулеза, и он поплыл на яхте, лечиться морем. Меня встречала его девушка, с которой он к нам приезжал, и сказала, что будет моим шофером и что она – это как Жак. Тень Жака. Она оказалась очаровательным шофером. У нас с ней была совершенно невероятная история, когда мы познакомились с двумя женщинами, которые в ресторане сидели напротив нас. Знаете, кто это был? Коко Шанель и Мария Каллас! И мы продолжили с ними кутить, а утром ездили все вместе опохмеляться луковым супом. Вот какую сказку она мне устроила, хотя это и случайно получилось. А Жак в это время был далеко. Я, конечно, не мог и подозревать, что никогда уже больше его не увижу…

Так вот, когда он в Москве сказал, что кое-что для нас приберег, знаете, что он мне оставил? Это был, я очень хорошо помню, газетный тюк. Рубли. Он мог поменять их на франки,

между прочим. Я потом спрашивал его с ребятами, почему не поменяли. Они сказали: нам предлагали, а мы решили: вот вы рассказывали нам о художниках ваших, о писательских вдовах. Пожалуйста, передайте деньги наиболее нуждающимся из них. Распорядитесь ими по вашему усмотрению. С одним условием: никто не должен знать, от кого эти деньги.

Волков: Очень благородно.

Евтушенко: Это не благотворительность, не жест напоказ. Сколько там было денег, я даже сейчас точно не помню, но это были большие деньги. И мы с Булатом поехали сначала к Юрию Васильеву, чью картину я Брелю подарил. Приехали мы – уже было за полночь, но Юра всегда ночью сидел, работал. И я ему говорю: «Тут один человек, пожелавший остаться неизвестным, просил тебе передать деньги. Ему очень понравилась твоя „Весна“, Юра, только прости меня, дорогой, что я подарил ему эту картину. Прости меня…» – «Кто этот человек? – это нищий художник меня спросил! – Я не возьму денег, если я его не знаю. И как ты мог подарить мою картину!» Короче говоря, я вынужден был сразу предать Жака Бреля, сказать, что деньги от него. Васильев видел его по телевидению, показывали кусочки какие-то, и ему Брель очень понравился. Тогда Юра сказал: «Хорошо, это был твой подарок, я тебя прощаю, но когда в следующий раз ты поедешь в Париж, вот тебе другая картина, которую ты ему передашь». – «У советских собственная гордость, – я ему, помню, процитировал, – на буржуев смотрим свысока. Но это же не буржуй, – я говорю, – такой же товарищ, как и ты». Потом мы поехали к Олегу Целкову. Мы Юре дали пять тысяч, это я помню. Олегу Целкову тоже привезли – не то шесть, не то десять тысяч… А Целков даже не спрашивал, от кого: «Всё нормально, всё проверено, да? Ну и ладно…» Только потом я ему рассказал, когда Жака уже не стало. Правильно я сделал?

Волков: Конечно.

Евтушенко: Послепоехали к вдовам, и они тоже приняли эти деньги. Для них это было в то время много. По-моему, вдовам тоже дали по десять тысяч, я уже не помню сейчас, могу сбиться. Остальные деньги пошли все художникам. В общем, мы на десять человек разделили, видимо, там было тысяч пятьдесят. Вот такая история. Такой был Жак Брель. И поэт хороший, и человек прекрасный. И условие было прекрасное: не говорить, от кого. Он сделал это не для того, чтобы где-то в газете написали. Просто сам вспомнил, как тоже плохо жил. Кстати говоря, Артур Миллер купил у Олега Целкова картину «Арбуз».

Волков: Да, я присутствовал, когда Миллеру эту картину вручали в Нью-Йорке. Очень трудно было тогда вывезти ее из

Советского Союза.

Евтушенко: Вы знаете, сколько Миллер заплатил за нее? Семьсот долларов. А недавно последняя картинка Целкова на Сотбис продавалась за четыреста тысяч. Фунтов!

Волков: Ну, картины русских художников, о которых на Западе еще десять лет назад вообще не слышали, – таких как Айвазовский, или Верещагин, или Константин Маковский, – сейчас стоят по десять-пятнадцать миллионов долларов.

Евтушенко: Я никогда не забуду того, что произошло, когда я приехал к Олегу Целкову в мастерскую. Тут дело даже не только в деньгах. Я приехал к нему с Ренато Гуттузо, Артуром Миллером и Давидом Сикейросом. Ничего себе компания, правда?

Волков: Просто история искусства XX века в одной комнате.

Евтушенко: Так вот, вы представляете, что произошло с художниками этими двумя? Обоих художников можно любить или нет, но это профессионалы настоящие, Сикейрос и Гуттузо. Они спросили, чем это нарисовано. Чем! Сразу оба! А Целков сказал: «Да у меня всё точнехонько написано на обороте». Тогда они перевернули картины – все, которые у него висели, – и переписывали его данные в свои записные книжечки. Как ученики!

Волков: Настоящие профессионалы всегда учатся.

Евтушенко: Для Васильева и Целкова это были не только деньги. Для людей, которые были нищими, несмотря на собственную гордость и даже уверенность в себе, все равно это было важно.

Волков: Это был как бы знак одобрения.

Евтушенко: Конечно, конечно. А лучше всего высказался о Целкове Маркес, о картине Целкова «День рождения с Рембрандтом»[117]. Я спросил: «Кто здесь лучше?» – и Маркес… Вы знаете, как он высказался?

Волков: «Оба лучше».

Евтушенко: Да. Замечательно! Позже Маркес с Питером Устиновым были в гостях у Целкова в Париже. Я тоже был, ездил на пленум ЮНЕСКО, где мы все вместе выступали. Руководителем нашей делегации был Олесь Гончар – секретарь Союза писателей, лауреат Сталинской премии. И вдруг он мне говорит: «Слушай, ты в международных делах больше разбираешься, чем я. Вот тут мне написали якусь цидулю… Засунули у ЦК, позвали и дали, сказали, что это моя речь». А там такая дребедень была написана. Я говорю: «Олесь, зачем вам нужно, чтобы кто-то писал для вас? Почему сами не написали? Олесь, так нельзя. Серьезные люди приезжают». Там много было хороших писателей. Не всегда так бывает, но тогда собралось хорошо. Карл Саган[118] был, которого

я очень любил, это мой друг американский. Он был у меня в гостях. Большая потеря. Один из лучших мыслителей Америки… Вы знаете Карла Сагана?

Волков: Да, конечно.

Евтушенко: Замечательный человек, дивный… Вот почему сейчас не встречается интеллигенция? Никаких нет больших представительных форумов… Я считаю, что время от времени должны выступать какие-то люди и что-то говорить важное. Может, кто-то услышит, задумается о чем-то…

Вот я был на нескольких выступлениях Артура Миллера – это же было просто потрясающе! И Эдгар Доктороу прекрасную речь тогда произнес… Я сам очень горжусь одним из своих выступлений. Это был съезд нейрохирургов всего мира! В Нью-Орлеане! И меня пригласили выступить с речью на открытии. Вы представляете, что значит сорок пять минут говорить перед людьми, которые по локоть в человеческих мозгах?!

Сколько там было серьезных людей. Это очень важно, потому что ты чувствуешь, перед кем выступаешь.

Феллини, Антониони, Пазолини

Волков: Поговорим теперь о святой троице итальянского кинематографа, трех великих режиссерах: Феллини, Антониони и Пазолини. Вы знали всех троих. Как бы вы их сравнили между собой, чем они друг от друга отличались? И каковы были ваши встречи с ними?

Евтушенко: Сначала давайте о Феллини, хорошо? Он был неотделим от Джульетты Мазины. Он ушел немножко раньше ее, и она не могла без него существовать. Если бы наоборот случилось, то следом ушел бы Феллини. Они были неразрывны. Они, как дети, ссорились, дразнилками занимались. Для нее тяжело было, что он ее не снимал – и долго не снимал. Я как-то оказался у него на съемках. Он сделал восемнадцать дублей в «Городе женщин» с Марчелло Мастроянни. Восемнадцать дублей! Совершенно простого одного кадра! Я ничего не понял. Оказывается, он переставлял свет, свет там как-то не так стоял. А потом он вернулся к Джульетте, после большого перерыва. Я бы сказал, это коварный был замысел: саму себя сыграть. Женщину, ревнующую режиссера, который не снимает ее. Это фильм «Джульетта и духи».

Волков: Абсолютно автобиографический фильм.

Евтушенко: Мы с ним познакомились, когда он получил первую премию на Московском международном кинофестивале в 1963 году за «8½». Председателя жюри Григория Чухрая чуть ли

не из партии хотели исключить за это. Просто скандал был! Надо отдать ему должное, Чухрай вел себя мужественнейшим образом. И это была первая премия, которую вообще в жизни получил Феллини! Он мне потом сказал, когда я брал у него интервью для «Литературной газеты», – и это было самое трогательное, самое лучшее, что может сказать один мужчина другому, – что у него было чувство такое, будто я мальчик из его класса. Одноклассник его пришел! Это, знаете, дорогого стоит. И у нас всегда были сердечные разговоры. Он не любил, когда к нему шлялись на съемки – а этого все хотели, – но мне он разрешил присутствовать, когда снимал «Город женщин». Я был потрясен умением Марчелло: он моментально, как только его отпускали с дублей, ложился на диванчик и засыпал. А потом, когда надо было, сразу же поднимался, свежий как огурчик, входил в роль: «Что нового добавить, какой нюанс, маэстро?»

Волков: Настоящий профессионал.

Евтушенко: Но на фильме «Джульетта и духи» была особенная атмосфера. Там были только его оператор, она и он. Это первая склейка была – высшее доверие к чужаку, в данном случае ко мне. Я тогда немножко флиртовал с одной милой итальянкой, владелицей галереи художественной, и приехал с ней. И когда Джульетта увидела ее, она так на меня посмотрела! «Это кто такая?» Я сказал: «Это очень мой хороший друг». – «Я сама с ней разберусь», – сказала Джульетта. И эта дама испарилась. Вообще. И потом я ее больше никогда не видел.

На просмотре волновались все – первый раз же видели картину. Обсуждали, спрашивали. Я очень горжусь тем, что поправки три предложил, и они все были приняты. Я уж не помню сейчас какие – мелочовка там какая-то монтажная…

Когда мы остались втроем, Джульетта сказала: «Вы сегодня приглашены к нам на ужин». И мы поехали к ним на дачу. И моему глазу открылось что-то невероятное – что было накрыто на столе! Только потом, уже после смерти Джульетты, у нас в журнале «Искусство кино» перевели ее предсмертное интервью. Оказывается, Мазина очень готовилась к моему приходу, она прекрасно знала мои стихи, она была на моих выступлениях, она изучила мой характер, она поняла, что я бабник и что обязательно припрусь с какой-нибудь женщиной. Обязательно! А она мне решила выбрать свою подругу, у нее было несколько кандидаток из числа ее подруг. Но потом она подумала: какого черта! Он придет, я готовила для него, а он про меня забудет… А так они с Феллини оба будут за мной ухаживать. А когда Евтушенко привел эту, так сказать, свою даму, я дала ей понять… В общем, я заполучила его одного!..

И оказывается, она знала, что Евтушенко всегда, где бы он ни был, во всех странах, пьет только вино этой страны. Он любит национальные блюда тех стран, в которых бывает. Он страшно любопытный, он это ценит. И поэтому Мазина стала звонить каким-то своим тетушкам, бабушкам, дедушкам и выспрашивать старинные рецепты, и сама в первый раз многое очень сделала. Она такое вино достала – настоящее, деревенское, я был потрясен просто. Это для нее целая операция была. Это было пиршество! Джульетта – и повариха замечательная, и человек замечательный, умница, они с Феллини все время подкалывали немножко друг друга. Потом начали о фильме спорить: «Вот правильно Эудженио тебе сказал…» – она взяла меня в союзники. Они оба такие хорошие люди были!

Надо сказать, винцо было очень крепенькое. И мы пошли прогуляться к морю. Для меня было тепло, а он поеживался, даже пиджака не снимал. Мы вышли на пляж, у них пляж выходил прямо в море. И я полез в воду.

Волков: Вы разделись?

Евтушенко: Да, конечно. Мазина осталась дома, советовала быть осторожней. А Феллини пошел. И у меня свело ногу. Так Феллини прыгнул в воду, только пиджак сбросил, даже в ботинках. Слава богу, я недалеко заплыл, но все-таки это было дико больно, неостановимая боль. И Феллини всадил пятерню свою с ногтями прямо мне в ногу, и сразу всё прошло. Потом у меня целый месяц не сходили пять точек на икре.

Волков: Автограф Феллини?

Евтушенко: Да! Я написал стихотворение, оно так и называется – «Автограф Феллини». Я его уже в Риме начал показывать всем, задирал штанину. И уже в Москву приехал, а у меня всё еще видно – и там показывал. Тут уж я наследник Пушкина – люблю прихвастнуть. А было чем, кстати!

Но если говорить всерьез, мне у Феллини больше всего нравятся «Ночи Кабирии» и «*La Strada*» – это мои его любимые фильмы. Там он гений. Везде. Я ставлю вкус своим студентам, например, по итальянским двум фильмам. По фильму «Похитители велосипедов» и по «Ночам Кабирии». А Мазина – это женский Чарльз Чаплин. У нас, пожалуй, такого уровня есть только одна актриса – Инна Чурикова. Она одна, может быть, достигает такого уровня волшебства. А Феллини, конечно, гений, гениальный человек. Как Мидас. К чему бы он ни прикоснулся – всё становится золотым. Даже если это фильм, который мне не очень нравится, как «И корабль плывет…», например, – а у него появляется какой-то совершенно феноменальный носорог. Чего стоит один этот носорог! А чего стоит павлин во время снегопада

в «Амаркорде»! Понимаете, Феллини против ханжества церковного, но он верующий человек. Это чувствуется. Феллини понимает разницу между настоящей, внутренней верой и внешней ритуальностью, и это защита веры своей.

Так что разрешите мне прочесть «Автограф Феллини»… Там некоторые слова будут по-итальянски. «*Fiori di zucchini, non ancora fritti*…» – «еще не поджаренные цветы цуккини» – этому меня научила не Джульетта, это Витторио Гассман меня научил, это такая вкуснотища с белым вином! Вот еще выражение: «*Questa notte e fredda, pazzo*…» – «такая холодная ночь, ты сумасшедший»! Или «*Pacienza, Eugenio, pacienza*!» – «терпение, Евгений, терпение»! Вот и всё.

Fiori di zucchini, non ancora fritti,
были вымыты бережно
в крестьянском корыте,
и поджарены потом на оливковом масле,
и язычки огня
прыгали на них
и гасли.
А женщина, готовившая fiori di zucchini,
была не крестьянкой —
актрисой,
лукавой по-арлекиньи,
и она перевертывала fiori
с боку на бок
по рецептам своих итальянских бабок,
чтобы они сияли,
как золотые стружки
с топора родителя Пиноккио в столярушке…
Эту женщину звали Джульетта Мазина,
и она щебетала, как птичка,
и не тормозила,
пока он, может, самый великий на свете мужчина,
наслаждаясь,
прихлебывал
«Брунелло ди Монтальчино»,
и особым —
влюбленно-насмешливым зреньем —
любовался Джульеттой,
как собственным лучшим
твореньем.
Я в палящую полночь пошел искупаться,
он меня упреждал:

«Questa notte e fredda, pazzo…»
И, когда меня судорога прихватила,
в море прыгнуло в брюках,
поплыло ко мне мировое
светило.
И когда захлестнули смертельные волны-игруньи,
Федерико
вонзился,
как будто когтями,
ногтями в икру мне,
и меня на себе выволакивал, будто младенца,
по-отцовски рыча:
«Pacienza, Eugenio, pacienza!»

Целый год или два, —

Ну это преувеличение немножко, -

чтоб ударами с ног не
свалили,
задирая штанину,
показывал я
пятиточечный этот автограф
Феллини.
Потому нас, наверно, к большому искусству так
тянет,
что спасает оно даже болью,
вонзенными в душу
ногтями,
и дарует нам радость,
но вовсе не хочет людей провести на
мякине,
как Джульеттины
нежные fiori di quelli zucchini!

Я пере-перехвастнул, конечно, про год-два, но пару месяцев этим можно было хвастаться…

Волков: Ну, это ж стихи!

Евтушенко: Да, это стихи. Это, конечно, незабываемо. И хорошо, конечно, что существует памятник им вместе, и в сознании народа они вместе… Хотя были и непростые моменты в их жизни. Я никогда не забуду, как вышел замечательный фильм с Джульеттой и Марчелло Мастроянни, где они изображали

американскую парочку: «Джинджер и Фред» – чудесная картина! Я в Риме оказался между двумя кинотеатрами. В одном из них шел новый фильм Сильвестра Сталлоне – стояла гигантская очередь! А в соседнем зале показывали великий фильм национальной гордости Италии Федерико Феллини, новый фильм. Там можно было спокойно купить билет. Зал был неполон. Но ведь это просто несравнимо: Сталлоне и Феллини!

Волков: У него ведь были трудности с финансированием всех его последних фильмов.

Евтушенко: А почему? Потому что он никогда не знал, сколько будет стоить его картина.

Волков: И потом, его фильмы никогда не были настоящими, по коммерческим стандартам, хитами… никогда!

Евтушенко: Нет, за исключением «Амаркорда». И «Ночей Кабирии».

Волков: А Антониони? Они ведь были соперниками?

Евтушенко: Ну, в какой-то степени, конечно. Даже конечно!

Волков: С вами Феллини говорил об Антониони?

Евтушенко: Нет. И Антониони о Феллини никогда. Я был у Антониони, но у нас были с ним другие отношения, нежели с Феллини. Антониони был любимый режиссер моей жены Гали, которая обожала его. Она очень любила и Монику Витти. Мне он тоже нравился, и я до сих пор спорю с американцами, доказываю им, что «Забриски-пойнт» – удивительный фильм. Удивительный! Американцы ничего такого не сняли, не оставили киносвидетельства о целой эпохе… когда убили Аллисон Краузе[119] – студентку, о которой я в свое время тоже написал стихотворение, его распространяли листовками. Двести тысяч листовок выпустили с моими стихотворениями в Сан-Франциско, издательство «*Lawrence Ferlinghetti*», которое, к сожалению, сейчас он продал. У Антониони разные вещи мне нравились, но он был не моего темперамента художник. Мне нравится, когда какой-то солнечный зайчик пляшет в художнике. Даже в трагическом.

Волков: Да, у Антониони нет такого зайчика. У него абсолютная безысходность.

Евтушенко: Но вы знаете, он мне сказал очень большой комплимент. Он знал всю историю того, как фильм мой «Детский сад» сняли с конкурса.

Волков: А его собирались выставить на конкурс на кинофестивале в Венеции?

Евтушенко: Да. Но итальянцы, к сожалению, сказали в министерстве нашем, что фильм им очень понравился. «Мы гарантируем, что Евтушенко получит премию». Это было для начальства совершенно неожиданно. Член Политбюро товарищ

Гришин – они соизволили посмотреть этот фильм на даче. И он не разобрался, в чем дело. Вот понимаете, каким это самодурство бывало! И припоздал чуть-чуть. И когда он вошел, и Ермаш там уже был…

Волков: Филипп Тимофеевич Ермаш, председатель комитета по кинематографии…

Евтушенко: Да. Он там уже был. И сказали: Виктор Васильевич уже на подъезде, начинайте! И когда Гришин вошел, на экране мимо Большого театра шли коровы с беженцами – в 1941 году, мимо Большого театра! Беженцы! И он не сообразил, что тут происходит…

Волков: Гришин же был первым секретарем Московского горкома партии и отвечал за Москву.

Евтушенко: И он сказал: «Это черт знает что! Я сейчас только с собрания, нас так критикуют! А мы озеленяем, украшаем образ города, и хоть бы доброе слово нам сказали!» – встал и вышел. Он не понял, что это сорок первый год! А остальным было тяжело сказать ему – все-таки член Политбюро, один из святых, и всё…

Вообще то, что начало происходить с этим фильмом, невероятно! Сергей Федорович Бондарчук, который был на «Мосфильме» руководителем нашего объединения, помогал мне, приезжал на съемки, – не пришел на открытие. Савва Кулиш согласился прийти, но все знали, что он меня снимал в «Циолковском»[120], что мы ближайшие друзья. Я кинулся к Володе Наумову. А Наумов: «Женечка, ты что, не видишь, я не могу в таком виде выйти! Посмотри, я весь заляпанный!» – потому что он знал тоже. И тогда я к Саше Митте бросился. А слухи-то уже пошли, знаете, как сарафанное радио. И Сашка говорит: «Ой, Женя, ты знаешь, я, когда собирался, гладил брюки и, по-моему, забыл утюг!» – и бежать бросился. Я правду вам рассказываю, это не пародия.

Потом позвонил министр путей сообщения <Н.С.> Конарев, и говорит: «Слушай, чего там у тебя с этим фильмом-то происходит? Мне позвонили из ЦК, сказали: „Вас Евтушенко не приглашал на свой фильм? Дак вы не ходите! Не надо ходить туда, не надо“. А мне все равно, я ухожу с поста министра на пенсию. Я хочу тебя посмотреть». Я больше даже не хочу называть одного крупного чина КГБ – того, который дал мне разрешение, чтоб в фильме забирались на кремлевскую башню и зачехляли ее. Он тоже вежливо отказался: «Я по разным причинам не могу, Евгений Саныч».

Волков: Прийти на открытие – это что было? Это значило засветиться в антисоветизме, так получается?

Евтушенко: Нет, но всем было уже известно, что член

Политбюро товарищ Гришин, один из пятнадцати, так сказать, святых, увидел фильм и рассердился. А он не сообразил просто.

Волков: Возвращаясь к Венеции и показу там «Детского сада»… Что итальянцы решили, когда узнали, что ваш фильм не допускают к участию в конкурсной программе?

Евтушенко: Они меня пригласили членом жюри! Член жюри не может показывать свой фильм в конкурсной программе. (Был организован внеконкурсный показ. – *Ред.*) Так вот, Антониони мне сказал самый большой комплимент. У меня там есть… кстати, Аллену Гинзбергу тоже очень нравился этот кусок, и многим он нравился.

Волков: С аквариумами? Пионер Женя с аквариумом в руках?

Евтушенко: Да, с аквариумом. И Антонини сказал: «Это у тебя антология будущего кино». И еще что меня потрясло – он угадал: у меня там, где женщина разламывает ломоть хлеба и слизывает крошки, – это непрофессиональная актриса. Антониони сказал: «Профессиональная актриса не могла сделать так. Это невозможно просто. Это выше!» Так что у меня с ним были хорошие отношения. Вот только мы столкнулись с ним насчет Иоселиани…

Волков: А как вам «*Blow-up*» Антониони нравится?

Евтушенко: Очень нравится, конечно! С Ванессой Редгрейв! Замечательная картина. Но все равно мне больше всего нравится «Забриски-пойнт». Мне это на сердце просто легло.

Волков: А «Приключение»?

Евтушенко: О, это тоже хорошая вещь. Но, понимаете, Антониони не мой художник. Вот я очень высоко ценю Тарковского. Но самое мое любимое у него – эпизод «Колокол» из «Рублева». Вот это полностью мое. А то, что он снимал потом на Западе, меня не трогало. К сожалению.

Волков: Тут я с вами склонен согласиться. Последние фильмы Тарковского кажутся мне самоповторами почти на грани автопародии. То есть он в них сконцентрировал и усугубил основные мотивы своего творчества, и они вдруг приобрели несколько, я бы сказал, гротескные черты. Хотя и у позднего Тарковского есть свои поклонники. Он создал свой стиль, это огромное явление. И он очень популярен на Западе – может быть, самый известный русский режиссер после Эйзенштейна.

Евтушенко: Но я когда вижу «Колокол»…

Волков: Да, мы говорили, что это про всех про вас. И про Тарковского, и про вас, и про Андрея Вознесенского – это автобиографично для всех шестидесятников.

Евтушенко: Вы никогда не видели поэта Бориса Чичибабина?

Волков: Нет.

Евтушенко: Мне в Солоницыне, несмотря на то что он хорошо сыграл, страсти не хватало. Потому что и в иконописи Рублева есть страсти. И «Страсти по Андрею» – так фильм первоначально назывался. А в Солоницыне мне не хватало темперамента. И вот этот темперамент я увидел запоздало в Чичибабине. Какой это был человек! Истовость, знаете, истовость невероятная просто!

Волков: Вообразить, каким мог быть Рублев, – это, по-моему, все равно что вообразить, каким мог бы быть Христос. И здесь мы переходим к Пазолини, который хотел пригласить вас на роль Христа в своем фильме «Страсти по Матфею».

Евтушенко: Он увидел меня на фестивале в Москве и предложил мне сняться. Просто увидел, как я читаю стихи, – этого для него было достаточно. И, конечно, я был без ума от этого. Особенно когда я увидел потом этот фильм. Там же его собственная мать снялась, между прочим. А в роли Христа Пазолини снял какого-то левого испанского студента, такого молодого Фиделя Кастро, но, с моей точки зрения, однолинейного. Даже для Кастро однолинейного. А тогда тот же Антониони, и Феллини, и Гуттузо – все они подписали письмо Хрущеву, что Евтушенко нужен, потому что он очень популярен в Италии, что Христос в этом фильме будет показан с марксистской точки зрения… Хотя Пазолини был марксист такой…

Волков: Да, своеобразный.

Евтушенко: Вольготный, да. И если бы я был в Италии, я бы плюнул на всё и снялся у Пазолини. Но, к сожалению, я там тогда ни разу еще не был. Хрущеву показали это письмо, и, говорят, он просто подумал, что над ним шутят.

Волков: Чтобы советский поэт да снимался в роли Христа?…

Евтушенко: Ну, это смотря как подать. Ведь ему подал тогда Владимир Семенович Лебедев моих «Наследников Сталина» в правильный момент…

Волков: Ну, это тогда входило в общие тактические политзамыслы Хрущева. А вот, кстати… Пазолини, как и вы, знал, как с уголовниками разговаривать, у него ведь тоже были знакомства в этом мире. Правда, с ним не так всё благополучно обошлось, как с вами.

Евтушенко: Я знал одного адвоката сицилийского. Ему посвящено одно из лучших моих стихотворений об Италии – «Процессия с мадонной». Его звали Людовико Коррао. Но только сейчас узнал – я встретил его внука, и тот рассказал, – что, оказывается, Коррао был убит любовником своим. А я даже и не догадывался. Вообще что-то уж очень он хорошо одевался, он здорово одевался… Он был сенатором от Сицилии, любил искусство и ко мне хорошо очень относился. Мы жили у него на

разных этажах с Ренато Гуттузо. Это такая пьяцца дель Грилльо.

Волков: А о чем вы разговаривали с Пазолини?

Евтушенко: Я вам не говорил, какое мое стихотворение ему понравилось? «Баллада о выпивке», невероятно просто! Я не представлял, что ему такое может понравиться.

Волков: Нет, я как раз понимаю.

Евтушенко: «Мы сто белух уже забили, / Цивилизацию забыли…» – как пьют тройной одеколон зверобои. А о фильме я сказал ему: «Но я же такого не сыграл бы Христа…» – «Так у тебя бы он совсем другой получился. Мне пришлось бы развивать тему Марии Магдалины с тобой… С тобой – это другое совсем. Потом, я читал твои интервью, на тебя досье мне притащили, я увидел, что любимый твой герой Тиль Уленшпигель был. У тебя бы Христос получился как Тиль Уленшпигель». Короче говоря, это была бы другая фактура и, может быть, совсем другой фильм. Ну, жалко, что так получилось. Но в жизни каким-то образом я по кусочкам играл и то, и то, и то… И, может быть, даже и не надо было мне играть Христа. Может быть, и надо было у меня это отобрать.

Волков: Это одна из тех несыгранных ролей, которые приобретают символическое значение в биографии, правда?

Несыгранные роли: Сирано де Бержерак и д'Артаньян

Волков: К вашим несыгранным ролям принадлежит и Сирано де Бержерак, которого Эльдар Рязанов хотел с вами делать. А почему не получилось?

Евтушенко: Во-первых, эта идея была не его, не рязановская, это была идея его гримера. Он ему эту мысль подсунул. Это был очень хороший бондарчуковский гример, один из гримеров «Войны и мира» – Михал Сергеич. Он меня загримировал, а потом сказал: «Нос сам себе придумай какой тебе будет удобно». И я сделал – я больше такого носа ни у одного Сирано де Бержерака не видел. Я сделал его просто очень большим, но красивым, орлиным, ястребиным. Это не пародийный был нос, а такой вот странный…

Волков: А почему вас так привлекал Сирано?

Евтушенко: Ну как? Благородный человек! «А сердце большое в наш век так смешно / Несходством с другими, как нос Сирано, / И в роль я вхожу поневоле…» – есть у меня такие строчки.

Волков: Д'Артаньян – по этому же принципу?

Евтушенко: Ну, д'Артаньян – это немножко другое.

Волков: Или д'Артаньян – это аллегория шестидесятых? Д'Артаньян и его друзья…

Евтушенко: Конечно, конечно, да. А с Сирано… Дело все в том, что у меня не получалась эта роль. Но Савва Кулиш меня не узнал – а он же был мой друг! И он меня не узнал в гриме!..И у меня еще была одна история. Я сидел в одной гримерке с Севой Ларионовым – помните, такой был актер? Пятнадцатилетний капитан! А я когда-то пробовался на роль пятнадцатилетнего капитана.

Волков: В том самом фильме? 1945 года?

Евтушенко: Да.

Волков: А получил роль он…

Евтушенко: Ну, он красивый был парень очень в этом фильме, замечательный. Вообще очень хороший актер! Он забыл меня. Я-то его не забыл.

Волков: Ну, конечно…

Евтушенко: Что-то мне тогда, с Сирано, не удавалось. Я репетировал с Савельевой – она должна была играть Роксану. И вот когда вдруг она погладила меня – репетиции комнатные такие, – я покраснел, зажался. Все-таки понимаете: читать стихи – это одно, а взаимодействовать с актерами – это другое. И вообще, я зажался. Рязанов начал скисать. Не получалось, и всё! А Михал Сергеевич настаивал: «Слушайте, дайте ему в стихи войти! Давайте снимем его в одежде, с прожекторами, это его стихия!» – и сняли сцену в трактире. Сцену в трактире – двадцать минут без перерыва. Это очень много! Рязанов сказал: «Импровизируйте дальше как хотите!» И я вдруг почувствовал себя…

волков:…в своей тарелке.

Евтушенко: В своей тарелке! Но тут Рязанова вызвал Баскаков[121].

Волков: Он тогда был замминистра кинематографа, да?

Евтушенко: Да. И говорит: «Ты не знаешь, что ли, что этот Евтушенко не понимает миссии нашей армии и вообще того, что происходит в мире![122] Много раз выступает против всего! Сирано там убивают… Мало того, что Евтушенко уже героизируют, у него огромное количество поклонников – а тут его, значит, убивают, лужи крови, наемные убийцы… Это культ личности такой будет!»

Волков: Культ личности Евтушенко…

Евтушенко: «Кого угодно, только не его». А Евтушенко – бери вещички и на улицу иди! А ведь на роль Сирано пробовались и Высоцкий, и Миронов, Юрский, Олег Ефремов, и – самое главное – Смоктуновский. Это не фунт изюма! И я без всякой надежды уехал на Витим – это Угрюм-река. Мы шли по реке на карбусе с Лёней Шинкаревым, моим старым другом, четверо нас было, – огромные гребни, несколько раз нас перевертывало… И вдруг

летит вертолет, и бросают оттуда с тряпочкой, чтоб не потерялся груз, консервную банку. В консервной банке радиограмма на военную вертолетную базу, которая находилась поблизости: «Вы единогласно утверждены на роль Сирано де Бержерака, немедленно вылетайте для уроков фехтования и верховой езды. Поздравляю от души от всей группы. Эльдар Рязанов».

А мы были в очень глубокой тайге. Я гордо отказался от сопровождения, потому что ребятам нужно было идти дальше. Почему, собственно, они должны меня провожать? Я сказал: я вообще родился в тайге! И забыл о том, что все-таки ориентируюсь неважно. Ну, оплошал как-то. Компас, конечно, у меня был. Ребята давали мне винтовку, а я не взял. И это могло плохо кончиться, потому что на меня вышла мама-медведица.

То есть сначала появился маленький медвежонок – вцепился мне в джинсы и стал сосать. А я знал, что мама появится тоже. У меня был нож еще туристический. Я открыл его. Замер. Самое страшное было, когда медведица была сзади. И вдруг я почувствовал: теплое льется по штанине. Она пописала на меня! Тут я понял, что она не будет ничего плохого делать. Потом она взяла своего медвежонка за шкирку и пошла. Плюхнулась в речонку с ним и поплыла. И тут меня дрожь начала бить. Жуткая, жуткая, знаете… И вдруг я вижу, что я сделал. Я открыл ножик, но знаете чем? Ложкой!.. Мне потом сказали охотники, что, может быть, это меня спасло. Потому что медведи знают, что такое острое. Потом я даже стихи написал об этом.

В общем, я шел километров так примерно пятьдесят сквозь бурелом. Один. Без всего. Прилетел в Москву и стал репетировать Сирано, покаРязанов не сказал про слова Баскакова: «Любой человек, но не Евтушенко!» Я Рязанову посоветовал: «На твоем месте я взял бы Смоктуновского, все равно он лучше всех». Да они все хороши были, но Кеша был лучше. Серьезно. Замечательный просто был. Такой сложный. Я помню, мы снялись с Рязановым у костра из алебард для нашего фильма. К сожалению, снимок куда-то делся. Ботфорты он мне подарил. А потом – это было ужасно для него и для меня – сломали монтажную и мою пробу смыли! Ну сохранили бы… хоть двадцать минут бы осталось. Сохранили бы и сейчас показали.

Волков: Было бы замечательно!

Евтушенко: Ничего не осталось, кроме фотографии с этим носом. Красивым, орлиным. И Рязанову год не давали снимать потом. Он свои книжки начал распродавать… Вот так всё и произошло. Но, товарищ Баскаков, обессмертил я вас за это в стихотворении «Прощание с Сирано»!

Волков: А что произошло с вашим кинопроектом «Конец

мушкетеров»? Это ведь о трех мушкетерах в старости?

Евтушенко: Ну, это целая история, большая. Это должен был быть итальяно-американский фильм. И Витторио Гассман планировался, и Брандауэр… Я тогда даже не понимал, что такое настоящее большое кино. А итальянцы мне вперед заплатили… Я купил на аванс целый «Мерседес» тогда. В Москве еще почти не было частных «Мерседесов». Я был уверен, что они будут снимать. А они не договорились с американцами.

Волков: Почему?

Евтушенко: Они там разное начали плести. Что вот никто в Америке не знает про мушкетеров… Потом мне контрпредложение было – сделать фильм с Майклом Йорком, который уже сыграл, очень средне, д'Артаньяна. И даже у них деньги были. Потом был вариант…

Волков: С Шоном Коннери?

Евтушенко: С Шоном Коннери, да. Он мне сказал: «Я – скупой ирландец». Все, все соглашались на роли. Это должен был быть кооперативный проект.

Волков: Это когда актеры будут играть и не будут брать гонорара, а потом получат какой-то процент от дохода, так?

Евтушенко: Да. С Шоном Коннери, конечно, всё это было бы замечательно. И он бы здорово сыграл.

Волков: А Коннери кого должен был играть?

Евтушенко: Д'Артаньяна старого. Это же старый д'Артаньян, понимаете? Все мушкетеры старые уже. И потом уже самый последний вариант был с… одессит этот самый… Дуглас! Отец Майкла!

Волков: Кирк Дуглас?

Евтушенко: Да! Ему очень понравился сценарий. Он, конечно, уже был сильно староват, но в хорошей форме. Он мог бы сыграть. Мог. Это не то, конечно, уже было бы, но… Кстати говоря, очень понравилась роль эта Джеку Николсону. Мы даже репетировали с ним. Но он просто забоялся, сказал: «Я как-то не представляю себя в роли мушкетера, по-моему, зрители смеяться будут…» Действительно, он ни в чем подобном не снимался никогда. И вот последний был Кирк Дуглас.

Но там подлянка была… Американцы должны были выкупить права у итальянцев, итальянцы попросили вернуть им деньги, которые они мне заплатили, больше ничего. Но итальянцы – это люди с рынка Порта-Портезе. Они накинули немножко, чуть-чуть, они всегда так делают. А их итальянский агент залупился, запросил слишком высокую цену, да еще и наврал. Потому что у него другой был заказ, от другой кинокомпании, и они хотели перехватить Кирка на свой фильм. И как раз когда они стали

снимать, Кирк попал в вертолетную аварию. Выжил чудом совершенно и уже, конечно, не мог сыграть д'Артаньяна. И всё наше дело было завалено.

У меня был точно такой же случай здесь, в Америке, с гениальным молодым пианистом. Я дирижеру Курту Мазуру, который тогда руководил Нью-Йоркским филармоническим оркестром, сказал: «Есть такой гениальный пианист, а может быть, и композитор даже». Его звали Брайан Хаас, он всякие шоу со мной устраивал. И с Мазуром я договорился, что он прослушает Брайана и точно даст ответ. Мазур сказал, что хотел бы открыть какого-нибудь нового пианиста, совсем молодого. Брайан год целый ждал, но ответа не было. А потом Курт уехал из Нью-Йорка, я его встретил в Лейпциге, и он говорит: «А мне никто ничего не передавал…» И потом я разговаривал с помощницей Мазура в Нью-Йорке, и она сказала: «Вы знаете, мы оберегаем наших боссов. Мы выбираем, что им предлагать». Я ей: «Так была же договоренность с Куртом?!» А она: «Ну и что? Это большие дети, это мы им выбираем…»

Волков: Да, так и делаются дела. Знакомая картина…

Евтушенко: Так и с моими тремя мушкетерами было. Увели! А потом выпустили свой фильм. Не украли, это не плагиат, совсем другой сценарий, поставили приличный фильм «Человек в железной маске». Хотя у меня совершенно другое было: настоящее кино. Сам Леонард Бернстайн врубился и хотел написать музыку, но умер. Он сказал, что это великий замысел. «Это, – говорит, – будет посильнее „Отверженных“[123]». Но не получилось, что делать…

Евтушенковская рифма

Евтушенко: У меня были хорошие рифмы, никто с такими рифмами не работал. У меня «лица – листья» рифмовались, «с неба – снега». Никто не рифмовал так. Это потом стало уже расхожей монетой, а тогда этого никто не делал. И Белла это потом усвоила. Первая!

Волков: Этот вопрос как-то обходится элегантно, а раннее творчество Ахмадулиной, по-моему, связано очень сильно с тем, что писали вы в то время.

Евтушенко: Естественно. Ну, не только у нее. Ассонансная рифмовка существовала в русском языке давно – это первая рифмовка была. Пушкин это услышал: «Возьми себе шубу, / Да не было б шуму». Он взял это из фольклора. Так Блок зарифмовал «ветер» и «вечер». Но это еще делалось редко. Такие рифмы, как «немо – небо», скажем, «с неба – снега», – это я придумал. Это

очень просто казалось, а потом пошло уже и посложнее:

Я была у Оки,
Ела я-бо-ло-ки.

Дальше – больше, высший пилотаж! В то время еще много попадалось усеченных рифм, в двадцатых годах они были довольно-таки часты. Ну, например, «велит» и «корабли» – правда, это плохая усеченная рифма. Она не привилась. Я первый почувствовал, что время усеченной рифмы прошло. Она может применяться с ударением на последнем слоге и если повторяется много других букв, скажем, «примотав» и «прямота». Вот тогда это хорошо. Или если всё вокруг очень точно и только одна неточнинка есть. А в ассонансах люди, даже не понимающие, инстинктивно слышат что-то освежающее. И поэтому все это замечали. Мои стихи были сначала именно этим заметны, только одним – рифмами. Сначала у меня вырвались вперед рифмы, а потом уже пошли содержательные стихи:

Мне мало всех щедростей мира.
Мне мало и ночи и дня.
Меня ненасытность вскормила
И жажда вспоила меня.

Это 1951 год, кажется. Это уже строчки, это не просто рифмы. Тут уже плотность стиха сама работает. И Окуджава, и Высоцкий – я с ними боролся, – ну, дружески боролся, пытался объяснить им это. Окуджава с моей подачи очень много исправил рифм. У него было, например: «Полночный троллейбус по улицам мчит, <…> чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи, / крушенье, / крушенье». Я ему сказал: «Поставь *мчи*, отрежь „т“». Потому что это усеченная рифма, которая устарела. И у Высоцкого то же. Они очень много исправили рифм.

Волков: По вашему совету?

Евтушенко: Да, точно. Потому что я уловил, что это закон, который… как бы это сказать… русское ухо замечательно воспринимало. Это всё от фольклора. А фольклор – это же выверено веками. Смотрите, какие рифмы, например, есть в фольклоре:

Мою голову открытую
Остудит ветерок,
А мою любовь забытую

Осудит весь народ.

Ведь «народ» и «ветерок» вообще ни в какие ворота не лезет! Но когда «остудит ветерок» и «осудит весь народ» – это проходит как целиком рифмующиеся строки. Вот это я уловил. Это я привил. И, между прочим, потом даже у Твардовского появились некоторые ассонансные рифмы. Или у Константина Ваншенкина. Я написал большую статью о нем не так давно и признался, что я у него учился деталям – он очень скрупулезный. А вот он не признался – и не надо! Но я-то это знаю, вижу!

Среди цветущей мать-и-мачехи,
Среди рассыпанной травы
Учебник высшей математики
И три девичьих головы.

Это же евтушенковская рифма, но она уже мне не принадлежит. Я ее выпустил. И слава богу! Я помог русской рифме…

Волков: Завоевать новые рубежи.

Евтушенко: Я бы сказал так: может быть, к сожалению, и этому тоже есть предел, всё это тоже исчерпается. Но, во всяком случае, это счастье, что я продлил жизнь рифм.

Волков: На полвека!

Евтушенко: Потому что рифмы – как бубенчики. Они удерживают в памяти стихи. И совершенно, простите меня, евтушенковские стихи – «Казнь Степана Разина»: вроде бы чуть-чуть архаичны, но выдерживают вот это сочетание архаики и современности. Я даже успел перевести «Слово о полку Игореве» ассонансным развитым стихом, возвратив русскому фольклору подаренную им же идею ассонансной рифмы. Что не означает, что это навсегда. Нужно быть готовым к тому, что…

волков:…когда-нибудь и из русской поэзии рифма уйдет.

Евтушенко: Да, я боюсь этого. Это будет печально. Но стихи не могут держаться ни на чем – если не будет рифм, то должен быть какой-то ритм и еще бóльшая плотность содержания и мысли. Вот на этом русская поэзия может спастись. Я ведь уже пытался делать большие вещи белыми стихами. «Снег в Токио. Японская поэма» у меня получилась. И какие-то куски в «Маме и нейтронной бомбе» тоже получились, написанные совершенно свободным стихом, держащимся на содержании и плотности. Свинченность все равно должна быть какая-то. Ничто не может держаться ни на чем. Этого никогда не будет.

Волков: Природа не терпит пустоты…

Евтушенко: Свободный стих имеет право на существование – точно так же, как имеет право на существование абстрактная живопись. Но абстрактная живопись тоже делится на шарлатанскую, ма́стерскую или шаляй-валяйную, просто ради шлепа написанную. И видно, когда это просто непрофессиональная мазня, а когда это Кандинский, у которого ничего нет случайного и все скреплено эмоцией. Или у Джексона Поллока в его лучшей картине «Собор» – этот наброс красок держится на эмоции, это чувствуется. Когда нет никакой эмоции – получается изобретатель типа Боба Раушенберга. Я ему так и сказал: «Боб, я напишу о тебе: ты изобретатель. Это тебя устраивает?» – «Да, а чего там! Это разве меньше, чем художник?» – на этом мы с ним и договорились.

Волков: Композитор Джон Кейдж тоже именовал себя не композитором, а изобретателем. Это одна эстетика.

Евтушенко: Ну и что? Вот Боб понял, и подарил мне за мою статью о нем картину, которая у меня висит здесь, в Талсе. Потому что я его ничем не унизил, он действительно замечательный изобретатель. Но всегда должно быть вдохновение, без этого искусство не может! И страсть должна быть, страсть! Должны быть скрепы – эмоция или мысль, колоссальная сила мысли, которая тоже держит стихи. Вообще-то говоря, это высказывание принадлежит Мао Цзедуну молодому. Он сказал, что самая высшая мысль – это эмоция, ставшая мыслью.

Волков: Он же был поэт, у меня даже книжка его стихов есть, изданная в Москве в 1957 году.

Евтушенко: Ну что ж, я тут подписываюсь. Так же, как могу подписаться под высказыванием товарища Сталина о том, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский остается. Так же, как и Сталин приходит и уходит, а народ все-таки остается.

Волков: Россия остается. Справедливое суждение.

«Идут белые снеги…»

Евтушенко: Предысторию «Идут белые снеги…» рассказать?

Волков: Конечно.

Евтушенко: Помните, я рассказывал, как мне сообщили решение секретаря ЦК по идеологии Ильичева, что моя поэма «Братская ГЭС» не может выйти, пока будет существовать советская власть? «Что я могу сделать?» – сказал мне Борис Полевой и пожал плечами. Но еще было это стихотворение, только оно было совсем другим:

Идут белые снеги,
что-то странное вьют
И поют, что навеки
меня скоро убьют…

«…Навеки / меня скоро убьют»! Какие-то предчувствия смерти, или убийства, или самоубийства… Какое-то жуткое ощущение было. Прочел это Вася Аксенов и сказал: «Женя, ради бога! Я всегда боролся с твоим излишним пессимизмом – пожалуйста, не надо такие вещи писать. Вон с Гумилевым что случилось».

Волков: Лучше не накликать, не пророчить…

Евтушенко: Мне Пастернак то же самое говорил: ни в коем случае нельзя накликивать – и себе, и другим, и стране. Не надо пророчить, потому что это есть огромная сила! И он был прав, это непозволительно даже… Это были очень мрачные стихи, убийственно мрачные. Но потом я их как-то переписал. И переписал не потому, что испугался, – просто что-то отсеялось. Там, в первом варианте, еще «…дух ее кедрача» и «Ильича» рифмовалось. Я почувствовал, что это как-то мельчит стихотворение, и я выкинул. Сам. И я даже не помню – по-моему, оно не было напечатано в таком виде… Нет-нет, там не было никакого Ильича-кедрача, это я сам избавился от этого.

Волков: До публикации еще?

Евтушенко: Да. И вот тогда я прочел стихотворение Бродскому уже в чистом виде. На Мясницкой (в квартире поэта Евгения Рейна. – *Ред.*). И Бродский высочайше его оценил. Я читал ему стихи свои о Нероне, он хихикал все время, он забавлялся… Там было такое: «В многотиражку „Красный Стрептоцид“ / пишу свои элегии и оды…» – едкие такие стихи. А потом, когда я прочел «Идут белые снеги…», у него изменилось лицо, и даже глаза чуть-чуть были на мокром месте. Чуть-чуть. И он сказал: «Женя, вы не понимаете, – он иногда переходил со мной на „вы“, вдруг начинал даже величать по имени-отчеству, вот это как раз был тот случай. – Женя, всё пройдет, всё уйдет, и политика, и всё остальное, а вот это останется. Пока русский язык будет существовать, это стихотворение будет, будет, оно будет!» Не знаю, прав он или нет, это уже не мне судить, и трудно это предугадывать. Но, конечно, получить от такого литературного – как вам сказать, я не считал его никогда своим врагом, тогда особенно, – от своего в какой-то степени соперника… Мы, по-моему, работали в том же жанре, просто в совершенно разных сферах. Но я его ценил. Потому что знал, как он был скуп на

похвалы, особенно мне. Вот это меня очень тронуло.

А знаете, что интересно. Я не раз был в Израиле. Были очень смешные вещи, когда меня, наконец, в первый раз выпустили в Израиль после многих невыпускновений. Представьте себе, что это был за первый день там! Сначала какой-то корреспондент вскочил и вот так вот, знаете, заносчиво, петушино сказал: «Товарищ Евтушенко! А вам не стыдно? Вы не чувствуете разве обязанности моральной писать каждый день новый „Бабий Яр“?! Ибо антисемитизм в России продолжается, несмотря на ваши стихи!» И так далее. Вот, такое сказал.

И потом еще другая вещь, которая меня просто поразила. Я думал, Израиль – это сплоченная страна, но я увидел, как люди там ссорятся, не разговаривают, не пожимают друг другу руки. И я старался – ну, это всегда моя любовь была – мирить людей. Шамир мне сдержанно очень говорил о Пересе, Перес о Шамире. А уж о Меире Вильнере[124] и нечего говорить, как они оба разговаривали. А все-таки они все ходили на мои вечера. И потом, когда последний был, завершающий вечер, я составил список высоких гостей, их всех пригласил, причем даже руководил тем, кто с кем будет сидеть. И оказалось, многие из них жили в одних и тех же дворах, играли в один и тот же футбол – еще до того, когда они бросали гранаты вместе в английские танки. И они в первый раз сидели и разговаривали друг с другом после стольких лет неразговоров. И потом мне сказали: «Вы знаете, нужно было, чтобы русский поэт приехал, чтобы мы заговорили друг с другом!» Серьезно! Я очень был рад! Потому что там произошла одна удручающая вещь, когда я приехал.

Я поехал к своему переводчику Шломо Эвен-Шошану. Он был уже очень пожилой человек, но очаровательный. И мне – ну как же, я ж все-таки социалист-идеалист, – конечно, хотелось увидеть его кибуц. И вот я уже подъезжаю, а впереди стоит автобус, перегораживающий дорогу, люди с цветами: «Товарищ Евтушенко, мы счастливы тем, что мы первые люди, которые встречают вас в Израиле, мы рады, что вы решили посетить наш кибуц». Я говорю: «Спасибо большое, буду очень рад, но я еду к переводчику „Бабьего Яра“ Шломо Шошану». И тогда эти люди говорят: «Евгений Александрович, товарищ Евтушенко, мы хотели бы вас предупредить, что это совсем не тот кибуц, в который вам следовало бы поехать. А наш кибуц недалеко, там вас ждут совсем другие люди». Я говорю: «Простите, этот человек – переводчик моего стихотворения „Бабий Яр“. Я переписывался с ним, он приезжал в Москву. Меня просто не пускали в Израиль… Как это так можно?» – «Скажите, товарищ Евтушенко, а вам не приходило в голову, почему он уцелел, когда столько людей были

убиты?» Я сказал: «Вы знаете, так нельзя. Я прошу вас, прекратите…» И поехал дальше. Я был поражен.

Так вот, в Израиле, тем не менее, меня поражало то, что чаще всего просили прочесть именно «Идут белые снеги». Это правда. Особенно, я рассказывал, однажды в день 9 мая, когда в зале сидело столько людей с медалями и орденами, Герои Советского Союза… Это было в Хайфе. И люди плакали, когда слышали эти стихи. Вообще, меня поразило отношение к России, хотя некоторых обижали, отбирали при выезде награды, ордена. Им потом еле удавалось выручить свои награды. А потом на этом самом вечере они хором прочли конец – «если будет Россия, значит, буду и я…» Это было необыкновенно. Меня слезы прошибли, конечно. И я даже думал вставить его потом, когда «Братская ГЭС» отдельной книгой выходила. Но мне сказали: «Женя, само стихотворение очень важное, там конец уже есть, и это будет лишнее».

Но читать это стихотворение всегда хорошо. Тем более что оно нравилось совершенно разным людям, в том числе такому человеку, как Бродский.

Вот такое это стихотворение, вот из такого начала оно выплавилось – из страха перед убийством, перед самоубийством. Медленный к нему был путь окончательный. И слава богу, что не было там Ильича, как-то я почувствовал, что он там лишний будет…

Ты спрашивала шепотом

Волков: Евгений Александрович, я хотел бы, чтобы вы прочли мне ваше знаменитое «Ты спрашивала шепотом», хорошо?

Евтушенко: Сейчас. Хорошо. Оно ведь многовариантно…

Волков: Давайте первый вариант.

Евтушенко: Не хочу.

Волков: Почему? Лучший же он!

Евтушенко: Вот вам кажется лучшим, но не знаю…

Волков: Вот, ей-богу, ощущается некоторая, я не знаю, выспренность, что ли, в новом варианте…

Евтушенко: Нет, нельзя называть любимую женщину жалкой…

Волков: Ну прочтите оба варианта.

Евтушенко: Не буду.

Волков: Хорошо, как хотите…

Евтушенко: Владимир Владимирович Радзишевский сколько раз уже мне говорил: «Как вы испортили свое стихотворение! Вообще, вы, поэты, всегда портите свои стихи!» Не знаю, я так не чувствую…

Волков: Я с ним согласен в том смысле, что многие ваши первоначальные варианты мне больше нравятся. Вы потом их поправляли в плане этики. Зато они что-то теряли в плане поэзии.

Евтушенко: Ну, не знаю, не знаю…

Волков: Прочтите, как вам хочется.

Евтушенко: Как прочтется, так и прочтется, хорошо?

Волков: Давайте.

Евтушенко:

Ты спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»
Постель была расстелена,
и ты была растеряна…
Но вот идешь по городу,
несешь красиво голову,
надменность рыжей челочки
и каблучки-иголочки.
В твоих глазах —
насмешливость,
и в них приказ —
не смешивать
тебя сейчас

с той самою,
раздетою и слабою…
Но как себя заставишь ты…
Но как себя поставишь ты,
что там другая женщина
лежала, жалко шепчуще
и спрашивала шепотом:
«А что потом?
А что потом?»

Видите, вот прочлось так… Там еще было слово – «моя неотберимая». Вот, может быть, это слово было неудачное. Не знаю, но вот сейчас так прочлось…

Волков: Это стихотворение посвящено Белле Ахмадулиной?

Евтушенко: Белле, да.

Волков: А как она отреагировала, когда вы первый раз ей это прочли?

Евтушенко: Да ну, слышала она его много раз, конечно.

Волков: Для советской поэзии того времени это было шокирующе непривычно. 1957 год!

Евтушенко: …Была статья Туркова – в общем-то, человека приличного вполне. Ну, он просто меня отхлестал за это стихотворение. А сейчас такое стихотворение на фоне того, что сейчас пишут, можно как урок целомудрия просто читать!

Волков: Я совершенно с вами согласен. Но в пятьдесят седьмом это было как взрыв эротической атомной бомбы! И потом вся страна повторяла эти строчки. И я в том числе.

Литературная перцепция

Евтушенко: Какой страшный образ мужика Палых, помните, из романа «Доктор Живаго». Который собственную семью зарубил… Россия еще должна прочесть когда-нибудь и понять «Доктора Живаго». Почему мы никак не можем понять, что это великий роман?

Волков: Есть несколько произведений и авторов, которые, я думаю, русская культура уже не абсорбирует. К ним относится Набоков – он опоздал, он навсегда останется достоянием только узкого элитарного круга, в котором его репутация очень высока. Парадокс заключается в том, что в Америке Набоков, во всяком случае, в те несколько десятков лет, что я здесь живу, был писательским кумиром. Я помню, как-то была анкета в *«New York Times»* «Ваши любимые и самые важные для вас писатели».

Каждый второй называл Набокова. Он очень сильное влияние оказал на новую американскую прозу. В России такого не приключилось. «Петербург» Белого – гениальный роман, тоже не был никогда прочитан и принят народом. И «Доктор Живаго» – Пастернак хотел написать народный роман, над которыми бы плакали белошвейки. Все равно не получилось. «Живаго» остался романом для элиты, а народ любит «Мастера и Маргариту».

Евтушенко: Но удивительная история происходит с поэзией Цветаевой. Поверьте мне, я в своих поездках по глубинке – а я в ней часто бываю, когда приезжаю из Америки. Я ныряю в глубинку, я обожаю ездить в самые медвежьи углы, бываю в общежитиях – и последнее время замечаю всюду портреты Марины Цветаевой. В общежитиях! И книжек ее невероятно много издают сейчас, и она продается, ее читают. Она становится доступнее и доступнее.

Волков: Цветаева всегда, по-моему, была очень доступной. У нее довольно прямолинейная и дидактическая поэзия. Именно поэтому она имеет хороший шанс войти в массы. У Цветаевой вы можете проигнорировать все стихотворение, просто заглянуть в последние две строчки, и там будет всё сформулировано – та идея, из-за которой стихотворение писалось. С большой пиротехникой и ее любимыми анжамбеманами[125], но мысль будет незамысловата. Проще, чем в баснях Крылова.

Евтушенко: Надо подумать об этом. Надо подумать. Но она, несомненно, всё более и более входит в массы.

Волков: Потом, конечно, трагическая судьба – это то, чего русскому народу всегда хотелось от своих поэтов. Надо, чтобы было над чем поплакать. Над судьбой Цветаевой можно вдоволь нарыдаться.

Евтушенко: И все-таки уже давно в России не появлялся такой большой поэт. Очень давно.

Волков: Я думаю, что сейчас Россия как раз осваивает Цветаеву, пришло ее время.

Евтушенко: …Есть такие люди, как Высоцкий или Шукшин, помните, мы с вами говорили. Я их воспринимаю в их единстве. Я не могу сказать, Высоцкий отдельно замечательный певец, или отдельно замечательный поэт, или отдельно замечательный актер…

Волков: Он замечательная *personality*…

Евтушенко: Да! И то же самое Шукшин! И это вовсе не умаление Высоцкого, потому что это всё сливается! Это поразительно! Ведь трудно было предугадать, что увлечение Высоцким столько будет времени продолжаться. Смотрите, сколько лет его нету! И его все равно продолжают слушать и даже

читать, он вызывает огромный интерес, и пишутся книги о нем бесконечные, снимаются фильмы.

Волков: Всё это – непредсказуемая, странная кривая литературной перцепции. То она идет вниз, то вдруг опять взмывает.

Евтушенко: Это сила личности, конечно, какой-то магической личности. Характер!

Волков: А Шукшин там, в глубинке, совсем полузабыт?

Евтушенко: Нет, почему. Нет.

Волков: Фильмы его – разве о них сейчас часто вспоминают? А он, между прочим, классный кинематографист. Не говоря уж о том, какой он был актер.

Евтушенко: Актер он был замечательный… Жалко, что не поставил «Степана Разина».

Волков: Это мог быть его шедевр…

Евтушенко: Когда читаешь сценарий, это чувствуешь. Особенно сцена с мертвыми соратниками, которую он планировал…

Волков: А почему он пригласил Ахмадулину в свой фильм «Живет такой парень»? У них что, роман был? Это был 1964 год.

Евтушенко: Нет, не думаю. Просто Шукшин был очень любопытный человек, Белла ему была симпатична. Нет, у них романа, по-моему, не было.

Волков: Потому что вся страна влюбилась в Ахмадулину после этого фильма. Я точно влюбился.

Евтушенко: Она замечательно сыграла журналистку…

Бродский

Евтушенко: Умирает Бродский. Я возвращаюсь в Соединенные Штаты после поездки в Россию – и мой приезд совпал с днем его панихиды. Но я уже знал о его смерти в Москве, Юра Нехорошев мне об этом сказал. Я был убит. Убит!.. Потому что что-то очень плохое произошло между нами. И это нельзя было так оставлять. Ну, что делать? Я пытался!

Альберт Тодд меня встречал в аэропорту и говорит: «Женя, я сейчас могу тебя отвезти домой, но я иду на панихиду. Может быть, ты тоже поедешь со мной?» Я сказал: «Конечно, поеду». Мы сразу из аэропорта поехали, я присутствовал на панихиде. И – искренне! – для меня это было большим ударом. Я переживал, я понимал, что он большой поэт и что, увы, мы уже не сможем помириться. Мое появление на панихиде, может быть, было еще более удивительным для многих, чем появление там Черномырдина. Во всяком случае, меня ни один человек не

обидел, ничего не сказал плохого. Наоборот, подходили незнакомые люди и говорили: «Евгений Саныч, вы правильно сделали, что приехали». Это было движение души. Он крупный поэт. Русский. С которым, к сожалению, получилась у меня такая история.

У меня есть стихотворение памяти Роберта Кеннеди[126], за что Бродский меня упрекал. Но упрекал не тогда, когда я ему это стихотворение прочитал, а через много лет, когда я работу получал в Нью-Йорке: «Не имеет права человек, который так оскорбил американский флаг, быть профессором в американском колледже…» Но чем же я оскорбил американский флаг, если разделил боль американского народа?

Волков: Кстати, как эти строчки звучат?

Евтушенко:

Линкольн хрипит в гранитном кресле ранено.
В него стреляют вновь!
Зверье – зверьем.
И звезды,
словно пуль прострелы рваные,
Америка,
на знамени твоем!

Это было напечатано в *«New York Times»* и в «Правде» одновременно!

Волков: Это, наверное, уникальный случай.

Евтушенко: Потому чтоэто были совершенно искренние стихи. И Бродский слышал это, я читал ему! Он мне не сказал ни одного слова! В этот момент он сказал мне: «Женя, слушай, давай поедем сейчас в американское посольство, распишемся в книге соболезнований». Я говорю: «Так сейчас поздно, сейчас одиннадцать часов вечера». Женя Рейн был с нами. Иосиф говорит: «Ну, с тобой-то пустят», – ухмыльнулся так… И нас действительно пустили, когда я позвонил. Приняли нас. И так и было написано: появились Евгений Евтушенко и Бродский, который был только что выпущен. Но он же тогда меня не остановил и не сказал: «Как ты мог так написать об американском флаге?»

Волков: Интересно, что он эти стихи запомнил.

Евтушенко: А потом он написал президенту Куинс-колледжа… Ну как это можно было? Какое счастье, что Альберт Тодд спас меня от того, что при жизни Бродского я не знал про это письмо! А Тодд знал. Президент Куинс-колледжа сказал ему, чтоб ни в коем случае мистер Евтушенко не знал о том, что такое

письмо существует. И он был прав, президент. Если бы я узнал это при жизни Бродского, я не знаю, чем бы это кончилось. Я честно вам говорю. Я бы, может быть, его ударил бы просто по лицу за это. Слава богу, этого не случилось. Ни один из исследователей Бродского, кстати, никогда не написал о том, что он был освобожден из ссылки по моему письму, и о том, что он написал президенту колледжа такое письмо. Они нигде об этом не упомянули, этого не было, это не входило в их концепцию. Но, увы, так получилось.

Волков: Что ж, теперь это факт истории русской литературы.

Евтушенко: Это огромная рана… для меня огромная рана. Она до сих пор не проходит и болит. Честно вам скажу.

Волков: Евгений Саныч, давайте вспомним вообще всю ситуацию с этим письмом, иначе наш разговор может оказаться непонятным читателям.

Ситуация была следующая. Когда решался вопрос о вашем приглашении в качестве профессора в Куинс-колледж в Нью-Йорке, это совпало с фактом, очень неприятным для Бродского: в Куинс-колледже производили сокращения. И в ходе этих сокращений был уволен профессор Барри Рубин, один из близких друзей Бродского, его многолетний переводчик, знаток русской литературы.

Евтушенко: Да-да. Но Рубина просто по возрасту увольняли, у них никаких претензий к нему не было. Берт Тодд объяснил мне эту ситуацию и сказал: «Женя, будет очень хорошо, если ты напишешь письмо по поводу Барри. Ты его не знаешь?» Я говорю: «Не знаю». – «Но ты поверишь мне, что это очень хороший преподаватель? Нужно его поэтому сохранить». И я подписал письмо в защиту Барри Рубина.

Волков: А Тодд в то время был деканом в Куинс-колледже?

Евтушенко: Нет, он не был деканом. Он был начальником департамента, временным.

Волков: Но он принимал участие в вашем приглашении в Куинс-колледж?

Евтушенко: Да, но он хотел также сохранить и Барри Рубина! И я написал это письмо!

Волков: О чем, вероятно, и даже наверное Бродский не знал.

Евтушенко: Как он мог не знать? Барри Рубин про это знал!

Волков: Барри Рубин, может быть, и знал, но мог не сказать об этом Бродскому.

Евтушенко: Нет-нет, Рубин же мне сказал спасибо.

Волков: Но все равно это не меняет ситуации, которая заключается в следующем. Узнав о предстоящем сокращении, Бродский написал письмо президенту Куинс-колледжа, где

говорил, что очень сожалеет о том, что его друг, которого он очень высоко ценит, Барри Рубин увольняется, но понимает, что это может быть связано с финансовыми затруднениями. Однако как тогда объяснить приглашение в качестве профессора поэта Евтушенко, который стоит на антиамериканских позициях? И тут Бродский процитировал те строчки – прочтите их, пожалуйста, еще раз.

Евтушенко:

Линкольн хрипит в гранитном кресле ранено.
В него стреляют вновь!
Зверье – зверьем.
И звезды,
словно пуль прострелы рваные,
Америка,
на знамени твоем!

Что тут антиамериканского? Я никогда не стоял ни на каких – ни на антиамериканских, ни на антирусских позициях.

Волков: Бродский это прокомментировал как оскорбление американского флага.

Евтушенко: Он даже не упомянул, по какому поводу это стихотворение было написано, что ему прекрасно было известно!

Волков: Когда-то вы написали, что вы – последний советский поэт, а Бродский – первый несоветский поэт. И это, наверное, справедливо. Но это письмо, увы, показывает, что в каких-то чертах своих он оставался советским человеком при этом. Будучи несоветским поэтом.

Евтушенко: Да. Человеком из мира коммунальных кухонь, очередей.

Волков: Он оскорбился за приятеля и поступил вот таким образом – сделав в порыве негодования нечто, о чем ему, я думаю, было бы потом неприятно вспоминать. Я так полагаю. Но он вскоре умер.

Евтушенко: Я же помогал вытащить его из ссылки…И наш посол в Италии помог, кстати, освобождению Бродского – тоже случай очень редкий. Это Семен Павлович Козырев – профессиональный дипломат, человек очень высокой культуры, друг скульптора Джакомо Манцу. Я был тогда в Италии и помог вытащить Бродского с помощью Итальянской коммунистической партии. Ренато Гуттузо в этом участвовал и общество итало-советской дружбы, которое он вел. Мы с ним пришли к Семену Павловичу говорить о том, какой вред наносит процесс Бродского, и он сказал: «Так, я тоже хочу это письмо подписать».

Он при нас подписал и сразу отправил в Политбюро диппочтой! Освобождение Бродского – это была целая операция военная. И надо сказать, что почти никто из бродсковедов не написал, как это всё происходило.

Волков: А как начался ваш конфликт с Бродским?

Евтушенко: Когда я в кабинете у Бобкова пытался вернуть свои изъятые после поездки в Америку книги. Это у меня первый раз был случай, когда я о Бродском с ним заговорил. В это время Бродского уже освободили из ссылки, и я Бобкову говорю: «Вы освободили Бродского…» – «А-а, – отвечает, – это дело прошедшее. Бродский уже написал прошение о выезде». Я говорю: «А почему вы его не печатаете? Бродский мне сказал, со слов секретаря ленинградского Союза писателей Олега Шестинского, что ему запрещает печататься КГБ. Но если человека выпустили, то логично все-таки напечатать его стихи потом». И тут Бобков матом просто разразился, не выдержал: «Этот Шестинский – трус, ничтожество! Мы что, справки должны ему, что ли, писать?! Потом Бродский какой-нибудь самолет решит угонять, а нам отвечать? Ну не можем мы давать инструкции, чтобы его напечатали!» Раздраженно очень говорил: «И вообще, давайте бросим на эту тему говорить, потому что он опять написал письмо в Америку и сказал, что хочет уехать, и мы приняли решение, чтоб он уехал, – уже надоел всем…» И я тогда сказал: «А вы не понимаете, что это трагедия для поэта – уезжать от своего языка?» – «Я понимаю, но он же сам хочет уехать». Я говорю: «Но вы же его в какой-то степени и довели до этого». – «Ну, Евгений Александрович, это совсем другая история, долгая. Ему дали разрешение, и всё, этот вопрос закрыт». Я говорю: «Скажите, я могу ему сообщить об этом?» И вдруг Бобков мне: «Ну, смотрите, хотя я бы вам не советовал». Любопытно, да? Вообще-то правильный совет дал.

Волков: Я как раз это и хотел сказать.

Евтушенко: Я позвонил Жене Рейну, сказал, что был в КГБ, потому что у меня конфисковали книжки, и просил передать Иосифу, что у меня был там разговор о нем и мне сказали, что он получает разрешение на выезд.

Волков: Формально это было разрешение на выезд в Израиль.

Евтушенко: Потом Бродский в Москву приехал, и был разговор. Присутствовали мой папа Александр Рудольфович, который с Иосифом хотел познакомиться, Женя Рейн и я. И я Бродскому всё рассказал: как меня вызвали, почему я там оказался. И про Шестинского ему сказал. И что я сказал Бобкову фразу: «Вы можете хотя бы не мучить Бродского перед отъездом, как вы иногда оскорбляете людей, которые уезжают за

границу?» – «Всё зависит от того, как он будет себя вести». Я говорю: «Ну что, он будет кричать „Да здравствует Советская власть!“ после такого процесса дурацкого? Этого вы не дождетесь никогда». – «Евгений Александрович, не могу же я за всех отвечать! Кто-то так ведет себя, кто-то иначе… У нас разные люди есть», – вот такой был ответ Бобкова. Он был очень раздражен, не хотел на эту тему больше говорить.

А в следующий мой приезд в Америку – я был сперва в Канаде – я звоню Тодду: «Я решил в Нью-Йорке остановиться, с Иосифом хочу увидеться. Я соскучился по нему. Поговорить хочется». И вдруг Тодд мне говорит: «Женя, а надо ли тебе с ним видеться?» Я говорю: «А что такое?» – «Женя, он о тебе очень плохо везде говорит. Ничего хорошего не получится, по-моему». – «Что он говорит?» – «Я, Жень, не хочу об этом…» – «Нет, я хочу», – сказал я. «Он говорит, что ты участвовал в том, что он оказался за границей, что ты принимал участие в его…»

Волков: «…выталкивании…»

Евтушенко: Я просто обалдел! Я говорю: «Как? Ты же знаешь, Берт, что это неправда! Первое, что я сделал, – я тебе позвонил, чтоб ему достать работу, и ты ему нашел в Куинс-колледже сразу же». – «Я это всё знаю, Женя. Но что делать, он говорит вот такие вещи. Не надо тебе с ним видеться!» Я говорю: «Нет, я хочу с ним увидеться». – «Ну хорошо, я ему передам».

И вот мы встретились, он пришел ко мне в гостиницу. Я ему говорю: «Иосиф, ну как тебе не стыдно! Ты же знаешь, что был освобожден по моему письму. Ты же знаешь, я не участвовал в твоей высылке, это неправда! Как ты мог? Что тебе дало право такое обо мне говорить? Что с тобой случилось? Это же ложный донос на меня! Ты, наверное, презираешь доносчиков тридцать седьмого года, которые делали ложные доносы друг на друга, а это то же самое». – «Я еще не встречал ни одного человека, который бы заслуживал моего презрения», – сказал он мне. Это абсолютная цитата.

Волков: Это похоже на Бродского.

Евтушенко: Я говорю ему: «Знаешь, больше мы с тобой видеться не будем. Стихи, конечно, я буду твои читать. Но будем считать, что мы больше не знакомы с этого момента». Он стоит, не уходит. И вдруг говорит человеческую фразу: «Женя, ты же никогда не был в эмиграции, ты не знаешь, что волей-неволей начинаешь искать, кто в этом виноват. Ты не думал об этом? Вот так это, наверное, и произошло». Это была человеческая фраза.

Волков: И тоже похоже на Бродского.

Евтушенко: Я говорю: «Что все-таки тебе дало возможность говорить обо мне так?» – «Ну ты же сам мне говорил, что был

консультантом КГБ в моем вопросе. Ты же им советовал меня не мучить? Ты мне сам это рассказывал. А это означает, что ты их консультировал». Я говорю: «Иосиф, если я иду по улице и вижу милиционера, который бьет сапогом в живот беременную женщину, подхожу к нему и говорю: „Товарищ милиционер, вы что, не видите, что она беременная? Как вы можете бить ее сапогом в живот?“ – это значит, я сексот отделения милиции, что ли?» Молчит. Стоит. «Что я могу сделать, чтобы исправить эту мою ошибку?» Я говорю: «Сейчас я иду на встречу, там будут Барри Бойс, Альберт Тодд. Ты их всех знаешь. Все они знают, что ты говорил обо мне. Ты найдешь в себе силы извиниться передо мной?» – «Хорошо, я пойду с тобой. А где вы встречаетесь, в каком ресторане?» А мы в каком-то китайском ресторане договорились встретиться. «Вообще-то есть другой, получше!» – и тут он как-то он повеселел, и это меня поразило. То есть он понял, что выходит из положения…

Ну, пошли в ресторан. Там он молчал долго. И все, конечно, на него смотрят в недоумении: я же не успел объяснить, что между нами происходило. Вот он мнется, мнется – и кто-то вдруг спрашивает: «Иосиф, нам просто интересно, мы кое-что слышали из того, что вы говорили о Жене…» – «Да, я хотел об этом как раз и поговорить, – сказал он. – Я хочу сказать вам всем – и при Жене, – что я говорил о нем то, чего он не заслуживает. Я беру свои слова обратно». Ну, тут начался американский Нюрнберг маленький. Барри Бойс, актер-англичанин, по-моему, это сказал: «Простите, – говорит, – Иосиф, я вот не совсем понимаю, что вы именно говорили о нем?» Я говорю: «Слушайте, мы все понимаем, о чем идет речь. Мы с Иосифом договорились. Он же сказал сейчас, что берет свои слова обратно!» Ну, вот так это и закончилось.

Когда я уезжал, он попросил меня, чтобы я помог его маме выехать к нему. И я это сделал. Его мама приходила ко мне, я дал ей письмо в КГБ, которое она отправила. Но ничего не получилось, к сожалению. И Бродский продолжал плохо говорить обо мне.

Когда меня в 1987 году выдвинули в почетные члены Американской академии искусств и литературы – мне рассказывал Гаррисон Солсбери, Бродский протестовал: «Я выйду из академии, потому что Евтушенко не представляет нашей поэзии, русской поэзии». Тогда ему ответили спокойно, что ни один поэт не может представлять целиком национальную поэзию.

Белла его видела в Америке и сказала мне: «Ты говорил, что вроде помирился с Иосифом, а когда я его видела, он отозвал меня на балкон и опять начал то же самое говорить. Я сразу же

его остановила: „Я ничего не хочу слышать плохого о Жене“».

Волков: Значит, эти напряженные отношения между вами сохранились?

Евтушенко: Я не виделся с ним больше. У меня была попытка с ним поговорить, с Бродским. Я говорил с Ромой Капланом.

Волков: Владельцем знаменитого ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке.

Евтушенко: Да. Рома меня очень любит. Я говорю ему: «Рома, я иногда натыкаюсь на Бродского то в одном, то в другом месте… Слушай, давай сделаем так: я даже выпью твою нелюбимую мной водку, согласен на это, выпьем пол-литра втроем, осилим и закончим всю эту бодягу». – «Женечка, ничего не получится». Я говорю: «Почему?» – «Ну не получится. Я знаю. Я уже пробовал с ним разговаривать». Я думаю, у Романа не получилось потому, что он знал о письме Иосифа в Куинс-колледж. Но я-то ничего не знал!

И однажды я увидел Иосифа в последний раз, это был очень тяжелый случай. Мне кто-то должен был оставить у Ромки билеты в театр. Я пришел к нему в «Русский самовар», а он сидел с каким-то человеком. И человек этот как-то поднял воротник странно, хотя сидел в помещении, напротив бара как раз. Рома говорит: «Жень, посиди, сейчас тебе принесут билеты», – их обещал мне негритянский актер, который чечетку с Барышниковым танцевал…

Волков: В фильме «Белые ночи», Грегори Хайнс.

Евтушенко: Рома говорит: «Сейчас придет кто-то от него, садись вон туда, за барную стойку». Я сел – и увидел в зеркале человека, странно спрятавшегося за воротником. И я вдруг смотрю – а это Иосиф! Я давно его не видел. И вы знаете, впечатление было – это Квазимодо. Он так ушел весь в воротник… Я смотрел на него, а он не замечал, что я его вижу. Это было ужасно…

Прошло много времени, умирает Тодд. И после похорон подошел ко мне лучащийся гаденький мальчик Володя Соловьев, который мне никогда не нравился, хотя он знающий человек в литературе, этот Володя Соловьев, бывший ленинградец. Он подошел ко мне и сказал: «Ну вот, Евгений Саныч, теперь у меня совесть чиста. Я вам хочу сделать подарок – письмо Бродского. Берт мне сказал: пока я буду жив, чтобы Женя не знал про это письмо», – и отдал мне письмо. Оно просто перевернуло мне душу – вот этого я не ожидал! Я думаю, что Бродский не хотел со мной мириться, потому что знал, что это письмо когда-нибудь все равно всплывет. Он должен был сам мне рассказать об этом и извиниться заранее – это другое было бы дело. А то получилось,

что Чеслав Милош…

Волков: Польский поэт, живший в Америке, лауреат Нобелевской премии…

Евтушенко: Да, его пригласили в Куинс-колледж дать президентскую лекцию, и он написал (мне показали это письмо): «Я верю своему другу Бродскому, он говорил такие вещи о Евтушенко, после которых я не могу выступать в колледже, где он преподает». Потом об этом Володя Соловьев напечатал в одной из своих статеечек – и торжествовал, радовался, что он мне такой подарок «хороший» делает.

Волков: У Андрея Вознесенского есть такие стихи:

> Почему два великих поэта,
> проповедники вечной любви,
> не мигают, как два пистолета?
> Рифмы дружат, а люди – увы…

Это он случайно не о вас с Бродским написал?

Евтушенко: Не думаю, я никогда от Андрея не слышал, что Бродский – великий поэт. Я полагаю, он думал о своих отношениях со мной. У нас были иногда сложные отношения.

Волков: Мне очень нравится одно ваше раннее стихотворение – «Зависть». Я его прочел давным-давно: «Завидую я…»

Евтушенко: «Этого секрета / не открывал я раньше никому. / Я знаю, что живет мальчишка где-то, / и очень я завидую ему…» Да, давайте лучше выйдем на стихи. И давайте договоримся: я написал статью о Бродском, я сделал о нем передачу телевизионную, я его признаю большим поэтом и стихи его, конечно, читаю, и мне очень нравятся его ранние стихи. А из последних, пожалуй, мне нравятся вот эти: когда «из забитого глиной рта раздаваться будет лишь благодарность». Хотя я считаю, что его стихи очень похолоднели, «поколледжели» – покрылись хитиновым покровом, я бы сказал. Такой блестящий покров, но без температуры человеческого тела. Может быть, я не прав, но мне кажется, что его постигла трагедия многих поэтов: у него есть стихи о взаимоотношениях с женщиной, но нет стихов о любви. Так бывает. У Слуцкого не было ни одного стихотворения о любви, у Твардовского не было ни одного стихотворения о любви – в моем понимании.

Волков: Тут я с вами не соглашусь, так же как когда-то я с Бродским не согласился, когда он нападал на вашу поэзию. У него, по-моему, есть потрясающие стихи о любви.

Евтушенко: Например?

Волков: «Я был только тем, чего / ты касалась ладонью…»

Или вот: «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером…» – это тоже потрясающее стихотворение о трагической любви, пытающееся подытожить его отношения с Басмановой. Да посмотрите весь цикл «Новые стансы к Августе». Это, по-моему, беспрецедентный цикл из девяноста стихотворений о любви. К одной женщине! Книга, подобных которой нет в русской поэзии: с началом, с движением сюжета, с трагическим финалом. Конечно, там иная температура – и в этом я с вами согласен, – чем в стихотворениях о любви Евтушенко. Это другая любовь, другое отношение к любви. И, думаю, я не одинок, у меня много найдется единомышленников, которым такой подход к любви тоже близок. Они понимают такое отношение: когда в любви соблюдается какая-то дистанция, когда внутренний любовный накал скрывается за внешней сдержанностью.

Евтушенко: С огромным удовольствием перечту эти стихи. Потому что, может быть, что-то во мне такое живет, что мешает мне воспринимать их.

Волков: Это, я думаю, в значительной степени и отразилось на ваших отношениях. Так бывает в напряженных отношениях больших фигур. Мы можем вспомнить отношения между Тургеневым и Толстым, между Чайковским и Мусоргским, отношения между Прокофьевым и Шостаковичем, в конце концов. Мы часто забываем о том, что люди, чья эстетика разнится, обыкновенно находят также и в личных отношениях какие-то зацепки и прицепки, которые помогают им встать взаимно на полувраждебные, а иногда и враждебные позиции. Эстетика часто диктует этике. Правда, бывает и наоборот.

Евтушенко: Да, я был поражен, когда Бродский прослушал мое стихотворение «Идут белые снеги…» и у него в глазах были слезы. Мне казалось, что это ему не может понравиться.

Волков: Кстати, вы встречались со Сьюзен Зонтаг, американской подругой Бродского, знаменитой эссеисткой? Она как раз вспоминала об этом разговоре, беседуя с Бродским как-то.

Евтушенко: Я ее знаю, но просто потрясен был, когда она выступила в *«The New York Times»* с заявлением, что в Сербию надо отправить морскую пехоту.

Волков: Да, это была и позиция Бродского тоже.

Евтушенко: После этого я потерял к ней всякий интерес. Потому что это чудовищная вещь – то, что она сказала. То же самое я прочел у Васи Аксенова, которого я очень любил. В какой-то период своей жизни он написал, что единственное, о чем жалеет, – что возраст не позволяет ему взять в руки автомат, надеть грин-берет и защищать свободу и демократию в любом углу, куда его пошлет голос совести. Я просто был потрясен этим!

Волков: Но Бродскому совершенно искренне казалось, что он и вы представляете совсем разные поэтические и политические направления. При том что «Идут белые снеги…» на него произвело такое сильное впечатление. И мне он тоже сказал, что знает наизусть как минимум несколько сот ваших строчек. Что свидетельствует о его по меньшей мере внимании к вашей поэзии, правда? Но ему представлялось, что вы с ним стоите на противоположных эстетических полюсах.

Евтушенко: Это означало, что мне не надо было давать работу?

Волков: Это, конечно, совершенно другой вопрос. Но вот Стравинский, когда прослушал Одиннадцатую симфонию Шостаковича, написал: «Это же ужасная музыка, передвижничество какое-то». И, кстати, коли мы вспомнили о Стравинском… Он подписал письмо, когда Шостакович приехал в Америку в 1949 году, чтобы Шостаковича не допустили выступить в Гарварде и других местах, чтобы отменили ему приглашение: дескать, он с пропагандистской миссией приехал в США.

Евтушенко: Можно я скажу насчет передвижников, раз мы об этом заговорили, раз у нас беседа свободно так льется. Однажды мы разговаривали с Олегом Целковым. «Вот, – я говорю, – какая для тебя картина служит символом России? Есть такая картина?» – «Ну ладно, – говорит Целков, – давай я напишу на бумажке и ты тоже. И мы откроем». И у нас получилась одна и та же самая картина – «Тройка» Перова. И у него, и у меня. Между прочим, я в силу своей привязанности к этой картине заметил одну вещь: ведь там девочка – не то евреечка, не то цыганочка.

Волков: Смуглянка.

Евтушенко: Да, смугляночка. А Целков мне еще сказал: «Вот смотри-ка, как это выписано: лед на бочке, если вырезать кусок – это будет прекрасная абстракция. Классная!» Какое интересное наблюдение! Хотя мы с Целковым спорим о многом.

Волков: Перов был прекрасный художник, но только тоже спился. Как многие, к сожалению, русские гении. Как Саврасов. Как Мусоргский…

Евтушенко: Да, это жалко. Я Мусоргского обожаю. И правда же – мусоргская линия очень сильна в «Степане Разине» Шостаковича?

Волков: Конечно. Вообще Мусоргский был кумиром Шостаковича. Главным и музыкантским, и этическим компасом для него.

Евтушенко: Давайте я все-таки свою «Зависть» прочту. Это 1955 год, двадцать три года мне.

Волков: А Бродскому – пятнадцать. И вы даже не знаете о

существовании мальчишки Оси…

Евтушенко:

Завидую я.
Этого секрета
не раскрывал я раньше никому.
Я знаю, что живет мальчишка где-то,
и очень я завидую ему.
Завидую тому,
как он дерется, —
я не был так бесхитростен и смел.
Завидую тому,
как он смеется, —
я так смеяться в детстве не умел.
Он вечно ходит в ссадинах и шишках —
я был всегда причесанней, целей.
Все те места, что пропускал я в книжках,
он не пропустит.
Он и тут сильней.
Он будет честен жесткой прямотою,
злу не прощая за его добро,
и там, где я перо бросал:
«Не стоит!» —
он скажет:
«Стоит!» – и возьмет перо.
Он если не развяжет,
так разрубит,
где я не развяжу,
не разрублю.
Он, если уж полюбит,
не разлюбит,
а я и полюблю,
да разлюблю.
Я скрою зависть.
Буду улыбаться.
Я притворюсь, как будто я простак:
«Кому-то же ведь надо ошибаться,
кому-то же ведь надо жить не так».
Но сколько б ни внушал себе я это,
твердя:
«Судьба у каждого своя», —
мне не забыть, что есть мальчишка где-то,
что он добьется большего,
чем я.

Давайте все-таки договоримся: о Бродском мы больше с вами не говорим. Вы знаете, это дорогого стоит. Вот честно вам говорю. Вы знаете, что Маша мне запрещает говорить о Бродском? Потому что для меня это огромная рана. Понимаете?

Волков: Я понимаю. Вы подробно изложили всю историю так, как вы ее помните. Это бесценный документ.

Евтушенко: А стихи его я даю вам слово перечитать.

Волков: Я соглашусь с вами, что его поздние стихотворения превращались всё больше и больше в некое подобие мрамора. «Мраморнели» – вот то, что вы сказали «в хитине». Но сколько и там изумительных, пронзительных строчек! И я все время встречаю молодежь, которой именно эти поздние стихи нравятся. Помните статью Блока «Без божества, без вдохновенья» – о разговоре с молодым поэтом Стеничем, который говорит: мы сейчас все такие, мы холодные, мы ни во что не верим… Вот это ощущение какого-то внутреннего холода, которое охватывало Бродского всё больше и больше, – в этом была трагедия его существования.

Евтушенко: А вы внимательно прочли то, что я написал о нем в поэме «Дора Франко»? Вот давайте – чтоб закончить – я эту главку прочту. А вы знаете, я по-русски никогда не читал «Дору Франко», только по радио. Я здесь ее записал, в Талсе, и по просьбам радиослушателей ее прокатали два раза. А вживую еще я не читал.

Вообще, я давно уже не выступал вживую по-русски. Совсем вживую. Вот это я буду делать скоро в Горном институте. Вы знаете, там нашлись люди, которые присутствовали – а я даже забыл про этот концерт, – когда я выступал вдвоем с Беллой Ахмадулиной, пятьдесят лет тому назад ровно! В Горном институте… Вдвоем мы выступали, оказывается.

Стихи… Я вот себе хочу запретить писать стихи, но это глупо вообще. Как можно запрещать себе писать стихи?

Волков: Стихи – это ваша стихия.

Евтушенко: Да. Видите, вот я написал неожиданную поэму «Дора Франко (доисповедь)». Сейчас я вступаю в период доисповеди. Ведь практически я стольким исповедовался, я о стольком написал, так что у меня теперь доисповедь. Вообще-то, надо мне лет двадцать для того, чтоб всё сделать. А что я скажу Богу через девятнадцать лет, если он даст мне этот срок? Ведь чего-нибудь, наверное, еще останется? Жизнь-то продолжается! Я не собираюсь быть только пишущим гномиком, я же жить продолжаю! Что-нибудь еще может случиться очень интересное!

Волков: Определенно случится.

Евтушенко: С нами со всеми.

Волков: Определенно.

Евтушенко: Сейчас вот я прочту всю главку эту. Про петушиные бои, из «Доры Франко» …Но прежде – мы столько говорили о Бродском – давайте выпьем за его память. Да простит его Господь, в чем он был виноват, и оценит всё лучшее, что Иосиф сделал!

Прости меня, Маша,
еще незнакомая Маша,
за то, что планета
тогда не была еще наша,

А Маркес невидимый
вместе со мною и Дорой
нас, как заговорщик, привел в Барранкилью,
в которой
когда-то бродил он,
и матерью, да и отцом позабыто,
лишь с дедом,
любившим внучонка драчонка
Габито.
И там в Барранкилье —
не меньше чем полнаселения —
мне наперебой представлялись
как родичи гения,
и вместе с текилой лились
их безудержные воспоминания,
но маркесомания всё же была веселей,
чем занудная марксомания.
Какой удивительный это народ —
барранкильцы,
волшебника слова родильцы,
поильцы,
кормильцы.
И как достижения местные супервершинные
решили они показать мне бои петушиные!

И в селение Бокилья
ты пришла,
моя богиня.
Кто хозяева?
Шпана и

сброд воров,
достойных рей.

Петухов они шпыняют,
чтоб клевались поострей.
Зрители и сами
дергают носами,
будто стали клонами,
будто бы подклевывают.
И красотки с веерами
в бешеном озвереваньи
раздувают ноздреньки —
тянет их на остренькое!

Не только поэтов из-за стихов,
не только женщин из-за духов
и бабников из-за хвастливых грехов,
не только политиков самых верхов
и миллионеров
из-за ворохов
бумажек по имени деньги,
захватанных,
словно девки, —
люди
стравливают
и петухов!

Петухи такие красивые —
это вам не мерины сивые!
Это им подражая,
древние греки
воздвигали на шлемах железные гребни.
Мне казалось всегда,
что вот-вот зазвенят петушиные шпоры,
как звенели в Булонском лесу
на ботфортах у вас, мушкетеры.

Что с тобой сегодня? —
шок,
Петя – Петя, петушок,
золотой гребешок,
шелкова бородушка,
масляна головушка.
Ты с малюткой братцем рос

в личненьком яичике
и не видел ты угроз
после в его личике.
Для того ли родились,
для того ли вылупились,
чтобы после подрались,
обозлели,
вылюбились?
Где же братский поцелуй?
Обнимитесь крыльями.
«Клюй!
Клюй!
Клюй!
Клюй!» —
призывают рыльями.
Так вот стравливала нас
хищными голосьями
свора,
ставившая на
брата мне —
Иосифа.
Кто подсказчик лживый,
кто?
Но по Божьей милости
я еще надеюсь,
что
в небесах помиримся.
Все исчезнут войны вмиг,
жизнь другой окажется,
если в нас умрут самих
лживые подсказчики.
И не вспомнить нам теперь ли,
как друг друга не терпели
Бунин с Мережковским,
Есенин с Маяковским.
Разве мал им космос?!

Не за чей-то поцелуй —
славу,
чек от Нобеля
под базарное
«Клюй!
Клюй!»
скольких поугробили.

Столько войн и революций
нас, как в ступе, потолкли,
ну а люди всё клюются,
на подачки поддаются
и врагами остаются,
будто дурни петухи,
стравливаемые
и не выздоравливаемые.
Демократий всех машины,
приглядишься, —
петушины,
и политиков наскоки
друг на друга так жестоки,
и привычно им,
как плюнуть,
компроматом насмерть клюнуть.
И куда ни убежим,
везде диктаторский режим
показушного мужчинства,
распушинства,
петушинства.
Приспустите гребешки,
пети – пети, петушки…
В Барранкилье ночь тиха.
Дора, в крови выкупанного,
раненого петуха
за сережки выкупила.

Вот так. Вот последний мой разговор с Иосифом.

Волков: Интересно, что бы он сказал, если бы это услышал…

Евтушенко: Если б он написал такое стихотворение, я бы его обнял. Кстати, Бродскому еще стихи мои нравились «В ста верстах».

В ста верстах от столицы всех надежд,
от гостиниц «Украина», «Будапешт»,
от кафе молодежных,
от дружинников надежных,
от посольских лимузинов,
от валютных магазинов,
от ужасно серьезных министерств,
от ужасно несерьезных,
но ужасно милых стерв,
от закрытых просмотров,

от «Вечеркиных» кроссвордов,
от вытья: «Судью на мыло!»,
от конгрессов ради мира,
от гастролей «Айс-ревю»
тихо-тихо, как в раю.
Там река Угра течет,
себе блинчики печет,
там всему на свете свой особый счет.

В ста верстах от столицы всех надежд
есть село без женихов и невест —
три избушки-развалюхи,
в трех избушках три старухи
да один старик: брехун-самохвал,
как на всех троих один самовар.
Три старухи – рыбари и косари
говорят ему: «Смотри, не помри…
Мы и сено тебе будем косить,
мы и воду тебе будем носить,
только ты уж, старый черт, нам бреши,
да красиво бреши – от души».

Говорит старик: «Свое отбрехал».
Говорит старик: «Свое отпахал.
Взяли всех детей война да Москва,
и на крышу забирается трава.
И смущенье стало в мыслях у меня,
и какая уж тут, бабоньки, брехня».
И, уставившись очами в потолок,
он лежит – не как брехун, как пророк,
и вот-вот на клин торчащей бороды
рухнет крыша, тяжела от лебеды.

Три старухи не привыкли жить в тоске.
Три старухи косы правят на бруске.
Три старухи косят яростно в леске.
Тяжелеет сарафан от росы,
а душа – она легчает от косы.

Рыбачок из столицы всех надежд
совершает на природу свой наезд.
«Что за прелесть наша русская косьба…» —
он вздыхает, утирая пот со лба.
«Ну а где, бабуси, ваш старуший царь?»

«А наш царь теперь, касатик, не косарь.
Он глаза свои от нас отрешил.
Лег на лавку. Помирать порешил.
Только думаю, касатик, вот про что:
помирала я однажды, да прошло…»
Свищут косы, подсекая без труда
за одной волной травы еще волну.

«Ну а где ж ты помирала и когда?»
«У плену, касатик милый, у плену».

И во взмахах то ли радость, то ли боль,
ну, а может быть, и то и то, вдвоем.
«А в каком плену, бабусь, в германском, что ль?»
«У своем, касатик милый, у своем…»

Рыбачок застыл, репьи стряхнул с колен:
«Да каким своим, бабусь, бывает плен?»
«Может, слово и не то, касатик мой,
но сослали нас в пески усей семьей.
В кулаках мы не ходили никогда,
так что пленом показалась та беда…»

Рыбачок из столицы всех надежд
вдруг попятился – неловко, как-то вбок.
«Ну, надеюсь, что поправится ваш дед…» —
а вослед ему спокойно: «Дай-то Бог».
И растерянно завел свой «Москвичок»
из столицы всех надежд рыбачок.
Лучше душу по асфальту покатать,
лучше рыбу в магазинах покупать,
лучше жить да поживать среди невежд,
не осмысливших всю цену тех надежд.
И летели мимо – Боже их спаси! —
самолеты, что родились на Руси,
и брезгливо поджимали шасси
над травой зацвелых крыш на небеси…

Это я прочел Бродскому в ресторане «Арагви», когда мы его встречали из ссылки. «Да-а, Некрасов», – сказал он. Ну ладно, спасибо, что послушали.

Волков: Спасибо вам.

Евтушенко: Вот, знаете… «Только с горем я чувствую

солидарность…» С чьим горем? С чьим? Вот вопрос.

Волков: Со своим.

Евтушенко: Получается так. А сколько людей помогало ему в горе… Та же самая Фрида Вигдорова. Я не собираюсь какого-то обвинительного акта делать, просто взгляд у нас с ним разный. А стихи его очень сильные. Я их успел вставить в «Строфы века», антологию русской поэзии. Берт Тодд договорился также и в американском издательстве «*Doubleday*», что она выйдет и на английском языке. Берт вел с Бродским переговоры. Я Берту сказал, что у всех у нас – у Беллы, у меня, у Бродского и у Андрея – будет по 660 строк, и пусть Бродский сам свое выберет. Он согласился, сам выбрал, но почему-то только американские стихи. И неудачно. Эти стихи меня не трогают. И студентам моим они не нравились, какие-то они такие колледжные стихи, не то, что было, когда он начинал. «Плывет красотка записная…» в «Рождественском романсе» – вот это чудесные стихи.

Волков: У меня вообще такое впечатление, что он эту свою подборку делал назло вам, в каком-то смысле. Это в его характере было очень сильно: сделать что-то против шерсти. Он ведь всю свою жизнь прожил назло другим. С раннего детства.

Евтушенко: Но это слишком маленькая цель для большого поэта.

Волков: Нет, Бродский всегда отталкивался от чего-то. Для него самым страшным была инерция. Движение по инерции он рассматривал как смерть. И он, по-моему, смерти меньше боялся, чем вот такого движения вместе с другими.

Евтушенко: Это справедливо вы сейчас сказали, вполне справедливо. Иосиф – крупная личность, крупный поэт. И его вклад в поэзию заслуживает внимания и изучения.

Волков: У него еще интересная черта была: Бродский, как вы знаете, как бы обожествлял язык. Язык он считал самостоятельной, какой-то деистической силой. Кстати, в этом он совпадает с новейшими лингвистическими теориями американскими, о которых он, может быть, и не знал, когда у него формировались эти убеждения. Но он следовал за языком – и в своей жизни, и в своей биографии. Он считал, что язык его ведет. И что то, как складывается поэзия, то, как складываются стихи, диктует ему его поведение и его отношение и с миром, и с людьми. То есть он существовал в парадигме взаимоотношений с языком. Это было для него самое главное. Другого бога у него не было. Язык был его богом.

Евтушенко: Но есть и другие вещи, которые в какой-то степени могут сопрягаться с языком. В частности – совесть. Очень часто сам язык человека выдает его бессовестность. У меня все-

таки превалирует другое – когда я вспоминаю о пушкинской строке «и с отвращением читая жизнь мою…» И как это естественно! В этом нет никакого самоуничижения, которое паче гордости…

Волков: Так ведь и у Бродского это – «и с отвращением читая жизнь мою» – очень внятный мотив. Очень внятный. И, конечно, это очень сильная нота у вас. А есть и абсолютно самодовольные поэты.

Евтушенко: «Я в России рожден. Родила меня мать. / Тетке некогда было в то время рожать. / Бабка тоже в отъезде в то время была. / По всему по тому меня мать родила…» – замечательная пародия на Сергея Острового… Но о Бродском хочется сказать всерьез. Вот когда Берт Тодд принес мне отобранные Бродским стихи для антологии, я понял, что его нужно выручить, спасти от его собственного выбора. Это с каждым может поэтом произойти, потому что мы иногда заблуждаемся по поводу своих собственных стихов. Бродский непредставим без своих ранних стихов – «Рождественский романс» я просто обожаю. Я сохранил его подборку, это уважение к человеку, но в то же время вставил другие – в антологии есть подбор Бродского и подбор по моему выбору. Я считал своим долгом это сделать. Я считал, что имею на это право. И Бродский не возражал. Да и вообще антология произвела на него впечатление: «Вот Евтух тут дал жизни в этой антологии». Берт даже удивился, что Иосиф так сказал ему. Он любил выражаться обо мне так, как я никогда не любил, – Евтух. Правда, никогда в лицо, только заочно.

Волков: Должен заметить, что это сокращение – как раз типичное для Бродского. Тут даже нет, уверяю вас, никакого особенного персонального пренебрежения. Ближайшего своего друга Барышникова он называл Барышом или Мышью, Маяковского, как вы знаете, называл Маяком, Слуцкого – Борухом. И так далее.

Евтушенко: Может быть. Но я хочу прочесть вам одно стихотворение Бродского, которое я в эту антологию включил. Это было одно из самых последних стихотворений его, которые мне попались. Оно, по-моему, глубже всего и выражает его характер, с моей точки зрения. И в то же время, может быть, какой-то конфликт характеров. А как стихи – это прекрасные стихи, до строчки хорошие!

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,

обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Это благодарность саркастическая, насмешливая благодарность. Благодарность назло, вот так я бы сказал. Знаете, можно ведь устроить «так, чтобы тебя отныне недолго я еще благодарил» – хотя даже у Лермонтова это значительно мягче сказано, чем у Бродского. Ну что же, это его характер. И поэтому не случайно, что он в своей Нобелевской лекции не упомянул Пушкина, а упомянул Баратынского. Баратынский замечательный поэт, дивный, но у него не было вот этой всеотдайной, выдышанной благодарности, даже в стихах о любви.

Вообще, я считаю самым дивным выражением любви стихотворения Пушкина, это, может быть, самые прекрасные, с моей точки зрения, стихотворения на свете. «Я вас любил: любовь еще, быть может…» абсолютно невозможно перевести. Я читаю своим студентам какой-то более или менее приличный перевод, который я нашел, как ни странно, в «*National Geographic*». Потому что он такой бесхитростный, и эта бесхитростность существует в самом стихотворении. Хотя она тончайшая! Потому что это стихотворение не написано! Оно выдышано! А у Бродского очень много в стихах, написанных женщине, рационального такого, аналитического. Ну нельзя женщину, которую ты когда-то любил хоть немножко, что бы ни случилось потом, распластывать как лягушку и орудовать скальпелем, скальпелем в ней, понимаете? А это у него иногда так получается. Вдруг слово глумливое возникает, скажем, в интересных очень стихах, и какая-то жестокость сквозит в этом. Не хватает всепрощения.

Я понимаю, что можно очень сильно обидеться на женщин, но совсем обидеться, так, как Пикассо… Когда-то Пикассо дарил мне на выбор сорок своих, наверное, картин – я не выбрал ни одной. И я, слава богу, собрался с духом и сказал ему, что мне было бы приятно иметь подарок Пикассо, но не такой. Я ему сказал честно. Это было нелегко – не принять у Пикассо картину и сказать почему. А потому, что в них была мстительность по отношению к женщине. Мстительность, которая доходила уже до какой-то карикатурности. В этом смысле Пастернак больше пушкинианец:

Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других
Как бы им в даренье.

Вот этого растворения в любви у Бродского я никогда не чувствовал. Это не есть обвинение, так он относился к этому чувству. И, может быть, это есть причина того, что между нами, к сожалению, произошло. Он мне нанес такую рану… Но, поверьте, он ее себе тоже этим нанес. Он не мог не понимать: то, что он сделал по отношению ко мне, было очень нехорошо. Что такое вообще дружба? Дружба – вид любви. И я никогда не поверю в так называемую любовь-ненависть. Мне кажется, это очень неестественно. Для кого-то это типично, для меня – нет. И поэтому благодарность, в том числе и к дружбе, никогда не переходит у меня в саркастическую. Вот вся разница. Может быть, я не попадал в такие ситуации. Я понимаю, что такое саркастическая благодарность – благодарность назло: спасибо вам за то, что вы меня сделали крепче, дали мне силу по отношению к плохим людям. Но для меня характернее… как бы это сказать… не раздумчивая благодарность, а просто благодарность в чистом виде. И в любви, и в дружбе. Вот и всё.

Сослагательное наклонение всегда опасно, можно ошибиться. Если бы я умер, а Бродский был бы жив, прочел ли бы он мое стихотворение когда-нибудь? В этом я не уверен. Но нельзя так говорить. Кто знает? Может быть, если б меня не стало, а вместо меня здесь оказался бы Бродский – может быть, и он прочел бы какое-нибудь мое стихотворение. Вот что я хотел договорить. Я ведь продолжаю с ним разговаривать, даже в своей последней поэме о Доре Франко…

Аксенов, Вознесенский и другие:

«Со мною вот что происходит…»

Волков: «Со мною вот что происходит…» – расскажите об этом стихотворении.

Евтушенко: Ну вот посмотрите, что произошло со стихотворением этим…

Со мною вот что происходит:
ко мне мой старый друг не ходит,
а ходят в праздной суете
разнообразные не те.
И он
    не с теми ходит где-то
и тоже понимает это,
и наш раздор необъясним,
и оба мучаемся с ним.
Со мною вот что происходит:
совсем не та ко мне приходит,
мне руки на плечи кладет
и у другой меня крадет,
А той —
    скажите, бога ради,
кому на плечи руки класть?
Та,
    у которой я украден,
В отместку тоже станет красть.
Не сразу этим же ответит,
а будет жить с собой в борьбе
и неосознанно наметит
кого-то дальнего себе.
О, сколько
    нервных
        и недужных,
ненужных связей,
    дружб ненужных!
Во мне уже осатаненность!
О, кто-нибудь,
    приди,
        нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность
    близких душ!

Когда разрушился Советский Союз и столько людей вдруг оказались за границей, это стихотворение совсем по-другому звучит.

…Помните, я вам рассказывал, как после встречи с Хрущевым шли я, Эрик Неизвестный, Роберт Рождественский. Роберт тогда оказался самым пессимистичным в своем предсказании, что может повториться тридцать седьмой год. Но, слава богу, ошибся. Гия Данелия еще был с нами, но в разговоре не участвовал. Он пригласил нас к себе домой, на Чистые Пруды. И мы пошли. Не все, но Вася пошел. И на лестнице…

Я всегда вспоминаю эту лестницу, потому что на ней он был просто вне себя от ярости. И он говорил: «Это банда!» У меня, честно говоря, такой ненависти не было, мне вообще ненависть не свойственна. Брезгливо было, неприятно видеть, конечно, как распустился и Хрущев, и все вокруг. Дмитрий Дмитриевич Шостакович сидел со мной рядом, кстати, в Георгиевском зале этом, когда нас поносили, когда Хрущев на Вознесенского орал, и притворялся, что что-то пишет, а на самом деле просто черкал бессмысленные линии. «А я, – говорит, – Евгений Саныч, я просто притворяюсь – пусть думают, что я записываю эти великие мысли». Какой ужас! Вот так. Черкал. А я рядом сидел.

Да, и вот на лестнице… Мы шли, продолжали с Аксеновым наш разговор. Из Васи ненависть вырывалась прямо, вы знаете, вот так – как ошметками кровь хлестала… Ну еще бы! Все-таки Аксенов пережил то, что я не пережил, – ведь сколько ему было, когда арестовали его маму… Пятнадцать, по-моему, лет не видел он ее! И это замечательно во второй части его романа «Ожог» описано, как непросто всё это было. А потом, когда мы стали немножко расходиться в стороны, понимаете, был один момент поразительный…

Его мама, Евгения Семеновна Гинзбург, любила и меня, и его. И я думаю, что какая-то имела место, может быть, даже ревность Васи ко мне. Просто сыновья ревность. А когда ей сделали операцию – никогда не забуду, на каком уровне откровенности она с нами разговаривала, – она сказала: «А знаете что, ребята? Ведь в таком возрасте уже не бывает рака груди». Это, говорит, только от того, что я как женщина заморожена была. И она соединила наши руки на своей вырезанной груди. И сказала: «Мальчики, я вас одинаково люблю. Пожалуйста, не ссорьтесь! Я вижу, что вы последнее время не понимаете друг друга, теряете друг друга. Не потеряйте друг друга!»

Волков: Давайте разберемся со стихотворением «Со мною вот что происходит…». Старый друг, с которого это стихотворение начинается, – это Аксенов? И кто вот это: «А той – / скажите, бога

ради, / кому на плечи руки класть? / Та, / у которой я украден…»

Евтушенко: Ну это Белла, конечно. Это Белла. Это 1957 год. А насчет друга есть другое стихотворение, «Старый друг», 1973 год. Вы знаете, зрелость определяется чувством потери. Прежде всего чувством потери друзей. В том стихотворении 1957 года это не было еще столь персонифицировано.

Волков: Значит, «Со мною вот что происходит…» – это еще не Аксенов?

Евтушенко: Нет, там нет персонификации, потому что у нас еще не было расхождения. Аксенов сильно, очень сильно почувствовал мою поэму «Под кожей статуи Свободы», даже поразился некоторым кускам.

Волков: Прочтите «Старый друг».

Евтушенко: Это Аксенову…А там разве нет посвящения? Странно. Оно случайно вылетело. Я его никогда не снимал, несмотря на то что у нас были размолвки и ссоры.

Мне снится старый друг,
    который стал врагом,
но снится не врагом,
    а тем же самым другом.
Со мною нет его,
    но он теперь кругом,
и голова идет
    от сновидений кругом.
Мне снится старый друг,
    крик-исповедь у стен
на лестнице такой,
    где черт сломает ногу,
и ненависть его —
    но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги,
    и будут, слава богу.
Мне снится старый друг,
    как первая любовь,
которая вовек
    уже невозвратима.
Мы ставили на риск,
    мы ставили на бой,
и мы теперь враги —
    два бывших побратима.
Мне снится старый друг,
    как снится плеск знамен
солдатам, что войну

закончили убого.
Я без него – не я,
он без меня – не он,
и если мы враги —
уже не та эпоха.
Мне снится старый друг.
Он, как и я, дурак.
Кто прав, кто виноват —
я выяснять не стану.
Что новые друзья?
Уж лучше старый враг.
Враг может новым быть,
а друг – он только старый…

…Были разные причины. Он как-то отреагировал очень странно, когда я написал «Преждевременную автобиографию». Он приехал из Аргентины, прочел там «Автобиографию» на иностранном языке и посчитал, что я предал всех.

Волков: Чем предали?

Евтушенко: Откуда я знаю? Ну какое тут предательство может быть? Я, по-моему, про всех написал хорошо – про наше поколение. Но его возмутило, что я спровоцировал скандал, и он при всех стал кричать на меня: «Как ты мог так нас всех подвести!»

Потом была еще одна история, которая произошла между нами. У меня есть об этом стихотворение «Волчий суд». Мы – это Валюн Катаев, Аксенов, Вознесенский и я – пришли к Демичеву, секретарю ЦК по идеологии. Это был, кажется, 1962 год. Катаева тогда зверски обманули, он был в ярости. Ему сказали, чтобы он подал заявление об уходе из «Юности», и обещали «Литературную газету» дать. И он пошел за «Литературкой». «Юность», конечно, мощным была журналом, но в «Литературке» больше власти было – все-таки газета. И вдруг появился Чаковский – Катаева обманули.

И вот пришли мы к Демичеву. У нас был проект. Мы придумали журнал «Лестница» – это название придумал Аксенов, – где бы мы печатали произведения молодых писателей и тут же бы их разбирали. Такая лабораторная мастерская.

Волков: Вроде «Литературной учебы»?

Евтушенко: Да, но если бы там были Катаев, Аксенов, Вознесенский и я, это, конечно, был бы один из центральных литературных журналов, это совершенно ясно. С этим мы и пришли к Петру Нилычу. И там произошел совершенно

неожиданный разговор. Катаев нас всех считал своими выкормышами, и в какой-то степени это было правильно, он поддерживал нас всех. А Демичев спросил простую вещь – он «за» был абсолютно: «Ну и как же мы назовем наш журнал?» «Наш журнал» – уже всё было нормально! Мы сказали: «„Лестница“ или „Мастерская“». – «„Лестница“ – это как-то даже более поэтично. – И потом: – Да, а чьим органом он будет?» И вдруг Катаев, совершенно не советуясь с нами, говорит: «А ничьим! Потому что Союз писателей, который…» – и, в общем, какие-то злобные вещи про Союз писателей сказал. Ну, и Демичев скис: «Как это ничьим? Почему?!» А Катаев сразу: «Ну как же! У нас же уже были кооперативные издательства…» А это уже совсем новая ступень, как вы понимаете.

Волков: Нужно было подождать до перестройки и Горбачева.

Евтушенко: Да-да. И Демичев скис. Далее происходит вот что. 1966 год. Меня не выпускают за границу. Мне нужно было тогда вообще бежать отсюда. Предварительная договоренность у меня была с Пабло Нерудой, он знал, что я хочу поездить по Латинской Америке, и как можно дольше. Поликарпов, завотделом культуры ЦК, был против моей поездки, с трудом удалось его как-то нейтрализовать. И вдруг мне звонок от помощника Брежнева, Александрова-Агентова: «Евгений Александрович, тут Леонид Ильич подписывал бумаги на вашу поездку в Латинскую Америку с заездом в Копенгаген. И спросил, не собираетесь ли вы вернуться к съезду Союза писателей в будущем году?» Я говорю: «Конечно, собираюсь». – «Не могли бы вы набросать нам какие-то идеи? Вообще-то надо подумать и об обновлении руководства. Напишите, кого вы видите возможным новым руководителем. Потому что Федин все-таки не то, – говорит. – Ну, набросайте коротко свои соображения».

Волков: Что, Федин их не устраивал?

Евтушенко: Демичев мне рассказывал, что, когда дело Синявского и Даниэля решалось на Политбюро, Брежнев сказал: «У нас есть Союз писателей, поезжайте, Петр Нилыч, к председателю правления Союза писателей». А в Союзе было два мнения. Одно мнение было наше, мы написали об этом письмо: разберемся с этим в писательском кругу. А второе: это уже уголовный суд. Петр Нилыч приехал к Федину – сам Демичев был против того, чтобы устраивать судилище, – Федин замахал ручками и сказал: «Да вы что, мы пачкаться даже не хотим… Это уголовщина!» Вот как он себя вел, гад. «Представьте Бенкендорфа, злобно вспухшего…» – это я написал о Федине. Страшные стихи. Вот так это произошло, суд над Синявским и Даниэлем. А наверху там были разные люди вроде Шахназарова,

Агентова – они были, конечно, против таких репрессий. Они были либералы, но осторожные! Тот же Федя Бурлацкий и другие.

Короче говоря, я уже уезжаю в Латинскую Америку, уже документы у меня на руках. Ну, подумаешь, позвонили, чтобы я написал писульку какую-то… Почему я должен был еще с кем-то советоваться, кому-то докладываться, идти к Катаеву, спрашивать разрешения? Да времени у меня просто не было! Это было перед самым отъездом, я улетал через день. Я вспомнил, что у нас когда-то погибла идея литературного журнала, и эту идею в записке для Брежнева опять поднял: есть идея такого журнала, надо бы ее наконец реализовать. И написал, что при всем уважении к Константину Александровичу Федину хорошо бы все-таки вернуть на пост руководителя Союза писателей Симонова. Опытного человека, большого писателя, полного еще сил. Я написал так потому, что Симонов в подобных критических ситуациях вел себя все-таки гораздо лучше Федина. И я оставил это письмо для Агентова.

Пока я был в Латинской Америке, из Союза писателей мне все время летели от Верченко[127] послания: «Когда вы вернетесь? Вас ждут». Я чувствовал, что в этом есть какая-то двойственность, это меня тревожило, но мне не приходило в голову, что это из-за письма моего. Когда я вернулся, меня встречает Галя и говорит: «Женя! Давай-ка сразу садись в машину цековскую, там тебя ждут. Домой не поедешь, поедешь к Шауро. Он тебя ждет сейчас. Речь о твоем письме. Он сказал мне, что Брежнев поддержал твои идеи». Меня привезли к Василию Филимоновичу Шауро, заведующему отделом культуры ЦК. Он долго не размазывал: «Евгений Александрович, сейчас открывается съезд. Леонид Ильич поддержал ваши идеи. У меня к вам одна просьба будет: давайте уберем ваше предложение о Федине. Вы не будете настаивать насчет отставки Константин Александровича. Дайте старику дожить, не убивайте его. Константин Михайлович Симонов еще молод, это хорошая идея, мы ее, возможно, в будущем осуществим».

Волков: Но Симонов так и не дождался этого поста – руководителя Союза писателей?

Евтушенко: Да, но Брежнев поддержал мое письмо. Я видел его резолюцию: «Поддерживаю товарища Евтушенко по всем главным пунктам его письма». То есть он и про Федина тоже поддержал.

Волков: Просто карт-бланш какой-то…

Евтушенко: Мне Симонов рассказывал такую историю. У него тогда цензура остановила военные дневники. А Брежнев в то время поехал открывать сталинградский монумент. И, узнав, что

в том же самом поезде едет Симонов, он пригласил его к себе, и они пили целый день. Оказывается, Симонов был на Малой Земле и хорошо знал Брежнева, когда тот был политруком. И первое, что я спросил у Константина Михалыча: «Вы сказали Брежневу про дневники ваши военные?» – «Ну, Женя, простите меня. Я рядовой, а тут все-таки Генеральный секретарь. Он не задавал мне этого вопроса. Но вы другой человек, другое поколение, вам это легче».

Волков: Как странно. Боевой офицер, советский Киплинг, романтическая фигура – и не может спросить о судьбе своих писаний у бывшего политрука?

Евтушенко: Слишком близок был к Сталину. Она обжигала и уничтожала что-то в человеке, эта близость к Сталину. Разве вы не понимаете? Это же чувствуется.

Волков: Понимаю, но это ужасно.

Евтушенко: Ну, что делать, другая эпоха была. А у нас уже не было этого страха, мы старались использовать их просто. Луконин был прав, говоря, что Евтушенко стал применять против советской власти политику кнута и пряника, которую она применяла к писателям раньше.

Короче, Шауро мне говорит: «Но с журналом-то всё в порядке, сообщите об этом вашим товарищам». Я прихожу к Катаеву, там были еще Вознесенский и Аксенов, и рассказываю, что журнал разрешен, надо составлять редколлегию и немедленно представить программу журнала перед съездом, чтоб всё сразу пошло. Уже принято решение! И вдруг Катаев мне с таким паханским нахрапом: «А кто вам разрешил обращаться через нашу голову к Генеральному секретарю Коммунистической партии?» Я обалдел. Говорю: «Но это же наша идея общая…» – «Вы хотели всё сделать своими руками?! Отодвинуть нас на второй план!» Я говорю: «Да вы что?! Я написал, что это наша общая идея!» – а я принес письмо с собой, у меня в руках это письмо. «А почему вы нам не сообщили об этом, не поставили нас в известность об этом письме?» – «Слушайте, у меня не было времени, я уезжал через день и, честно говоря, на положительный ответ и не надеялся…» Тут вдруг Вознесенский мне говорит: «Но, Женя, видишь ли, мы говорили о журнале типа лаборатории, а ты называешь это творческой мастерской». Ну что это такое? Я говорю: «А какая разница, что в лоб, что по лбу!»

Волков: Аксенов тоже принимал участие в этом разговоре?

Евтушенко: Конечно, и он тоже, так сказать, меня не одобрял. Но Аксенов и Вознесенский не говорили таких оскорбительных вещей, как Катаев: «Вы карьерист! Вы новый Михалков! Вы хотели выхватить у нас из рук руководство журнала!» Вот вам наша

интеллигенция…

Вы не представляете, что со мной после этого случилось! Я пришел домой, я не мог двигаться, я просто мертвый лежал. Катаев мне заявил: «Мы с вами ничего общего, молодой человек, не будем иметь!» А Аксенов с Вознесенским промолчали. Оскорблял меня главным образом Катаев, но при их молчаливом согласии, они что-то подвякивали… Я этого не ожидал…

А мне сказали, что программу и состав редколлегии нужно сразу делать, съезд писательский был на носу. Кстати, на съезде этом было интересно. Вас ведь интересуют и Хрущев, и Анна Андреевна Ахматова? А вы знаете, что Хрущев сидел сзади Анны Андреевны и все время о чем-то с ней разговаривал? Я бы дорого дал, чтобы узнать, о чем. Все время они переговаривались. Что-то ей Хрущев доказывал, объяснял что-то. Она слушала, чуть-чуть оборачивалась и что-то ему говорила.

Волков: Ахматова никогда не говорила о разговоре с Хрущевым.

Евтушенко: Да, да. Короче говоря, я на следующее утро примерно так набрасываю редколлегию. Коржавин там был, я помню. Интересная позиция была у Роберта Рождественского, он не участвовал с нами в этом деле, в этой идее. Но он был секретарем Союза писателей, уже тогда, учтите! Из всех нас – один. Мы были только при московском Союзе, вокруг Степана Петровича Щипачева, которого потом прогнали.

Прихожу к Георгию Маркову, секретарю Союза писателей. А Марков говорит мне: «Евгений Александрович, несмотря на то что я член партии, я когда-то скрыл – нет, не то чтобы скрыл, но старался не афишировать, что у меня были родственники раскулачены. И был у меня приятель, который сейчас является моим заместителем, – Сергей Сартаков. Может быть, вы считаете нас за средних писателей, но это неважно. Но вот что важно: знаете, почему я его позвал на этот пост? А потому, что этот человек меня выручил когда-то и поддержал в тяжелый момент. Я знаю, что могу на него положиться. А как вы с нами, с бюрократией-то, будете бороться и захватывать власть в Союзе писателей, если вы так себя ведете по отношению друг к другу? Чего вы добьетесь?» Я говорю: «Что вы имеете в виду?» А он мне подвигает бумагу: «У меня Андрей Андреевич Вознесенский был минут сорок назад и принес вот это заявление…» И там написано: «Мы, нижеподписавшиеся, Катаев, Аксенов и Вознесенский, заявляем, что от нашего имени поэт Евгений Евтушенко обратился, не ставя нас в известность, к Генеральному секретарю нашей партии, и с его идеей нового журнала мы ничего общего не имеем и не желаем иметь». «Ну и как вы нас победите, Евгений

Александрович? Я бюрократ, а это указание Генерального секретаря – дать вам журнал. Тут написано: „Согласен по всем пунктам с товарищем Евтушенко“, так? Еще осталось несколько дней до съезда, так что давайте к съезду всё оформим. Завтра будет заседание по этому вопросу, будем разбирать вашу заявку, рассматривать. Я думаю, что мы не можем пойти против мнения Генерального секретаря».

Ну, собираемся. Зачитывается моя заявка. Первым Сергей Михалков выступает и говорит: «Т-товарищи, что тут г-говорить… Из-з-насилование, как говорится, Женечка, неизбежно. Ну, конечно, мы голоснем. Генеральный секретарь поддержал? Так что тут тратить время? Давайте займемся уже съездом, поговорим о перспективах его. Вынесем резолюцию, и всё. Я, конечно, буду „за“». Марков сказал: «Да, товарищи, это практически указание Центрального Комитета». Он не говорил о письме Катаева, Аксенова и Вознесенского. Может, он поставил их в известность заранее, но на заседании не говорил.

Единственный, кто вел себя по-другому, был Роберт Рождественский. Я тогда первый раз увидел товарища в роли секретаря. Роберт так высказался: «Ну что же, я тоже, конечно, буду голосовать „за“. Журнал нужный, это нужно нашей молодежи. Хотя я должен сказать Евгению Александровичу, – он меня назвал по имени-отчеству! – что тут должно быть идеологическое обоснование позиции журнала. Надо показать идеологическую основу, а про нее в заявке ничего не написано. Просто указано на воспитательное значение, а там – чисто литературный подход. Обязательно должно быть несколько фраз, которые отчетливо подчеркнут идеологическую направленность этого журнала, то есть его партийную направленность». И Михалков, и Марков даже поморщились: они на этом уровне в своем кругу уже так не разговаривали. И в нашем кругу так не полагалось. Я никогда больше от Роберта ничего подобного не слышал. Ну, может быть, он так говорил потому, что это было его первое заседание.

Волков: Но ведь в итоге журнал все-таки не разрешили? Почему же при прямом указании Брежнева все-таки похоронили эту идею?

Евтушенко: Ну, а что потом случилось, вы забыли? Чехословакия, вторжение…

Волков: Но какое прямое отношение имели чешские события к новому литературному журналу, в котором можно было дебютировать молодым авторам?

Евтушенко: Акак это можно было доверить такому человеку, как я? Который выразил протест против вторжения, послал

телеграмму Брежневу? Вопрос даже не поднимался больше. Это было для меня очень большим испытанием. И это был первый случай серьезных расхождений в рядах нашей группы.

Волков: То есть ваша сплоченная группа шестидесятников не выдержала испытания властью при первом же практическом шаге. Как только пирог власти приблизился, уже пах вкусно…

Евтушенко: Повторяю: в моем письме ничего не было против них сказано, ничего! Они раззарились просто потому, что я не попросил у них санкции.

Волков: Я думаю, здесь уже включились личные чувства ревности.

Евтушенко: Ну, правильно. Я добился того, чего они не добились, и как бы унизил их этим. Для меня это было чудовищно просто.

Волков: То есть шестидесятники как сплоченная группа кончились раньше, чем кончились шестидесятые годы?

Евтушенко: Совершенно верно. А потом мы уже шли каждый своей дорогой. После этого знаете что еще было у меня с Аксеновым? Аксенов, Поженян и Овидий Горчаков, работник КГБ бывший, написали под общим псевдонимом «Гривадий Горпожакс» книгу, детективную.

Волков: Пародийный роман «Джин Грин – неприкасаемый», про шпионов.

Евтушенко: Но это невозможно было читать. И я написал в «Литгазете» веселую статью-рецензию «Письмо Горпожаксу, эсквайру». Это шуточная была статья, просто: «Чем, ребята, занимаетесь? Бог знает чем!» И вдруг, боже, что поднялось! Какие мне письма стали писать! Даже Поженян. А Аксенов написал, что «негигиенично со мной здороваться». Они сказали, что я «сломал» им переиздание, нанес им денежный урон, так сказать. Конечно, они для заработка это делали. Обвинили меня в том, что я рецензию написал по заказу! Вот так всё это было… Всё это слиплось… И тут уже Евгения Семеновна Гинзбург, когда это всё уже началось…

Волков: Пыталась вас еще помирить?

Евтушенко: Да.

Волков: Но примирения не произошло, как я понимаю?

Евтушенко: Нет, никогда. Они даже меня не пригласили в альманах «Метро́поль». Но я бы и не пошел в «Метрополь». Я знаю, они между собой говорили, что Евтушенко, в отличие от всех нас, стоит на социалистических позициях. Ни на каких позициях я не стоял, дело всё в том, что я Васе когда-то сказал одну вещь… Он написал статью, которой добивались от меня и от Вознесенского. Покаянную. Вознесенского я просто спас, мы с

Галей его отговорили. Он очень испугался, когда Хрущев на него кричал. Из нас тогда выдалбливали слова благодарности Хрущеву. И Вознесенский пришел ко мне, показал черновик. А я сказал ему: «Так нельзя, Андрюша. Это надо написать, но только так написать, чтобы это не напечатали». И тогда мы так точно и сделали.

И поэтому же, когда Вознесенский в «Метрополе» печатался (в 1978 г. – *Ред.*), вы знаете, что он сделал? В «Метрополь» ведь что включали? Стихи и рассказы, которые не прошли цензуры. Но всё, что Вознесенский туда дал, уже прошло цензуру, на его стихах уже стоял штамп цензуры. Поэтому обвинить его и осудить нельзя было. Потом он поехал в командировку от «Комсомольской правды» на Северный полюс – и практически расплачивались за всё Инна Лиснянская и Семен Липкин.

А Вася Аксенов уехал за границу, в Америку (в 1980 г. – *Ред.*). И когда я приехал туда, то прочел в «Вашингтон пост» статью, где Вася сказал следующее: «Даже такой талантливый поэт, как Евтушенко, время от времени, чтобы выжить, посвящает свои оды вождям партии». Когда мы с ним увиделись, я сказал: «Вася, вот я помню, что писал письмо против войны в Афганистане, писал письмо о Чехословакии, я писал разные письма с протестами, но не помню, какие это оды я писал Хрущеву? Как это сделал ты? Когда Хрущев умер, я написал об этом стихи, но это другой вопрос». – «Ну, это я символически выразился: что даже такой талантливый человек, как ты, вынужден для того, чтобы выжить, писать оды…»

После этого мы долго не виделись. А потом у меня была еще одна очень неприятная история с Аксеновым. Такая была телепередача «Графоман». Это уже случилось, когда я тоже уехал в Штаты преподавать.

Волков: Да, это была популярная телевизионная передача о книжных новинках. Ведущего звали Александр Шаталов.

Евтушенко: Хорошая была передача, правда? У меня тогда вышли первые три тома собрания сочинений, и меня в студии записывали. А Аксенов следующим записывался. Он сидел и слушал. А девочки телевизионные меня попросили: «Евгений Александрович, вы не подарите – нас трое – каждой как раз по томику?» Я им сказал тогда: «Девчата, здесь находится мой старый друг, с которым мы давно не виделись. Я хотел бы ему подарить эти книжки». Он слышал это, но когда я стал ему надписывать книги, вдруг сказал: «Знаешь, Женя, не беспокойся, у меня даже не в чем нести их». Вы не представляете, что случилось с Шаталовым и с этими девочками, когда они это услышали! Им в голову такое не могло прийти!

А Оля Окуджава и Булат рассказали мне еще одну любопытную историю. Когда они виделись с Васей там, в Вашингтоне, Майя, жена Аксенова, сказала: «Слушайте, ребята, как вы можете дружить с Женей Евтушенко? Вы что, не знаете, что он кагэбэшник?» Тогда Оля, очень неглупая женщина, спросила: «Маечка, а откуда у тебя такие сведения?» – «Так как же! У нас с Романом дом всегда был полон кагэбэшников».

Волков: Роман Кармен, ее первый муж.

Евтушенко: Да. И Булат мне сказал: «Я начал смеяться, я чуть живот не надорвал! А она никак не могла сообразить, почему мы смеемся».

Волков: Аксенов так воспринимал ваши встречи с ним в Вашингтоне и вас как прямого посланца органов. Так он это и комментировал.

Евтушенко: Ну, это его дело… Очень жалко. Когда мне задавали вопросы об Аксенове и Вознесенском, я никогда себе не позволил что-нибудь плохое о них говорить. Никогда.

Волков: Генерал КГБ Судоплатов в одной из своих книг пишет, что КГБ заинтересовался опытом работы его жены, подполковника Эммы Судоплатовой, с творческой интеллигенцией в тридцатые годы, и проконсультировался с ней, можно ли использовать популярность, связи и знакомства Евтушенко в оперативных целях. К ней пришли и поинтересовались: не посоветуете ли вы нам, как специалист с довоенным стажем, что сделать, чтобы внедрить наши кадры в молодые писательские круги? И она им сказала буквально следующее: никоим образом Евтушенко нельзя вербовать, не вербуйте его – вы сделаете большую ошибку. Но попытайтесь наладить с ним неофициальные дружеские контакты.

Евтушенко: Правда? Я даже не знал.

Волков: И сторонники фантастической версии о том, что вы были штатным сотрудником КГБ чуть ли не в чине полковника, немедленно стали ссылаться на этот пассаж из судоплатовских мемуаров. Хотя там написано ясно: совет был – «не вербуйте его». И люди типа Куняева или Кожинова[128] упорно ссылаются в своих книгах на мемуары Судоплатова как на подтверждение своих домыслов, хотя ничего подобного у Судоплатова нет.

Но я хотел спросить вас вот о чем. Почему Вознесенский в своей книге «На виртуальном ветру» предъявил вам претензии, что вы плохо о нем, Вознесенском, отзываетесь? И об Аксенове, и о Белле? Причем печатно, в прессе?

Евтушенко: Да, да. Я ответил на это в одном из томиков: просто привел свои высказывания о стихах Вознесенского, о прозе Аксенова и о стихах Беллы. Но мы, к счастью, помирились все-

таки с ним, стали разговаривать нормально. Я написал тогда стихотворение «На „хвосте“».

Волков: О том, как вы ехали, возвращаясь от Данелии, на буфере трамвая, об этой «ночи приключений»?

Евтушенко: Да… А вот сейчас я вспомнил одну вещь, тоже очень дурацкую. Андрей приехал в Оклахому и выступал в университете. Он уже был болен, он уже не мог читать совсем. Я провел целое занятие по его стихам и на его выступление привез своих студентов, человек тридцать. А после этого я к нему подошел, разговаривал с ним, его жена Зоя с нами была. «Ты на банкет останешься?» – он спросил у меня. Я говорю: «Андрюша, я привез студентов своих на твое выступление, они были очень рады тебя увидеть. Но я устал, мне ехать далеко, дорога очень здесь тяжелая. Уже поздно, а ночью ездят большие холодильники, это небольшое удовольствие…» Я преподавал тогда и там, и тут – и в Талсе, и в университете Оклахомы.

А после – уже он в Россию вернулся – Андрей говорил, что ему сказали, что я не мог вынести его успеха и поэтому ушел, когда еще вечер не кончился. Ну как это можно! Я же сидел там! Я же подошел к нему после вечера!

Потом он однажды ответил Андрею Караулову очень и очень неадекватно. Караулов в своей ТВ-программе вел беседу с Окуджавой и спросил у него: мол, скажите, пожалуйста, Булат Шалвович, вот у вас дома портрет Евтушенко висит. Но Евтушенко писал: «Если будет Россия, значит, буду и я» – а сам уехал, когда стране стало трудно. А вы все-таки этого не сделали. И Окуджава ему очень хорошо ответил. Он снял антологию издательства «Doubleday», которая вышла по-английски: «Вот, посмотрите, что Женя сделал для всех нас. Я никогда не видел столько своих стихов, переведенных на английский. Посмотрите, какая это большая антология, какой огромный труд! Вы знаете, иногда мне тоже так осточертевает дома, что если бы я по-английски говорил, я бы тоже уехал преподавать в Штаты».

А Андрюша ответил следующим образом. Кстати, знаете, есть такие люди, которые «приятны»? Вот как Соловьев Володя, который на похоронах моего друга «подарил» мне письмо Бродского с такой сладенькой-сладенькой улыбочкой. Вот так же примерно мне передали запись Вознесенского у Караулова. Тот его спросил: а как вы относитесь к Евтушенко? Прошли уже все бури шестидесятых годов – и вдруг Вознесенский сказал такую вещь, недекватную совершенно. У него как-то поехало лицо: половина – в одну сторону, другая половина – в другую. И он сказал: «Ну, он же теперь живет в Америке. Живет. В Америке». Это разве был ответ на вопрос?

А потом, когда он уже очень плох был, в больнице, он неожиданно написал мне поздравление. У него была когда-то очень хорошая статья обо мне – «Человек тонет на площади». Вы никогда не читали ее? Это хорошая статья, очень сильная. Он вдруг написал – из больницы! – письмо в «Коммерсант» – есть такая манера у «Коммерсанта», они поздравляют с днем рождения – и сказал там, повторив то, что говорил Эрик Неизвестный: Женя всегда выбирал в борьбе со злом сторону добра.

Я его видел в очень плохом состоянии уже. Понимал, что он долго не выдержит. А столько связано все-таки с ним… Да и стихи его, лучшие стихи его, я помню и люблю. «Всемирный русский…» – это была речь моя на его панихиде.

А у Аксенова мне очень нравились его рассказы, маленькие рассказы. «Коллеги» сейчас читать, конечно, невозможно, это очень слабо, хотя когда-то читали с удовольствием. А самое лучшее у него – это малая форма. Блистательный рассказ «Победа», про шахматиста. Замечательный рассказ «Интервью» – там, где немножко он пародировал меня. Да, может быть, колко, но это было очень мило написано… «Местный хулиган Абрамашвили», «Дикой» – вот эти вещи его самые лучшие были. А позже меня просто поражало, что он почему-то ездил как сопровождающее лицо, представляющее Бориса Березовского на его политических выступлениях.

Мы с Аксеновым разговаривали, были даже какие-то неплохие разговоры вроде бы, но было уже поздно. Ну нельзя все-таки, когда человек тебе предлагает три свои книги, сказать, что тебе не в чем их нести! Обидно! Жалко это всё! Разве не видно, как я люблю Васю, в этом стихотворении. «Мне снится старый друг». Это же больно всё. Безумно больно. И никогда я плохо о нем не отзывался. А шутливая статья – это вообще не в счет. Пошутить, что ли, нельзя?

Вот я прочту вам сейчас посвященное Андрею стихотворение «На „хвосте“»:

Хотел бы я спросить Андрюшу,
а помнит ли сегодня он,
как мы с ним жили
    душа в душу
под звуки собственных имен.
Они в божественном начале,
не предвещающем конца,
так упоительно звучали
в метро,
    в общагах,

у костра.
Встречали нас в таком восторге
в Москве ветровки, гимнастерки,
и джинсы драные в Нью-Йорке,
где тоже ждали перемен
веснушки,
как глаза колен.

В стихах был свежий привкус утра,
а имена гремели столь
неразлучаемо, как будто
свободы сдвоенный пароль.
Но та свобода двух мальчишек
была,
чтоб не был в ней излишек,
под взглядами не снятых с вышек
гулаговских прожекторов.
Стучали кулачищем свыше.
Сдирали со щитов афиши.
Шуршали в уши, словно мыши:
«Не наломайте лишних дров!»
Мы их ломали непрерывно,
и как там с нами ни воюй,
бесстрашны были и наивны
и так раскованно порывны,
словно рискованные рифмы,
с губ, где не высох поцелуй.
А помнишь, вышли мы от Гии
Данелии —
совсем другие,
чем иногда теперь,
когда…
Забудем.
Главное – тогда.
Итак, мы вышли. В ночь.
От Гии.
Ночь была тоже молода,
и ей, как нам, вовсю хотелось
в какую-нибудь завертелость
и безо всякого стыда.

Да и нечисты все стыды,
когда здесь Чистые пруды.
Мы, оба, чтоб с народом слиться.

листали всю тебя, столица,
сначала ноги, после лица,
ища подружек «на авось»,
но отыскать не слишком строгой,
интеллигентно длинноногой,
родной души не удалось.
Мы уходились.
Шли устало.
Но приключенье не настало.
А мимо шла «Аннушка» неутомимо,
не та, что с маслом тем коварным, —
а занятый трудом ударным,
заблудший на кольце бульварном
ночной трамвай под буквой «А»,
с облезло красными боками
и дребезжащими звонками —
родная женская душа,
единственная, кто в ту ночь
хотела нам двоим помочь.

А кто-то выглянул в окно,
глотая тряское вино,
и, басом пошатнув трамвай,
нам прохрипел: «Братва, давай!»
«А ну догоним и – на хвост!» —
воскликнул я, легко, как тост,
тем более что нам Булгаков
отеческих не сделал знаков.

И понеслись мы
через шпалы
во все, нас ждущие, опалы,
и, будто нас пожар прожег,
на буфер сделали прыжок.
И вдруг —
аж слышать мог Урал,
гимн репродуктор заиграл!!!
Как жаль, что нас не видел Гия,
когда, одетые вполне,
мы, как два мальчика нагие
на красном взмыленном коне,
тряслись под утро вместе с гимном
на том хвосте гостеприимном
в полупроснувшейся стране.

Потом, как водится в России,
в трамвай нас люди пригласили
и «Три семерки» из горла
нам родина преподнесла.
Автобусники.
После смены.
С Марьиной Рощи.
Джентльмены.
Сказали:
«Мы не за рулем.
Есть вобла.
Может, вобланем?»
Один, глядящий всех бодрей,
мне вдруг сказал:
«Ведь ты Андрей?»
А кореш в несколько мгновений
Андрея разглядел:
«Евгений?»

Мы, распрощавшись,
хохотали,
как мы с тобой друг другом стали.
А что случилось после с нами, —
наверно, это мы не сами.
Мы сами —
это только те
у «Аннушки», на том хвосте…

А всё остальное – это была как будто дурная неправда. Вот и всё. Это же любовь до гроба… И хочу вам сказать одну вещь – очень жалко, что ссорили нас, ссорили. Так же, как с Бродским.

Волков: Я еще не читал вот этой новой, кажется, в ЖЗЛ недавно вышедшей книги о Вознесенском. Вы ее видели?

Евтушенко: ЖЗЛовская книга вышла уже?!

Волков: Видите, вы от меня узнали. Кажется, это ЖЗЛ, да… Я никак не могу выбраться на Брайтон-Бич и купить. А по Интернету заказывать не научился до сих пор.

Евтушенко: …Вы понимаете, это какой-то был зловещий план – поссорить поэтов. Ведь когда видят чью-то дружбу, а особенно поэтов дружбу, – это так же, как видят любовь люди, которые не умеют любить. Люди, которые не умеют дружить, терпеть этого не могут! Они знают, что поэты, которые дружат, – это сила большая, и потому хотят их раздробить, поссорить – и это делают

прекрасно и с большим удовольствием.

…После того как я написал стихи о Вознесенском, прилетел из Америки, произнес речь на панихиде, вдруг в первой книжке, вышедшей после его смерти, перепечатана та оклахомская сплетня, что будто бы я не до конца на его выступлении сидел! Мало того, взяли из этой помойки, из Интернета, какую-то не подписанную никем, между прочим, статью, где было сказано: «Да, у Вознесенского было, так же как у Евтушенко, много недостатков, но он, в отличие от Евтушенко, никогда не поставил такого отвратительного фильма, как „Детский сад“». За что «Детский сад» заслужил такое – я не знаю! Как можно было это вставить в эту книгу, которая не имела никакого отношения ко мне?! И сказать о Вознесенском, будто он под этим подписывался… Для чего?! Зачем? Ведь всё уже, уже простились… Поэтому я очень благодарен вам, Соломон, что могу об этом сказать. Да, мы ссорились, к сожалению. Увы! Но я всегда этих людей любил. И нас просто ссорили. Злорадно. Злобно. И, к сожалению, имели успех… Вот и всё.

И вот еще одно крошечное стихотворение[129], последнее самое. Андрей тоже читал это. О том, как нас пытались использовать когда-то:

Было время евтушенковское.
Сохли девушки с тоски.
Иностранный атташе искал
хоть билетик в «Лужники».

Было время вознесенское —
треугольных сочных груш,
нечто новое, вселенское
ищущих друг друга душ.

И когда всё это вваливалось
под бесстрашное «авось»,
чья-то бдительность удваивалась,
чтоб «авось» не удалось.

По Москве тогда пружинненько
с ножницами шли вокруг
комсомольские дружинники
как гроза для узких брюк.

И пришпилили под сказочки,
как нужны и мы стране,

Свои красные повязочки
Вознесенскому и мне.

И уж где тут до духовности,
если не содрать никак
унизительность оковности
на повязанных руках.
И на нас глаза таращили
граждане со всех сторон,
будто жалко, ошарашенно
быть собой перестаем.
Шли мы, будто не помазанники
общим именем «поэт»,
ну а кровию повязанники
приблатненных мокрых лет.

А девчонка в рыжих локонах
разрыдалась от стыда,
будто нас обоих ловконько
подменили навсегда.

Но, навеки выбрав музыку
вместо мягоньких оков,
мы швырнули в кучу мусора
две повязки с рукавов.

И как бы нас ни ссорили, всё самое лучшее, что мы написали, – и то, что Бродский написал, и то лучшее, что Аксенов написал, и то, что писал Вознесенский и пел Высоцкий, – всё это будет стоять на тех же самых полках. И читатели у нас будут общие. И время наше шестидесятническое они будут понимать через нас. А наталкиваясь на то, как мы покусывали друг друга, они будут относиться к этому с таким же сожалением, как сегодня мы сожалеем, читая о ссорах между Пастернаком и, скажем, Есениным или Маяковским. С недоумением и жалостью. Потому что задача настоящих поэтов – это и есть соединение людей. И когда их науськивают разъединяться – это самое большое предательство и поэзии, и человечности, и вообще того, что называется семьей искусств. Сколько уже было примеров этого! И каждый раз это повторяется, продолжается… Все-таки пора бы уже научиться на горьких уроках. Людям укорачивают жизнь! И не делают их лучше – ни как писателей, ни как людей. И даже убивают этим иногда. «Вы всех поэтов убиваете, – как это я

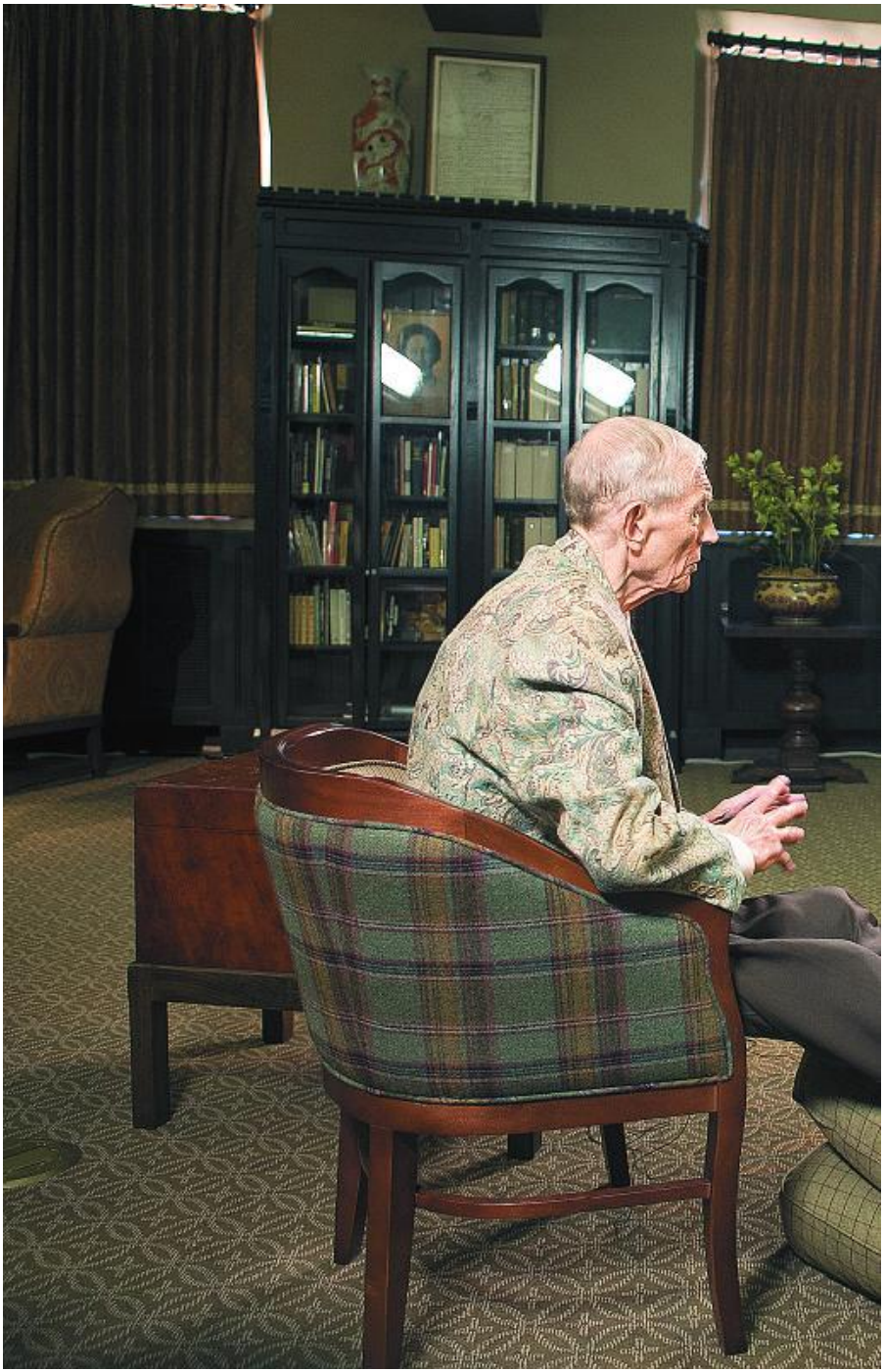
написал в своем „Верлене“, – чтобы цитировать потом». Я очень благодарен вам, что этот разговор мне дал возможность попытаться объяснить читателям, что происходило между нами. Я хочу, чтобы они никогда не сомневались, что мы любили друг друга. Но нам мешали любить друг друга. Не позволяли. Хотели, чтобы мы были послабее, чтобы нас легче было в бараний рог скрутить! Это все-таки не удалось. И спасибо вам, Соломон, я, может быть, на таком уровне откровенности еще ни с кем не говорил, потому что я видел в ваших глазах понимание всего лучшего, что сделало наше поколение, и огорчение от того, что иногда мы не понимали друг друга и поддавались, когда нас пытались столкнуть. Столкнуть на дурацкие петушиные бои, вовсе не ведущие к искусству. Надеюсь, что это будет хорошим уроком будущим поколениям.

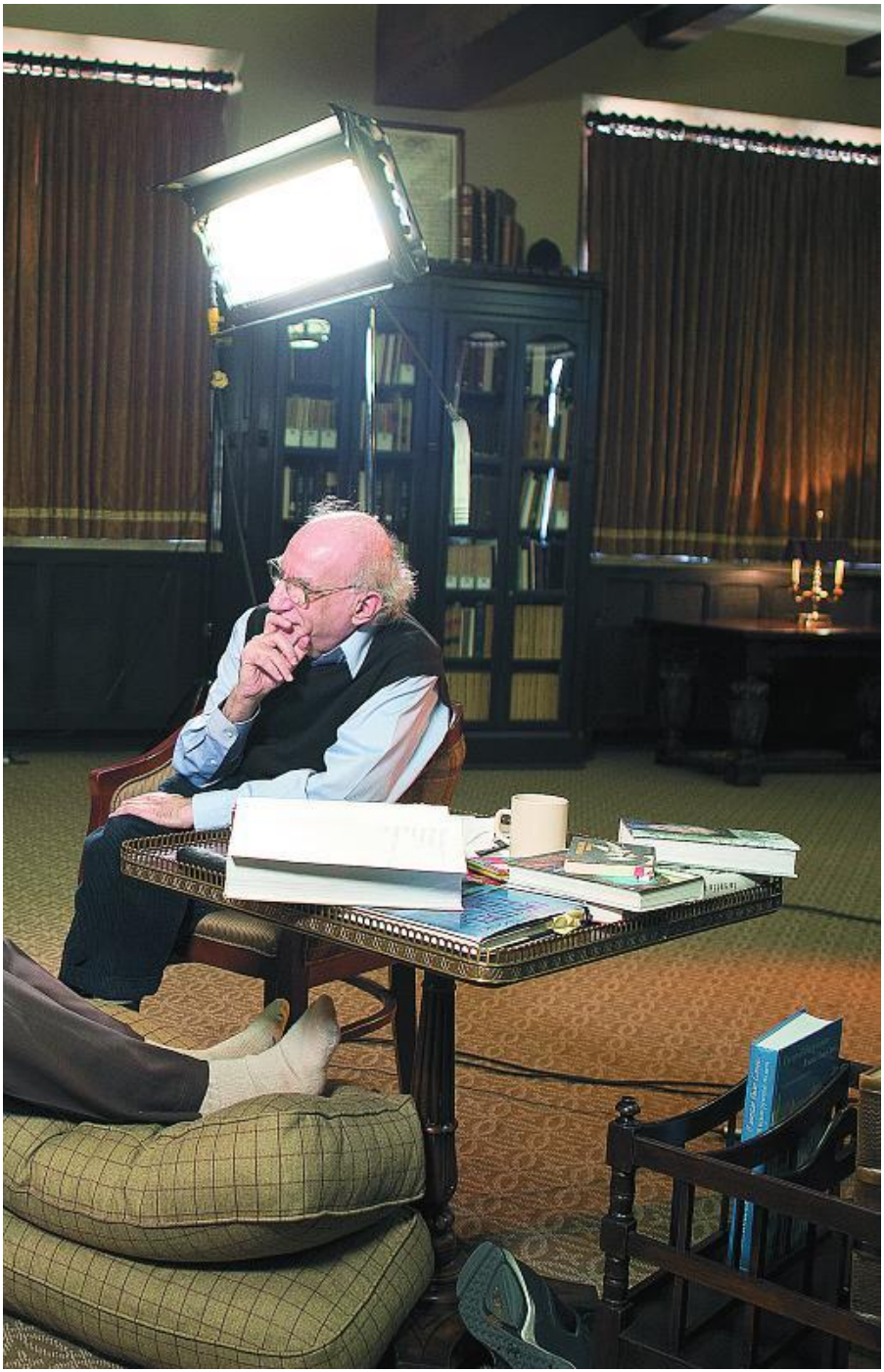
Князь Владимир сказал когда-то: «Без пити России не быти». Но не в этом только прелесть России. Я переделал это по-своему: «Без стихов любити России не быти». Будут приходить новые поколения, они не оставят читателя в одиночестве и помогут им выжить и понимать разницу между добром и злом, чтобы горько не ошибиться. Как иногда, бывало, ошибались мы.

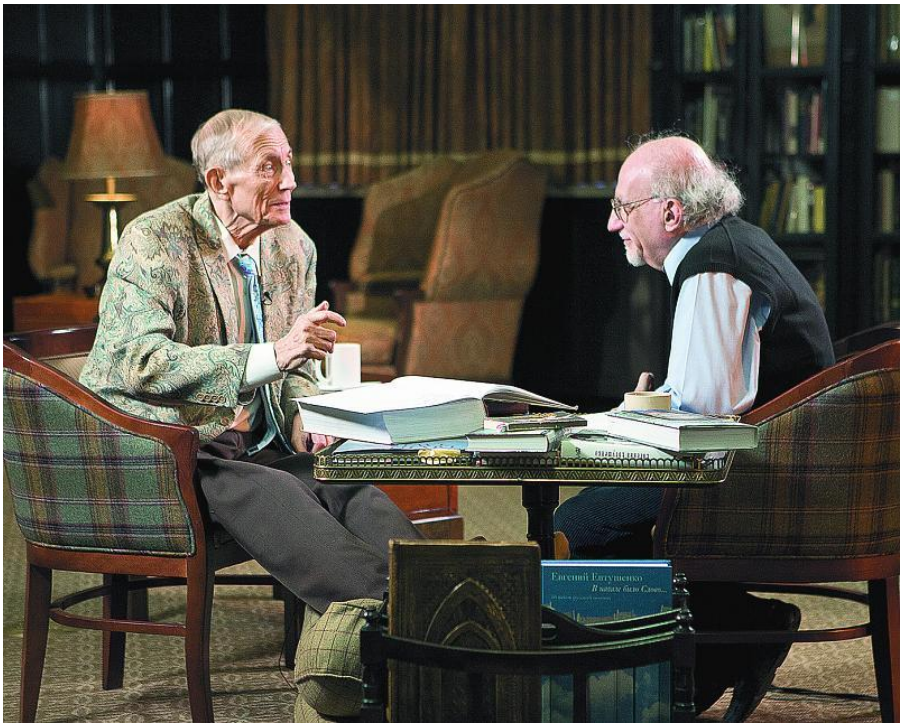
Волков: Спасибо вам большое, Евгений Александрович, за эти встречи, за эти беседы.

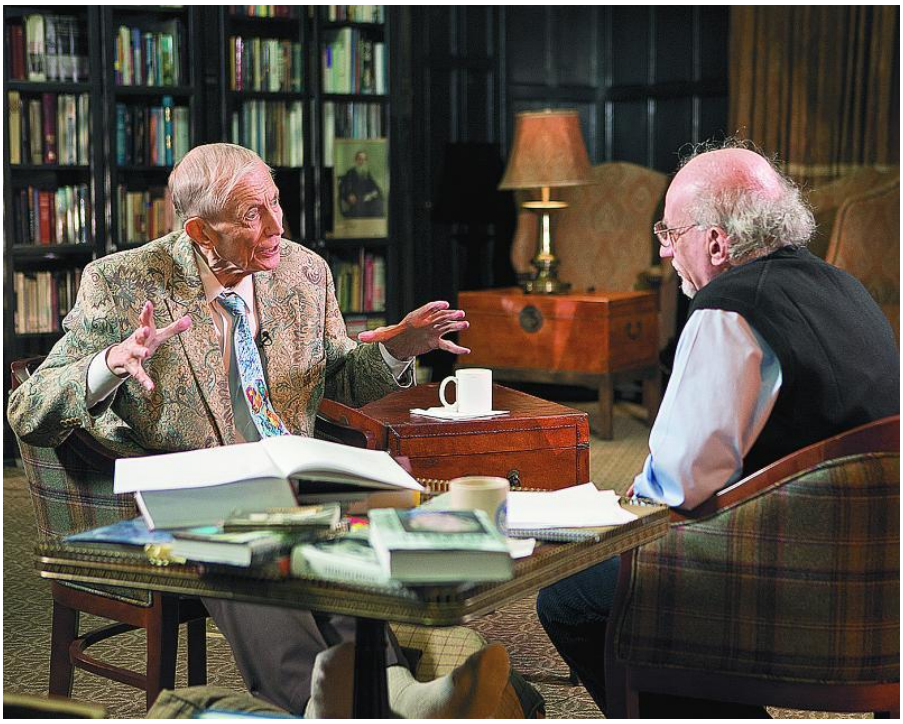
Евтушенко: Пожалуйста.

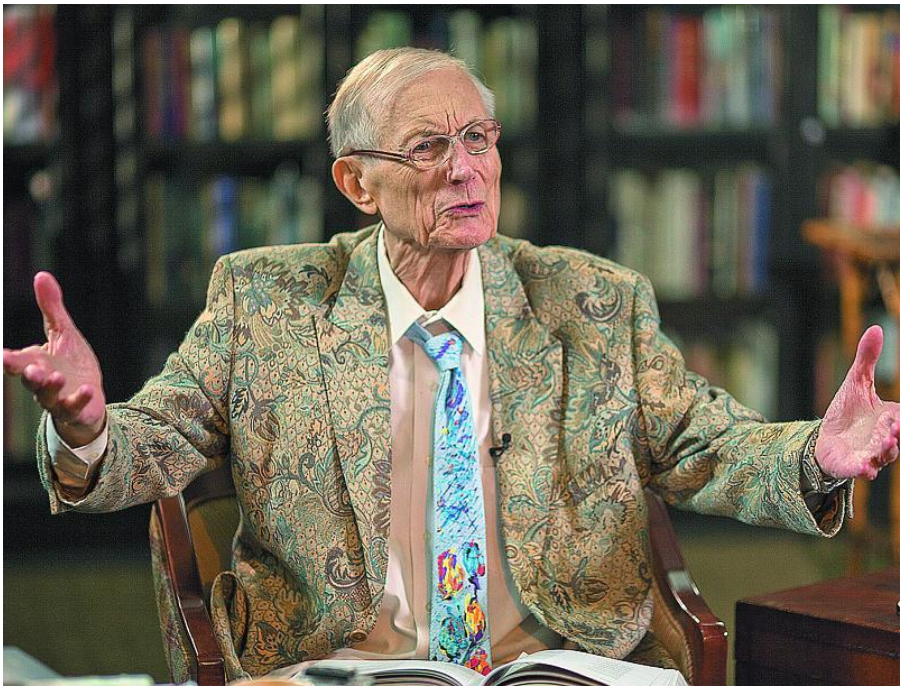
Иллюстрации

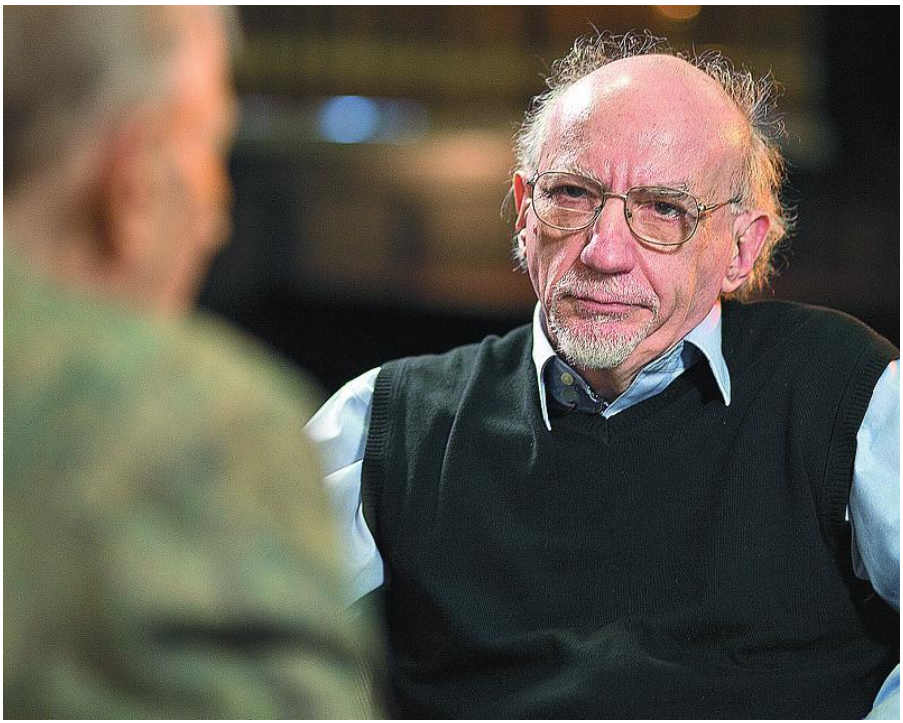


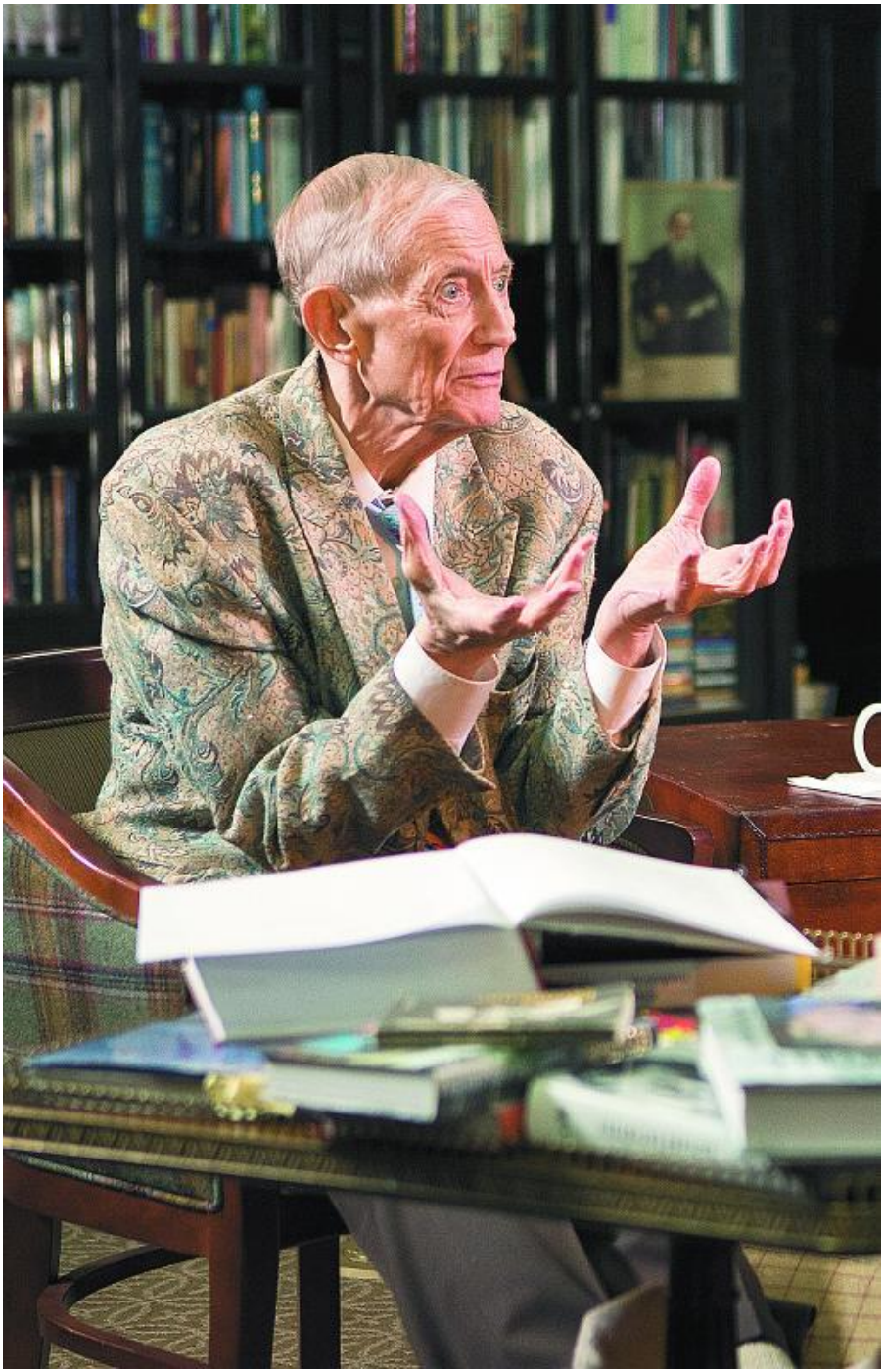


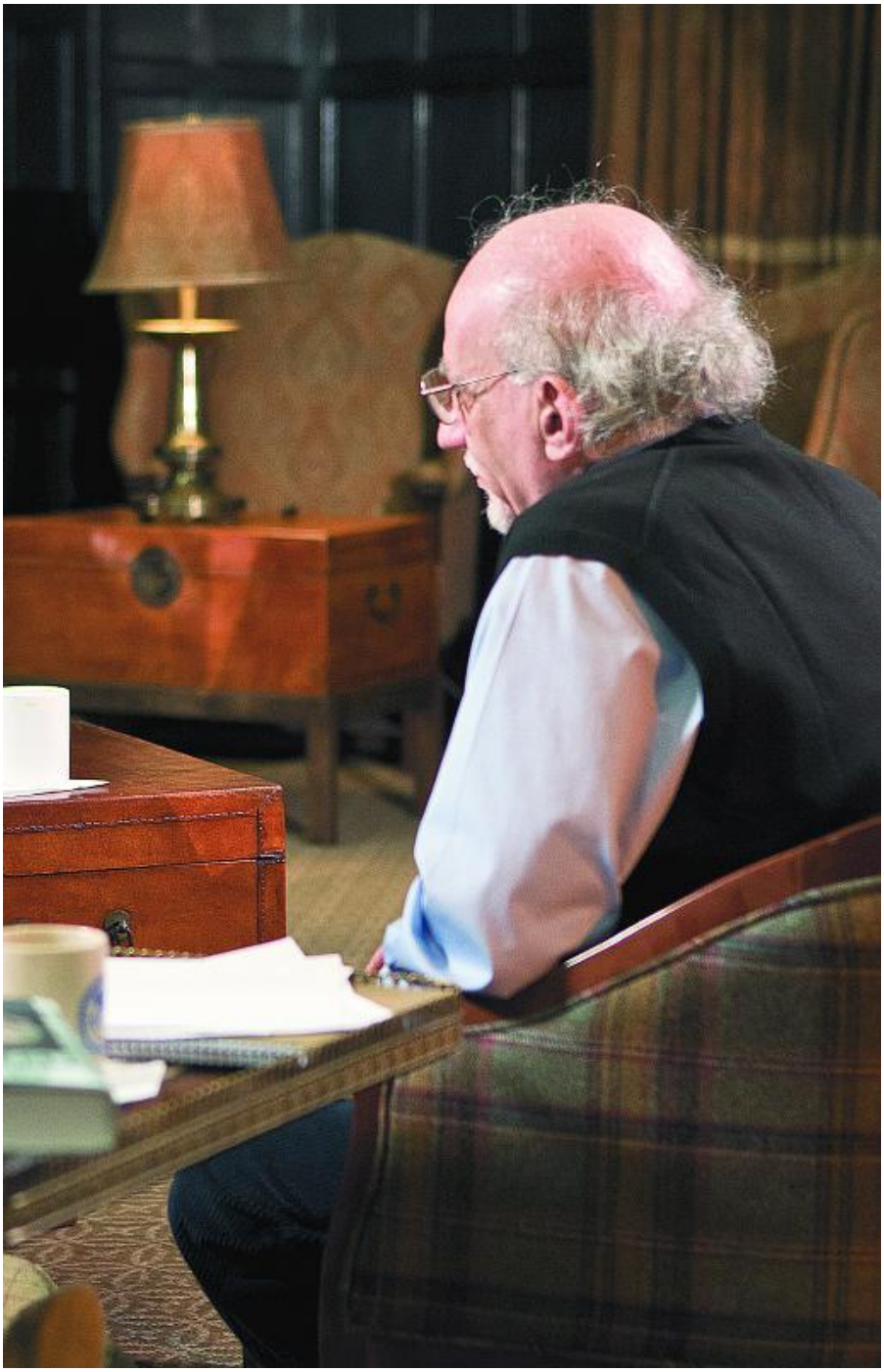

Евгений Евтушенко
Я читаю Вам Стихи...











Фотографии Сергея Мухина

notes

Примечания

1

Life-altering – изменяющий жизни (*англ.*).

2

Стихотворения в книге в большинстве случаев сохранены в том виде, как читал их по памяти Е. Евтушенко в фильме. (*Здесь и далее примеч. ред.*)

3

В истории гибели поэта Д. Кедрина (1907–1945) до сих пор остается много вопросов.

4

«Почему я не играю в карты. Рассказ по рассказу моего отца».

5

Е.А. Евтушенко родился в 1932 г., в 1933 переехал с родителями в Москву. В 1941 г. Женя вернулся на станцию Зима в эвакуацию, а его мать, ставшая певицей, отправилась на фронт с концертами. В 1944 г. бабушка Мария Байковская изменила внуку фамилию с отцовской Гангнус на материнскую Евтушенко, а также изменила год рождения на 1933-й для упрощения въезда обратно в Москву.

6

Ермолай Наумович Евтушенко и Рудольф Вильгельмович Гангнус были арестованы в начале 1938 года. Ермолай Наумович расстрелян в августе, а Рудольф Вильгельмович приговорен к пяти годам лагерей, а затем выслан на пять лет в Муром. Вернулся домой в 1948 г. и через год умер.

7

Сейчас – Мещанская улица.

8

Русская поэзия xx века. Антология русской лирики от символизма до наших дней / сост. И.С. Ежов, Е.И. Шамурин. Москва: Новая Москва, 1925.

9

Тарасов Николай Александрович (1918–1976) – поэт, журналист, главный редактор газеты «Советский спорт».

10

Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) – поэт, журналист, военный корреспондент; Асеев Николай Николаевич (1889–1963) – поэт, переводчик, сценарист.

11

Грибачёв Николай Матвеевич (1910–1992) – поэт, общественный деятель; в описываемый период секретарь правления Союза писателей СССР.

12

Сурков Алексей Александрович (1899–1983) – русский советский поэт, литературный критик, общественный деятель; в описываемый период первый секретарь Союза писателей СССР.

13

После исключения Евтушенко из школы по ложному обвинению в поджоге классных журналов отец написал для него рекомендательное письмо в геолого-разведывательную экспедицию в Казахстан. Так поэт попал в Джеламбет – золоторудное месторождение, где у него под началом и оказались расконвоированные уголовники. Это была первая работа Евтушенко.

14

В 1952 г. вышла первая книга Е. Евтушенко «Разведчики грядущего», затем в 1955-м – «Третий снег».

15

«Начало». 1953 г.

16

Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) – русский писатель, организатор известного кружка московских писателей «Среда», автор мемуарной книги «Записки писателя».

17

Долматовский Евгений Аронович (1915–1994) – поэт, автор слов многих известных советских песен.

18

Соловьев Борис Иванович (1904–1976) – писатель, поэт, один из ведущих литературных критиков в области современной советской поэзии.

19

Захарченко Василий Дмитриевич (1915–1999) – поэт, писатель, публицист, общественный деятель.

20

Речь идет об А.П. Нолле (1921–1990), прозаике, спортивном журналисте, публиковавшемся под псевдонимом Александр Кулешов.

21

В город Горький – сейчас Нижний Новгород.

22

Мать Беллы Ахмадулиной Надежда Макаровна Лазарева, племянница революционера Александра Стопани, работала переводчицей в органах госбезопасности.

23

Черняев Анатолий Сергеевич (1921–2017) с 1986 по 1991 г. был помощником генерального секретаря ЦК КПСС, затем президента СССР М.С. Горбачева по международным делам.

24

Тодд Альберт (1921–2001) – американский славист, автор переводов более чем 85 российских поэтов, включая своего близкого друга Евгения Евтушенко.

25

В.В. Жданов был одним из создателей «Краткой литературной энциклопедии» (М.: Советская Энциклопедия, 1962–1978.)

26

Миллионер за одну ночь, миллионер в одночасье *(англ.)*.

27

Стихотворение «Наследники Сталина» написано в 1961 году после выноса тела Сталина из Мавзолея.

28

Косолапов Валерий Алексеевич (1910–1982) – писатель, главный редактор «Литературной газеты», был уволен с поста главного редактора «Литературной газеты» за выпуск номера с поэмой Евгения Евтушенко «Бабий Яр».

29

«Я – Куба» (1964). Режиссер – М.К. Калатозов, авторы сценария – Е.А. Евтушенко, Э.П. Барнет, оператор – С.П. Урусевский.

30

Лапин Сергей Георгиевич (1912–1990) – советский партийный и государственный деятель, с 1960 по 1962 г. – первый заместитель председателя Госкомитета Совмина СССР по культурным связям с зарубежными странами.

31

ПУР – Политуправление.

32

Песня на смерть Дж. Кеннеди «Американцы, где ваш президент» (1964 г.). Музыка Э. Колмановского, стихи Е. Евтушенко.

33

«Пролог». (1995 г.)

Встреча состоялась в 1957 г.

35

В 1967 г. профессору Анджело Рипеллино был запрещен въезд в СССР из-за того, что он поддержал письмо Солженицына о цензуре; после репортажей о пражских событиях в итальянских СМИ въезд в Чехословакию ему также был запрещен.

Могила,
ты ограблена оградой,
но видел я в осенней тишине:
там две сосны растут, как сестры, рядом —
одна в ограде и другая вне.

(«Ограда». 1961 г.)

37

После венгерских событий 1956 г. Хрущев вел секретные переговоры с маршалом Тито на острове Бриони.

38

Стихотворение Л.Н. Мартынова – «Подсолнух» (1932), стихотворение Е.А. Евтушенко с посвящением Мартынову – «Окно выходит в белые деревья» (1956).

39

Леонид Мартынов тогда только вернулся из Италии, и его попросили с трибуны рассказать об отношении итальянцев к Пастернаку. Мартынов раздраженно отозвался о «сенсационной трескотне» заграничной печати вокруг одного имени. Он был один из многих, осуждавших поэта, но его выступление было, как отмечается, не самым резким.

40

Яковлев Александр Николаевич (1923–2005) – публицист, академик РАН, один из главных идеологов перестройки.

41

Стаднюк Иван Фотиевич (1920–1994) – прозаик, сценарист, драматург, в то время секретарь Московской писательской организации; Карпов Владимир Васильевич (1922–2010) – писатель, публицист и общественный деятель, в то время главный редактор журнала «Новый мир».

42

Смирнов Сергей Сергеевич (1915–1976) – писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный деятель. За книгу «Брестская крепость» был удостоен Ленинской премии.

43

Пельше Арвид Янович (1899–1983) – советский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК КПСС.

44

Первый матч, когда советские футболисты играли с чемпионами мира.

45

В конце войны Ф. Вальтер попал в советский лагерь для военнопленных, где его спас русский комендант.

«На демонстрации». (1954 г.)

«И другие». (1956 г.)

48

См. главу «Несостоявшийся футболист».

49

«Гетто. 1943». (1991 г.)

50

«Сентиментальный марш». (1957 г.)

51

Чаковский Александр Борисович (1913–1994) – писатель, журналист; с 1962 по 1988 гг. главный редактор «Литературной газеты».

Товарный знак, фирменный знак *(англ.)*.

53

Шелепин Александр Николаевич (1918–1994) – советский комсомольский, партийный и государственный деятель, с 1958 по 1961 год – председатель КГБ при Совете министров СССР; Семичастный Владимир Ефимович (1924–2001) – с 1961 по 1967 год председатель КГБ СССР.

Писатель (*укр.*).

55

Дубчек Александр (1921–1992) – чехословацкий государственный, общественный деятель, главный инициатор курса реформ «Пражская весна»; Гавел Вацлав (1936–2011) – чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии.

Выставка фотографий Е. Евтушенко состоялась в 1989 году в пражской Староместской ратуше.

57

Эльсберг Яков Ефимович (1901–1976) – советский литературовед и критик. Считался автором множества доносов, в том числе на И.Э. Бабеля, С.А. Макашина, Л.З. Лунгину и др.

58

«Queen Elizabeth» – пассажирский океанский лайнер, с 1940 по 1972 гг. являвшийся крупнейшим в мире.

59

Строительство Каховской ГЭС на реке Днепр.

60

Драч Иван Федорович (род. 1936) – поэт, прозаик, драматург, критик; один из создателей партии Народный рух Украины (осн. в 1989 г., идеология – консерватизм, национал-демократия, правоцентризм); Дзюба Иван Михайлович (род. 1931) – украинский литературовед, критик, публицист, советский диссидент; Коротич Виталий Алексеевич (род. 1936) – поэт, прозаик, публицист, журналист; с 1986 по 1991 гг. – главный редактор журнала «Огонек».

61

Концерт, на котором первый раз была исполнена Симфония № 13 «Бабий Яр», состоялся в декабре 1962 г.

62

См. книгу Соломона Волкова «Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича», впервые изданную в 1979 г.

63

В советский период Всесоюзное объединение «Международная книга», организация, занимавшаяся экспортно-импортными торговыми операциями с книгами, периодикой, аудио- и видеопродукцией.

64

По слухам, Фидель Кастро скитался по тропам Сьерры-Маэстры с группой наиболее преданных соратников. Несколько дней с ним действительно не было связи.

Тогда – улица Дмитрова.

66

Падилья Эберто (1932–2000) – кубинский поэт и диссидент. Поддерживал Кубинскую революцию, с 1968 г. – в открытой оппозиции к режиму Кастро, вместе с женой находился в тюрьме. Под давлением мировой общественности был освобожден. Эмигрировал в США.

67

Месяцев Николай Николаевич (1920–2011) – советский государственный и партийный деятель, в 1963–1964 г. – заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран.

68

Леонов Николай Сергеевич (род. 1928) – сотрудник КГБ (ныне в отставке). С 1960 г. работал в разведке в Латинской Америке, принимал активное участие во многих событиях, связанных с борьбой против американского влияния в странах Латинской Америки. В 1963 г. сопровождал и переводил Ф. Кастро в его поездке по СССР.

69

Гусанос (исп. *Gusanos* – черви) – прозвище, данное кубинскими революционерами оппозиции. Его активно употреблял Ф. Кастро.

70

«Гранма» – моторная яхта, с которой в 1956 г. кубинские революционеры высадились на побережье Кубы.

Также в защиту Э. Падильи выступили Жан-Поль Сартр, Хулио Кортасар, Ма рио Варгас Льоса.

72

Поспелов Петр Николаевич (1898–1979) – секретарь ЦК КПСС, директор института марксизма-ленинизма.

73

Анастасио Сомоса Гарсия (1896–1956) – никарагуанский военный и государственный деятель.

74

Эрнесто Карденаль Мартинес (род. 1925) – никарагуанский революционер, поэт, писатель, иезуитский, затем траппистский священник. В разные годы принадлежал к различным политическим движениям.

«Семья человека» (*англ.*).

Музей современного искусства (*англ.*).

77

Йорис Ивенс (1898–1989) – голландский режиссер документального кино.

Речь о книге *Миллер А*. Наплывы времени. История жизни.

79

Г. Солсбери. 900 дней. Осада Ленинграда (*H.E. Salisbury*. The 900 days. The Siege of Leningrad).

«Вьетнамский классик». (1972 г.)

81

Моррис Эррол (род. 1948) – американский кинорежиссер-документалист; по версии газеты *«The Gardian»* седьмой номер в списке «40 лучших кинорежиссеров мира».

82

Сьюзен Зонтаг (1933–2004) – американская писательница, критик, режиссер театра и кино, была одним из самых последовательных и резких критиков войны во Вьетнаме.

83

Брошюра называлась «Во весь голос», до нее в «Комсомольской правде» был опубликован фельетон-памфлет «Куда ведет хлестаковщина» тех же авторов.

84

Речь идет о книге «Крутой маршрут», опубликованной в Милане в 1967 г. В СССР впервые «Крутой маршрут» опубликован в 1988 г., до того ходил в самиздате.

85

Егорычев Николай Григорьевич (1920–2005) – в то время первый секретарь Московского горкома КПСС, член Бюро ЦК КПСС; соратник Шелепина.

86

Биллингтон Джеймс Хедли (род. 1929) – профессор истории Принстонского университета, основатель Института перспективных российских исследований имени Джорджа Кеннана, 13-й директор библиотеки Конгресса США. Мировую известность приобрела его книга «Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры» (1966).

Спектакль «Нет лет». Премьера состоялась 24 апреля 2017 г.

88

Спектакль «Товарищ, верь». Премьера состоялась 11 апреля 1973 г.

89

В 1987–1989 гг. Николай Губенко был главным режиссером Театра на Таганке. После возвращения Юрия Любимова часть коллектива призвала Губенко остаться художественным руководителем. В 1992 г. становится руководителем театра «Содружество актеров Таганки».

90

Дон М. Томас – британский поэт и писатель, живет в Корнуолле, известен романом «Белый отель» (1981), переведенным на 26 языков; автор биографии А.И. Солженицына.

91

Также об этом см. главу «Мирильщик и защитник».

92

Яковлев Егор Владимирович (1930–2005) – журналист, писатель; с 1986 по 1991 гг. главный редактор газеты «Московские новости».

93

Трайбализм (трибализм) – приверженность к культурно-бытовой, культовой и общественно-политической племенной обособленности.

94

«Гренада» – известное стихотворение Михаила Светлова, опубликованное в 1926 году.

95

Стихотворение о Грузии «Волны». (1931 г.)

96

Беташвили Джумбер Сергеевич (1939–1993) – грузинский актер. Снялся в фильме Евтушенко «Детский сад».

97

Белинков Аркадий Викторович (1921–1970) – прозаик и литературовед, более десяти лет провел в лагере, после реабилитации преподавал в Литинституте. В 1968 г. за опубликованные в журнале «Байкал» главы из книги о Юрии Олеше «Сдача и гибель советского интеллигента» подвергся жестокой критике. Уехал на Запад, преподавал в нескольких университетах США.

98

Долецкий Станислав Яковлевич (1919–1994) – детский хирург, писатель, академик АМН СССР.

99

Перефразированные строки стихотворения Владимира Соловьева «*Exorientelux*» – «С Востока свет»:

О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?

100

Политология *(англ.)*.

101

«Мелодия Лары», третья часть триптиха «Пастернакиада».

102

Гоббс Томас (1588–1679) – английский философ-материалист, один из основателей теории общественного договора и теории государственного суверенитета.

103

Корпус мира – независимое федеральное агентство правительства США, гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи.

Deviation – отклонение, отступление, погрешность (*англ.*).

105

Министерство национальной безопасности (*англ.*).

106

Субботники – иудеохристианское религиозное движение в России, последователи которого соблюдают субботу.

В него
штыка революции
клин
вогнали,
пляша под распевку,
когда
санкюлоты
поволокли
на эшафот
королевку.

(В. Маяковский. «Версаль»)

108

Лимбо Раш (род. 1951) – американский консервативный общественный деятель, ведущий высокорейтингового разговорного радиошоу.

109

Бытовое насилие, насилие в семье, домашнее насилие (*англ.*).

110

Уильям Аверелл Гарриман (1891–1986) – американский промышленник, государственный деятель и дипломат. В 1943–1946 – посол США в СССР.

111

Василий Федоров – член редсовета нескольких издательств и постоянный противник Е. Евтушенко.

112

Стихи В. Фирсова начали публиковать с благословения Твадовского, еще когда Фирсов учился в школе.

113

Речь о снятии А.Т. Твардовского с должности главного редактора журнала «Новый мир».

114

В августе 1968 г. Е. Евтушенко направил телеграмму в правительство с протестом против вторжения СССР в Чехословакию. В 1969 г. Э. Рязанов начал пробы для фильма «Сирано де Бержерак», и пригласил Е. Евтушенко на главную роль. В июле 1969 г. работу над фильмом приостановили с условием замены Е. Евтушенко. Фильм снят не был.

115

Марина Влади приехала тогда на съемки фильма Сергея Юткевича «Сюжет для небольшого рассказа».

116

Уоррен Битти (р. 1937) – американский актер и продюсер.

117

На картине художник изобразил великого голландца и самого себя, родившихся 15 июля, но с разницей в 328 лет.

118

Карл Саган (1934–1996) – американский астроном, астрофизик, выдающийся популяризатор науки.

119

Студентка Кентского университета (штат Огайо), смертельно раненная при расстреле акции протеста против вторжения американских войск в Камбоджу.

120

Имеется в виду фильм «Взлет», где Е. Евтушенко сыграл главную роль, К. Циолковского.

121

Баскаков Владимир Евтихианович (1921–1999) – киновед, литературовед, писатель, сценарист; в 1963–1973 гг. – первый заместитель председателя Государственного комитета СССР по кинематографии.

122

Речь о том, что в августе 1968 года Евтушенко направил телеграмму в правительство с протестом против советского вторжения в Чехословакию.

123

«Отверженные» – мюзикл Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля по роману Виктора Гюго, с 1980 г. не сходящий со сцены; в общей сложности мюзикл был поставлен в 221 городе в 38 странах.

124

Шамир Исраэль (род. 1947) – российско-израильский писатель, переводчик и публицист антисионистской направленности; Перес Шимон (1923–2016) – президент Израиля в 2007–2014 гг.; Вильнер Меир (1918–2003) – израильский левый политический деятель.

125

Анжамбема́н – несовпадение синтаксической паузы с ритмической (концом стиха, полустишия, строфы), употребление ритмической паузы внутри тесно связанной по смыслу группы слов.

126

«Свобода убивать». (1968 г.)

127

Верченко Юрий Николаевич (1930–1994) – секретарь Союза писателей СССР по оргвопросам.

128

Куняев Станислав Юрьевич (род. 1932) – поэт, публицист, главный редактор журнала «Наш современник», в 1991 году поддержал ГКЧП, сторонник точки зрения отрицателей Холокоста; Кожинов Вадим Валерианович (1930–2001) – литературовед, критик и публицист, стоявший на национально-патриотических позициях.

129

«Две красные повязки».